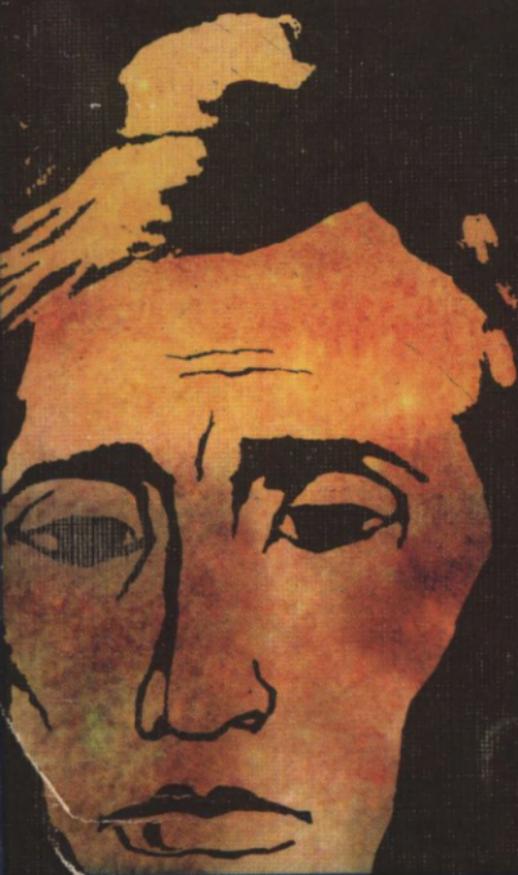




АНАТОЛИЙ
МАКАРОВ



ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ
ЛЕТА



84P7
M15

СОДЕРЖАНИЕ

Человек с аккордеоном	3
Одноклассники	117
Ночью на исходе зимы	130
Снимок на обложку	222
Последний день лета	265

М $\frac{4702010200-195}{078(02)-85}$ 108-85



Человек с аккордеоном

*И в той Москве, которой нет почти
и от которой лишь осталось чувство,
про бедность и величие искусства
я узнавал, наверно, лет с пяти...*

Д. Самойлов

Мой дядя был веселым человеком. Я понимаю, что сама по себе эта фраза ничего не значит, требуются конкретные примеры остроумия и способности не лезть за словом в карман, нужно предъявить как неоспоримое свидетельство какую-нибудь озорную историю или анекдот, по прошествии времени не утративший перца и соли и поныне вызывающий дружный хохот. Между тем я просто не в силах припомнить ни одной дядиной остроты, ни одного рассказанного им анекдота, да и озорные истории как-то не совмещаются в моей памяти с дядиным образом.

И все-таки он был веселым человеком. Очень веселым, потому что — вот это я уже помню прекрасно — в дядином присутствии самый оживленный разговор о болезнях, о соседях по квартире, о выборах и подписке на



заем оборачивался хохотом, возгласами «ой, не могу!» и слезами — именно в такой момент я открыл впервые, что плакать можно не только от горя. То, что от смеха, от избытка веселья на глазах выступают избавительные, томящие слезы, я узнал благодаря дяде. У него была комическая маска (эти мои рассуждения покоятся, конечно, на теперешнем опыте), чрезвычайно в народе популярная и очень им любимая — маска простака. Естественного, простодушного человека, никак, ну никаким боком не похожего на счастливого, любимчика, избранника судьбы, и даже, больше того, ему, если приглядеться к нему повнимательнее, есть за что пенять на судьбу, а он тем не менее не пеняет, он незаметно доводит житейские обстоятельства до их логического завершения, до той точки, где они начинают противоречить сами себе, до того момента, когда идиотизм их становится очевиден даже ребенку. Опять-таки теперь я сознаю, что вовсе не все обстоятельства бытия подвергал он такому осмеянию, но те лишь, от которых, если им поддаться, можно заплакать совсем не счастливыми, не веселыми слезами. Так вот, он им не поддавался, он поступал с ними так, как они того заслуживали, он высмеивал их бессмысленность и этим их побеждал. И все, кто был в эту минуту рядом с дядей, тоже побеждали, потому что, когда люди смеются над своими невзгодами, это первый признак того, что они ощущают себя сильными и правыми.

То время моего детства, с которого я начинаю помнить себя и окружавшую меня жизнь совершенно отчетливо, совпало с окончанием войны. В нашем дворе, как оказалось потом, погибло больше половины ушедших на фронт мужчин, но те, которые не погибли, начали потихоньку возвращаться, а еще появились у нас другие, кто уходил на войну не из нашего дома, жизнь во дворе, да и в целом переулке сделалась праздничной и, как часто бывает на русских праздниках, немного чадной, угарной и очень неустойчивой по части мгновенного перехода от смеха к слезам — как видите, я никак не могу расстаться с этой темой. Застолья собирались часто, и о них всегда знал весь двор, потому что окна распахивались настежь, и оттуда доносились звуки патефона с характерным пришепетыванием: «А ну-ка, а ну-ка, у бабушки было три внука» или еще: «Тромбонист Иван Иваныч, кларнетист Иван Степаныч...», а потом начинались хоровые песни и уже иного свойства —

«По Дону гуляет» и «Хазбулат удалой», гулянье как-то очень естественно выливалось на улицу, на старый, весь в причудливых трещинах асфальт нашего двора, фронтовики носили двубортные бостоновые пиджаки, увешанные медалями и даже орденами вдоль одного из широких бортов, они были красны от выпитой водки и портвейна «Три семерки», они курили «Беломор» и «Казбек», а вдовы, сидевшие у ворот на лавочке вместе со стариками и старухами, обжигали их взглядами и будто невзначай задевали шутками. Часам к одиннадцати во дворе появлялся инвалид Савка, с нашей точки зрения, он был инвалидом не совсем обычным — руки и ноги находились при нем, а о том, что после сильной контузии можно быть инвалидом при руках и ногах, мы в те годы не подозревали. Савка, как всегда, был пьян и, как всегда, задирист. Он непременно затевал скандалы, если же скандалы возникали без него — на почве той же ревности или каких-нибудь старых обид, то наутро виновным все равно почитали Савку. Нам, пацанам, нравилась эта жизнь — танцы под хрипловатый патефон, где на внутренней стороне крышки нарисована собака, слушающая из допотопной трубы голос своего хозяина, щедрые фронтовики, дарившие нам деньги на мороженое, и особенно две роскошные трофейные машины танкового генерала Гудкова — «хорьх» и «майбах», которые вот уже несколько месяцев стояли у нас во дворе. Шоферы вполне соответствовали своим машинам — щеголеватые, в офицерских хромовых сапогах, дел у них было немного, и они охотно, без особых упрашиваний рассказывали нам про боевые операции, намекая сдержанно и скромно на свое в них не последнее участие, и хоть катать нас на своих машинах не катали, но внутри посидеть пускали — до сих пор я помню сияние никелированных ручек, зеркальный свет массивного стекла, отделявшего кабину от шоферского сиденья, дорогóй запах кожи и особый, тоже дорогóй, скрип пружин в тугих сиденьях.

Самой большой удачей считалось иметь среди родни кого-нибудь вернувшегося с войны — лучше всего, разумеется, отца, но можно и брата, в крайнем случае, даже двоюродного. Удача в нашем понимании заключалась в том, что присутствие фронтовика давало счастливчику массу поводов для личной похвальбы — иногда безудержной, иногда расчетливо немногословной, множество оснований для личной гордости и обилие фактов

для долгих и запутанных историй, рассказывать которые в нашем дворе полагалось с высшей степенью достоверности. Временами эта достоверность подкреплялась столь зримыми деталями, что уже невозможно становилось разобрать, кто, собственно, герой изложенных боевых событий — ветеран-отец или сам юный рассказчик. Те, у кого с войны не вернулся никто, безропотно привыкли обходиться ролью почтительных слушателей. Впрочем, желая самоутвердиться, они, как правило, с течением времени измышляли себе мифического родственника, кавалера всех известных в нашем дворе орденов.

Мой отец был убит в сорск втором под Харьковом, и все значение этой потери для моей жизни я осознал гораздо позднее. Тогда же я просто полагал, что мне не везет, и во время вечерних дворовых сидений на крыльце восполнял отсутствие реального семейного героя избытком воображения.

И вдруг герой появился. Правда, на героя он вовсе не был похож, я даже разочаровался сначала — одет был дядя Митя в штатский глухой костюм, надо полагать, еще довоенный, орденов не носил, роста был небольшого, и лицо у него оказалось совершенно невоенное, не отмеченное никаким отблеском сражений, не одухотворенное звуками победных маршей — обыкновенное такое лицо, с утиным прозаическим носом и немного одутловатыми щеками. В коридоре дядя оставил принесенный с собою чемодан весьма странной формы, он походил на небольшое переносное пианино и был такой же тяжелый. Я попробовал его поднять, не смог и засмутился — хорошо, что рядом в это мгновение никого не оказалось. Я пошел в комнату, там уже было полно гостей, и знакомых мне, и незнакомых; комната, которую я считал очень большой — еще бы, тринадцать метров! — вдруг сделалась страшно тесной, и я устыдился такой тесноты, того, что не хватает стульев и из кухни притащили колченогие табуретки, бедной нашей посуды — богатой я еще никогда не видел и все-таки понимал, что эта бедная. Гости рассаживались с трудом, сталкиваясь, едва протискиваясь между столом и буфетом, шутили по этому поводу, и мне казалось, что смеются они над нами. По рюмкам уже разливали водку и вино, мне тоже, как было принято тогда, налили немножко «красненького», я ничего этого словно не замечал, я все еще обижался, сам не зная на кого. А дя-

дя Митя поднял свой граненый лафитник и сказал, словно бы удивляясь словам своим: «Что-то, граждане, стали на тесноту жаловаться — не понимаю. По-моему, даже как-то наоборот, сближает. Раньше в трамвае едешь — скучаешь. А теперь не успеешь оглянуться — у тебя кто-нибудь на ноге стоит, сверху на тебя тоже кто-нибудь слегка облакачивается — лежит, в общем, а под конец выясняется, что и сам-то у кого-то на коленях сидишь, — при такой близости долго ли перезнакомиться? Или вот сейчас, я бы к такой прекрасной женщине, — тут он кивнул в сторону нашей соседки Анны Кирилловны, — например, в жизни не подошел бы по причине робости и стеснения, а теперь, когда сидим тет-а-тет, то есть, я хотел сказать, визави, давно по-французски не говорил, так вот я к тому, что теперь даже питаю надежды».

Все засмеялись и стали пить за тесноту, которая, оказывается, имеет некоторые свои положительные стороны, а я смотрел на дядино лицо и совершенно четко понимал, что улыбается он сейчас вовсе не потому, что удачно пошутил и обратил на себя внимание, а просто потому, что всем стало хорошо и весело.

Потом пили еще и ели винегрет с бутербродами с жесткой фиолетовой колбасой, нарезанной так тонко, что сквозь нее, как сквозь темное стекло, можно было смотреть на свет. На меня перестали обращать внимание — теперь-то я знаю, какая помеха компании восьмилетний ребенок, которого по причине жилищного кризиса некуда положить спать, когда взрослые гуляют. Мне сделалось скучно. И я хотел уже побрести на кухню, где на теплом кафельном полу возле старинной плиты в царственной позе, прищулив глаза и чуть подрагивая усами, развалился кот. Но в это время гости поднялись, сдвинули стол и стулья к окну, и посередине комнаты оказался дядя Митя со своим загадочным чемоданом в руках. Он поставил его на пол, отпер ключиком сухо шелкнувшие замки, откинул крышку странной изогнутой формы и, крикнув от натуги, вытащил на свет предмет, прекраснее которого я не видел ничего в жизни. Наша комната, несмотря на высоченные ее потолки, казалась слишком маленькой для такого роскошного творения, слишком темной, невзрачной, обыденной. Точно так же как наш убогий двор с его закоулками и сараями становился все более убогим от сверкания радиаторов и бамперов генеральских машин «майбаха» и «хорьха».

Сияние наполнило нашу комнату, перламутровый перебегающий блеск, тусклый, благородный блеск черного лака и праздничное полуденное свечение лака белого. Короче говоря, дядя Митя достал из футляра аккордеон. Показав его всему народу, он тихонько поставил инструмент на пол, сел на услужливо пододвинутый стул, расстелил на коленях бархатную тряпицу, извлеченную из того же футляра, нагнулся и снова с легким, будто бы юмористическим, а на самом деле несомненным кряканьем поднял аккордеон, утвердил его на коленях и накинул на плечо широкий кожаный ремень. Я ждал, что дядя Митя сейчас заиграет, но он улыбнулся, вытащил из нагрудного кармана металлическую расческу и уже с совершенно сосредоточенным, серьезным видом пригладил свои и без того аккуратно причесанные на косой пробор, не слишком густые волосы. (С тех пор я сотни раз видел, как дядя садится играть, и всякий раз перед началом он доставал свою жестяную расческу — по-видимому, это символическое причесывание означало для него начало артистического акта, в этот момент он как бы переступал порог, отделяющий его повседневную жизнь от его жизни в искусстве.) Дядя склонил голову, лицо его вновь сделалось простодушным и веселым, мехи раздвинулись, пальцы побежали по сияющим клавишам, и комната наша зазвенела... Я не большой знаток музыки и люблю ее скорее какой-то стеснительной любовью, словно робкий друг детства, сознающий свое убожество, всеми признанную красавицу, однако случаи по-настоящему насладиться музыкой у меня, разумеется, были. Так вот, тот вечер, когда я услышал, как дядя Митя играет на аккордеоне, относится к числу этих счастливых случаев. Я не уверен, была ли его игра виртуозной в каком-нибудь там особом техническом смысле слова, думаю, что нет, не была, зато ощущалась в ней совершенно необыкновенная искренность, вы слушали и представляли себе, что это душа аккордеониста, помимо слов, нашла кратчайший путь объяснения с вами, — в чем еще должен состоять талант музыканта, я не знаю. А играл дядя то, чего хотела и требовала публика, — танго и фокстроты, довоенные, написанные во время войны, а также и трофейные, услышанные с немецких или румынских пластинок. Под дядиными пальцами и они обретали нашу уличную московскую задушевность. Наверное, по части хорошего вкуса не все здесь обстояло благополучно.

Впрочем, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что понятие это не однозначное, нельзя говорить о вкусе, о его качестве и уровне безотносительно к среде и, главное, к характеру человека, к его духовному существу. Дядя играл так, как чувствовал,— он не врал, не старался приукрасить свои переживания и не стеснялся их. А значит, и мне стесняться не приходится.

Нашему празднику становилось тесно. Он тоже, как и все именины и свадьбы нашего дома, просился на простор, на старый асфальт нашего двора, который манил танцующих почище любого паркета. Лучшее время во дворе наступало в самом начале позднего вечера, когда в густых сумерках, почти в полной темноте, менялись очертания предметов — низкие превращались в благородные,— исчезал один мир, и на смену ему возникал совершенно другой, тот, в котором все было неясно, неопределенно, неверно, а потому полно загадочного и радостно волнующего смысла. Асфальт и стены постепенно отдавали дневное тепло, свет из окон ложился на землю ровными квадратами, и железная пожарная лестница не просто вела на крышу, она уходила в летнее ночное небо, в самой вышине которого уже светилось начало будущего или окончание только что прошедшего дня. Как раз в такое время мы спустились во двор, и дядин аккордеон зазвучал так, как никогда почему-то не звучат музыкальные инструменты в особо отведенных для музыки залах, нет, нужен вечерний двор со старым, грустным тополем, с гулким пролетом подворотни, с красным и желтым светом окон, который бывает там, где символ старинного уюта — наивный пузатый абажур еще не догадались сменить на рахитичные бутылки современной люстры...

Дядя Митя сел на скамейку возле входа в котельную, вновь достал из кармана расческу и тщательно пригладил волосы, а потом совершенно неожиданно выдал какой-то еще не слыханный нами проигрыш: «Кавалеры, приглашайте дам!» — проигрыш, от которого с самого дна вашей души поднимались давние, почти забытые, а может, и не тронутые еще чувства и кругом шла голова, напрягся, поднял голову и запел. Не так запел, как пели обычно у нас во дворе, да и на улице тоже, а так, как пели на пластинках артисты — я сразу это понял,— профессионально запел:

«Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой, здравствуй, здравствуй, город над рекой...»



...Вот я уже довольно долго живу на свете и ездил по этому свету немало, особенно по сравнению с нашей родней, которую впервые сорвала с места только война, я бывал на фестивальных балах, на празднике в парижском пригородном лесу и даже на правительственном приеме в одной небольшой, но очень симпатичной стране, однако нигде не ощущал я праздник с такой потрясающей непосредственной силой, кожей, волосами, лопатками, как у нас во дворе, когда дядя Митя играл на аккордеоне и пел.

«Здравствуй, здравствуй, позабудь печаль, здравствуй, здравствуй, выходи встречать...»

Из вторых, дальних, ворот, выходящих не на улицу, а в переулок, во дворе появился Савка.

У него была особая походка, то ли контузией вызванная, то ли тем, что был он постоянно пьян,— он шел, склонившись вперед и выставляя ноги в стороны, будто бы все время готовился напасть на кого-то. Интуиция — противное свойство, когда она действует лишь в худую сторону, я сразу же, как только его заметил, понял, что мимо он не пройдет. Он и не прошел, хотя путь его к дому, к полуподвальной его комнате, выходявшей окном в темный проулок, пропахший окурками и мочой, лежал совсем в стороне. Савка свернул по направлению к танцам и волчьей своей походкой приблизился к котельной. Я до сих пор хорошо помню его лицо и понимаю теперь, что было оно совсем незаурядное, вовсе не похожее на распространенный тип хулиганских, алкогольных физиономий. Мужественное и брезгливое лицо было у Савки, как у американского киногероя, и казалось, что знает он что-то такое, чрезвычайно в жизни важное, знает и вот-вот произнесет. Но Савка не произносил, вернее, произносил совсем другое — чаще всего обыкновенные ругательства, которые, впрочем, получались у него буквально первоначально по смыслу и потому очень цинично.

Савка стоял среди танцующих и смотрел по сторонам взглядом, в котором было столько яростной ненависти, что становилось не только страшно, но и странно, почему эту бог весть где и когда рожденную злость он принес теперь сюда и готов излить на ни в чем не повинных людей.

— Танцуй танго,— сказал Савка,— мне так легко...

Дядя продолжал играть, а я почувствовал, как противный страх пополз у меня по животу. Это даже не был

просто страх, но еще и отвращение, которое я с самого раннего детства испытывал к дракам, они часто случались в нашем переулке в те годы, и вся наша дворовая компания устремлялась на них глазеть, и я тоже старался не отставать, а потом у меня от всего виденного кружилась голова, а кровь и крики преследовали меня по ночам.

— Шел бы домой, Савелий,— заговорила дворничиха тетя Шура, неизменная зрительница всех дворовых балов, романов и скандалов,— ну выпил, ну хорошо, чего на улице-то кобениться зря, жена вон раз пять на двор выбегала, ждет небось.

— Что мне жена? — скривился Савка.— Если в войну ждала, теперь перебьется. А я, может, танцевать хочу... Падеграс, падыпатынер... Татьяна, помнишь дни золотые... Щас только мадаму себе подберу, помоднее, мущинам некогда...— И он сделал руками какой-то странный полуприличный жест, желая изобразить фасон модной в то время юбки.

Дядя все еще играл, но танцы как-то сами собой прекратились, дамы поспешили сбиться в кучу и утянули за собой кавалеров. Савка стоял на площадке один и, качаясь во все стороны, продолжал делать какие-то двусмысленные движения. Аккордеон умолк. Дядя сдвинул мехи и сидел прямо, внимательно глядя на Савку. А я испуганно шарил глазами в толпе, я знал, как жестоко умеет драться Савка, и хотел найти хоть кого-нибудь, способного противостоять ему.

— Ну ты, маэстро,— сказал Савка,— чего ж ты замолчал? Давай крути, Гаврила, растяни-ка свою гармозу, а я сбациаю.

Вихлястой, карикатурной «цыганочкой» он прошелся по кругу. Дядя по-прежнему оставался неподвижен, даже в полутьме, при неверном свете дворового висячего фонаря стало заметно, что он побледнел. Я все надеялся, что сейчас кто-нибудь не выдержит, и выйдет в круг, и одернет Савку, но никто не выходил.

— Играй, падла! — вдруг закричал Савка, с ним так случилось, пена выступала у него на губах, и трясти его начинала та неведомая сила, которая вселилась в него в тот момент, когда разорвалась рядом с ним в развалинах дома немецкая фугаска.— Играй, сука, а то я щас всю твою фисгармонию раскурочу к ядрене матери!

Закричали женщины, и уже кто-то из мужчин бросился к Савке, чтобы унять его, схватить за руки, но не

тут-то было — он размахивал длинными, тяжелыми своими руками, он хрипел и выл, он готов был убить и сам умереть не боялся тоже, и это останавливало в недоумении самых смелых. Мне захотелось зареветь, убежать, спрятаться где-нибудь на чердаке или под лестницей, только бы не видеть этого унижения дорогих мне людей. Дядя встал, неожиданно легко снял с плеча инструмент и так же неожиданно небрежно брякнул его на скамейку.

Даже если совсем чужого человека при мне били, я потом месяцами не мог забыть его лица, часто бегал по улице, стараясь убежать от самого себя куда-нибудь, и во сне дергался. Дядя Митя подошел к Савке, он был ниже почти на голову, и я зажмурился, чтобы не видеть, как тяжелый Савкин кулак опрокинет его на асфальт.

— Ударить не знаешь куда? — не своим, совсем не тем голосом, каким только что пел, хрипло спросил дядя Митя. — На вот, сюда бей. Верно будет. Меня сюда уже били. Из батальонного миномета, всего только двадцать осколков сидит.

Раздался странный треск, и я открыл глаза. Дядя стоял перед Савкой, и грудь его была распахнута. Это он сам рванул у себя на груди рубашку так, что с визгом полетели пуговицы, и галстук лопнул с немного надрывным, тоскливым звуком. Лицо у дяди Мити стало совсем не такое, как дома во время выпивки и закуски. Я никогда не был на войне и потому не видел, как выглядят люди, решившиеся на все до конца, до самой смерти, — теперь я думаю, что у дяди было тогда как раз такое лицо.

Савка вдруг обмяк и опустил бессильно свои огромные руки. Потом он повернулся и побрел домой в свой полуподвал, выходящий окном в закоулок. Глядя ему в спину, я впервые почувствовал тогда, что он и впрямь инвалид.

А дядя стоял в растерзанной на груди рубашке, и не было на лице его никакого торжества и никакой победы. Он попытался застегнуть воротник, но пуговицы оборвались, и тогда он, поеживаясь, запахнул поглубже отвернутые борта пиджака.

Я узнал в тот вечер, что его окоп накрыла немецкая мина и осколки изрешетили дядю — он почти год пролежал в госпиталях, его несколько раз оперировали и вытащили все, что смогли вытащить, а что не смогли, оставили. Впрочем, некоторые осколки постепенно вы-

ходят наружу сами, с болью и неудобствами: человеческая плоть не уживается с ними и выталкивает их наружу.

А еще я понял в тот вечер, что смелость нерасчетлива и справедливость тоже. Если человек заступает за что-нибудь или за кого-нибудь только потому, что уверен в себе и ничем не рискует,— это не смелость, это обыкновенная бухгалтерия. Но бывают минуты, когда о последствиях думать некогда, точнее говоря, они, конечно, ясны, но раздумывать о них все равно не приходится, потому что надо вмешиваться теперь, немедленно, иначе все равно будет хуже, сам себя изведешь терзаниями и самоедством.

* * *

Дальнейшее повествование о дяде будет касаться порой событий, свидетелем которых я не был, да и не мог быть. Однако я позволю себе сохранить все тот же тон непосредственного участия, для того чтобы не нарушить единство моего рассказа, к тому же я так много думал о перипетиях дядиной жизни, что иногда мне кажется, будто все они прошли на моих глазах. Даже те давние, довоенные, когда меня и на свете-то не было, а дядя был пионером в юнгштурмовке не по росту и в сатиновом галстуке, зашелкнутом оловянным значком.

Отец дяди, брат моей бабушки, служил до революции кучером у текстильных миллионеров Тарасовых. Их дом и поныне стоит в переулке в районе Кропоткинской — раньше это называлось Пречистенская часть,— в нем помещается теперь какое-то посольство. Когда проходишь мимо его прихотливой, словно из лилиевых стеблей, свитой решетки, во дворе видны старые липы и невысокие постройки, стильные, как и весь дом, украшенные весьма натуральными лошадиными головами. Теперь в этих постройках помещаются посольские «мерседесы», а некогда стояли там орловские рысаки, и отец дяди запрягал их по утрам в коляску английской работы и выезжал на солнечную Пречистенку. На козлах он сидел в английском высоком цилиндре, в коротком сюртуке с шелковыми отворотами, в сияющих сапогах, усы его были закручены в кольца, и в руке поскрипывал кожаный кнут. Семью свою отец дяди содержал в деревне и приезжал к ней только на пасху или на яблочный спас, в суконном городском костюме,

при часах с крупной, самоварного золота цепочкой. Есть за общий стол не садился, требовал, чтоб ему накрывали отдельно, затыкал за воротник целое полотенце, с чувством выпивал водки из граненой рюмки и степенно вытирал усы. После революции, когда подчеркивать свою принадлежность к высшему миру, хотя бы и на уровне конюшни, стало невыгодно, отец дяди перевез семью в Москву. Здесь, в подвале декадентского особняка, послужившего за годы революции и анархистским клубом, и коммуной художников лучисто-будущников, и райисполкомом, и появился на свет дядя. Был нэп, в булочных на углу Пречистенки продавали горячие белые булки, барышни ходили в круглых маленьких шляпках и пальто, называемых «сак», что по-французски значит «мешок». По переулкам на дутых шинах проезжали иногда лихачи, лошади у них выглядели почти как до войны, да и седоков они величали «ваше степенство». Отец дяди по-прежнему садился за стол в гордом одиночестве, за ворот сорочки без воротничка запихивал кухонное полотенце, вытирался им, когда пил чай подолгу, усы его развились, и щеки обрюзгли. Он служил теперь возчиком в частной фирме Белова, ходил зимой и летом в армяке и, выпив в трактире водки, осуждал новые порядки. Маленького Митю посылали иногда за отцом. Надо было добраться до Садового кольца, пересечь Смоленский рынок со всеми его соблазнами и опасностями и по Проточному переулку спуститься почти до самой Москвы-реки. Извозная контора М. Белова помещалась во дворе в первом, каменном этаже двухэтажного дома. А во втором этаже звякал блюдцами трактир «Лиссабон». Сам Митрофан Иванович Белов в русской рубашке сидел у окна и пил чай. Он был старообрядец и водки не признавал. Душу он отводил песней: под окном трактира, среди подвод и беловских битюгов стояли два уличных музыканта и по заказу Митрофана Ивановича исполняли «Не гулял с кистенем» или «Ах, зачем ты меня целовала». Один из музыкантов, седой приземистый еврей, играл на скрипке. Второй играл на тульской гармонии и пел, закидывая при этом голову и закатывая глаза так, что можно было подумать, будто он слепой. Голос у него был пронзительный и резкий. Однако он казался прекрасным, Митя забывал про строгое внушение обязательно дозваться отца и, замерев, слушал, как голос этот то взвизгивает в поднебесье, а то растворяется в звуках скрипки и гар-

мошки. Мите хотелось, чтобы это не прекращалось никогда. Он не замечал ни помойки, ни пенной конской лужи, он парил в эти минуты над всем этим миром, и над Москвой с ее куполами, с суматохой Смоленского рынка, и теми неизведанными далями, которые открывались за рекой и за Дорогомиловом. Потом певец умолкал, и наступала очередь скрипки. Ее мелодия казалась какой-то нездешней, незнакомой, она была вроде бы плясовой, веселой, а от нее вдруг хотелось плакать. Скрипач стоял, широко расставив короткие ноги, брюки с бахромой складками ложились на ботинки, потерявшие и форму, и цвет, голова его была не только склонена набок, но и упрямо набычена. Странная голова: невероятно лохматая и лысая одновременно. По бокам волосы были густы, словно проволочная щетка, которой в трактире моют кастрюли, а на макушке неожиданно краснела плешь — такое неразумное распределение волос само по себе казалось несправедливостью. К тому же плешь временами прямо на глазах делалась такой багровой, что становилось страшно. Когда музыка кончалась, сверху, из пухлой руки Митрофана Ивановича, мечтательно глядевшего куда-то вдаль, падал серебряный рубль. Он звенел о булыжник и подпрыгивал, скрипач, с трудом нагнувшись, старался его поймать, а гармонист принимался мелко-мелко кланяться, приговаривая при этом: «Чего еще прикажете, Митрофан Иванович, чего душе угодно?» — «Ту же», — чаще всего скупой, как и рубль, ронял Митрофан Иванович. Во вкусах он был постоянен.

Митя вспоминал об отце, поднимался по грязной трактирной лестнице во второй этаж и несмело входил в зал. Он не то чтобы боялся, а просто не любил пьяных. В трактире стоял чад — дым кухонный мешался с папиросным и чайным паром, бегали оторопевшие служающие с чайниками, шипящими сковородками и графинчиками на облупленных подносах. Отец, как всегда, сидел в углу, в компании людей, очень на него похожих. Они не были извозчиками, армяков не носили и все-таки очень подходили к отцу, может быть, потому, что мокрые их усы когда-то, несомненно, были нафиксатуарены и завиты, а обрюзгшие щеки подтянуты и ослепительно выбриты.

Перед отцом стояла рюмка недопитой водки, в руке он держал тяжелую вилку с наткнутым на нее соленым

рыжиком, отец потрясал вилкой, как учитель в школе указкой, и говорил:

— Ну ладно, моторы, я согласен, наркомы пущай ездют на моторах! Пущай трубят,— он попытался изобразить губами фанфарный гудок «линкольна»,— я не протестую, я всегда за! — Отец демонстративно, как на собрании, проголосовал вилкой.— Я за! Но мне-то что прикажете делать? Дрова возить, утильсырье собирать? У меня в конюшне рысаки стояли, по пять тыщ за штуку, барин Константин Константинович их в Париж на выставку вывозил, там толпы за ими ходили, за один показ можно было состояние нажить. Сиди себе в кафе, хлещи с мамзелями шампанское, а на твоих коней дивятся да тебе франки плотют. Вот так! А теперь у нас в конюшнях что? Что, я вас спрашиваю? А-а, не знаете. У нас нонче там прачечная коммунальная. Бабы свою коммуну организовали — пеленки да простыни стирают.— Гриб упал с вилки и шлепнулся в водочную лужицу на грязной клеенке. Мите сделалось смешно, он почему-то в который уже раз почувствовал острую, как зуд, охоту изобразить во дворе перед своей публикой всю здешнюю компанию — и Митрофана Ивановича, подперевшего бороду пухлым кулаком, и отца, размахивающего вилкой, и его друзей, мелких букмекеров с ипподрома, донашивающих допотопные котелки и целлулоидные порыжевшие воротнички. У Мити давно уже открылась такая способность — не злая, как можно было бы предположить, он не пародировал, не высмеивал, он просто изображал чужую походку, чужие жесты и, что поразительнее всего, чужое выражение лица. Когда дядя показывал, как учитель физики Леонид Моисеевич ставит опыты, можно было помереть от смеху. Потому что совершенно непонятно было, каким образом круглое простодушное дядино лицо делается похожим на вдохновенную орлиную физиономию физика, который, кстати, переживал во время опытов так, будто в эти мгновения совершал открытия Лавуазье, Гей-Люссака и Майкла Фарадея, вместе взятых. В детстве всегда необходимо чем-нибудь отличиться — это я знаю по себе,— дядя не был силачом и на футбольном поле особенно не блистал, поскольку уставал быстро, но товарищи его любили, потому что с ним было весело. Люди вообще любят веселых, особенно тех, чье веселье не цель, а средство, и если оно не за чужой счет. А дядя хоть и не упускал случая «изобразить», никогда не на-

ходил тут повода для злорадства, он и не помышлял о нем вовсе, он просто перевоплощался и получал при этом несказанное удовольствие, вроде того, которое охватывает человека в тот момент, когда он складно говорит на чужом языке.

— Ага,— заметил Митю его отец,— полюбуйтесь, господа-товарищи! Наследник явился! Раньше бы он кто был бы, а? Митька-подпасок или вот тут бы в трактире шестерил — подай стакан, принеси лимон, убирайся вон! А теперь юный пионер! Комиссар почти что. «Взвейтесь кострами» и все такое прочее... Газеты читает, будто барин, царствие ему за границей небесное. Кто Керзон, кто польские пань, кто Лига наций, все тебе объяснит...

— А как он мне свою веру в бога-господа нашего объяснит? — спросил приятель дядиного отца, человек с большим приплюснутым носом и насмешливыми глазами — про него ходили слухи, что раньше он был полицейским.— То есть по мне так дело это совсем похвальное. Но нешто юным пионерам — они ведь, как я понимаю, все равно как коммунисты кадетского возраста,— так вот разве им верить-то позволено? Это ведь все равно, как бы сказать, ересь. А за ересь и у коммунистов по головке не поглядят.

— А я и не верю вовсе,— сказал Митя.— Что я, старуха, что ли, чтобы молиться-то, лбом об пол стучать!

— Не верите,— тихо засмеялся бывший филер,— а в церковь зачем ходите? Третьего дня выхожу из храма после службы — я ведь что, я человек старого века, мне не зазорно молитву восславить, значит, выхожу это я из храма и кого же, позвольте, встречаю? Вот этого молодого человека, то есть, извините, конечно, юного пионера.

Митя смутился, потому что это была правда. Он действительно был позавчера в церкви, и в воскресенье был, и в то воскресенье, и в позато. Он не верил в бога и даже боялся его, нарисованного на стенах, боялся его темного вытянутого лица и пронзительных всевидящих глаз, каких никогда не бывает у людей. Но в церкви еще был хор, и рассказать о нем всеми известными ему словами дядя не мог, таких слов и не было вовсе, которыми можно было бы описать, что с ним происходит, что с ним делается, когда дьякон, словно бы отрекаясь от всего на свете, заводил глубоким и чистым басом «верую!» Хор подхватывал эти слова и то устремлялся вверх, под самый купол и даже выше, а то спускался к

самой земле, и тогда голоса звучали уже не в ушах, а как будто ударяли прямо в сердце. И Мите казалось, будто он раздваивается, будто какая-то его часть вместе с высокими голосами устремляется под купол, а другая вместе с голосами низкими врастает в землю, словно дерево. И еще ему казалось, что в эти минуты ему ничего не страшно, даже умереть.

— Я ведь галстук снимал, когда туда входил,— готовясь зареветь, сказал Митя.— Я его в портфель прятал.

* * *

Через несколько лет, когда началось строительство метро, церковь Вознесения, куда потихоньку заходил дядя Митя, закрыли и устроили там склад горного оборудования. Тишина пречистенских переулков нарушилась гудением здоровенных немецких грузовиков марки «бюсинг», над копрами метрошахт по ночам сияли яркие лампы, закрыли и снесли Смоленский рынок, и дбстославная фирма Митрофана Ивановича Белова прекратила свое недолгое существование, и битюги и возчики служили теперь в пятнадцатом транспортном тресте коммунхоза. А дядя Митя был теперь уже комсомольцем. Ходил в оранжевой футболке с черной вставкой на груди и с черной же шнуровкой, в диагоналевых брюках и скороходовских спортивных тапочках на резиновом ходу. Музыку он любил по-прежнему, и теперь, чтобы наслаждаться ею, вовсе не обязательно было снимать с груди кимовский значок и прятать его в карман. В красном уголке, в подвале огромного дома, бывшей гостиницы «Бристоль», а ныне общежития Наркомата тяжелой промышленности, стоял замечательный рояль, реkvизированный некогда в одном из окрестных особняков. Играли на нем нечасто — революционные песни во время больших праздников, бодрый аккомпанемент для пирамид по случаю МЮДа — Международного юношеского дня, да еще иногда танцы — шимми, чарльстон и входящий в моду фокстрот. Чаше всего рояль стоял без дела, закрытый чехлом, сшитым из старой портьеры.

Дядя Митя питал к роялю чувства, похожие на первое юношеское томление, в этом состоянии прикосновение к руке желанной женщины кажется событием, почти недостижимым, и счастьем, превышающим все человеческие надежды. Так и дядя даже вообразить себе не мог,

что своими корявыми, в ссадинах и царапинах мальчишескими пальцами сможет когда-либо коснуться клавиш. Но однажды днем он зашел в библиотеку красного уголка и увидел, что комната, где стоит рояль, незаперта. Быть может, она вообще никогда не запиралась на особый замок, но дяде это представилось чудом, таящим в себе особый смысл, предзнаменованием, указанием судьбы. Он подошел к роялю, робко, не доверяя самому себе, отдернул пыльный бархатный чехол и поднял крышку. Тускло сверкнули золотые немецкие буквы: «Bluther»,— разобрал дядя. Он не знал тогда, что это одна из самых знаменитых на свете фортепианных фирм, но в самих звуках ее названия услышал отголоски какого-то иного мира, полного сияния огромных люстр, прекрасных женщин и каких-то особых, еще не испытанных им чувств. Митя тронул клавиши. Он и не подозревал еще, что у него, рожденного в подвале особняка, в котором буянили анархисты, в страшную ледяную зиму рожденного, когда по городу ползли слухи о «попрыгунчиках» и с наступлением темноты никто носа на улицу не высовывал, у него, перестрадавшего рахитом, лопавшего пустую тюрю с черным хлебом и луком, выросшего во дворе среди песка да на булыжной мостовой,— именно у него окажется изумительный музыкальный слух. Он просто тронул клавиши. И сразу понял, что это как раз то, чего ему хочется больше всего в жизни.

Дядя приходил в красный уголок каждый день. Он не учился играть на рояле, так же как не учился, например, дышать, как птица не учится петь. Он просто играл, как будто делал это всю жизнь. Играл все, что знал: и песни, которыми жила эпоха, и романсы, которыми отводила душу не сразу поспевавшая за эпохой улица, и танцы, служившие между двумя этими понятиями компромиссом. Но чаще он просто отдавался чудесному чувству полной свободы и раскованности, которое словно бы само, без всякого участия воли, водило его пальцами по клавиатуре. Дядя не знал, наверное, что такое музицирование называется импровизацией, самому ему оно представлялось полетом, долгим и счастливым, как во сне, преодолением земного тяготения, о котором рассказывал когда-то учитель физики Леонид Моисеевич.

Это дядино счастье кончилось, как и всякое счастье, совершенно неожиданно. Комиссия Наркомпроса, занимавшаяся учетом и распределением культурных ценностей, узнала каким-то образом о том, какой замечатель-

ный инструмент прозябает в небрежении в захудалом красном уголке домоуправления. Рояль забрали, что было, откровенно говоря, совершенно справедливо с исторической точки зрения, однако в частной дядиной судьбе может рассматриваться как заметная неудача. Так случилось, что за инструментом приехали как раз в тот момент, когда дядя Митя совершал один из самых вдохновенных полетов. Вместе с грузчиками в комнату вошёл хорошо одетый толстый человек в пенсне, похожий на популярного в те годы артиста Горюнова. Его сопровождал управдом в традиционной для людей этой профессии полувоенной одежде. По-видимому, толстый человек был каким-то весьма важным музыкальным лицом, потому что управдом всячески перед ним суетился, повторяя все время «сохранность идеальная», и, увидев за роялем Митю, в сердцах даже ткнул его в бок парусиновым большим портфелем, как бы сокрушаясь по поводу того, что к такой реликвии прикасаются грубые руки непосвященных. Между прочим, этот самый управдом, как рассказывал потом дядя, сам много раз намеревался выменять рояль на кровельное железо. Толстый человек брезгливо сбросил с инструмента чехол, обежал рояль вокруг, как будто бы даже принохиваясь к нему, несколько раз потер крышку рукавом дорогого пиджака, сел на стул, подышал на золотые буквы знаменитой фирмы и потом уже положил свои короткопалые кисти на клавиши.

Дядя Митя сразу понял, что это артист. Не шишка, не начальник, не ответственный работник, не лицо, важное во всех отношениях, но именно артист. Через несколько лет дядя узнал, что в красном уголке этот человек в пенсне играл этюд Шопена. А тогда он только слышал музыку, которая напоминала ему о весне в арбатских переулках, о капели, стучащей на солнцепеке по темнеющему льду, о сосульках, с грохотом и стеклянным звоном вылетающих из жерл водосточных труб, о ветре, навевающим неосознанные, неясные обещания счастья.

— Поразительно,— сказал артист.— Поразительно, что инструмент не потерял звучания... за все эти годы,— он с укоризной посмотрел на Митю, словно все это время тот играл на рояле в карты, бухал по клавишам пьяными кулаками, извлекая из драгоценных струн какую-нибудь идиотскую разухабистую польку. Дядя не обиделся, он понял только, что его музыкальным вече-

рам пришел конец. Он даже не предполагал, что рояль станет для него таким дорогим и необходимым. И он, преодолевая смущение и боязнь, что ему откажут, попросил разрешения в последний раз сесть к роялю.

— Конечно, конечно, ради бога,— заторопился музыкант, похожий на артиста Горюнова, словно извиняясь за свой прошлый подозрительный взгляд.

Дядя Митя набрался духу и заиграл ту же пьесу, какую только что исполнил артист. Он вовсе не намеревался демонстрировать чудеса своей памяти, никто ведь не знал к тому же, что ему эта музыка десять минут назад была неизвестна, он просто хотел проверить, появится ли оно вновь, это ощущение весны, это предчувствие совершенно иной, полной событий и встреч жизни.

— Вам бы учиться надо,— сказал музыкант, внимательно и вроде бы грустно глядя на дядю. Из-за маленьких, но толстых, почти кубических стеклышек пенсне этот взгляд казался физически ощутимым.— Вам давно уже надо было учиться,— добавил он и сжал то ли многозначительно, то ли огорчительно губы.

Я понимаю, что в силу наивной, но по-человечески понятной традиции, в корне которой таится вера в справедливость счастливых метаморфоз, в то, что гадкие утята превращаются в прекрасных лебедей, а иванушки-дурачки в иванов-царевичей, надо бы написать о том, что с момента этой достопамятной встречи жизнь дяди Мити потекла по-иному. Не потекла. Все в ней осталось по-прежнему, из дяди Мити не вышел ни вундеркинд Буся Гольдштейн, ни образцово-показательный студент консерватории, пришедший в фортепианный класс прямо из ФЗО. Дядя Митя мог бы записаться в самостоятельный оркестр при каком-нибудь профсоюзном клубе, но его удерживала память о том, что, по-видимому, навсегда ушло из его жизни, о тех вечерах, когда он сидел за роялем, когда музыка отрывала его от земли и он чувствовал, что может все, чего бы ни захотел, но самое чудесное в том и состояло, что ничего он не хотел, потому что все у него в этот момент было: свобода и легкое, бестревожное сердце,— словом, как раз то, что поэт называл заменой счастию.

* * *

На двадцать третье июня 1941 года у дяди была назначена премьера. В спектакле Московского театра оперетты «Свадьба в Малиновке» он, как говорят ар-

тисты, «вводился» на роль Яшки-артиллериста. Руководил этим вводом сам Григорий Маркович Ярон, который очень любил дядю и заметил его еще на втором курсе ГИТИСа. Да, дядя после окончания ГИТИСа поступил в Театр оперетты и тем примирил обе страсти своей жизни — любовь к музыке и к лицедейству. А вернее сказать, нашел точку приложения главной потребности своей души, которая заключалась в том, чтобы веселить людей. У дяди это стремление было абсолютно бескорыстным, иными словами, он вовсе не рассчитывал добиться с помощью своего дара каких-либо особых благ — славы остроумца, чьего-либо расположения или всеобщих симпатий, какие сопровождаются зримыми знаками восхищения и восторга. Одна корысть, впрочем, несомненно, чувствовалась, если только можно назвать эту слабость корыстью, в конце концов, что же это за творчество, в котором нет никакого личного интереса — дяде нравилось ощущать, как по его воле, однако без какого бы то ни было принуждения или навязывания менялось на его глазах настроение зала. Вот он выходит на сцену, никому не известный студент театрального института, в белой рубашечке апаш, если лето, а если зима, то в аккуратном двубортном костюме, перелицованном из отцовского, — кто заметит. Быть может, до него выступала певица и имела грандиозный успех, ему это не страшно, будь это хоть сама Барсова. Быть может, перед ним выступала балетная пара, или популярный по пластинкам джаз-гол, или чечеточники, загримированные неграми, — дядя Митя не придавал этому особого значения. Он знал, что сейчас он подойдет к рампе и, не стесняясь, посмотрит прямо в зал. В первые ряды. И даже прямо в глаза кому-нибудь из первых рядов, какому-нибудь солидному гражданину или вот этой милой девушке с косо подрезанной прядью волос на нежной щеке. В обыденной простой жизни у него никогда не хватило бы на это смелости, а теперь пожалуйста, теперь ему даже в голову не приходит сознание будничной своей нерешительности, он решил на все и готов ко всему, потому что он артист и он свободен. Так вот, он выбирает себе в зале зрителя, смотрит ему прямо в глаза, будто собирается сообщить ему нечто чрезвычайно важное, только их двоих касающееся, и молчит. Долго молчит: пять секунд, десять, двадцать — в обыденной жизни это время равно многим минутам. Молчит, как будто бы забыл сам способ произносить

слова, и мучительно вспоминает про себя, каким образом следует поворачивать язык. А глаза его в эти мгновения выражают все то, что должны произнести губы, и одновременно еще что-то, что неуловимо, но точно намекает: «Так, так, вы думаете, я недотепа, неудачник, растяпа,— ради бога, мне не обидно, мне не жалко, я подожду секундочку...» И тут в зале возникает смех — сначала разрозненный и вроде бы случайный, а потом дружный, переходящий в неуправляемый, счастливый и залихватский хохот. А дядя Митя стоит, прислушиваясь к оттенкам смеха, потому что как для живописца не существует просто черного цвета, а есть десятки его полутонов, так и для человека, привыкшего веселить людей, смех всякий раз звучит по-разному. Так вот дядя Митя слушает, как изнемогает от хохота зал, и чувствует себя в этот момент наверху блаженства оттого, что дана ему такая легкая и счастливая власть над людьми. Он испытал ее впервые в полной мере в тот майский теплый день, когда записался в ГИТИС на приемные экзамены. По правде сказать, дядя Митя не питал особых честолюбивых надежд. Он, конечно, догадывался смутно о своих способностях, однако никак не соотносил эти догадки с вероятностью вполне официального признания. И с перспективами собственной жизни тоже. Он был счастлив, когда выходил на сцену, а разве из счастья можно делать профессию? В театральный институт дядя Митя притащился из солидарности со своим приятелем Димой Пуртовым. Дима считал себя неотразимым красавцем, богемным, бесшабашным человеком, гусаром, цыганом, Мамонтом Дальским, на вечеринках, не дожидаясь просьб, декламировал трагические монологи, шепота переходил на крик и при этом непременно швырял через всю комнату что-нибудь подвернувшееся под руку: стул, табуретку или диванную подушку. К концу вечера, отдышавшись, он смущенно извинялся расслабленным голосом:

— Вы же знаете мой темперамент...

В большой комнате с низким сводчатым потолком стоял длинный стол, накрытый зеленым тяжелым бархатом. «Старый занавес пристроили», — неизвестно почему практически подумал дядя Митя. В центре стола поместились члены комиссии — пожилые люди с неуловимо знакомыми холеными лицами. Одно лицо казалось приветливым, другое непроницаемо серьезным, третье — насмешливым, однако и приветливость, и солидность, и

ирония выглядели преувеличенными и слегка нарочитыми. По краям стола расположились живописными группами молодые люди, надо думать, студийцы выпускного курса.

— У вас большая голова,— сказала дяде сухонькая невысокая женщина, окинув его пронзительными и придирчивыми глазами гимназической классной дамы.

— Совершенно верно,— согласился дядя и догадался, что дама эта, судя по решительной бестактности,— председатель приемной комиссии.

— К тому же вы маленького роста.

— Что ж поделаешь,— развел руками дядя.

— Сколько в вас? Я думаю, не больше метра пятидесяти...

Дядя Митя впервые попытался возразить:

— Метр семьдесят.

— Что вы мне говорите? — возмутилась председательница.— Я же ясно вижу — метр пятьдесят.

Вероятно, у дяди был очень растерянный вид, потому что одна из студийек, маленькая хорошенькая травести, подбежала к нему, сбросила, не колеблясь, туфли на высоком каблуке и без церемоний прижалась спиной к дядиной спине. Она оказалась немного ниже дяди и, привстав на цыпочки, весело закричала:

— Он правду говорит, в нем есть метр семьдесят!

Строгая дама поморщилась, а все засмеялись. Покинутый прелестной выпускницей, дядя чувствовал себя очень неуверенно.

— Ну хорошо, дорогой мой,— чудесным московским голосом, слегка затягивая гласные, словно эхом откликаясь на собственные слова, произнес приветливый член комиссии,— сыграйте-ка вы нам этюд. Ну вот такой хотя бы... Вообразите, что за дверью в коридоре или какой-нибудь комнате, бог его знает, занялся пожар. Вот вы войдите оттуда и сообщите нам об этом...

Дядя послушно кивнул головой и попятился к двери. В коридоре он перевел дух и понял, почему его даже не попросили прочесть басню или прозаический отрывок. Если на этюде он провалится, его тут же попросят выйти вон. Он подумал, что все, кому приходится играть этот этюд, наверняка утрируют драматические обстоятельства, пугают комиссию, стараются ее ошеломить, оглушить, заразить паникой. Дядя Митя ничего этого не хотел. Он потихоньку отворил высокую дверь и деликатно, стараясь не шуметь и не топтать, переступил порог.

Сделав несколько неверных шагов, дядя Митя замер. Он раскрыл было рот, но потом словно испугался собственной дерзости, словно проглотил с трудом уже вертевшиеся на кончике языка слова и устремил свой униженный взор, полный тем не менее отчаянного ускользающего благородства, на членов комиссии и студийцев.

Студийцы не выдержали первыми и рассмеялись сдавленно, неуверенно, стесняясь своей несдержанности. Но дяде Мите этот полузапретный смех придал сил. Он все теми же заплетающимися неверными ногами, но с выражением безумной смелости приблизился с неожиданной скоростью к столу и, как за стойку в трамвае, чтобы не упасть во время толчка, с ходу ухватился за горлышко высокого графина.

Смех уже не умолкал, хотя и негромкий; дядя выдернул из горлышка тяжелую пробку и, с трудом наклонив графин, нацедил в граненый стакан воды. Потом он взял стакан и на цыпочках, будто опасаясь кого-нибудь разбудить, устремился к двери. На полпути он вспомнил что-то и прежним закливающим и вместе с тем самоотверженным взглядом посмотрел на присутствующих. На фоне общего негромкого смеха раздались странные фыркающие звуки. Это, изо всех сил сохраняя непроницаемую мину, смеялась председательница комиссии.

Дядя Митя хотел было идти дальше, но внезапно обернулся, поглядел с тоской на дрожащий в руке стакан, потом на комиссию и виноватым, убитым голосом, словно разом признаваясь во всех своих грехах и недостатках и в то же время не желая никого обеспокоить таким отчаянным признанием, произнес:

— Пожар...— И вновь с надеждой уставился на стакан кипяченой, тепловатой воды.

Внимая уже ничем не сдержанному, неприлично веселому, вовсе не экзаменационному хохоту, дядя Митя совершенно спокойно подумал о том, что в институт его примут.

Двадцать второго июня дядя проснулся поздно. Григорий Маркович Ярон накануне объяснил ему, что перед премьерой он обязан развеяться. Дядя Митя пошел в субботу в парк ЦДКА, там выступал львовский джаз-оркестр под управлением Эдди Рознера. Программу вел изысканный, элегантный по-польски чуть более, чем нужно, Казимеж Круковский. Юмор его был немножко старомодный, фрачный, правда, во фраке этом в свете не покажется, он скорее ресторанный, «кабаретовый»,

опять-таки с некоторым очевидным перебором. Но дяде конференс нравился, потому что на дне каждой шутки оставалось немного горечи, без которой юмор всегда делается обыкновенным зубоскальством. И певцы дяде понравились — то ли легким шипящим акцентом, то ли все той же горечью, без которой и лирика не лирика, а просто слюняйство, но было в их манере нечто такое, что тронуло дядю за сердце. Он вернулся домой теплыми переулками, напевая слегка наивное танго со смешными для русского уха словами «Ты жучишь мне...». Во дворе он посидел на лавочке с ребятами, ночь была изумительная, уже слегка розовело небо на востоке, идти спать не хотелось. Ребята собирались утром на Фили купаться и звали дядю, но он отказывался, потому что на послезавтра в летнем театре сада «Эрмитаж» у него была назначена премьера и он боялся простудиться и не дай бог потерять голос. Двадцать второго дядя Митя встал с постели в первом часу дня. Нехорошее ощущение было у него на душе, и он удивлялся этому, потому что вчерашний вечер прошел чудесно, и на волнение перед завтрашним спектаклем это предчувствие тоже не походило. Ему хорошо было знакомо легкое томление, которое по мере приближения того момента, когда пора выходить на сцену, делается все сильнее, но одновременно и приятнее. Сейчас было что-то другое. Дядя выпил молока с черным хлебом и пошел на улицу. Стоял жаркий воскресный день, обычно в такое время засыпанные тополиным пухом переулки бывают провинциально пусты. Теперь они были странно полны народу. Непонятная тревога на душе усилилась. Однако у дома своей бывшей одноклассницы Лели Глан дядя вроде бы успокоился. Он очень любил этот дом — настоящий ампирный особняк с двумя наивно-грозными львами при входе. И окна большой комнаты, которую занимала Лелина семья, тоже любил, особенно теперь, летом. Высокие рамы растворены, и прекрасная старомодная занавеска из белого тюля то и дело выдувается сквозняком наружу. Эти окна были на уровне дядиного подбородка, и за это он их тоже любил — можно было подойти поближе и заглянуть внутрь, в большую комнату, пахнущую книгами, цветами и лекарствами, — Лелин папа был провизором в аптеке на Кропоткинской. Эта комната была заставлена старинной мебелью, очень потертой уже и от этого особенно уютной, как ни странно. А кафельная белая печь в углу с начищенной медной

отдушиной даже летом влекла к себе дядю — в детстве он часто мерз и, когда приходил к Леле, то всегда как бы невзначай прислонялся спиной к теплому кафелю. У многих из нас случалась в жизни такая комната или квартира, являться куда было необыкновенно радостно, потому что там открывался нам мир, совершенно отличный от нашего собственного ежедневного бытия, мир, в котором царили какие-то высшие интересы, связанные с чтением, с музыкой, с жизнью прошлых веков и далеких стран, и где даже будничные заботы о хлебе насущном и какие-нибудь вечерние чай с сухарями превращались в романтические обряды при свете зеленой лампы. Мы бывали счастливы в этих комнатах и квартирах и хотели лишь одного, чтобы нам как можно дольше разрешили здесь остаться, в этом кругу, где возможны переживания и чувства, известные нам только по книгам. И если в нашей жизни, по крайней мере в жизни нашего духа, произошло с годами что-либо серьезное и незаурядное, если удалось нам возвыситься в некоторой степени над прошлым своим рабством, то заслуга в этом — изначальная, определяющая — не университетов и не академических библиотек с колоннадами в читальных залах, а вот этих вот комнат или квартир, куда нам так радостно было приходиться.

Дядя хотел пригласить Лелю на завтрашний спектакль. Леля любила Скрябина и Дебюсси, но, вся в мать, была человеком широким и находила, что в хорошей оперетке тоже есть свое «брио». Дядя французскому не учился, но понимал, что речь идет об особом сценическом блеске и элегантности. Он привстал на цыпочки и, сознавая в который уж раз свою нескромность, заглянул в окно. Леля и ее мама, бывшая красавица из разорившейся польской фамилии, стояли у стола, покрытого ковровой старой скатертью, — по-видимому, они собирались пить чай, но так и не присели, а словно застыли, подняв и повернув странным образом головы. Дядя почти подпрыгнул и понял, что взгляды их устремлены к черной картонной тарелке радио, висящей у дверной притолоки.

— Цветок душистых прерий, — пропел Митя начало арии совсем не из своего репертуара. Леля вздрогнула, обернулась и посмотрела на него. И он сразу же понял, что этот взгляд он уже не забудет никогда в жизни, сколько бы ему ни выпало еще обременять эту землю.

— Оперетта,— сказала Леля,— каскад и канкан, а в Минске уже людей убивают.

Весь следующий вечер во время спектакля дядя повторял про себя эти Лелины слова. А когда не повторял, они звучали у него в ушах, произнесенные Лелиным голосом. Он не имел в тот вечер успеха, откровенно говоря, и радовался этому. Если бы он имел успех, если бы его вызывали на «бис» и забрасывали цветами, получилось бы, что Леля не права. А он был уверен, что она права совершенно. И только спустя полгода впервые усомнился в этом. Но тогда, вечером, после своей премьеры, дядя Митя почтительно попрощался со всеми товарищами, впервые не на сцене, а в жизни поцеловав руку примадонне. Он уже знал, что утром направится на Метростроевскую в военкомат.

* * *

Когда дождливым июльским вечером эшелон покидал Москву, дядя и все его товарищи находились в полной уверенности, что повезут их поближе к фронту, на запад. Ну и что ж, что отправлялись с Павелецкого, у войны свои расписания и маршруты. Красноармейских песен они еще как следует не знали, а потому пели «Утро красит нежным светом» и «Если завтра война». Между тем везли их на восток. Уже начиналась потихоньку эвакуация крупных заводов на восток страны, и солдаты необходимы сделались не только для боя, но и для стройки. Их привезли на Средний Урал, где была сплошная, не сравнимая ни с чем тайга, какую они, парни с Зацепы и Пироговки, даже в кино не видавали. Наверное, это самый прекрасный и благородный лес в мире, но горожанину он кажется таким не более недели. Дядя Митя вымотался на лесоповале, потому что сроду не был выносливым и чересчур сильным, но еще больше, чем усталость, давила его столь ценяемая поэтами глушь. Он тосковал по Москве, по своим переулкам, по трамвайной давке, по сиянию театральных залов, к которому уже успел привыкнуть. Зима пришла рано вместе со страшными слухами о Москве, из теплой одежды у них были только ватники, да и то не у каждого, и дядя Митя замерзал. Никогда в жизни, ни раньше, ни потом, он не мерз до такой степени — коченели уже не руки и ноги, а все внутри, казалось, что в груди

не сердце, а тяжкий ледяной комок, причиняющий тупую, тягучую боль.

В конце декабря батальон, в котором служил дядя, перебросили на новое место. Транспорта не было, они шли пешком по узкой лесной дороге, вовсе не соблюдая строя, растянувшись почти на версту. От мороза было трудно дышать, ярчайшее и совершенно ледяное солнце слепило глаза. От солнца ли, или от холода дядино лицо заливали слезы, он не успевал их стирать окаменевшей варежкой, они застывали, и мир сквозь них делался причудливо-нереален. В один миг дядя ощутил странную, подступающую к сердцу пустоту, сознание покинуло его ровно на секунду, так в театре по ходу спектакля на мгновение «вырубается», а потом с еще большей силой вспыхивает свет. Это состояние повторилось несколько раз, и дядя Митя, чтобы удержаться на ногах, остановился и припал грудью к мерзлomu стволу сосны. Он не знал, сколько времени простоял вот так, он только почувствовал, что губы его сделались солеными, и увидел, как на снегу перед ним, на ослепительно белом и легком морозном снегу, возникло вдруг и расплылось алое пятно. Потом их стало много, этих пятен, он замороженно смотрел на их нежные оттенки, пока не догадался, что это его кровь.

Дядя набрал окоченевшими пальцами горсть сыпучего снега и положил его себе на переносицу. Он принялся догонять колонну неверными шагами, запрокинув голову, словно слепец. Время от времени он опускался на корточки за горстью свежего снега, а окровавленный бросал, потому по всей лесной дороге за колонной тянулся почти непрерывный алый след.

К вечеру они дотащились до маленького, утонувшего в сугробах городка. И только тут, в теплой вони бывшего лабаза, превращенного в казарму, вспомнили, что через несколько часов Новый год.

Свободных отпустили на вечер в железнодорожный клуб. Он был набит битком, в проходах и возле сцены сидели прямо на полу. Пахло махоркой, потом, грязным бельем. От неожиданного тепла слипались глаза, многие засыпали. Девушки из местной самодеятельности с наивным и глуповатым пафосом читали стихи Гусева и Лебедева-Кумача. Эвакуированный артист, по виду тапер из московского или ленинградского театра, на расстроенном пианино играл Брамса и Дунаевского. Дядя Митя еще никогда не видел, чтобы зал, перепол-

ненный, как трамвай «аннушка», был так безучастен и равнодушен ко всему, что происходит на сцене. Он мог ждать чего угодно: гогота, реплик, простодушной похабщины, но это равнодушие пугало. Оно говорило о страшной усталости и неизбывной тоске, которую не в силах даже на минуту рассеять этот концерт, хоть и дуррацкий и все же напоминающий о нормальной мирной жизни. Дядя Митя не принимал никаких решений, его решение само родилось в нем и подкатило к сердцу, как дурнота несколько часов тому назад. Он встал и, окончательно не осознавая своего поступка, стал пробираться к сцене. Было невозможно не наступить на чью-либо ногу или хотя бы полу шинели, всякий раз дядя морщился при этом, как от боли, и все время извинялся — направо и налево. Никто не понимал, чего он хочет и куда стремится, и потому дядю негромко материли и один раз даже съездили по спине. Он не обиделся. Он давно понял, что в его профессии обижаться можно только на самого себя. Публика никогда не виновата.

Дядя Митя вскарабкался на сцену. Ведущая — девушка в форменном платье телеграфистки и с гимназическим отложным воротником — при виде карабкающегося на сцену солдата испугалась и растерянно заморгала некрасивыми маленькими глазами. Дядя успокоил ее уверенным и ласковым прикосновением руки. Потом он повернулся лицом к залу и застыл как ни в чем не бывало почти по стойке «смирно» — только вот ноги в обмотках и корявых ботинках были поставлены немного кривовато, только руки, короткие из-за длинных рукавов шинели, были немного растопырены, только на лице застыло едва заметное (только потому что застыло) выражение неуверенности и недоумения. Да, это был прием, испытанный много раз, однако не мертвый, не превратившийся в схему или штамп, в нем отразился тот смущенный испуг обывателя перед техникой, перед всем грохотом и напором новой жизни, то ошеломление, которое дядя столько раз наблюдал на московских рынках, в переулках и во дворах. Прошло двадцать секунд, тридцать, сорок... Робкий смешок, даже несовместимый с обликом здешней публики, прозвучал в зале. Потом он сделался громче и смелее, потом послышался первый раскат хохота. И точно в тот момент, когда он стих, в ту самую минутную паузу между первым и вторым взрывом смеха, дядя произнес первую фразу:

— Вот, говорят, в Америке бани хорошие. Не знаю.

Не думаю.— Он был уже спокоен. Почти спокоен. Потому что полного спокойствия — это он тоже давно понял — на сцене быть не может. Он произносил зощенковские знаменитые фразы с такой естественной простотой, словно бы они только что приходили ему на ум, и от этого, от того, что дистанция между автором и артистом была минимальная, почти каждое слово вызывало хохот. Это очень радовало дядю — он видел, как осмысленными и радостными становились лица, еще минуты две назад погруженные в тоскливое равнодушное оцепенение, он видел, как теплеют и искрятся глаза, за мгновение до этого тусклые и безразличные. И дядя сам уже не помнил о своей заплетающей ноги усталости, и про обмороки он уже забыл, и даже собственная кровь на морозном снегу виделась теперь как воспоминание давних, может быть, детских лет — он был теперь здоров, бодр и счастлив. Он чувствовал в себе неистощимые силы и готов был петь, танцевать, сыграть «Сильву» в концертном исполнении за всех персонажей сразу, включая примадонн и красоток кабаре.

Зал не напоминал больше унылый эвакуопункт, он ничем существенным, если не обращать внимания на форму зрителей, не отличался от беспечного московского «Эрмитажа» — такой же стоял хохот, и аплодисменты гремели так же, и дяде даже казалось, что запах цветущих лип доносится с улицы. Он и сам себе, как всегда бывает в моменты полного успеха, казался всемогущим, красивым, изящным необыкновенно — такова уж актерская природа. А впрочем, может, так оно и было, может, дядя и вправду был в те минуты красив и ловок, ведь всемогущ он действительно был — кто еще смог бы в одну минуту вернуть людям вкус к жизни. К тому же красота не такое уж внешнее свойство, как принято думать, — человек очень часто и в чужих глазах выглядит именно так, как в своих собственных, впрочем, в случае с дядей все было как раз наоборот. Ведь красноармейцы, усевшиеся на дощатом грязном полу станционного клуба, видели перед собой не малорослого солдата в слишком большой шинели и ботинках, тоже слишком больших. Нет, они видели легкого в движениях молодого артиста, который, откинув полу шинели, внезапно садился и, аккомпанируя себе самому, пел приятным тенором какую-то незнакомую, жутко красивую песню, в которой были такие слова: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..» И каждому из тех, кто

пристроился на лавке или на полу, действительно хотелось, хотя бы в мыслях, спросить кое-кого, кто остался дома, в той почти сказочной теперь жизни,— этими вон непривычно красивыми и душевными словами: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» А парень на сцене, едва отшумели аплодисменты, вновь пробежал быстрыми своими пальцами по клавишам невзрачного пианино и, посмотрев в зал внимательно и сердечно, пропел: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Почему-то от простых этих слов, и от музыки этой, и от голоса певца приходили на память майские вечера, тополиный пух на асфальте, пар над рекой, лодки, скользящие на воде под свежей листвой низко склоненных над рекой ив и берез. Почему-то никому совершенно не казалось удивительным, откуда это у парня из саперного батальона открылись такие таланты. Все будто забыли, что дядя Митя — один из них, и вспомнили об этом только в ту минуту, когда тихо заиграл он вдруг знакомую всем мелодию «гоп со смычком» и, подмигнув присутствующим, запел здешние, в батальоне сочиненные куплеты про Гитлера и Риббентропа. Не ахти, конечно, какие складные, но ничего, зато крепкие. Впрочем, самые как раз забористые места дядя пропускал. Но так выразительно пропускал, что все было понятно, хотя и придраться в то же время было не к чему.

Дядю не хотели отпускать. Просили песен. И танцев тоже, и художественного чтения. Жаловаться не приходилось, он сам пробудил в людях эту душевную жажду, и утолить ее, кроме него, было некому. Один пожилой уже боец из второго ряда чуть ли не умолял, ерзая от нетерпения, как мальчик: «Друг, будь человеком, а? Выдай эту самую, ну, как ее, про пирожные... про баб, которые аристократки...»

Дядя выдал «Аристократку». Требовали песен, и он, забрасывая голову, словно записной тенор из русского хора, выводил: «Пожалей, душа-зазнобушка...», и был при этом счастлив, как в детстве, когда посреди двора по какому-то непонятному наитию вдруг устраивал представления для своих оборванных приятелей-беспризорников и для нянек из богатых нэпманских семей.

Дядя Митя читал Есенина «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет...». Он знал, что в зале сейчас плачут. Ему самому хотелось плакать блаженными слезами, от которых в груди тает ледяной ко-

мок тоски и неприютности. Чтобы удержаться, он опять подбежал к пианино и сам себе проиграл несложный, за душу берущий заход «Цыганочки». Классической московской «Цыганочки», школу которой проходят в подворотнях и подъездах, бессмертной «Цыганочки», озявшей собой и свадьбы, и первомайские вечера в переулках, и томление первой любви, и боль разлук. Дядя Митя неожиданно подумал, что артистом он стал сегодня. Только сегодня он впервые не просто смешил и не просто ублажал, он взял на себя ту ответственность, без которой не бывает искусства. Ответственность за все, что только творится в мире. И в человеческой душе.

На него смотрели сотни глаз, воспаленных, покрасневших, слезящихся, и было в них такое немое обожание, такая простодушная радость, что лучше было умереть на этой паршивой, скрипучей сцене, задохнуться во время пляски, ощутить, как обрывается в груди какая-то главная струна и слова застревают в горле,— только бы не обмануть этого бесконечного доверия.

Наступал Новый год, и нельзя было поручиться, что для многих в этом зале он не окажется последним. Даже наоборот, очевидно было, что ничего веселого от грядущего календаря ждать не приходится. Легкие надежды давно развеялись, и одно только воспоминание о них раздражало. Слишком уж безоблачными были довоенные праздники с их плакатами и песнями о непобедимости и неодолимости. Они, может, и не врал, эти плакаты, только вот, глядя на них, решительно невозможно было уразуметь, в чем же она заключена, эта самая неодолимость. Лишь в эту минуту дяде сделалось понятно — в чем. Она в том, например, что нельзя отказаться от своих песен. Ни за какие блага и ни под каким страхом. И слова, которые тебя смешили и отводили тебе душу, невозможно забыть. А ради тех слов, от которых сжималось у тебя сердце и морозный озноб пробегал по спине, вообще ничего на свете не жалко. Потому что, если их не будет, не будет и Родины, и вообще ничего не будет.

Потому что без этих слов и жить-то не надо.

* * *

Военная биография дяди мне мало известна. Чинов заметных он не выслужил, медалей и орденов получил немного — не более того стандартного набора, который

есть у любого фронтовика. И даже не фронтовика, а безупречного труженика тыла. Но дело, я думаю, вовсе не в том, что у дяди Мити не хватало героизма и отваги — это все дурацкие послевоенные рассуждения, как будто бы и отвага на войне — это что-то вроде находчивости в КВН. Хватило — заработаешь очко, не хватило — привет родителям. Просто даже в футболе не всем дано забивать голы, а между тем самый удачливый бомбардир не может обойтись без добросовестных и трудолюбивых партнеров. Вот и дядя был на войне трудолюбивым и безотказным рабочим. Может быть, этого и маловато для героизма, однако ни один настоящий герой никогда и ни в чем не упрекнул бы дядю. Я в этом уверен.

В конце войны дядин полк дошел до Австрии. Здесь стояла нерусская мягкая зима — зима-отдых, зима — курортный сезон. Даже снег выпадал аккуратный и умеренный, ровно столько, сколько нужно для лыжников, и для веселого рождественского пейзажа, и для того, чтобы почувствовать себя особенно уютно под черепичною крышей надежного каменного дома, пахнущего кофе и хорошим табаком. Дядя и два его товарища стояли постоем в доме человека, которого звали Иоганном Штраусом, ни больше ни меньше. Он был отставным налоговым инспектором. Дядя просыпался по утрам и обнаруживал, что кирзовые его, много раз чиненные сапоги, до блеска начищены. Он мог бы с большой натяжкой поверить в неожиданный альтруизм своих приятелей, но приятели праведным сном дрыхли. А их бывалые «прохари», между прочим, сияли парфюмерно ароматным гуталином.

— Кто? — спрашивал дядя, показывая свой блистающий сапог экономке Марте, живущей то ли у вдового, то ли всю жизнь холостого инспектора.

Она лукаво смотрела на дядю и тихо произносила:

— Ди троллен — тролли. — Лучистые морщинки разбегались при этом от ее немецких бледно-голубых глаз. А руки у нее даже на взгляд были шершавые, красные от стирки и прочей домашней работы.

Наверное, никогда еще дядя Митя не жил в таком непоколебимом, налаженном уюте. Над высокой и широкой кроватью висели гобелены с изображением оленей и охотников. У оленей были ветвистые, словно кроны деревьев, рога и опять-таки водянистые немецкие глаза. А охотники щеголяли высокими узкими сапогами и по-

бедными, закрученными вверх усами. Большая кухня светилась теплым желтым кафелем, на полотенцах были вышиты затейливой вязью заповеди размеренной и счастливой жизни. Из медных, начищенных кранов никогда не капала вода. Дядя любил сидеть на кухне возле теплой и обширной плиты — жизнь начинала казаться призрачной, выпадала из времени и пространства. На полках стояли фарфоровые банки для различных припасов, тяжелые ступки, пивные высокие кружки. Как луна в тумане, тускло светился большой таз для варенья. Мир был прочен и устойчив. пылал очаг. Клокотал в кофейнике эрзац-кофе. Дымились не развалины, а фарфоровые немецкие трубки с чубуками, представляющими собой голову славного бургера, белокожего, розовощекого, все с теми же бледно-голубыми водянистыми глазами...

Однажды вечером сверху донеслась музыка и вывела дядю из блаженного, призрачного состояния. В ней слышался ветер, тот самый, который, ворвавшись в окно, приносит запахи леса и земли, который вызывает в душе ответное движение, порыв, ощущаемый физически.

По деревянной, крытой ковром лестнице дядя Митя поднялся во второй этаж. Дверь в кабинет хозяина была открыта. Он сидел в кресле, лысый, сухопарый и некрасивый, что бросалось в глаза, хотя, казалось бы, какое это может иметь значение в таком возрасте. На высоком субтильном столике перед ним стоял патефон, каких в Москве дядя никогда не встречал, — почти что плоский, в закрытом виде напоминающий, вероятно, обточенный морем камень. Эта музыка заставляла думать о море, а видел его он лишь однажды в течение нескольких дней в Крыму. Они поехали в Гурзуф с приятелем, собирались пожить там с месяц, а денег хватило едва-едва на две недели. Почти все это время держалась штормовая погода, курортники ныли и жаловались, а дядя был счастлив. Он стоял на каменном узком пирсе, волны взрывались, как бомбы, они грохотали и шипели, они разбивались о камни на миллионы ослепительных брызг, и внутри у дяди тоже что-то разлеталось вдребезги, и силой этого внутреннего разрыва его подбрасывало от восторга, как мальчишку. Сейчас дядя стоял у дверного косяка и вновь видел гурзуфский берег, и пену, стекающую с шипением по шуршащей гальке, и то, как посреди темного хмурого моря, почти у горизонта,

возникает светлая лазурная полоса. Он думал, что такая полоса должна возникнуть и в его жизни.

— Ви любите Бетховен? — Дядя даже вздрогнул, он никогда раньше не слышал, чтобы хозяин говорил по-русски.

— Люблю,— ответил он, не переставая удивляться неожиданному этому разговору. Пластинка кончилась.

— Ви удивлен, что я говорю по-русски? — спросил отставной инспектор.— Я биль в Россия плен. Еще тогда, еще та война. Я биль в Киев. Днепр. И еще Одесса.

— Вам не понравилось в России? — спросил дядя.— Раз вы до сих пор словом с нами не перемолвились.

— Нет, мне понравилось в Россия. Я имель много глюк в Россия, как это сказать... счастья... Но это била другая Россия. А вот вы, молодой человек, любите Бетховен. И слушаете Шестую симфонию, которой дирижирует Херберт фон Караян. Любимый маэстро у фюрер.

— Музыка беззащитна,— сказал дядя Митя.— Разве она виновата, что нравится не только мне — я до войны крови видеть не мог,— но и убийцам. Меня вот солдаты спрашивают, если у них так все красиво — у вас то есть,— если домам сотни лет и каждый дом можно в музее выставлять, зачем они к нам пришли. Почему же их красота эта вся, эти горы, эти соборы до неба, не удержали? А вы говорите — музыка... Вот вас зовут Иоганн Штраус, так, по крайней мере, на дощечке написано при входе. Я когда ее впервые прочел, даже задрожал весь. Я думал, что с такой фамилией надо быть музыкантом, играть если не в зальцбургском оркестре, то по крайней мере где-нибудь в кабаке — это тоже нужно. А вы всю жизнь собирали налоги, крутили арифмометр, подшивали копии... И в этом нет вашей вины. А чем же музыка виновата?..

— Да, да.— Хозяин качал головой и был похож на какую-то экзотическую некрасивую птицу, которую дядя видел однажды в зоопарке.— Йа, йа,— он снял свои тонкие очки в золотой оправе и по-старушечьи протер их полый халата,— теперь я узнаю Россия. Все тот же категоричность суждений. Крайность... Непримиримость... Я не выбираль себе имени. Штраус здесь столько же, сколько в Россия Попофф. Нельзя же всех сочинять вальсы. Кто-то нужно и счета вести. Тем более что и они бывают более герихтих, как это — справедливый музыки. Вы это тоже узнаете когда-нибудь.

Дядя Митя попросил за беспокойство прощения и сошел вниз. На кухне возле плиты сидел его приятель, ефрейтор Аркаша Карасев, и рассказывал Марте про свою личную жизнь. Марта ни слова не понимала по-русски, но слушала внимательно, щурила голубые свои глаза и кивала головой.

— Я не скрываю,— говорил Аркаша,— у меня этого добра хватает, баб то есть. Но она видела? Я ей говорю: ты меня хоть с одной видела? В кино или в клубе? А-а, говорю, это тебе мамаша твоя преподобная напела, она про меня же все знает. ГПУ на дому...

Эта семейная история произошла года за три до войны, но Аркаша, приняв больше положенной боевой нормы, любил ее вспоминать и всегда искал слушателя. Марта оказалась слушателем идеальным. А дядя стоял у окна и впервые за все это время думал о том, сможет ли он после всего, что было, вернуться в театр. После лесоповала, крови на снегу, и своей и чужой, после сожженных деревень и ночевок в грязи, после пота, застилающего глаза, и бессильной боли в животе — вот так вот, как ни в чем не бывало выпорхнуть на сцену, выдать каскад, с чувством пропеть куплеты? Достанет ли у него этих чувств, трогательных, но легких, как пузыри, плывущие во время дождя по речной поверхности? Не закрылось ли его сердце от зрелища бесконечного горя, не зачерствело ли оно, не легла ли на него та каменная тяжесть, которую не сбросить уже никаким везением и никакой улыбкой судьбы? И ведь не один же он такой; что, если этот тяжкий груз лежит теперь на многих сердцах, и не нужна людям музыка, беззаботно склонная нравиться всем на свете: и правым, и виноватым, и жертвам, и палачам?

Через две недели дядю Митю изрешетила и контузила немецкая мина. Это случилось на улице Ринг в городе Вене, той самой Вене, где жили некогда все любимые дядей композиторы и где с блеском и шумом разворачивались события тех замечательных оперетт, в которых он мечтал играть, появляясь на сцене во фраке, с тросточкой в руках и с бутоньеркой в петлице. Поразительно, еще не потеряв сознания, еще не понимая, умирает ли он или еще будет жить, дядя в первое мгновение догадался, что ни петь, ни танцевать он больше не сможет. Потом он лежал без сознания на аккуратной венской мостовой, где катились когда-то на дутых шинах пролетки опереточных графов и в ритме штраусов-

ских вальсов скользили легкие ноги здешних цветочниц. А потом его нашел Аркаша Карасев и собрался было уже схоронить в ближайшем сквере, и вдруг понял, что дядя жив. И шел потом Аркаша с дядей на руках по веселой Вене, и чувствовал на ладонях дядину кровь, и плакал, и матерился, и звал совершенно ему несвойственным жалким голосом санитаров.

* * *

А спустя месяц Аркадий разыскал дядю Митю в госпитале. Он пришел не один — еще с двумя ребятами, по дороге они успели слегка приложиться, и потому Аркадий вновь пытался рассказать дяде и медсестрам о странностях своей семейной жизни. Все смеялись, и дяде тоже хотелось смеяться, а еще больше, как никогда в жизни, ему хотелось петь. Но звуков не получалось, он только шевелил губами, словно рыба, а от напряжения в груди и горле начиналась такая боль, что на глазах выступали слезы. И дядя мотал головой, и хотел, чтобы все поверили, будто это от смеха — так развеселил всех Аркаша, что просто сил нет.

— Мне теща говорит: «У вас,— говорит,— вся семья такая». То есть все мужики. «Твоего,— говорит,— отца, когда он парнем был, соседи дреколем уходить собирались за его кобелиный нрав». А я ей говорю: «Нас как,— говорю,— учат: сын за отца не ответчик». Поняли, куда гну? «А поэтому,— говорю,— все ваши подозрения лишены почвы и прошу,— говорю,— меня от них избавить». Во, какой лексикон слов!

Аркадий среди смеха и визга раньше медсестер понял, что дяде плохо. Он будто бы невзначай повернулся к самым смешливым, словно бы затем, чтобы нашептать им еще какую-нибудь шутку, однако хохот не взвился с новой силой, а мгновение спустя затих.

— Митя,— сказал Аркадий,— мы ведь к тебе не с пустыми руками. Мы к тебе с подарком, от всего, можно сказать, батальона. От всех ребят. И от тех, считай, кого уже нет. Потому что ты знаешь, как к тебе относились. Чтоб ты, значит, никого из нас не забыл.

Аркадий поднялся и, подмигнув сестрам — вот, а вы меня еще подозревали, как бы чего неположенного не пронес,— направился к двери. Через минуту он появился в палате, торжественный и монументальный, словно маршал или кафедральный орган, которые дядя уже успел

увидеть в здешних городах. Монументальность была и в лице, но происходила она от сияющего, вспыхивающего на солнце разноцветными перламутровыми блестками аккордеона. Такого огромного, что даже плечистому Аркадию он был нелегок.

— Первый парень на деревне,— громко от смущения произнес Аркадий, которого уже начинала тяготить роль Деда Мороза и благотворителя.— Марка «Хоннер», немцы говорят — отличная вещь. Звучание как в этом, как в соборе святого Стефана.— Он старался точностью языка преодолеть несвойственное ему смущение.

— Я тут одного шоферюгу раскулачил. Пока он, сука, часы да кольца по лавкам собирал, я его не трогал. Хоть и противно. Только говорил ему: «Ну, допустим, соберешь ты коллекцию «доксов» и «омег», ну, порадуешься, а тут тебе, извини, конечно, труба — бомба или, там, пуля... Куда ж коллекция-то пойдет?» Рукой машет, чур меня, боится. А тут, смотрю, инструмент надбыбал. «Нет,— говорю,— это не твоего ума, гад, дело. Это тебе не браслетки и не цепочки поперек живота. У нас,— говорю,— найдется, кому машину доверить. Для общей пользы и славы гвардейского орудия».

— Напрасно ты этого жулика огорчил,— шепотом сказал дядя Митя.— Я таких аккордеонов в жизни не видел. И как на них играть, даже не представляю себе.

Аркадий даже расстроился и от смятения чувств растянул со стонущим звуком роскошные мехи.

— Митя! Да ты бога побойся! Тебе эта немецкая бандура не под силу? Да ты так на ней сыграешь, как никаким немцам в жизни не сыграть! Ты так сыграешь, что мы плакать и смеяться будем. Вот на что ни разу в жизни не плакал, и то заплачу. От радости.— Он подкреплял свои слова взмахами рук, и, отпущенный на волю, аккордеон самопроизвольно вздыхал и вякал.— Ты так сыграешь, Митя, что те ребята, кого уже нет, услышат. И порадуются вместе с нами, потому что мы победили, Митя, понимаешь? Мерзли, не жравши сидели, вшей давили, а победили! Я не генерал, но это я тебе точно говорю — победили!

Дядя Митя и впрямь быстро освоил аккордеон. Вопрос оказался не в сложности инструмента, а в нехватке сил; после операции дядя сильно уставал, и врачи, по правде говоря, не очень одобряли его экзерсисы. Но он умолял их не беспокоиться, он сидел в госпитальном скверике, подбирал, как всегда, на слух довоенные

фокстроты и песни, вошедшие в моду во время войны — как странно это сочетание — война и мода, — и понемногу, самому себе не доверяя, чувствовал, как возвращает-ся к нему жизнь.

Через два месяца после Победы дядю вчистую комиссовали и отпустили домой.

* * *

У дяди Мити было мало вещей. Тоший мешок, больше похожий на котомку странника, чем на классический солдатский сидор. Зато у дяди был аккордеон — его главное богатство, его военный трофей и утешение. Таскать его, однако, после госпиталя едва хватало сил. Однажды, когда от жары и пота перед глазами поплыли круги, в голову пришла даже еретическая мысль: а не выменять ли к чертовой матери эту нмецкую музыку где-нибудь на станции на что-нибудь более удобное — на отрез хорошего сукна, на две пары ботинок или просто на окорок. Дядя Митя гнал от себя эту ехидную слабодушную идею и однажды, чтобы окончательно ее победить, вытащил аккордеон из футляра. Он играл, сидя у открытого окна, в вагон врвался теплый ветер, пахло полем, лесной сыростью, паровозным дымом. Мельчайшая угольная пыль щекотала ноздри и заставляла глаза слезиться. Это и был тот самый пресловутый дым Отечества, чья горечь оказалась нужнее и дороже любой сладости. Теперь аккордеон не тяготил больше дядю, и у него нашлись десятки добровольных оруженосцев, готовых с душою и радостью и охранять инструмент, и таскать его по шумным, пьяным, веселым и голодным перронам — от поезда к поезду, от вагона к вагону — это было настоящее русское путешествие, многодневное, с обилием стоянок и пересадок. С хмелем, с загулом, с неожиданными признаниями и откровенностями, с клятвами в дружбе до гроба. Радость возвращения и будущих встреч осеняла этот медленный поезд. Но к радости, как это и свойственно русской душе, уже примешивалась грусть от сознания, что по этим дням, которым приходит конец, они всю свою жизнь будут тосковать. Не по страхам, конечно, не по визгу осколков, а по святому и вольному мужскому братству, по своей молодости, по солдатской дружбе, сравнить которую на свете невозможно ни с чем. Да и заменить которую нечем.

В Москве дядю тоже вызывались проводить до дому, поднести инструмент, но он отказался. Он чувствовал, что возвращаться надо одному — по пустынной в это раннее утро улице Горького, по переулкам, похожим в этот час на декорацию к спектаклю из московской жизни, где-нибудь во МХАТе или в Малом. С домашним полузабытым журчанием лилась из дворницких шлангов вода. Дядя Митя шел по мостовой и смотрел на родной московский асфальт, пересеченный за эти годы, словно человеческая рука, линиями жизни и судьбы, на дома смотрел, как будто бы постаревшие и поседевшие за эти бесконечные четыре года, и, сам над собою смеясь, ожидал, что сейчас что-нибудь произойдет. Что-нибудь необыкновенное, чрезвычайно радостное, какое-нибудь счастливое стечение обстоятельств, знаменующее собою его возвращение. Так бывает в детстве, когда в день рождения выбегаешь на улицу в нетерпеливом предвкушении счастливых событий — часы идут, однако ничего, ну решительно ничего необыкновенного и удивительного не происходит, и, в конце концов, делается даже обидно — непонятно на кого, безлично и неконкретно, обидно, и все тут. Именно в этот момент ему впервые пришла в голову мысль, что вот и вся жизнь может пройти таким манером — в постоянном и напрасном ожидании замечательных событий, в наивной надежде, что все настоящее лишь прелюдия, а главное впереди и вот-вот начнется.

В университетском сквере цвели липы, а впереди, словно огромный зеркальный шкаф, сиял в розовых лучах прямоугольник ленинской библиотеки. Уже появлялись первые прохожие вида небогатого, но бодрого, дядя Митя с сердечным томлением узнавал своих земляков, почетных обитателей коммунальных квартир, опытных трамвайных пассажиров, незаменимых спецов по стоянию в очередях — и за ситцем, и за билетами в Большой, и в уборную — не далее как сегодня утром. Вся его жизнь прошла среди этих людей, и никого ближе их у него на свете не было — он знал про них все, и они про него все знали, он с полуслова понимал их шутки и совершенно не специально, так как-то, между делом, помнил наизусть все их любимые песни. Те самые, что сопровождают их жизнь — от рождения до смерти.

С Гоголевского бульвара дядя Митя свернул в свой переулок. Он почувствовал, что задыхается, с трудом снял с плеча аккордеон, прислонился к стене. Он поду-

мал, что это, быть может, даже эффектно, взять да и загнуться после четырех лет войны на пороге родного дома, но очень несправедливо. Больше всего он боялся, что его увидит кто-нибудь из соседей, узнает и начнет сочувствовать, примется помогать. Наконец дядя отдышался, поднял пудовый «Хоннер» и, стараясь ступать твердо, зашагал к дому.

Дворничиха тетя Феня, как всегда, с внешним ожесточением подметала каменные плиты у ворот. Порядка от такой ярости не прибавлялось — даже наоборот, но внешний эффект должен был потрясать нерадивых и нечистоплотных жильцов.

— Здравсте, тетя Феня,— произнес дядя Митя, хотя прекрасно помнил, что она его недолюбливала. Без всяких причин, а может быть, по одной лишь причине, что не был он никогда понятным ее уму хулиганом и пьяницей, а ходил всегда с книгами да еще играл в красном уголке на рояле. Дворничиха посмотрела на него внимательно, но безучастно, по глазам было понятно, что она его не узнала. Дядя вошел во двор, ступая по каменным потрескавшимся плитам, окруженным вокруг высокой и свежей травой. Лето в этом году стояло жаркое и богатое короткими проливными дождями. От ступенек крыльца и покосившихся перил тянулся еле заметный пар. Весь этот особняк являлся, в сущности, одной огромной коммунальной квартирой, а потому входная дверь — с порочными лилиями на матовом стекле — никогда не запиралась. Каждому жильцу запирать полагалось собственную комнату. И почтовые ящики — пронзительно голубые и зеленые — висели прямо на комнатных дверях — некоторые из них были, между прочим, отделаны красным деревом. А кухня имела одна общая на весь дом — как войдешь, налево. И когда дядя Митя вошел, он по оставшейся с детства привычке первым делом заглянул в кухню. В глубине, возле окна, выходящего в хилый палисадник, стояла его мать. Она накачивала примус и время от времени останавливалась, чтобы передохнуть. У нее были тонкие руки с большими синими переплетениями вен. В детстве он очень боялся, что эти вены не выдержат однажды и лопнут. Ситцевый старенький платок сбился на сторону, и видна была прядь волос, седоватая и редкая, лучом солнца просвеченная насквозь. Дядя Митя прислонился к притолоке и не мог вымолвить ни слова. Похоже было, что один из невынутых осколков поднялся из каких-то тайных глубин его

груди и встал поперек гортани. Дядя облизывал сухие, воспаленные губы. Мать разожгла примус и поставила на огонь кастрюльку — дядя узнал ее, купленную лет десять назад в рабочем кооперативе. На ногах у матери были парусиновые башмаки, похожие на мальчиковые. Дядя впервые подумал, что возвращаться надо, как в спектакле, с закрученными усами и с орденами, нестерпимо сияющими на груди. Из плохо прикрытого крана в поржавевшую раковину капала вода. Пахло керосином и стиркой. Мать сняла кастрюлю с примуса и принялась мыть посуду — граненые стаканы из копеечного зеленоватого стекла и глиняные потрескавшиеся блюдца. Она вытирала их аккуратно суровым полотенцем и что-то напевала при этом — какую-то совершенно неизвестную ему песню, которая почему-то ей запомнилась. А мать никогда не пела, даже не напевала на людях раньше — это дядя знал наверное. Она потихоньку пела теперь, еле слышным, дрожащим голосом, и в такт этой странной песни текли, вероятно, какие-то ее привычные мысли.

— Мам, а мам,— проглотив комок, хрипло позвал дядя,— здравствуй, вот я и пришел.

* * *

Дядя ошибался, когда полагал, что после войны люди не смогут веселиться. Наоборот — и я уже писал об этом — жизнь сделалась хмельной и угарной — даже я это помню. Даже меня, тогда маленького мальчика, эта недолговечная сладкая жизнь задела слегка вихрем своего карнавала. В первый раз это случилось зимой. Однажды вечером в наш утопающий в сугробах двор въехала большая машина. Мы забрались на ступеньки крыльца, куда всегда забирались в таких случаях, и с приятным ощущением безопасности рассматривали автомобиль. Его большие фары светились ярко, как прожектора. В длинных желтых лучах медленно, словно в театре, вился и искрился снег. И сама машина на морозе, большая, как карета в Историческом музее, сверкала темным, глубоким лаком. Открылись почти одновременно дверцы, и из кабины вышли трое мужчин. Они очень подходили к своему экипажу — в троллейбусе и трамвае таких людей не встретишь — высокие, плечистые, в пальто с большими серебрящимися воротниками.

— А ну, пацаны,— приказал один из них густым приятным голосом,— подите-ка сюда.

Еще не сойдя со ступенек, мы почувствовали, догадались, что пришельцы выпивши. Именно выпивши, а не пьяные,— уж кто-кто, а мы-то пьяных видели, и еще было понятно, что пили эти люди не водку, а какое-нибудь неведомое в нашем дворе вино, такое же дорогое и таинственное, как их машина. Человек с приятным низким голосом большими руками в кожаных перчатках сгреб нас всех в кучу. И хотя сделал он это довольно бесцеремонно, чувствовалась в его движении некая покоряющая мужская ласка.

— Быстро, ребята,— произнес он голосом, от которого трепетали невольно наши сердца,— кто первый скажет, где здесь живет Тамара. Знаете Тамару?

Мы знали Тамару. Она была совершенно не похожа на женщин нашего двора, ни на кого из наших матерей и сестер. Она была красавица. Мы чувствовали это, хотя и не понимали до конца, в чем состоит смысл этого человеческого свойства. Она ходила в ярких коротких платьях, подол которых бился вокруг ее круглых коленей, а на плечах вздрагивали и золотисто переливались завитки ее волос. Такая прическа называлась «Дина Дурбин». Мы почему-то мгновенно осмелели и наперебой, ругая друг друга и чуть ли не передравшись — что было бы уж совсем позорной утратой достоинства,— принялись объяснять незнакомцам, как им следует пройти в конец двора, там свернуть в ворота, ведущие в задний двор, и под аркой этих ворот войти в парадное и там уж подняться на третий этаж. Вероятно, мы слишком старались, потому что мужчины все это время посмеивались над нами. Но, впрочем, слушали нас внимательно, даже такие, в сущности, посторонние реплики, вроде «ты, дурак!», «иди ты на́чисто», «сукой буду» и «ща как дам» и тому подобное. В конце концов они разобрались, куда им идти, и остались довольны. А тот, чей вид и голос произвели на нас особое впечатление, вдруг спросил: «Ну что, мужики, закурим?» И, откинув полу роскошного пальто, так, что заметен стал пушистый мех вместо подкладки, достал из брючного кармана пачку папирос: «Налетайте, не стесняйтесь!»

Мы еще никогда в жизни не курили, но отказаться, а тем более постесняться, и впрямь постеснялись. А потому потянулись к пачке. Это были не папиросы, а сигареты. Второй незнакомец чиркнул зажигалкой, я наклонил голову, чтобы прикурить, стараясь делать все спокойно и бесстрашно,— сигарета между тем так и

прыгала в моих растопыренных пальцах. Тонкий душистый дым щекотал мне горло и глаза, слезы покатились по щекам, но я боялся закашляться и изо всех сил тарасил зрочки и, может быть, поэтому на всю жизнь запомнил сигаретную пачку. На ней был изображен верблюд, одиноко стоящий среди ярко-желтой солнечной пустыни.

Второй случай моего соприкосновения с угаром недолговечной роскошной жизни был неизмеримо серьезнее. Я чуть не погиб тогда, впрочем, во многом по собственной вине.

Стоял изумительный апрельский день — один из тех, когда наконец с официального материнского согласия можно совершенно законно бегать без пальто — именно такие дни на всю жизнь оставляют в памяти острейшее ощущение весны, наступление которой с каждым годом, увы, переживается все менее и менее остро. Мы играли во дворе в войну. Уже темнело слегка, и для наших игр это было самое вдохновенное время. Я очень любил эти игры именно за их сюжетность, беспредельный простор для различных перевоплощений. Возню, чехарду и ее наиболее лихую разновидность — «отмерного» я, разумеется, не отвергал, я, можно сказать, тянулся к ним всей душой вопреки слабости тела, однако шансы мои на успех в этих делах были настолько ничтожны, что обо мне в разгаре мужественных игрищ немедленно забывали. Отыгаться, взять реванш, сделаться хоть на мгновение заметным человеком я мог лишь в тот момент, когда в порыве всеобщего вдохновения мы превращались в чапаевцев, партизан, разведчиков, королевских пиратов и разбойников Робин Гуда. Физическая сила теряла в эти минуты свой непререкаемый авторитет, свою непоколебимую власть и свое обаяние. Совсем другие качества поднимались в цене: фантазия, подкрепленная неумеренным чтением книг, воображение, некоторая простодушная склонность к лицедейству. К тому же я никогда не претендовал на роли истинных героев, того же Робин Гуда, например, героев играли наши дворовые герои. Я же предпочитал изображать злодеев-атаманов банд, шпионов, королей и псов-рыцарей — не по склонности души, а из того неосознанного актерского влечения, из какого отрицательные персонажи получают в кино не в пример ярче и выразительнее положительных. Итак, в тот момент я сжимал в руках деревянную винтовку, которую дядя собственноручно смасте-

рил когда-то еще для студийного спектакля,— это была замечательная винтовка, и я чувствовал необыкновенный подъем сил. Вообще-то довольно неловкий в забавах мальчик, склонный скорее к созерцаниям и мечтам, я неожиданно ощутил в себе удачливость и сноровку. Это ощущение кружило мне голову и побуждало к совершению героических поступков. И вот, уже не помню, из каких сюжетных соображений я стремглав пробежал двор, изо всех сил промчался под гулкой аркой нашей длинной подворотни и пулей выскочил из нее на улицу. По соседству с нашим двором на перекрестке находился ресторан «Нева». Он существует и теперь, кажется, под другим названием, и напоминает мне обыкновенную приличную столовую. А в те годы это было, судя по всему, модное и, как принято говорить, злачное заведение. Всякий раз, проходя мимо, мы с замиранием сердца видели за зеркальными окнами пиршественные столы, уставленные бутылками, вазами с фруктами и пепельницами, где бросались в глаза длинные папиросные мундштуки с кроваво-красными следами помады. Под низкими сводами гремел джаз, а у дверей ресторана всегда крутилась толпа, которая вела со швейцаром сложные и запутанные переговоры. Так вот, я, словно камень из рогатки, вылетел на улицу и побежал по мостовой, пересекая проезжую часть наискосок, упиваясь свободой и полнотой бытия, которые всегда возникают в человеке в мгновения такого вот радостного, раскованного бега. И вдруг я увидел машину, увидел и с поразительной отчетливостью понял, что убежать мне от нее не удастся. И еще поразительнее, что в какую-то долю секунды, стараясь все-таки ускользнуть от стремительно надвигающегося сияющего радиатора, я успел разглядеть и автомобиль и пассажиров. И не только разглядеть, но даже как бы и почувствовать их настроение, и понять цель их поездки. Это была роскошная открытая машина, принадлежавшая раньше какому-нибудь немецкому генералу и благополучно взятая в качестве трофея, в ней ехали целой компанией летчики, веселые, симпатичные, у одного из них белокурый чуб по-казачьи выбивался из-под фуражки, направлялись они наверняка в «Неву», открытую чуть ли не круглосуточно до пяти утра.

Непонятно, каким образом мне удалось все это заметить, и запомнить, и осмыслить, ведь страх уже прошивал все мое существо, и тоскливое отчаяние забра-

лось за пазуху холодной рукой. По-видимому, у мозга есть некие потаенные резервы, которые вступают в ход в роковые моменты. Так лампочка особенно ярко вспыхивает перед тем, как навеки погаснуть.

Меня спасла моя тогдашняя тщедушность. Будь я хоть немного постарше и потяжелее, меня закрутило бы и бросило под колеса, и хрустнули бы мои тонкие мальчишеские косточки, как это бывает, я видел на улице много лет спустя, и до сих пор не могу вспоминать этого без содрогания. Тогда же ударом низкого и широкого, чрезвычайно элегантного, по тогдашним автомобильным представлениям, крыла меня просто-напросто отшвырнуло в сторону. Я кубарем пролетел по мостовой, обдирая об асфальт кожу, словно обжигаясь об асфальт, и вот я уже лежу головой возле самого бортика тротуара, ко мне с обеих сторон бегут люди, и мне вовсе не больно, нет, мне стыдно перед летчиками за свой дурацкий бег по мостовой, за нелепые свои кувырки на асфальте, за деревянные обломки моей бутафорской винтовки, разлетевшейся по всей улице.

Впрочем, все мои злоключения не могут, конечно, сравниться с дядиными. И в госпитале, и в поезде по дороге в Москву, и в те самые минуты раннего утра, когда он пешком шел от Белорусского домой, он еще надеялся. Он еще верил, что сможет вернуться в театр. И вот теперь понял, что не сможет. Какие уж там каскады, он не в состоянии оказался взбежать даже на второй этаж к приятелю, мучительное колотье начиналось в груди, в глазах зеленело от боли, он ловил открытым ртом воздух и пытался проглотить ком, который, как проклятый осколок, застревал поперек горла. С голосом вроде было получше. Иногда дядя Митя без труда брал верха и вообще чувствовал себя в состоянии пропеть целый вечер, но и тут не было уверенности, что посреди арии он вдруг не поперхнется, не закашляется до удушья, до пота, до того, что напрягаются все жилы, и глаза чуть ли не выкатываются из орбит. Однако не в этом всем было дело. Есть такое цирковое выражение «потерять кураж», иными словами, уверенность в себе, внутреннюю готовность, некоторую даже отчаянную наглость, без которой вообще невозможно выходить на публику. Дядя Митя как раз потерял этот самый «кураж», эту замечательную, немного бесшабашную смелость, это возбуждающее желание действовать, перевоплощаться, иметь успех. Вечерами он подходил иногда

к театру. Он рассматривал глянцевые фотокарточки опереточных графов и принцесс, свободных парижских художников и веселых вдов, из фойе доносился запах духов, к служебному входу в саду «Аквариум» несли корзины цветов. На блестящих от дождя машинах приезжали молодые люди в заграничных макинтошах, про них говорили, что это сыновья больших начальников, генералов и, может быть, даже министров, они ухаживали за здешними первыми красавицами, которых дядя Митя помнил еще по ГИТИСу скромными девочками в сандалиях, комсомолками, обличающими на собраниях нетоварищеское отношение к женщине. Своих соучеников он тоже иногда встречал, они носили мягкие шляпы и яркие кашне, завидев их, дядя переходил обычно на другую сторону улицы. Он не стеснялся своего поношенного пальто и москвошвеевской кепки, он просто не хотел сочувствий и соблезнований и ни к чему не обязывающих приглашений: «ты не пропадай, брат», «ты, если что нужно, не стесняйся». Однажды такой встречи все же не удалось избежать. Дядя Митя зашел в аптеку за очками для матери и неожиданно нос к носу столкнулся с Костей Елкиным.

— Представляешь, — жалобным голосом, словно оправдываясь, затараторил Костя, — в третьей аптеке фталазол ишу. Сегодня спектакль ответственный, а у меня с желудком черт знает что происходит, съел какой-то дряни в «Авроре».

Потом он словно очнулся:

— Леха, откуда, брат? Ты же там был, на фронте! Победитель! Три державы покорил! А где же ордена? Медали? Иконостас где? Стесняешься, не носишь? Ну и зря, старик! Я вот не стесняюсь.— Костя распахнул макинтош и, смущенно радуясь, продемонстрировал небольшую серебряную медаль с профилем вождя, приколотую на широком лацкане солидного костюма, даже слишком солидного для Костиного хорошенького лица.— Представляешь — лауреат! Вот уж не думал, не гадал! И вдруг, пожалуйста, композитору, постановщику, Таньке Заславской и мне!

Дядя Митя слушал и очень живо воображал закулисную суету, предшествующую награждению: слухи, надежды, сплетни, томление — будет не будет, — сообщения по секрету: «только вам, слышите, и чтоб умерло», совершенно точные сведения о том, кому «оттуда» спектакль понравился.

— Ну а ты-то как? — спросил Костя, распутив немного свои пухлые девичьи губы.— С театром завязал? Или что-то другое подыскал?

— Подыскал,— согласился дядя.— Совсем в другом роде. Но тоже ничего.

— Ну и слава богу,— заторопился Костя.— А то мы часто про тебя вспоминали. Думали даже, что погиб. Ну, давай не пропадай! И если разбогатеешь, не зазнавайся! А я, ты знаешь, вчера ночью в «Авроре» на банкете какой-то дряни съел...

Дядя Митя остался один посреди небольшого аптечного зала. Несколько типичных пречистенских старух, сохранивших и в одежде и в манерах неуловимые черты ушедшего времени, толпились у прилавков. Впервые за много лет дядя подумал о своей судьбе объективно и отчужденно. Внутренне он всегда был уверен в себе и никогда не сомневался в том, что ему, как говорится, от бога послан если не дар, то, по крайней мере, умение и способность вызывать смех. Легко вызывать, без видимых усилий, без нажима и пота. Он не сомневался в этом никогда, но и не заносился по этому поводу. Это было совершенно естественное сознание, не требующее доказательств, однако и не кружащее голову. А сейчас он впервые усомнился. Вот ведь его забыли. Помнили недолго, как помнят нечто попадающее время от времени на глаза,— да, да, что-то вроде было, вертелось под ногами и пропало, не оставив в душе никакого следа. Талант помнят не так, талант помнят всю жизнь, потому что он открывает нам новое в нас же самих. Вот так он помнит и всегда будет помнить дьякона из закрытой церкви. А его забыли. Так, может быть, и не было вовсе этого самого божьего дара, этого святого огня, возле которого отогреваются людские сердца, может быть, вообще ни черта не было? И потому даже немецкую мину в городе Вене следует понимать как знамение свыше, как перст судьбы?

Спустя полгода после этой встречи в аптеке дядя ждал своей очереди у дверей приемной комиссии финансового института. Все было скучно здесь, особенно по сравнению с ГИТИСом,— там по узким старинным коридорам ходили ослепительные юные красавицы, помимо портретов всех вождей, на стенах висели эскизы к спектаклям и дружеские шаржи на великих артистов — здешних преподавателей, откуда-то издали, сверху, а может быть, наоборот, снизу, доносились арии,

безумные вопли трагических монологов или просто легкомысленные и безмятежные фокстротные пробежки. Здесь же скука синих крашенных стен еще более усугублялась какими-то диаграммами, графиками, лозунгами, в которых не было ни одного человеческого слова в его нормальном значении, а были только канцелярские, безлично образные слова. Беспросветное уныние охватило дядю, но он даже радовался ему и с тайным мстительным сладострастием рассматривал скучный цементный пол под ногами, скучный ряд стульев, скрепленных вместе двумя необструганными досками, испуганные и тоже скучные лица абитуриентов, шепчущих что-то бесцветными губами, уткнувшихся в толстые растрепанные учебники.

Профессор, председатель приемной комиссии, кого-то напоминал дяде. Не чертами лица, а скорее всего выражением, птичьим и встревоженным. Он долго изучал дядины документы, аттестат, гитисовский диплом, фотокарточки. Потом внимательно и откровенно, без всякой дипломатии смотрел на дядю — и вновь возвращался к документам, перечитывая медицинские справки. Наконец он отложил в сторону дядины бумаги, снял очки и протер их каким-то неловким, застенчивым движением. Дядя Митя вдруг очень легко — как это бывает после экзаменов, когда все ответы приходят на память сами собой, — вспомнил, кого напоминает профессор. Австрийского налогового инспектора, в доме которого они с Аркашей Карасевым стояли постоем.

— Скажите мне откровенно, — сухо произнес профессор, — зачем вы идете в наш институт?

Дядя пожал плечами, а потом вдруг рассердился и ответил с удивительной для самого себя дерзостью:

— Ведь если я скажу, что мечтал об этом с ранней юности, пронес эту мечту через все фронты, вы мне все равно не поверите?

— Разумеется, не поверю, — покачал головой профессор.

— Тогда я скажу, — твердо продолжал дядя, — что моя мать, вдова кучера, всю жизнь мечтала, чтобы у нас в семье хоть кто-нибудь получил высшее образование. Стал инженером, как она это называет. Ну а на инженерные факультеты меня с моим рентгеном на порог не пустят. Теперь мои доводы убедительны?

— Вполне, — произнес профессор не совсем уверенно, словно не dokonчив какую-то беспокоящую его мысль.

— Мне нужна спокойная, незаметная работа,— говорил дядя,— чтобы каждый день был размерен и одинаков, чтобы не было неожиданностей и некуда было спешить. Я хочу быть ординарным человеком, которого невозможно запомнить. Я не могу торопиться, я задыхаюсь, у меня такое ощущение, будто железо застревает у меня в горле...

— Ничего себе, лестное мнение о банковском деле,— профессор вновь надел очки и, казалось, вместе с ними обрел обычную свою уверенность.— Но почему все-таки к нам? Ведь вы же, насколько я понимаю, артист. К тому же артист оперетки. Согласитесь, от бухгалтерского учета это несколько в стороне...

Дядя опять вспомнил австрийского бухгалтера и несело улыбнулся.

— Не всем же ухаживать за красотками кабаре. Кто-то должен вести счета. Они, говорят, не обманывают.

Профессор вновь пронзил дядю бесцеремонным пристальным взглядом — дядя понял потом, что таким и должен быть взгляд финансиста, желающего удостовериться в надежности своего клиента, а заодно и утвердиться в правильности своего незначительного, но столь ответственного движения руки — простой подписи.

Дядя Митя поблагодарил, встал и направился к двери. Он потянул ее за массивную неудобную ручку, и только теперь дверь показалась ему не скучной, а державно официальной. И когда она с мягким, но внушительным стуком закрылась за ним, он подумал, что она закрылась за всем его прошлым: за спектаклями, за концертами, за репетициями, за ночными прогулками после премьеры, за песенками Вертинского и зощенковской «Аристократкой», за Лелей Глан, которая исчезла, пропала навсегда, не оставив никакого следа.

* * *

Так уж случилось, что я редко гулял на свадьбах. Время идет, и теперь уже не приходится надеяться, что, мол, еще погуляю. К сожалению, пировать все чаще приходится на тризнах. Так вот, все свадьбы, на которые был приглашен, я хорошо помню, хотя, в сущности, они мало чем отличались друг от друга. Обычные студенческие свадьбы шестидесятых годов: малогабаритная квартира с торшером и трехногим низеньким столиком, жених в штучном немецком или польском пиджаке, не-

веста в туфлях на шпильках, магнитофон «Комета» с хором Рея Кониффа и песенками Высоцкого, салат, «Столичная», венгерское вино «Кабинет». Впрочем, неправда, однажды меня пригласили на свадьбу, имеющую быть в «Национале», на втором этаже,— таких роскошных свадеб я, наверное, никогда уже не увижу. Гостей собралось человек двести — в зале держался стойкий аромат французских духов и виргинского медового табака, дамы — я впервые это видел — были в мехах и драгоценностях; мне, кстати, показалось, что это не так уж и красиво, может быть, суть состояла не в красоте, а в осознании подлинности и цены. Подавали только мужчины, все до единого в смокингах и с единым министерски значительным выражением лиц. Было не так уж весело, но бестолково суматошно, гости плохо знали друг друга, и под конец, когда уже все встали из-за стола, эта светская свадьба стала похожа на первомайскую демонстрацию, запруженную, остановившуюся на несколько минут, забродившую, загулявшую. А тут еще откуда ни возьмись в зале появился католический священник, архиепископ, никак не меньше, в малиновой, ниспадающей театральными складками сутане и в золотой высокой тиаре. Самое же удивительное состояло в том, что этот кюре, или аббат, или ксендз был индусом. Вот какая это была свадьба, не так уж много на свете индусов католиков, не так уж часто их духовные отцы приезжают в наше отечество и останавливаются в гостинице «Националь», а остановившись, не так уж обязательно ошибаются ресторанной дверью и незваными попадают на торжество по поводу бракосочетания — в тот вечер все это роковым образом совместилось. И все же эти все свадьбы, на которых я бывал — даже и эта великосветская, — оставляли в моей душе ощущение неуюта. И какой-то нечаянной бестактности, которую все дружно пытаются не замечать и столь же дружно стараются загладить, а она тем не менее мозолит всем глаза. Я уж не знаю, что тому виной, быть может, моя собственная мнительность или же объективные обстоятельства, например собрание малознакомых и вовсе даже несовместимых друг с другом людей, почти неизменное чувство у одной из родительских сторон, что все не так вышло, как мечталось, что все же мезальянс; как бы там ни было, я не сохранил о свадьбах счастливых воспоминаний.

А у дяди Мити все было иначе. Так сложилось, что

в течение долгого времени он всю человеческую комедию имел возможность рассматривать сквозь туманное стекло свадебных гуляний. И началась эта эпопея на первом курсе финансового института.

Сбылось нервное дядино желание. На курсе он затерялся среди студентов, он стал совершенно незаметен, никто не знал его прошлого: ни актерского, ни фронтового — и не хотел узнать. Он тихо, где-нибудь сбоку, пристраивался на лекциях, во время семинаров открывал рот лишь тогда, когда его спрашивали, в самостоятельности не участвовал, на комсомольских собраниях отмалчивался. Одно собрание было очень типичным для того времени. На повестке дня стоял вопрос о моральном облике студента. Студент подразумевался при этом совершенно конкретный, он гулял с первокурсницей Леной Голиковой, а потом переключил свое сердечное внимание на одну дипломницу, но вот тут-то и обнаружили последствия их с Леной романа. Сама Лена на собрание не пришла, она и не хотела его вовсе, это ее активные подруги потребовали общественного непримиримого обсуждения чужих интимных дел. Они смело выходили на трибуну, щеки у них пылали, но вовсе не оттого, что говорить им приходилось о вещах достаточно деликатных, а от гнева. Деликатность вообще была им чужда и, вероятно, представлялась им салонным лицемерием — вроде шарканья ножкой и целования ручек. Они требовали для белобрысого губастого донжуана многих мер наказания, среди которых исключение из вуза можно было посчитать вполне либеральной. Дяде Мите был противен этот следовательский пафос, это вздымание груди, эта уверенность, что нет на свете ничего такого, о чем нельзя было бы громко и отчетливо рассказать общему собранию. Но потом он вспомнил Лену Голикову, всегда словно запуганную чем-то, аккуратно ведущую все конспекты, плачущую в кино при малейшем осложнении в судьбе героев, он вспомнил красные, вечно мерзнувшие Ленины руки и тоже почувствовал неприязнь к обвиняемому. А тот страдал лишь потому, что перетряхивают при всеобщем собрании его собственное белье, а вовсе не оттого, что считал такое перетряхивание недостойным делом. В конце концов, он публично покаялся, уверял, что его неправильно поняли и с Леной он давно собирался «построить крепкую советскую семью». Дяде стало еще противнее, и он ушел, не дождавшись удовлетворительных резолюций и того

умиротворения, которое, как тихий ангел, слетело на воинственных дев.

Через неделю на переменке к дяде подошла Лена Голикова и, смущаясь, пригласила его на свадьбу. У Колиных родителей на Малой Полянке. Дядя, пользуясь превосходством в возрасте, с неожиданной для самого себя практичностью осведомился, где они собираются жить.

— У них же,— ответила Лена,— у Колиных родителей. Я ведь сама в общежитии. Разве ты не знал?

Дядя Митя не знал. Он вообще никогда не был с Леной в таких уж близких, дружеских отношениях и понял, что она приглашает его потому, что не хочет, чтобы с ее стороны на свадьбе присутствовали только непримиримые подруги.

В назначенный день дядя Митя с утра направился в цветочный магазин на Кропоткинской. Его помнили там еще с гитисовских времен, когда он ухаживал за Лелей Глан и даже поздней осенью из случайных своих заработков покупал ей хризантемы и розы. Теперь денег хватило лишь на очень небольшой букет — из четырех или пяти астр, однако на улице посреди слякотной, промозглой зимы они выглядели трогательно и даже изысканно.

В большой коммунальной квартире на Малой Полянке пахло мытыми полами и винегретом. Дядю Митю встретила неприветливая женщина с заплаканным лицом — он сразу же догадался, что перед ним мать жениха. Она и потом много раз принималась плакать, и дураку понятно было, что не слезами радости, и оттого у всех собравшихся было какое-то пришибленное состояние духа. Жених и невеста стояли возле комода в большой комнате, куда от соседей уже наволокли разнокалиберных стульев. На Коле был бостоновый двубортный костюм, немного широковатый и пахнувший нафталином, а Лена была, как и полагается, в белом платье, неуклюжем и неважно сшитом. К тому же вдруг совершенно явным сделалось то, о чем в другие дни со стороны можно было лишь догадываться, — Ленина беременность. Четвертый, если не пятый месяц. Дядя Митя, не осознавая этого, подошел к молодым четкой и прямой сценической походкой, держа спину и слегка запрокинув голову. Он протянул Лене цветы, а потом легко склонился и поцеловал ей некрасивую жесткую руку. Лена вся вспыхнула и чуть не отдернула руку, как от внезапного ожога. Однокурсники зашумели — то ли насмешливо, то

ли одобрительно, а женихова родня, державшаяся в стороне, зашущукалась. Это были очень похожие друг на друга люди, совершенно разные, но похожие — скупостью жестов, настороженной боязнью — взглядом или улыбкой уронить свое достоинство, и даже губы у них у всех были одинаково поджаты.

Накрыли стол не богато, но и не бедно, хотя мать жениха все время охала и просила извинить ее за скудность угощения.

— Где ж взять, мы ведь с отцом единственные работники, разносолов не наготовишь.

Родственники вздохами и сочувственными причитаниями поддерживали ее, а Лена всякий раз мучительно, почти до слез краснела и готова была умереть.

Выпили по первой, по второй, постыдными, несмелыми голосами кричали «горько!». Молодым приходилось вставать и неуклюже целоваться, Ленин круглый живот при этом наливался, как ядро. Дяде Мите вдруг стало казаться, что жениховы родственники нарочно нажимают на эту свадебную традицию, чтобы посмеяться над Леной. Уже порядочно выпили, и, хотя было обещано еще горячее, все с теми же оговорками и ужимками, гостей потянуло размяться.

— Уж извините,— голосом оскорбленной добродетели запричитала хозяйка,— мы люди старомодные, музыки у нас нету. Да и средств не было баловства-то разводить, работали вот, спину гнули всю жизнь, сына растили, думали, в люди выйдет.— Она опять чуть не плакала, но ее успокоили.— Пластинки-то да граммофон, так, что ли, эта ваша музыка называется,— пришла в себя мать жениха,— невестушка обещала принести. Ей видней, что теперь танцуют, а что нет. Я-то ведь, прости господи, смолоду не разбиралась...

Трудно было представить тихую, вечно нагруженную учебниками Лену большой специалисткой по модным танцам, но, по-видимому, на нее и впрямь рассчитывали. Потому что она заметалась, засуетилась, то в холод, то в жар ее бросало, она, сбиваясь, стала объяснять, что подруга, у которой замечательный немецкий патефон, даже не патефон, а радиола,— ей отец привез из Германии,— и пластинки какие только угодно, и джаз, и романсы, и Лещенко,— так вот подруга эта подвела, не пришла, хотя ее очень звали и даже вчера вечером звонили, спрашивали, не нужна ли помощь все это донести,

а она сказала, что не нужна, что она со своим молодым человеком придет.

— Ведь правда же, Коль, ведь правда же?

Дядя Митя поднялся незаметно в этой суматохе и тихо выскользнул в коридор. Он с трудом нашел свое пальто в куче других, сваленных прямо на сундуки, и вышел из квартиры.

Как в детстве в школе, он почти кубарем скатился вниз по лестнице и, странное дело, не ощутил при этом ни боли, ни одышки. Он бежал по переулкам по направлению к Садовому кольцу и сам этому непрерывно удивлялся. На Валовой дядя Митя на ходу вскочил в прицепной вагон «букашки». Он доехал до Зубовской и там, снова почти бегом, добрался до дома.

— Что с тобой? — перепугалась мать, увидев его бледное лицо и слипшиеся от пота волосы. Но дядя ее успокоил, влез на качающийся стул и с напряжением снял со шкафа аккордеон, без движения пролежавший там почти год. Возле Померанцева переулка дядя нанял такси — черную «эмку» с шашечками по всему борту. Когда приехали на Малую Полянку, он в растерянности и нарастающем страхе обшарил все карманы и счастливо сам себе улыбнулся, когда набрались даже чаевые. Правда, мелочью и почти медью, но бог с ними. С остановками и передышками по крутой здешней лестнице дядя добрался до квартиры, где шла свадьба. Дверь была незаперта, по-видимому, гости уже выбежали на улицу покурить и проветриться, выяснить отношения...

Прихода дяди никто не заметил, как, вероятно, никто не заметил и его ухода. Он был рад этому, сбросил в общую кучу пальто и шапку и присел на сундук отдышаться. Из-за высоких двустворчатых дверей большой комнаты доносилось гудение голосов — ни смеха, ни музыки не было слышно, только голоса, ровные, однотонные, праздник, несомненно, зашел в тупик.

Дядя Митя вытащил из футляра свой прославленный «Хоннер» и, закинув за плечо ремень, взял инструмент, что называется, на изготовку. Аккордеон не был сейчас ему тяжел, как дитя не бывает в тягость материнским рукам. Напротив, ощутимая, полная потаенных звуков весомость аккордеона бодрила и внушала уверенность. Так внушает уверенность литая тяжесть рукоятки пистолета — оружие не может быть легковесным, это дядя знал по опыту. Он автоматически, вовсе не задумываясь

над этим жестом, достал из кармана брюк железную редкую расческу и провел ею по волосам. Все — занавес раскрылся, и дядя Митя сделал шаг из-за кулис. Он толкнул ногою дверь и одновременно, растянув мехи, пробежал пальцами по басам. Так было надо. Сначала только аккорды, только стоккато, только ритм, который должен выбить людей из душевной апатии, из безмятежной и сытой внутренней дремоты. А теперь, когда вытянулись безвольно расслабленные спины, когда в глазах, затуманенных хмелем и закуской, появились живые блики, когда подошвы, помимо воли хозяев, сами принялись отстукивать такт, теперь срочно необходимо выдать проигрыш с затяжкой, с лирическим отступлением, от которого заходит сердце, и сладкая тоска теснит грудь, и хочется сделать что-нибудь необычное, удалое — выпить залпом, рвануть на груди рубаху, забыть о всех мелочных расчетах своей будничной жизни — пропади все пропадом!

«До-сви-данья,— пел дядя,— путь мы проделали весь! До-сви-данья, делать нам нечего здесь!»

Это была «Розамунда», трофейная «Розамунда», которую немецкие солдаты любили пикировать на своих дурацких губных гармошках и которую взяли с бою, вырвали у растерявшегося противника, словно пистолет из кобуры, и мгновенно переложили на свой лад, добавив в эти немного механические, как в музыкальном ящике, немецкие ритмы, свою особую, московскую, питерскую, одесскую живую душу.

«В дорогу, в дорогу, осталось нам немного, мы едем к нашим женам, любимым, знакомым...»

Дядя Митя слышал, что голос его звучит легко и чисто. У него ничего не болело, и даже мысль о боли была ему теперь смешна, он был абсолютно здоров, как до войны, когда стоял на сцене клуба «Каучук» и сознавал, что от одного его слова или движения зал надорвется от хохота.

«Мы будем галстуки с тобой носить. Без увольнительной в кино ходить. Мы будем петь и танцевать и никому не козырять!»

Ах, как пел эту песню тот томительный, медленный и хмельной поезд, которым он возвращался домой! Как беззаботны они тогда были и как верили наивным и безусловным обещаниям песни. Обещаниям счастья.

В какой уже раз дядя поймал себя на чувстве, которое было, очевидно, явным признаком артистизма его

натуры. Всегда во время успеха, в тот момент, когда он овладевал аудиторией, ее духом, и настроением, и поведением, люди, внимающие ему, начинали ему необыкновенно нравиться. Это и впрямь говорило о щедром и нерасчетливом добродушии, осознавать которое в себе чрезвычайно приятно. Тем более что рождается оно в результате творчества. Даже мать жениха, с ее ноющими, кладбищенскими интонациями не была ему теперь так уж противна. Даже жених Коля неожиданно оказался вполне симпатичным парнем с круглым губастым лицом, мотающимся из стороны в сторону в такт музыке. Лена сделалась почти красавицей, и беременность вдруг пошла ей, придала ее угловатому девчачьему телу прелестную женскую плавность. А самое главное, с лица ее исчезло выражение боязливой неуверенности и зависимости, дядя знал уже, что лучшие от них средства — это счастье, удача, хотя бы мгновение радости.

Стало весело-бестолково, суматошно, как и должно быть на свадьбе. Незнакомые люди перезнакомились, родственники признали друзей, а друзья — родственников, партии жениха и невесты растеряли постепенно взаимную подозрительность. Свадьба шумела, кружилась, катилась, как по рельсам, не нуждаясь больше ни в чьих дополнительных усилиях. Дядя Митя понимал, что его миссия окончена, и радовался этому, отдыхая на диване от тяжести аккордеона. К нему подсел один из жениховых родственников, мордастый, здоровенный мужик с портсигаром в руках. Портсигар казался маленьким сейфом, его литая крышка была украшена всевозможными цацками в виде подков, бутылок шампанского и женских головок. На самом видном месте красивыми буквами было выгравировано: «Кури свои, сволочь!» Тем не менее родственник гостеприимно раскрыл портсигар, словно ворота крепости, и протянул его дяде.

— Ты, это, — спросил он дядю, закусив папиросу литыми железными зубами, — ты, говорят, вместе с Колькой учишься?

— Учусь, — подтвердил дядя.

— Зачем? — Родственник всплеснул большими, как лопаты, руками. — Колька-то дурак. Ему и делов-то, что чужие деньги считать. А ты! У тебя ж в твоей бандуре — капитал! А ты в институте последние штаны протираешь. Иди ко мне на завод, оформлю тебя токарем седьмого разряда. Не бойсь, в цех у меня шагу не шаг-

нешь. Будешь на смотрах выступать, на слетах разных, ну и начальство когда надо ублажишь... Начальство этого не забудет. Ну как, согласен? Давай думай!

— Подумаю,— заверил дядя Митя доброжелателя и понял, что пришла самая пора незаметно и потихоньку смотреться.

Домой он под утро шел пешком, потому что денег у него вовсе не осталось. Аккордеон вновь резал ему плечо и давил на грудь, он вновь задышался, и кашлял, и чувствовал себя совершенно опустошенным. Впрочем, это было типично актерское чувство, неизбежное после успеха, естественно из него вытекающее. Как говорил у них в театре старый актер Жан Романов — «идешь и чувствуешь себя бутылкой, из которой все выпито». Мысли были предрассветные — трезвые и грустные. Дядя Митя думал о своем несостоявшемся таланте, про который он хотел забыть, да вот не вышло, про учебу в институте, которая хоть и удавалась ему, но была скучна, и еще про свою отчаянную удручающую бедность.

* * *

И все же в тот вечер в дядиной жизни произошел поворот. В этом расхожем литературном термине есть, разумеется, большая неточность, повороты судьбы редко совершаются с автомобильной безусловностью. Чаще всего они становятся заметны потом, по истечении времени, и когда внимательно оглядываешь свою несуразную жизнь, то по каким-то тайным, неуловимым движениям сердца восстанавливаешь эмоциональную картину своего бытия и находишь момент этого пресловутого поворота. Так вот, после Лениной свадьбы раскрылась тайна дядиного дарования, и его, стыдя и увещевая, затащили в институтский клуб. Вначале он являлся там как бы обычным участником художественной самодеятельности, но вскоре директор Савелий Михайлович, в недавнем прошлом администратор крупнейших московских театров, странною волею обстоятельств оказавшийся в этом клубе, позвал дядю в свой крохотный — метров пяти — и все же настоящий театральный кабинет:

— Дмитрий Петрович, будем говорить как профессионал с профессионалом. Я даю вам полставки. Дал бы охотно и полторы, но профком не утвердит, поскольку вы на дневном отделении. Впрочем, я еще поговорю об

этом в ЦК...— Он сделал паузу и добавил: — Нашего профсоюза. Не спорьте, я знаю, что вас интересует — вы будете аккомпанировать Танцевальному коллективу. Вы понимаете, это официально, по штатному расписанию. А вообще, как профессионал профессионалу, я очень рассчитываю на ваш вкус...

И дяде Мите захотелось оправдать доверие Савелия Михайловича, у которого в крошечном кабинетике висел портрет красивого и немножко фатоватого Станиславского с дружеским и сердечным посвящением. Самого Савелия Михайловича, про которого говорили, что он был женат на красавице, народной артистке республики Клавдии Коткевич, а она, когда обстоятельства Савелия Михайловича переменились, бросила его ради какого-то знаменитого защитника. То есть адвоката.

Танцевальным коллективом руководил Георгий Аронович Кофман. Вместе с братом в тридцатых годах они выступали в мюзик-холле с эксцентрическими танцами под псевдонимом «Братья Жорж». Старший брат Жорж, Яков Аронович, отдыхал в сорок первом году с семьей под Львовом, попал к немцам и был расстрелян. Знаменитый дуэт — негритянская чечетка, танец матадоров (он же в свое время «республиканская хота» и «стахановский перепляс») распался. Георгий Аронович сильно горевал, мотался по фронтам, попадал под бомбежки и обстрелы, мерз и мок, заработал ревмокардит и после войны ушел по здоровью на пенсию. Кроме того, Георгий Аронович постепенно поддался вовсе не балетному пороку — стал пить. Иногда поздними вечерами он заманивал дядю в маленькую бутафорскую, под сцену. Там пахло слежавшейся пылью и несвежим пропотевшим бельем. По стенам были развешаны украинские и молдавские народные костюмы, по углам стояли деревянные винтовки, деревянные же кубки, выкрашенные в золотой цвет, блюда с муляжными гусями, валялись старые желтые афиши, иногда с росписями бывших и нынешних знаменитостей. Посреди этого бутафорского тлена на колченогом тоже бутафорском столике была расстелена ослепительная ресторанный салфетка. На ней стояли бутылка водки, два стакана — непременно тонких, на бумажных давленных тарелочках из буфета лежали бутерброды с колбасой и рыбой.

— Прошу, — потирая руки с особым домактерским гостеприимством, приглашал Георгий Аронович, — как говорится, маленький а-ля фуршетт.

Дядя совершенно искренне протестовал:

— Георгий Аронович, я, чтобы вам было известно, сын кучера. Вы представляете себе, как пьют кучера? Так что ж со мной будет, если я дам волю своей наследственности?

— Ах, Митя,— Георгий Аронович пренебрежительно и изысканно, явно подражая кому-то очень давно, подражая, может быть, всю жизнь, махнул рукой,— если уж речь пошла о родословной, то я и покойный Яша, мы внуки синагогального шамеса. Вы знаете, что это такое? Ах, лучше вам не знать. Я вам только скажу, что моя бабушка, когда она видела что-нибудь очень для нее удивительное, что-нибудь не поддающееся ее пониманию, она всегда говорила «гойше хасе», то есть прошу прощения, русская свадьба. Так вот, если бы она увидела меня, пьющего еврея, она наверняка развела бы руками — «гойше хасе».

И Георгий Аронович, красиво отставив руку, однако вполне с дворничьим хладнокровием выпивал стакан водки. Тонкий стакан, незамутненный и звенящий.

Несмотря на пагубное свое пристрастие, Георгий Аронович все же не терял лица, знал свое дело и поддерживал связи с огромным количеством друзей, приятелей и просто знакомых. Среди этих друзей и знакомых попадались нужные люди. Через них Георгий Аронович всегда знал, на каком профсоюзном вечере, клубном балу или просто концерте в агитпункте требуется творческая сила, и иногда приглашал с собой дядю. На языке эстрадных артистов и музыкантов такие выступления назывались «халтурой», однако по отношению к дяде этот термин звучит вовсе несправедливо. Какая же халтура, если дядя выкладывался до изнеможения, до того, что руками пошевелить не мог, и домой возвращался в полуобморочном состоянии. Не зря упоминал Георгий Аронович и о любимом присловье своей любимой бабушки, ибо при посредстве тех же самых нужных людей узнавал он нередко и о свадьбах, справляющихся в различных местах огромной столицы. Нынешние молодые люди, которые приезжают к графским особнякам дворцов бракосочетания на «фиатах» и «Москвичах», или же на специальных «Волгах» со скрещенными обручальными кольцами на борту, или, на худой конец, в такси, к радиатору которого голубыми или розовыми лентами привязана дурацкая кукла, молодые люди, которые за месяц до свадьбы покупают в салоне для новобрачных

итальянские кофточки и французские сапоги, обтягивающие ноги невесты, словно кожаные эластичные чулки, молодые люди, собирающие гостей в стеклянных ресторанах и всяких там молодежных кафе, где на специальном танцевальном кругу сияет лаком подвеченный пол, эти молодые люди вряд ли могут вообразить себе свадьбы тех лет. Особенно в тех московских окраинах, среди которых пролегли теперь проспекты и бульвары с названиями, придуманными будто бы в женских гимназиях, — «Сиреневый», «Вишневый», где выстроены экспериментальные кварталы и микрорайоны, где стоят небоскребы, отражающие в своих стеклянных необозримых стенах и восходы и закаты. А в те дни тут стояли деревянные мешанские домики, зимой чуть ли не по самую крышу заваленные чистым, негородским снегом, и еще стояли двухэтажные дома, похожие на дачи, с мезонинами и мансардами, с резными окнами и куполами, а чаще всего тянулись здесь бараки — иногда оштукатуренные, а чаще нет, нехитрые строения, поставленные в жесткие годы первой пятилетки в качестве временных жилищ, да так незаметно перешедших в постоянные, набитые жильцами до отказа, как старушечьи коробки пуговицами, пропахшие кошками, детскими горшками, кухонным чадом и другими ароматами густого человеческого быта. Праздники в бараках были многолюдны, потому что при самом большом желании здесь невозможно было уединиться и скрыть от людского глаза какую-либо подробность своей частной жизни. Здесь все было на виду: и рождение, и смерть, и романы, начинавшиеся где-нибудь возле водоразборной колонки, и скандалы, которые клубком выкатывались по дощатой лестнице на улицу и продолжались во дворе до самого прихода милиции, не очень-то привыкшей спешить в таких случаях, и первое любовное томление на танцевальном пятачке, где днем между двух телеграфных столбов натягивают сетки и играют в волейбол, и уж, разумеется, свадьбы. Свадьбы бывали в бараках колоссальным событием, вызывающим долгие и сложные пересуды, любимым зрелищем, с которым в глазах местного народа не могли сравниться никакие спектакли в клубе и телевизоры в красных уголках и, наконец, большим гуляньем, полным окраинного шика и роковых страстей.

Вот на таких свадьбах и играл нередко дядя Митя. Он сидел за составленными вместе обеденными, кухонными, конторскими, бог знает, какими еще столами, по-

крытыми где скатертью, где клеенкой, где просто бумагой. Горы вареной картошки в чугунах и огромных кастрюлях громоздились на этих, буквой «т», «п» и прочими буквами русского алфавита поставленных столах, вечное блюдо предместных праздников — крутой винегрет в тазах и мисках, соленые огурцы, про которые совершенно точно известно, что они классическая закуска, селедка, разделанная без особых ухищрений, и колбаса, чаще всего «Отдельная», нарезанная крупными тяжелыми ломтями. Дяде Мите как почетному гостю подносили «стопарь» — граненый стограммовый лафитник водки, которая была здесь деликатесом, поскольку основное вино было местное, домашнее, самогон хлебный либо буряковый, за которым посылали гонцов в деревню к родственникам, или же сахарный, собственноручного изготовления. Неплохо шла и брага, рецепты которой в различных версиях и списках существовали на каждой улице, — ее производство требовало массы времени и было связано с некоторым риском для жизни, поскольку время от времени по городу шли слухи, что, мол, на такой-то улице в доме номер таком-то на пятом этаже ночью взорвалась забродившая брага. Число жертв варьировалось в зависимости от воображения и темперамента рассказчика.

Работы на этих свадьбах дяде Мите хватало. Он играл все: и марш Мендельсона по собственной инициативе, и по просьбе свадебной общественности, и танцы, и песни, которых требует, казенно выражаясь, сам протокол таких мероприятий, как бракосочетание. Вкусы у гостей встречались самые разные, поскольку гуляли на свадьбах люди самых разных поколений, и, бывало, молодежь требовала «Челиту», а старшее поколение в это же время «Сухую бы я корочкой питалась». Не это было сложно. Сложности начинались в тот момент, когда вдруг совершенно неожиданно, без видимых причин, а быть может, напротив, в результате каких-то давних и глубоких противоречий праздничная идиллия разом нарушалась. Кто-то еще блаженно распевал в углу «Когда б имел золотые горы...», кто-то еще простодушно вскрикивал «горько!», а скандал уже назревал, уже постепенно воцарялась та пугающая предгрозовая тишина, которая не только в природе, но и в человеческих отношениях каждую секунду может быть нарушена — грохотом, криками, звоном разбиваемой посуды. И вот тут уже дяде Мите приходилось туго — тут он вынужден был

в одно мгновение мобилизовать все свои таланты: и актерские, и музыкальные, и просто человеческие — для того, чтобы ими всеми разом, как плотным одеялом, заглушить летучий огонь разгоравшегося скандала. Иногда дяде это удавалось. А иногда не удавалось, и он бывал тогда очень расстроен, и не только оттого, что жалел невесту, которой испортили праздник. Он считал себя виноватым, он казнил себя за черствость и бездарность, потому что был уверен — талант всегда побеждает злобу и ненависть. Просто обязан побеждать. А если не может, то, значит, разговоры о таланте были сильно преувеличены.

Дядю любили на этих свадьбах. Он был безотказный музыкант, а это само по себе многого стоит. Он был безотказным музыкантом, но не был тапером, и люди это сразу же чувствовали. Он играл так не потому, что оправдывал свою сотню и причитающуюся ему рюмку водки, — он творил, сидя на табуретке или венском стуле в низкой комнате, полной пьяных голосов и табачного дыма. Он творил, а творчество всегда бескорыстно, даже если за него платят и получают деньги. Он так и привык считать эти свои участия в чужих свадьбах своими сольными выступлениями. И даже иногда говорил, собираясь куда-нибудь в Черемушки или в Новоалексеевский бывший студгородок: «У меня сегодня концерт». И готовился к этим вечерам и впрямь как к концертам.

Вот за что платили ему уважением и любовью. И слава его росла, смешная и наивная, но прочная, не требующая ни афиш, ни объявлений по радио, не зависящая от мнений критиков и главреперткома, передаваемая из рук в руки на дворовых скамейках, за партией в домино, в тот момент, когда решается роковой вопрос — дуплиться или не дуплиться; на трамвайной остановке, во время обеденного перерыва, когда до гудка остается еще пять минут, самых приятных, предназначенных на то, чтобы выкурить по одной и поговорить по душам.

Какой артист равнодушен к славе? Дядя Митя не был в этом смысле исключением. Но только он смеялся всегда над своею известностью и говорил, что ему уже пора присвоить звание «дворовый артист республики». Он рассказывал, что получил однажды гонорар литровой банкой патоки и про то, как на одной свадьбе так загуляли, что потеряли невесту. Гости орут «горько!».

а жениху и поцеловаться не с кем. В загсе, спрашивают, была? Вроде была. Когда подношениями молодых одаряли, была? Тоже вроде тут где-то вертелась. А целоваться не с кем! Как говорится, конфуз! Теща говорит, не извольте беспокоиться, она, должно быть, куда ни то вышла, чтобы поправить свой женский туалет. А гости кричат — не для того она замуж выходила, чтобы туалеты поправлять! А некоторые, особенно бдительные из жениховой родни, говорят, — в таком случае просим подарки назад: отрез полушерстяной, одеяло с пододеяльником и ножей шестнадцать штук! Искали, искали невесту — не нашли. Безусловно, неудобно. Но, с другой стороны, студень на столе — за свинными ножками на Даниловский рынок ездили, там свояк ветеринаром служит, первач разлит — не пропадать же добру. Ну и гуляли. Два дня. А невеста потом нашлась. Но не совсем. В том смысле, что она за другого вышла. Был у нее такой Альберт. Она его из армии ждала. А тут два месяца писем нет, она и решила, что он ее позабыл. И дала согласие одному резервному претенденту первой очереди. А тут Альберт возвратился, да еще с благодарностями от командования. Невеста и правда на улице выскочила туалет поправить, а Альберт тут как тут. Со всеми значками. Тут уж не чулок пришлось поправлять, а, как говорится, ошибку молодости. Через два месяца у них тоже свадьба была. «Но я на ней не играл», — заканчивал дядя Митя, как бы подчеркивая, что течение жизни все равно не поддается полному освоению, и ни в одном деле никогда невозможно познать все до конца.

И вдруг улыбка появлялась на абсолютно серьезном до этой минуты дядином лице.

— Там, на той неудачной свадьбе, старуха одна была замечательная. Тетя Паша, то ли крестная чья-то, то ли кума, в общем, невесты родственники думали, что она с жениховой стороны, а жениховы — что с невестиной. Она песне очень хорошей научила. Старой песне. Теперь ее не поют. И я про нее слышал много, и читал тоже, а выучил только нынче.

Дядя взял аккордеон и склонил голову к мехам, словно бы мелодия, которой предстояло родиться, уже слышалась там, в золотых и потаенных потемках. Но вот она появилась на свет и зазвучала высоко-высоко, затрепетала, словно белая женская косынка на ветру, задрожала, зазвенела, как тоненький детский плач:

«У-у-мер, бедняга, в больнице военной, долго, родимый, страдал...»

Я был еще мал тогда и, что такое смерть, понимал весьма умозрительно. Конечно, я знал, что все погибшие на фронте никуда уже никогда не вернуться. Но это было спокойное отвлеченное знание, как будто бы речь шла, например, о смене времен года. А в тот момент безнадежная и одновременно блаженная тоска с необыкновенной силой охватила все мое существо. Я еще не осознал, но уже ощутил великую силу печали, которая томит душу и в то же самое время открывает ей способность смотреть на мир своим особым, внутренним взором. Я пишу об этом нынешними моими словами, которых я и не знал тогда вовсе, но я уверен, что все начиналось тогда, в те самые мгновения, когда дядя Митя тихо и высоко пел о смерти одинокого русского солдата. Тогда поселилась во мне та непреходящая грусть, та постоянная боль, то вечное ощущение неблагополучия и «иглы под ложечкой», без которых я бы никогда не разглядел и доли той красоты, которой одарила меня не слишком щедрая и все-таки щедрая жизнь.

* * *

— Скажите, Митя,— спросил как-то дядю Георгий Аронович,— вы верите в гомеопатию?

— Даже и не знаю, что вам ответить,— смущенно сказал дядя,— я никогда не думал об этом. Вы с таким же успехом могли спросить меня, как я отношусь к ипподрому или к облигации золотого займа.

— Я лично не верю в эти методы,— Георгий Аронович был по-прежнему серьезен.— Но допускаю, что это субъективная особенность моего организма. На меня действуют только лошадиные дозы, кстати об ипподроме. Но к чему я веду... Есть такой московский гомеопат Лопатин... Фигура — можете мне поверить. Вся Москва у него лечится: и Лемешев, и Уланова... и... — Георгий Аронович многозначительно и таинственно указал поднятым пальцем в потолок.— Между прочим, за это ему оставили пол-особняка, весь второй этаж. Коллекция живописи, хрустали, вы себе представить не можете. Вообще личность, монстр, во время войны отвалил полмиллиона на самолет. «Назовите,— говорит,— как хотите, пусть хоть Ферапонт Головатый, мне моей славы хватает». Что это, я никак к сути не перейду? Вот в чем дело, Ми-

тя,— Лопатин сына женит. Между нами говоря, шалопай и подонок, хотя хороший парень. Невеста, говорят, красавица, но сирота. Свадьба будет, можете себе представить, какая, один день в «Гранд-отеле» для молодежи, другой день у Лопатина для родных и вообще для старшего поколения.

— Я как-то не пойму, зачем мне это знать,— подивился дядя,— я ведь, как вам известно, специализируюсь больше по баракам...

— Искусство,— высокопарно и торжественно произнес Георгий Аронович,— пора вам это знать, молодой человек, пренебрегает материальными условностями. Оно одинаково и в хижинах и во дворцах!

— Ну разве что...— не очень уверенно согласился дядя. Он вспомнил, что мать вторую зиму ходит в старом, довоенном еще, демисезонном пальто и в сильные морозы безнадежно укутывается тремя вигоневыми платками.

— Музыки,— продолжал Георгий Аронович,— в этом доме, конечно, хватает. Всякие «телефункены», «шукерты»-шмукерты, я знаю. Вся джазовая классика, цыгане, Вертинский, Козин... Но у старика есть бзик, я же вам говорил, это монстр, Егор Булычов и другие. Он сам из сормовских мастеровых. Да, да, вообразите себе, «гоише хасе», как говорила моя бабушка, «русская свадьба». И обожает гармошку. То есть, простите, гармонь. Он меня просит: «Жора, достаньте мне гармониста, только не этих ваших эстрадных лиристов, которые играют на баянах Берлиоза, а настоящего гармониста, чтобы душа взлетела». А? Это ж прямо к вам относится.

— Вообще-то у меня сессия,— с сомнением начал дядя Митя,— бухучет, истмат, политэкономия...

— Ну если мы такой богатый студент,— обиделся Георгий Аронович,— белоподкладочник, золотая молодежь, сын наркома...

— Извозчика,— поправил дядя,— причем в последнее время ломового. Давайте адрес, мой бескорыстный импресарио.

Особняк стоял в Потаповском переулке. Здесь обжилась некогда интеллигентская Москва, профессорские дома, адвокатские квартиры, скверы, в которых кормилицы и бонны прогуливали детей— мальчиков и девочек с одинаковыми длинными локонами, в одинаковых девчоночьих платьях. В такой вот январский вечер по

направлению к Чистым прудам шли гимназистки в длинных суконных юбках. В руках у них были коньки, с загнутыми носами, похожими на крутой завиток девичьих волос, выбивающийся из-под котиковой шапочки.

Дядя Митя не спеша бред пустынными улицами и сам удивлялся неожиданной элегичности своих мыслей. Он впервые робел, отправляясь на свою привычную уже работу. Не волновался, как перед спектаклем, когда ни за что нельзя приняться, ничем невозможно рассеяться, а в итоге постепенно созреваешь до единственного необходимого состояния духа. Именно робел, как перед визитом к врачу, кошки скребли на сердце.

В прихожей гомеопатской квартиры висела большая хрустальная люстра. А на стенах красовались ветвистые лакированные олени рога и огромное зеркало в дубовой декадентской раме. Дядя Митя никогда не видел такого богатства не в музейной, а так сказать, вполне житейской обстановке. И все же, пока он пристраивал на дубовую вешалку свое пальтишко и снимал галоши, ему вдруг совершенно ясно стало, что роскошь эта не парадная, не естественная, что ощутим в ней перебор, хоть и незначительный, но несомненный; почувствовав от этой мысли немного злорадное облегчение, дядя направился за домработницей в глубь квартиры. Через большую комнату, которую уже вполне можно было считать залом, тянулся стол, сияющий скатертью, хрусталем и серебром. Он доходил до застекленных, распахнутых дверей, ведущих в соседнюю комнату, и терялся в ее перспективе. Хозяин встретил дядю в кабинете. Он был в домашнем бархатном пиджаке с помещичьими брандатурами, под которым виднелось крахмальное белье и шелковый галстук с затейливой булавкой. Большая лакированная лысина, какие бывают у процветающих, довольных жизнью людей, шла его хитрому мужицкому лицу, зато золотые тонкие очки выглядели на нем ни к селу ни к городу. И опять дядя почувствовал маленькое снисходительное удовлетворение.

— Играете? — спросил Лопатин, протягивая дяде большую белую и мягкую, как у женщины, руку.

— Играю, — скромно подтвердил дядя.

— Студент? — прозвучал столь же лаконичный вопрос.

— Студент.

— Консерватории или гнесинского?

— Финансового, — признался дядя.

— Оно и вернее,— сказал хозяин и подмигнул дяде из-под профессорских очков крестьянским хитрым глазом. Потом он достал из книжного шкафа бутылку коньяка, судя по загогулинам на этикетке, очень дорогого, и две пузатые, словно подсвеченные изнутри, рюмки. Пока он открывал бутылку, чуть брезгливо протирал салфеткой рюмки и смотрел их на свет, дядя Митя не мог отвести глаз от его белых манипулирующих рук — рук фармацевта, чародея, алхимика.

— Что смотришь? — угадав дядины мысли, спросил Лопатин.— Думаешь, раз гомеопат, то по капелькам цедить буду? Нет, брат-студент, по полной российской норме. А то я знаю вас, гармонистов, вы ведь без политуры и мехи свои не растянете.

Хозяин вновь посмотрел на дядю заговорщицким хитрованским взором «своего мужика», и дядя опять не без удовольствия ответил ему корректным вежливым взглядом.

Гости съезжались так, как выходят на сцену герои в классической многолюдной пьесе — друг за другом, спустя равные промежутки. Сначала дядя невольно обращал внимание только на отлично сшитые костюмы, на кольца и браслеты, которых было очень много, так много, что они назойливо лезли в глаза, сколько ни отворачивайся. Но потом он понял, что дело вовсе не в золоте и не в одеждах, сшитых легендарными портными, а в том, что это были люди из неведомого ему мира. Разумеется, он их встречал иногда, в театральных фойе, на улице, возле комиссионных, а чаще ювелирных магазинов, на стадионе у входа на Северную трибуну,— таким образом, его житейская дорога шла иногда параллельно их путям, но лишь впервые эти линии пересеклись. Впервые дядя очутился в их отдельном мире и сразу же понял, что ему лично делать здесь совершенно нечего. Он ничуть не переживал по этому поводу, ему стало даже смешно от трезвого сознания, что ни одна из здешних красавиц — а их было много, словно все самые красивые женщины Москвы и Московской области послали в эту квартиру своих делегатов — ни при каких обстоятельствах не обратят на него внимания. Его чисто умозрительные шансы были минимальны, практически они были равны нулю. Но он не был ни обижен, ни угнетен, он просто из своего угла — ну, не угла в прямом смысле, а так, из укромного, незаметного места — рассматривал этих женщин, холеных, притяга-

тельных и в то же время, на удивление, лишенных того необъяснимого умения создавать вокруг себя настроение и атмосферу, без которого жизнь даже не владельцев, а только сторонних наблюдателей красоты теряет очарование.

Шум, раздавшийся в прихожей, смех, преувеличенные звуки поцелуев — все свидетельствовало о том, что прибыли наконец молодые. Некоторые из гостей, вероятно близкие родственники, ринулись в переднюю. Поцелуи и смех вспыхнули с новой силой. Но вот на пороге появился высокий молодой мужчина в небрежно растегнутом смокинге, и дядя отметил про себя с некоторым уже профессиональным опытом, что это, несомненно, жених. Он был слегка, вполне обаятельно пьян и неопределенными, пластичными жестами длинных рук иронически объяснял, что невеста прибыла, что она, естественно, задерживается где-то там, поправляет прическу, пудрится, в сотый раз глядится в зеркало или натягивает чулок на прекрасной длинной ноге. Друзья окружили счастливца. Он целовался с мужчинами, изящно переламывался надвое, припадая к дамским ручкам, он хохотал, обнажая замечательные зубы, так, что видны стновились литые мощные бабки, он разводил покорно руками: вот, мол, и меня не миновала чаша сия, он легко напружинивался и, обхватив за плечи двух ближайших своих старших приятелей, нашептывал им нечто такое, отчего они принимались хохотать, лучисто сияя золотыми коронками. А жених утомленно и снисходительно улыбался — у него было лицо развитого и хитрого мальчика, как-то неподходящее к его сильной мужской фигуре.

В это время в комнату вошла Леля Глан. Дядя Митя узнал ее сразу же в ту секунду, как увидел, словно и не прошло семи лет, словно 22 июня 1941 года было вчера, словно пять минут назад она уже была здесь. Дядя почувствовал, что у него горят щеки и слабеют колени. Он глубоко вздохнул, стараясь овладеть собою, перед тем как подойти к Леле легкой и безотносительной походкой свободного человека, артиста, знающего себе цену, солдата, научившегося не придавать слишком большого значения собственной жизни. Он даже сделал несколько шагов и только тут, задним умом, словно спронеся, будто бы соль анекдота, рассказанного некоторое время назад, понял, что Леля и есть невеста. Он остановился, застигнутый врасплох этой очевидной

мыслью и медленно, будто комический персонаж в немом фильме, не поворачиваясь, пошел назад. Он даже испугался, не узнала ли его Леля, хотя как она могла его узнать, окруженная гостями, естественно и очаровательно светская, вся в мать, улыбающаяся, как всегда, более всего глазами.

Подходить к ней было уже вовсе неудобно — тоже мне, гость, в лицеванном костюме, гармонист, приглашенный на свадьбу, чтобы потешить тестя с его каратами на белых пальцах и сентиментальными воспоминаниями о сормовских гулянках. Дядя, стесняясь, налил себе рюмку водки и залпом выпил не закусывая.

Ах, как хороша была Леля! Она всегда была хороша, и девчонкой в солнечном арбатском переулке, одетая в голубую футболку с синей вставкой и синей шнуровкой на груди, в тугих теннисных тапочках на легких загорелых ногах. Она шла вдоль ограды под старыми липами с таким уверенным и даже дерзким видом, который появляется у девушек в то время, когда они начинают осознать свою прелесть и свою неожиданную власть над окружающими. А на свой последний зимний бал, куда дядя Митя приходил уже гитисовским студентом, — Леля под видом Татьяны Лариной надела материнское длинное платье и впервые отросшие после комсомольской короткой стрижки волосы подобрала наверх. Эффект произошел поразительный. ВВС — Василий Васильевич Суздаев, математик, закончивший два факультета Петербургского университета, еще до революции посетивший Францию и Италию, называвший учеников по гимназической привычке «народами», увидев Лелю, всплеснул руками.

— Нет, вы подумайте, Психея, иначе не скажешь, Психея! — имелась в виду актриса Глебова-Судейкина, прогремевшая в юности Василия Васильевича в пьесе «Псиша».

Вернувшись домой из госпиталя, дядя Митя в тот же день пошел к Леле. В ее комнате жила большая семья какого-то снабженца, которая, по-видимому, всякое упоминание о прежних здешних хозяевах воспринимала как подозрительный намек.

— Они эвакуировались, — взвился снабженец, — и потеряли право на жилплощадь. А я эту комнату получил по законному ордеру. Да! По законному! — Он так напирал на эту законность, что сразу же понятно стало — снабженец вселился сюда нахрапом. Соседи под-

твердили эту догадку. Они рассказали, что Лелины родители не хотели эвакуироваться, ну просто ни за что. Лелина мать вместе с Лелей дежурила на крыше. «Представляете, такая была барыня, и хоть бы что!» Но у отца от бомбежек усилились гипертонические приступы, несколько раз он падал на улице, боялись инсульта, и в конце концов они поддались на уговоры. Их эвакуировали в Сталинград, это считалось очень удачным — глубокий тыл, и Волга, купанье, астраханские арбузы... С тех пор о них ни слуха ни духа.

Дядя Митя не мог успокоиться. Он разыскивал бывших Лелиных подруг, ездил к черту на кулички, стучался в чужие двери, входил в чужие кухни — никто ничего не знал о Леле. Последние ее письма действительно были из Сталинграда. И тогда он потерял надежду. Только проходя мимо Лелиного дома, он всякий раз вспоминал тюлевую занавеску, выдуваемую из высокого окна июньским сквозняком, и с тоскливой ненавистью смотрел на колбасу, свисающую в авоське из форточки нынешнего владельца комнаты.

А Леля, вот она, совсем рядом. Всего лишь на другом конце стола, такая уверенная в себе, умеющая, как прежде, одним лишь взглядом поселить в душе ощущение нечаянной радости, как будто бы не было ни бомбежек, ни медленных, задыхающихся от зноя поездов, пропахших потом и мочою, ни беженцев, ночами стоящих в долгих, подавленных очередях. Она была прелестна. И по-прежнему, и по-новому. Что бы сказал теперь Василий Васильевич с его петербургским эстетизмом и склонностью к ослепительным параллелям?

Дядя Митя вновь налил себе рюмку водки, но, собираясь ее опрокинуть, натолкнулся на возмущенный взгляд своей соседки. Оказалось, что, пока он размышлял о своей жизни, за столом уже начался некий свадебный церемониал. Жених поднялся во весь свой великолепный рост, в правой руке он держал бокал шампанского, в котором, как в родниковой воде, с неиссякаемой энергией подымались на поверхность лопающиеся пузырьки, а левой свободной рукой совершал плавные движения, с помощью которых каждая фраза как бы отсылалась слушателям:

— Мне здесь товарищи говорят, что я нарушаю традицию. Не полагается, чтобы жених, жених — это я, для тех, кто еще не разобрался, — так вот, чтобы жених был тамадой у себя на свадьбе. Я думаю, что это предрас-

судки, товарищи. Я думаю, что эти традиции пора пересмотреть.

Это на собственных похоронах действительно трудно выступать. Потому что нескромно. А на свадьбе скромность ни к чему. Когда много скромности, тогда и жениться не надо.

Гости с пониманием дружно захохотали. Дядя Митя взглянул на Лелю — быстро, словно боясь, что его обнаружат, она тоже смеялась.

Между тем жених продолжал, и дядя, будто очнувшись, вновь услышал его голос:

— Я не стремился к брачным узам. Видит бог и другие свидетели из присутствующих. Домашний счасть, супружеская верность, продолжение славного рода Лопатиных — мне все это было скучно. Понимаете, от одной этой мысли у меня скулы сводило зевотой. Семейная жизнь казалась мне почему-то одной сплошной поездкой в метро. Вы представляете себе, что это такое? Одни и те же, смазанные, серые, лишенные выражения лица, которые все время торчат перед тобою, мотаются и трясутся, — от них некуда деться. И маршрут строго определен — никаких отклонений. Парк культуры или Сокольники.

Гости опять засмеялись. Оратор выждал паузу и, подняв бокал, приступил наконец к своему главному тезису:

— Я ни от чего не отказываюсь. Я не беру свои слова назад. Я просто допускаю другую возможность. Вот она перед вами. Я думаю, все со мной согласятся, что такую возможность невозможно упустить. Я пью, друзья мои, за эту возможность. Полюбуйтесь на нее. И не дожидаясь, пока вы соберетесь, я сам себе крикну «горько!».

Он выпил шампанское и шикарным гусарским жестом швырнул бокал через плечо. Раздался мелодический звон хрусталя, разбившегося на вошеном дубовом паркете, а жених в это время обнял Лелю и поцеловал ее вовсе не символическим, а самым настоящим поцелуем, таким, из-за которых на кинокартины, взятые в качестве трофея, детей до шестнадцати лет не допускают.

«Татьяна, помнишь дни золотые?..» — почему-то вспомнилось дяде душещипательное танго, чрезвычайно ценимое на окраинных свадьбах. Он впервые внимательным, почти оценивающим взглядом оглядел стол — салаты необыкновенной красоты из свежих овощей, впереди томно мерцающую икру, семгу нежно-интимного

цвета, батарею марочных коньяков. Затем дядя перевел свой непривычно расчетливый взгляд на огромную люстру, на стены, увешанные, словно витрина антикварного магазина, потемневшими картинами — в золоченых толстых рамах, он впервые совершенно трезво подумал о том, что для Лели это вполне подходящая партия. «Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует», — как говорил в любимой его пьесе «Бесприданница» Мокий Парфенович Кнуров. Действительно, что бы получилось, если бы Леля вышла за него, неудавшегося комика и будущего финансиста из районного банка. Смешно. Он выпил рюмку водки и закусил нежно хрустящим корншоном. Смешно.

А тогда было не смешно, в тот вечер, накануне его отъезда из Москвы. Его отпустили в увольнение, и он пришел домой. У своих ворот он встретил Лелю. Она посмотрела на него совершенно незнакомыми темными глазами, и у него упало сердце.

— Я жду тебя каждый вечер, — опять-таки незнакомым, вовсе не насмешливым голосом сказала Леля, — я была уверена, что ты придешь.

Он молчал. Он не знал, что говорить. Потребовалось огромное всенародное горе, чтобы ему привалило счастье.

— Дома никого нет, папа дежурит в аптеке, а мама уехала к своей сестре, собирать ее в эвакуацию.

Темнело, переулок был пуст. Они, не сговариваясь, пошли в сторону ее дома. Он вдруг совершенно спокойно и конкретно подумал о том, о чем раньше не смел подумать, даже в самых дерзких мечтах. Он не касался Лели и тем не менее ощущал ее совершенно по-новому, совсем не так, как раньше. Стены домов отдавали накопленное за день тепло. И в этот момент рядом, словно из недр московских подвалов, из глубин канализационных люков, из русл московских речек, загнанных в трубу, низко застонала сирена.

— Граждане, воздушная тревога! — металлическим голосом заговорил репродуктор на перекрестке. Ему ответили эхом репродукторы на Арбате и на Кропоткинской, сирена уже не стонала, а выла, и казалось, что это воют дома — глотками своих дымоходов и вентиляционных отдушин.

Они оказались в подворотне огромного шестизэтажного дома, мимо них в бомбоубежище пробегали люди, напуганные сиреной, кричали дети, свистели дворники, в

руках у некоторых женщин мотались неизвестно зачем узлы с домашним скарбом. И вся эта толпа, простоволосая, застигнутая тревогой посреди домашних дел, в тапочках на босу ногу, испуганная, вызывала пронзительную до боли в сердце жалость. В длинном пролете подворотни гулко отдавались быстрые шаги и крики бойцов ПВО. Потом все внезапно стихло. Леля и дядя, прижавшись к стене, стояли у самых железных ворот. На противоположной стене подворотни мелом было написано: «Кто болеет за «Спартак», тот придурок и дурак» и была нарисована рожа, олицетворяющая, вероятно, этого нерасчетливого болельщика.

— Мы правильно сделали, что не пошли в убежище, — почему-то шепотом произнес дядя, — тревога учебная.

— Конечно, учебная, — отозвалась Леля. — К Москве их все равно не пропустят. — И, будто бы специально, опровергая ее слова, раздался грохот такой, какого они никогда в жизни не слышали, ухающий, несовместимый ни с какими городскими шумами, сопровождаемый, однако, скандальным звоном разбитого стекла. Леля прижалась к дяде Мите, и он услышал, как толчками стучит кровь в его висках не только от пережитого страха, но еще от сладостной тяжести ее тела. Он поймал себя на преступной мысли, что был бы рад, если бы еще раз раздался пугающий взрыв, потому что появилась бы оправданная возможность повернуть ее и прижать к себе грудь грудью.

— Ты боишься? — прерывающимся шепотом спросил он.

Леля подняла глаза и медленно сказала:

— Теперь уже наши наверняка не вернутся до ночи. Пойдем к нам, другого времени у нас не будет.

Они взялись за руки, как дети, и изо всех сил, словно при сдаче ГТО, понеслись по переулкам. Частый-частый хлопающий звук доносился с Садового кольца, дядя только после догадался, что это зенитки. Ухнул еще один взрыв, и они припустились бежать так быстро, словно чувствовали за собою страшную мистическую погоню.

В парадном было тихо и темно. Сердце еще трепыхалось у дяди в горле, но страх уже прошел. Квартира, куда они вошли, совершенно опустела. На непогашенном примусе выкипал забытый чайник. Вспоминались разные фантастические истории о кораблях, в одну се-

кунду загадочным путем покинутых экипажем. Не зажигая света, Леля открыла дверь в своей комнате. В полутьме сквозняк шевелил занавесками. Дядя почувствовал знакомый запах — старых книг, хороших духов, нафталина, лекарств. Они стояли в полутьме и расширенными глазами смотрели друг на друга.

— Хочешь спирта? — вдруг решительно спросила Леля. Дядя Митя кивнул головой, хотя ни разу в жизни не пил ничего подобного. Леля достала из недр буфета большой аптекарский сосуд с притертой пробкой и маленькую, вероятно, лабораторную стопочку. — Разбавить?

— Не надо, — хриплым, не своим голосом сказал дядя. Он лихо, без предварительной подготовки, опрокинул рюмку, поперхнулся, у него перехватило дыхание, спазмы всех внутренностей выталкивали жидкость обратно, все лицевые нервы оказались парализованы. Дядя резко отвернулся, чтобы Леля не заметила его позора, и уткнулся в книжный шкаф, вытирая нелепые слезы. Он отдышался, сквозь темное вечернее стекло различил сочинения Достоевского в Марксовом дореволюционном издании. Собираясь повернуться, он вдруг различил шорох и, не смея поверить собственным ушам и самому себе, понял, что он означает. Дяде Мите вдруг сделалось жарко и душно. Закружилась голова, пересохло во рту, и ватными, непослушными стали ноги. Наступила полная тишина, и шорох за дядиной спиной звучал почти так же громко, как разрывы за окном несколько минут назад. Он уставился в мерцающие за стеклом книжные корешки, как будто бы в этом потоке невероятных, несбыточных событий хотел уцепиться за соломинку привычного, будничного бытия. Отблески прожекторов зыбко отражались в стекле шкафа, словно в глубокой колодезной воде.

— Ну что же ты, — сказала Леля неслыханно грудным и одновременно капризным тоном.

Он медленно, чувствуя, как бьется о ребра, почти грохочет его сердце, повернулся на голос.

Леля стояла у дивана совершенно обнаженная и привычным женским небрежным упоительным движением распускала волосы.

...Гости недружно, но громко кричали «горько». Молодой Лопатин вновь целовал Лелю так, будто хотел развеять чьи-либо сомнения в неограниченной и совер-

шенной полноте их отношений. У дяди Мити, по крайней мере, таких сомнений не возникало.

Уже включили радиолу. Уже крутился, отражая огни люстры, большой диск американской пластинки, странно совпадающий в воображении с лицом музыканта, тоже черным, тоже блестящим, тоже круглым от напряжения, от натуги, без которой труба никогда не взвьется на такую головокружительную высоту.

«О Сан-Луи!»

«Он хорошо играет, этот негр,— думал дядя,— он правильно играет». Дядя позволял себе так думать, потому что сам был артистом и не считал для себя заносчивым звезд любой величины судить со своей собственной колокольни. Потому что колокольня все-таки была, даже если колокола с нее срезали. «Он хорошо играет,— думал дядя,— но ему везет, что он играет сейчас на пластинке. Если бы он видел сейчас эти сытые танцы, ему совсем бы не захотелось выворачивать душу. Это неправда, что его музыка — музыка толстых. Он не виноват, что толстые успевают прибрать к рукам все хорошее, не только музыку...»

— Ну-с, молодой человек, вы как? Еще в творческом состоянии?

Дядя Митя поднял голову и увидел, что над ним стоит Лопатин, вальяжный, раскрасневшийся от выпитого, в мужицких его глазах за цейсовскими стеклами появилась задорная пьяная пренебрежительность.

— Ну, разумеется,— подымаясь, преувеличенно изобразил дядя полную готовность.— Только и жду распоржений. Уж и не знаю, как вас называть. Если хотите, ваше превосходительство.

— Бросьте,— Лопатин неожиданно расплылся в простодушной довольной улыбке,— будет вам. Приступайте. Выдайте что-нибудь этакое... А то у меня от этих джазбандов давление прыгает.

— Слушаюсь,— дядя изысканным жестом швырнул на стол смятую салфетку.— Объявляйте номер.

Эта лихость вовсе не соответствовала его настроению. Дядя Митя бодрился, но, в сущности, был растерян. Потому и ерничал, что не знал, как ему быть. А надо было — и об этом он смутно догадывался — пойти незаметно в переднюю, надеть свое драповое пальто и галоши фабрики «Красный треугольник» на малиновой подкладке — про них тогда ходил анекдот о надежности отечественной продукции в международном свете, пред-

ставьте, говорили наши люди бывшим союзникам — англичанам и американцам, — у нас на днях управдом с крыши сверзился, так сам вдребезги, а галоши целы остались, так вот, надо было надеть эти самые галоши, схватить в охапку трофейную гармонию честной немецкой фирмы «Хоннер» и бежать отсюда к чертовой матери, унося свою боль и свою тоску, из которой счастливые люди с загривками поверх крахмальных воротничков еще не успели сделать себе развлечение. Но вместо этого дядя Митя пришел в хозяйский кабинет и раскрыл футляр аккордеона. В зале гремели танцы. Барабанщик на заграничной пластинке «кидал брэк» — выдавал серию пулеметных очередей, перемежаемых артиллерийской канонадой и глухим бомбовым уханьем. Слышался смех и шарканье подошв по паркету. Однако над всем: над саксофонами и барабанами, над женским кокетливым смехом и остротами кавалеров — царил победный и веселый голос: жених и сам танцевал и правил бал.

— Прошу обратить внимание — классическая вещь «Когда святые маршируют», Игорь Александрович, к вам это не относится, продолжайте обнимать даму. Ах, это вы танцуете, в таком случае пардон. Дорогие гости, танцуем все, демонстрирую гвоздь сезона — так называемый гамбургский стиль. Привезен из Лондона, столицы Парижа. Учитесь — на просторах Родины чудесной мы пока единственная пара.

Дядя Митя достал свою неизменную железную расческу и задумчиво провел по волосам: с чего бы теперь начать.

Он начал с песни, неизвестно как попавшей в те годы в московские дворы, может быть привезенной такими же демобилизованными солдатами, как и он сам, может быть, подаренной Отечеству каким-нибудь раскаявшимся эмигрантом, сделавшим из своей ностальгии профессию, бог ее знает — это была кабацкая песня, надрывная, низкопробная в сущности, однако не фальшивая и не спекулятивная. И была она дяде под настроение со всем своим душещипательным настроем, со всею своей неподдельной тоской и слабой надеждой на счастливое стечение обстоятельств, и уличность ее ложилась дяде на сердце, в конце концов его за тем и позвали, ради того, ради чего в старое время светские господа среди ночи ездили на Сухаревку в извозчицьи трактиры.

«Здесь, под небом чужим, я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...»

Дядя давно заметил, что все эти простенькие слова, если воспринимать их непосредственно, забыв на минуту о традициях и условностях, если всмотреться в их изначальную образность, начинают волновать и томить сердце, не надо только форсировать эти слова, надо им доверять, впрочем, как и музыке тоже. Он и доверял, отыскивая своему отчаянью достойный выход по ступенькам аккордеонных клавиш.

После «Журавлей» дядя Митя бравурно и заливисто сыграл «Дунайские волны», потом «Темную ночь», он чувствовал, что овладел публикой, подавил ее равнодушие, подчинил ее своей воле, впервые в жизни это не доставило ему ни малейшего удовольствия. Впервые в жизни люди, которых он, как крысолов из немецкой сказки, заморозил своею музыкой, не сделались ему симпатичными. Он не искал с ними ни душевного контакта, ни простого общения, он играл и пел просто для себя самого, потому что это был лучший из доступных ему способов самовыражения, а вообще-то ему просто хотелось плакать, как не хотелось уже, наверное, лет пятнадцать — он ведь умел подавлять и загонять внутрь все свои обиды, — хотелось реветь глупыми слезами, облегающими душу.

Без перерыва, не оставив гостям времени ни для отдыха, ни для восхищений, он завел свою любимую, с которой никогда не начинал своих застольных концертов, она должна была дойти, дозреть до того благородного состояния, которое поднимает расхожую патефонную мелодию до уровня высокого чувства.

— «Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой, здравствуй, здравствуй, город над рекой, где тебе сказал я «до свиданья» и махнул в последний раз рукой», — пел дядя просто и свободно, вовсе не заботясь о каких-либо тонких намеках и личных ассоциациях.

Он прохаживался немного по комнате, взад и вперед, потому что есть песни, с которыми трудно по-школьному усидеть на месте, они влекут куда-то — на улицы, по которым любишь ходить без определенной цели, в старые парки, где с деревьев неслышно осыпается снег, к реке, долго не замерзающей, темной между белых пустынных берегов.

Он прохаживался, а ему казалось, что он идет по своему переулку, и все только начинается, и еще совсем

не о чем жалеть, и предошущие счастливых перемен толкает его в спину, как дружественная напутственная рука, и белая занавеска выдувается впереди из Лелиного окна.

— «Здравствуй, здравствуй, позабудь печаль, здравствуй, здравствуй, выходи встречать».— В это мгновение, совершенно неожиданно, может быть, впервые придав своему взгляду не рассеянное вообще, а конкретное направление, он встретился с Лелиными глазами. Настолько очевидной, нос к носу, была эта встреча, что невозможно стало равнодушно отвести взор или дипломатически слукавить. Малодушная надежда промелькнула в его сознании — он верил, что прочтет в ее глазах и радость и сочувствие, но они оставались бесстрастными — бесстрастными по отношению к нему, от всех прочих событий в них оставались и доигрывали возбужденные весельем искры.

Когда умолк аккордеон, дяде Мите даже похлопали, что явилось абсолютно искренним проявлением чувств, хотя ему показалось издевательством. Так же вот хлопает лицемерная родня какому-нибудь косноязычному вундеркинду, когда он после долгих просьб прочитает басню Михалкова. Про зайца во хмелю. Или про бобра, брошенного лисицей. Довольный, снисходительно сияющий очками хозяин подошел к дяде с рюмкой коньяку. «Как городовому,— подумал дядя Митя.— Не хватает только полтинника на тарелочке». Молодой Лопатин тоже подошел, он был значительно выше дяди и чокался с ним несколько сверху вниз.

— Ди дойче варе? — спросил он веселым тоном знака и коснулся аккордеона пустой рюмкой.

— Что, что? — не понял дядя. У него уже кружилась голова, и ноющая боль вкрадчиво появилась в груди, она всегда так начиналась, потихоньку, так робко и застенчиво настраиваются в оркестре скрипки.

— Я говорю, немецкая, что ли, работа? — улыбаясь, пояснил жених.

— Ах, работа, да, да, немецкая...

— Шикарная машина.— Жених слегка повернул аккордеон вместе с дядей.— Умеют все-таки, а?

— Умеют,— тихо ответил дядя Митя. У него опять было такое чувство, будто осколок застрял поперек горла,— они разные машины умеют...

— Дорого дали? — неожиданно деловито поинтересовался Лопатин-младший. И, уловив в дядиных глазах

недоумение, вновь с улыбкой пояснил: — За машину-то, спрашиваю, много заплатили?

— Много,— ответил дядя Митя,— половину легкого, как минимум, не считая остальных менее важных частей...

И он снова заиграл, чтобы прекратить этот дурацкий разговор и чтобы, не дай бог, Леля не подошла и не призналась светским тоном, которым она всегда замечательно владела, что они с дядей — вот ведь какая игра судьбы — давно знакомы, некоторым образом друзья детства и юности. Он играл разные танго, которые очень хороши после крепкого застолья, потому что не требуют особого хореографического искусства и опять же самой своей сущностью располагают к тому, чтобы вполне лояльным путем обнять и прижать к себе даму. Наконец танцевальная энергия иссякла, хоть запасы ее у жениха казались неиссякаемыми, подали кофе, мужчины сняли пиджаки и с наслаждением распустили галстуки, дамы будто бы невзначай поспешили собраться своим замкнутым кругом, и дядя Митя почувствовал, что его роль сыграна. Он зашел в кабинет хозяина, ярко светила луна, так ярко, что не нужно было зажигать света, дядя запаковал инструмент и приблизился к окну. Вероятно, ночью похолодало, оттого и стал так чист и ясен лунный свет. Дядя закурил, хотя уж это было совсем последнее дело, врачи ему так и сказали, но сейчас от курева ему, как когда-то на фронте, сделалось легче. Он стоял возле тяжелой шторы и смотрел, как сверкает в лунном свете морозный булыжник мостовой, такое созерцание холода из тепла всегда успокаивает и создает ощущение уюта, налаженности и прочности жизни. Как раз того, чего ему так не хватало.

— А ты все такой же,— за его спиной прозвучал Лелин голос,— вдруг исчезаешь куда-то и стоишь один в темноте...

— А ты не зажигай света,— не оборачиваясь, ответил дядя,— и мы двое будем стоять в темноте.

— Ты хотел сказать, вдвоем?

— Я хотел сказать двое.

— Тебе не хочется на меня смотреть? Что, очень по-дурнела?

— Ну, ну, ну, похорошела, я же имел возможность рассмотреть тебя при ярком свете,— дядя обернулся.

Леля уселась в глубокое кожаное кресло, непринужденно сложив ноги в изящную, чрезвычайно выгодную

для них позу — она умела это еще в школе, получив от матери несравненное женское воспитание.

— Как тебе нравится мой жених? — спросила она после паузы.

— Мне очень нравятся твои духи, — сказал дядя.

— Спасибо, что заметил. Они, кстати, тоже его подарок. Но ты не ответил на мой вопрос. Это обидно.

— Зачем ты меня спрашиваешь? — Дядя раздавил в пепельнице папиросу и тотчас же достал другую.

— Ну кого же мне еще спросить? Все остальные пристрастны, они давно его знают, ты единственный здесь новый человек.

— Единственный новый и единственный старый.

Дядя Митя злился на Лелю и одновременно получал от этого разговора странное удовольствие.

— Зачем ты меня спрашиваешь об этом? Какое значение имеет мое мнение? Я кто? Я тапер, наемный шарманщик, разве мое дело женихов обсуждать? Мое дело — крути, Гаврила, и весели приятное общество.

— Меня ты не слишком развеселил, — вдруг совсем иным тоном заметила Леля.

— Простите, — дядя покорно склонил голову. — Но и ты меня тоже. Мне не понравился твой муж. Он у тебя слишком веселый.

— Это ты мне говоришь? — Леля порывисто встала. — Ты, который учился на профессионального комика?

Это очень смахивало на недостойный прием. Впрочем, она ведь ничего не знала о дядиной судьбе, поэтому дядя не обиделся.

— И неплохо учился, — вздохнул он, — только ведь речь не обо мне, я ведь не жених. Он у тебя, знаешь, какой веселый? Которому никогда не бывает грустно. Кстати сказать, комики из таких не получаются.

— Но ведь из тебя тоже, судя по всему, не получился, — возразила Леля.

— Верно говоришь. Но я-то здесь при чем? Меня обсуждать по другой категории полагается. Массовик-затейник получился, и ладно. И то хлеб.

Они помолчали некоторое время. Дядя понимал, что Леля хочет спросить о его жизни, однако из чувства противоречия не может этого сделать. А ему выяснять ничего не хотелось, самое главное он уже выяснил в тот момент, когда она появилась в зале в подвенечном платье.

— Ты знаешь,— почти весело сказал дядя,— не огорчайся, для меня, например, ничего удивительного в нашей ситуации нет. Я много на свадьбах играю и странный закон обнаружил. Не знаю только, как бы его точнее и деликатнее сформулировать. В общем, так: самые лучшие невесты всегда достаются неважным парням. Просто роковым образом. Исключений почти не бывает. Мне раньше казалось, что надо быть достойным любви. Что любовь надо заслужить, что ли... Я уж не знаю как. Кто как умеет. Мне, может, играть лучше надо. Или вообще чем-нибудь отличиться. Достигнуть, так сказать, пределов совершенства. Потому что любовь — это вознаграждение за высшие качества души, за ум, за талант. А оказывается, ничего подобного не нужно. Иногда даже странно делается, неужели эту липу, кроме меня, никто не замечает. Впрочем, у меня опыт очень большой. Можно сказать, профессиональный.

— Но только теоретический? — спросила Леля.— Я имею в виду, что сам ты не женат?

— Нет.

— Тогда понятно, откуда такая философия.

Дядя Митя подошел к письменному столу и зажег свет — большую бронзовую лампу под зеленым шелковым абажуром.

— Это несправедливо,— сказал он и взялся за футляр аккордеона.

— Постой! — крикнула Леля и погасила лампу.— Дай мне закурить.

Она взяла папиросу и закурила, неумело, хотя и мажорно, пуская много дыма и щуря глаза. В этот момент она была совсем как та далекая теперь десятиклассница, которая на дне своего рождения воображала себя роковой «женщиной с прошлым», трагически пила портвейн из высокой рюмки, загадочно улыбалась и вот так же курила материнские тонкие папиросы, изысканно отводя руку и беспрестанно выпуская струйки дыма. Те самые, о которых в каждом дворе пели тогда модный романс.

— Послушай,— сказала Леля,— а что, если мы восстановим справедливость?

— Что ты имеешь в виду? — устало спросил дядя.

— Ну ты же сам сказал, что несправедливо, когда хорошая невеста достается недостойному жениху. Так давай исправим ошибку. Пусть хорошая невеста достанется хорошему жениху.

Этого дядя не ожидал. Он всего ожидал, только не этого. Он смотрел на Лелю, как будто бы видел ее первый раз в жизни — она шла тогда мимо его дома с теннисной ракеткой в руке, ее точеный нос был победительно задран, но на губах блуждала неосознанная, какие-то приятные мысли сопровождающая улыбка. Она проходила мимо него в течение нескольких секунд, но он успел ее запомнить раз и навсегда, он целый день прожил тогда в состоянии замечательного душевного подъема, все его неясные томления и мечты о славе, о призвании, о другой жизни в одну минуту приобрели поразительно конкретное воплощение. Вот как смотрел дядя на Лелю. И в тот же самый момент он не умом, а каким-то особым — может, шестым, а может, двенадцатым — чувством догадывался, что смотрит на нее вот так вот в последний раз.

Он взял ее руку, узкую с длинными легкими пальцами, — было время, когда одно лишь прикосновение к этой руке представлялось ему целью бытия. Он повернул ее кисть ладонью вверх и поцеловал ее в излом руки, в самое запястье, в то место, где незащищенно и упруго пульсирует голубая вена.

— Спасибо, Леля, — сказал дядя, — спасибо, что так сказала. Не ожидал. Только ведь я, правда, не себя имел в виду, я, Леля, вообще не в счет.

Вновь послышалась музыка, раздались голоса и шаги — Лелю искали, остря что есть сил и распахивая при этом двери разных комнат. Она вздрогнула и вот уже не просто уходила из кабинета, а словно на поезде отъезжала, медленно набирающую скорость, — дядя видел, как ее лицо отдаляется и отдаляется от него, как неразличимы в темноте делаются его черты и как оно исчезает за дверью, словно растворяясь вдали.

Дядя Митя не помнил, как собрался, как уходил, как спускался по лестнице. Он опомнился только на Кировской — один посреди совершенно пустой, белой улицы. Вновь посыпался неслышный кружащийся снег, он сопровождал дядю всю дорогу до дому, сухой, вспыхивающий под фонарями, засыпающий неровности московского асфальта и прочие изъяны нашей жизни.

Дядя Митя не узнал свой двор. Зимней ночью он сделался чист и уютен, словно рождественская открытка, висевшая до войны над комодом, в детстве дяде всегда хотелось очутиться в ней, в ее милом и задушевном пейзаже. С этого начинались многие фантазии — вот он ста-

новится совсем маленьким и попадает в этот нарисованный мир, так удачно вобравший в себя все несбывшиеся мечты о земном уюте.

Дядя смахнул снег со старой пенсионерской скамьи и сел под еще более старой липой.

Ни в одном окне не было света. Только железный фонарь метался и скрипел на своем, не видимом сейчас, проводе. Свет его, как у звезды, был призрачен и далек. Дядя Митя вспомнил, даже не вспомнил, а во второй раз увидел, как отдаляется от него — неспешно, но неутомимо — Лелино лицо, бледное, с расширенными глазами, постепенно теряющее черты, угасающее, как солнечное пятно. И такая безвыходная грусть пронзила вдруг дядино сердце, что через несколько мгновений он даже удивился тому, что остался жить. Он снял варежки, с трудом расстегнул схваченные морозом защелки футляра и вытащил аккордеон. Он заиграл сначала совсем тихо, а потом громче, он играл, и слушал сам себя, и склонял голову набок, и откидывал ее назад, и нажимал на басы и клавиши, не чувствуя холода. Он не задумывался над тем, что он играет, это была импровизация, как когда-то давным-давно, в подвальном красном уголке, только тогда он был всемогущ и счастлив, тогда он парил над весенней Москвой, а теперь он мотал головой, укачивая свою тоску, как несчастного больного младенца.

Дядя Митя ничего не замечал. Кое-где в окнах зажегся свет, из своей пристройки вышел и плюхнулся рядом с ним на лавку татарин Джафар, которого во дворе звали просто Женей. Под сторожевым коротким тулупчиком виднелась у него расстегнутая на груди нижняя рубаха.

— Ты что? — участливо спросил хриплым со сна голосом Женя. — Перебрал, что ль, по этому делу?

Дядя Митя не отвечал. Он все играл, и ему казалось, что никогда в жизни он не играл так хорошо, и никогда еще аккордеон не был так ему послушен, и никогда еще все то, что он чувствовал, не совпадало до такой степени со звуками аккордеона.

Татарин Женя поскреб под тулупом голую грудь и, как всегда затейливо, выругался:

— Все, разбередил ты меня, зараза, теперь ни за что не усну. — А через мгновение добавил: — Ну вот, радуйся, второе отделение концерта у Плетнева.

Так звали здешнего участкового. Дворничиха тетя Феня уже злорадно тянула его во двор. Она была доволь-

на, что не любимый ею и непонятный ей дядя Митя, хоть в чем-то проштрафился и был застигнут ею на месте преступления, чего с местной шпаной, несмотря на всю ее дворницкую бдительность, никогда не случалось.

— Ночь, полночь,— упиваясь своею служебной праведностью, кричала тетя Феня,— а им, паразитам, все ничего — законы не писаны, нарушают покой трудящихся! Хулюганы, черти...

— Погоди, погоди,— прервал ее Степан Иванович Плетнев. В его совершенно конкретной милицейской практике это был совершенно непонятный случай. В три часа ночи дядя Митя играл на аккордеоне, и сам этот факт являлся несомненным и вопиющим нарушением общественного порядка. Однако играл он так, что у лейтенанта милиции Плетнева рука не поднималась его остановить, потому что у самого него от этой музыки какая-то незнакомая грусть защемила в груди. Он злился на себя за эти сантименты, за неположенный во время дежурства либерализм, переминался с ноги на ногу, покашливал и медлил — ничего не говорил. А татарин Женя ерзал на скамейке, вскрикивая, бил себя кулаком в тощую обнажившуюся грудь и причитал:

— Реветь хочу, реветь... Зачем разыгрался, Митя, не вовремя? Поллитра сейчас нигде не достанешь...

Наверное, после сомнений и борьбы долг все же возобладал бы в душе участкового над эмоциями, и ему под давлением зудящей тети Фени пришлось бы применить власть, но, к счастью, этого не потребовалось.

Мать дяди Мити в большом сером платке и в тапочках на босу ногу спустилась во двор. Некоторое время она молча смотрела на дядю Митю и вытирала концом платка беззвучные слезы. Лицо дяди было бесстрастно и спокойно, но ей казалось, что это он плачет, она обняла его за плечи и потянула за собой, все время приговаривая: «Ну что ты, сынок», «Ну что ты, сынок», — и дядя покорно пошел вместе с нею, не переставая играть и унося с собою еле слышную, будто бы угасающую мелодию.

Татарин Женя шел сзади и тащил футляр от аккордеона.

* * *

Я часто думаю теперь о том; как незаметно и необратимо жизнь разводит людей. Без каких-либо решительных и основательных причин, без ссор, противоре-

чий, без всякого взаимного антагонизма — какой уж антагонизм, часто люди по-прежнему исполнены друг к другу симпатий, только нет, эскалаторы жизни уже развозят их в разные стороны, кого вверх, кого вниз, и остается лишь, как при случайной встрече в метро, выкрикивать стыдливым голосом первые пришедшие на ум слова да делать друг другу энергичные, но невнятные знаки.

А потом оказывается, что не стоило так уж обязательно следовать течению своего бытия, что надо было бы доехать до конца своей самодвижущейся лестницы и поскорее перебежать на ту, которая только что унесла твоего друга, — не так уж велика потеря времени, и не так уж важны так называемые важные дела, однако чаще всего нелогичная и ленивая инерция обыденности удерживает нас от такого единственно верного поступка. Мы осознаем при этом, что совершаем некую уступку рутине, привычному ходу жизни, и утешаем себя мыслью, что все это так, не стоящие внимания мелочи будней и что в решающий момент мы подтвердим без колебаний свою святую верность дружбе и, следовательно, самим себе — жаль только, что такой момент наступает, как правило, слишком поздно.

Я говорю все это не в оправдание собственных ошибок и просчетов, но как бы ради их осмысления. А также во имя истины, которая побуждает быть откровенным и самокритичным.

Я рос, вырос, и постепенно все старшие моего детства начали терять в моих глазах ореол исключительности. К дяде это относится тоже. Я прочел и практически выучил наизусть вновь изданные тогда после долгого перерыва «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Я с великим трудом прорывался на закрытые капутники в ЦДРИ и Первый медицинский институт, тамошние хохмы, пародии на итальянские неореалистические фильмы пересказывались по всей Москве — и в свете и блеске этого современного юмора, содержащего также намеки на какие-то не вполне мне ясные и все же знакомые обстоятельства, дядины шутки, привычные мне по своей манере, казались и наивными и старомодными. Тем более что в моем восприятии они принадлежали моему детству, кругу нашей родни, не слишком выдающейся, как я стал замечать, а я уже сделался взрослым, по крайней мере в собственных глазах, и всеми силами стремился разорвать этот круг.

Дядин аккордеон тоже не сразу, но, очевидно, потерял свою магическую власть надо мной. Было время возрождения джаза, и эстрадного и инструментального, — само это слово, для моего поколения полузапретное и потому особенно волнующее, вновь робко появилось на афишах. Имена давних джазовых знаменитостей выплывали из забвения, броские рекламы зарубежных гастролеров смущали воспитанных в пуританстве москвичей — во дворах не слышно стало незабвенного Петра Лещенко. Дворовые танцы не шуршали больше по асфальту под коломенский патефон, они шуршали теперь под выставляемый на окно проигрыватель, радиолу или даже магнитофонную приставку, чаще всего радиолобительскую, самодельную. А по клубам и Домам культуры на больших балах по случаю табельных дней и просто на танцевальных вечерах, после доклада или кинофильма, выступали маленькие джазовые составы. Их музыканты — молодые люди с бледными, нездоровыми лицами — сделались почти что героями дня — они носили ботинки на рифленной самодельным способом подошве, бриолин чуть ли не стекал с их высоко взбитых коков, и говорили они на своем кастовом, ужасающе неблагозвучном, варварском, дурацком, необыкновенно прилипчивом языке.

Однажды передовое начальство нашей школы поддалось веянию эпохи, и трое «лабухов» прибыли на наш школьный вечер: маленький и хилый, с задорным лицом играл на ударных инструментах и уже в силу этого мог считаться выдающейся личностью. За роялем, или «фоно», как говорили музыканты, сидел полный, приятный парень, типичный юноша из хорошей еврейской семьи, про него с первого взгляда можно было безошибочно сказать, что он носит теплые кальсоны, ничуть от этого морально не страдая.

Но самой колоритной фигурой, так сказать олицетворением джаза, оказался саксофонист. Высокий, носатый, с четким пробритым пробором лорда или официанта, в клетчатых, обтягивающих его сухопарые ноги штанах, как я теперь понимаю, обуженных до такого предельного состояния тоже домашним способом. На стареньком своем, кажется даже заклепанном в нескольких местах, саксофоне он творил чудеса, добываясь таких изумительно-гнусовых звуков, от которых сжимались и замирали наши неискушенные в музыке и любви сердца.

А это все переплелось тогда: и танцы, и джаз, и первая любовь, и замирание сердец по поводу и без повода, однако это совершенно особая тема.

Потом, во время перерыва, я случайно забрел в физический кабинет и был поражен тем, что непостижимый для меня саксофонист в компании наиболее взрослых наших десятиклассников разливал по мензуркам и пробиркам обыкновенную водку из зеленой бутылки.

Вполне понятно, что после такой современной музыки, после бархатного барского голоса Уиллиса Кановера, который вел джазовые комментарии в регулярных передачах «зис из мюзик Ю Эс Эй», дядин аккордеон и дядин репертуар — он менялся, разумеется, но, так сказать, в рамках своего стиля — перестали меня интересовать.

Я теперь избегал семейных вечеринок и, когда они происходили у нас, старался заявиться домой как можно позже. Однажды я пришел на родной порог совершенно убитый. В школе, пока я торчал на какой-то вечерней лекции, у меня в раздевалке из рукава пальто стащили шарф. По правде говоря, шарф был довольно-таки паршивый, даже, помнится, проеденный кое-где молью, но пестрый, клетчатый и, по моему разумению, чрезвычайно модный. Я чуть не ревел в тот вечер. Я ныл и стонал и оттого, что жаль мне было шарфа, и еще от обиды на свою разнесчастную судьбу — вот надо же было мне, в высшей степени неимущему человеку, оказаться жертвою воровства — ведь этот шарф в моих глазах был у меня единственной вещью, приобщавшей меня к миру высокой элегантности, как я ее тогда понимал. Родня успокаивала меня, но самые сочувственные слова только растрavляли оскорбленную мою душу. Дядя Митя не мог больше видеть моих мучений, он отозвал меня в коридор и вынул из кармана пальто свое кашне: возьми. А я расстроился еще больше и если не словами, то наверняка своим видом дал понять, что это серенькое скромное кашне никогда не заменит мне моего роскошного шарфа.

Теперь я понимаю, что нет на земле такой вещи, из-за которой стоило бы лить слезы, теперь я понимаю, что плакать можно, только когда теряешь людей, теперь я многое понимаю, но что это может изменить.

С того вечера дядя Митя перестал играть на свадьбах. Как отрезал. Георгий Аронович уговаривал его, убеждал, высмеивал и урезонивал — дядя не спорил с ним, он просто его не слушал. Он словно бы переиграл в ту страшную ночь, словно бы надорвал в себе что-то, аккордеон ему не то чтобы опротивел, но сделался не мил и не нужен, дядя, вновь взгромоздившись на скрипучий венский стул, поставил его на шкаф. А сам прямо с этого стула нырнул в пучину финансовых наук, в стихию семинаров и спецкурсов, экзаменов и зачетов, курсовых работ и ночных бдений во время сессии — эта сторона дядиной жизни мне мало известна, я знаю лишь, что несколько раз он как отличник получал повышенную стипендию, хотя учеба в этом институте давалась ему с трудом. Я сам учился в вузе, на мой гуманитарный взгляд, несравненно более легко, экзамены раскалывались, как орехи, и я не могу даже вообразить себе, что бы стал делать, окажись я на дядином месте. А он, с его любовью к стихам, с его знанием миллиона песен, и народных и псевдонародных, и патриотических, и блатных, всех тех, в каких когда-либо городская окраина выражала страсти и надежды, дядя Митя, на которого при звуках музыки, будь это симфонический концерт, джаз или опера, неизменно слетала благодать, он разлил свою мелодию и в бухгалтерском учете, быть может, звучные итальянские термины «бульдо» и «сальдо» тому причиной. Во всяком случае, дядя успешно окончил институт и поступил на работу в банк. Как известно, быть сапожником вовсе не значит носить хорошие сапоги — буквальная близость дяди к деньгам не умножила его личных богатств. Но все же, чего бога гневить, тяжелые времена миновали, жизнь налаживалась, стабилизировалась, как говорят в таких случаях государственно мыслящие экономисты. Появилась твердая зарплата, появилась выслуга, даже форму дяде выдали, она одновременно забавляла и подавляла его своим неизбывным чиновничьим видом — ядовито-зеленым цветом, кантами и петличками и более всего тяжелой и высокой фуражкой, в которую была подложена тугая металлическая пластинка. Всякий раз перед уходом на работу дядя по актерской привычке внимательно рассматривал себя в зеркале и вздыхал — швейцар чистой воды. Скоро в «Метрополь» позовут. Или, может, еще в цирк. Униформистом.

К счастью, форму скоро отменили, что явилось лишь частным отражением общих перемен, совершавшихся в мире, дядю Митю они радовали. Когда происходят такие перемены, становится интересно жить. Не думаешь ни о болезнях, ни о деньгах, ни о массе житейских дрызг, имеющих над нами такую несокрушимую власть. Просыпаешься в предвкушении новостей и событий, наступающий день интригует, как премьера в момент открытия занавеса, своя собственная несладкая судьба вдруг кажется значительной. Наверное, как раз это называл поэт блаженством посетить мир «в его минуты роковые».

Пошли слухи, что дом забирают под посольство и жильцов будут переселять. Как всегда бывает со слухами, они то разрастались до невероятных размеров, хоть сейчас же выволакивай вещи на улицу, а то вдруг умолкали, будто их и не было никогда. Противоречия сводили с ума обитателей дома, желающих обнаружить в этих известиях единую логику. Говорили, что переселять куда попало, к черту на кулички, не имеют права, отдельную квартиру обязаны предоставить, — как надеживающе это звучало, «обязаны», в том же самом районе, может быть, даже на той же Кропоткинской. Но где же вы найдете на Кропоткинской свободные отдельные квартиры? Другие опытные люди, сами, впрочем, никогда никуда не переселявшиеся, на счет центра сильно сомневались, однако полагали, что в переговорах с райисполкомом, который, конечно же, себе на уме, необходимо занять твердую позицию, непоколебимо стоять на своем и запастись наибольшим количеством неопровержимых аргументов, причем сгодится все: и предполагаемая беременность жены, и заслуги родителей в борьбе с царизмом, и выписки из трудовой книжки, и даже, уже совсем непонятно для чего, справки об отличной по возможности успеваемости детей. И опять-таки, как всегда бывает, побочные соображения характера совершенно непрактического неожиданно брали верх над суждениями, относящимися к делу непосредственно. Например, очень много споров разыгралось по поводу прогнозов, какая страна в лице своего посольства претендует на этот дом. Как будто бы заключалась в этом для жильцов какая-то конкретная выгода, и, скажем, если бы это оказалась Чехословакия, то на каждую квартиру выделили бы по ящику пильзенского пива из ресторана «Прага». Дяде однажды надоели все

эти международные дискуссии, и он заметил как-то без всякой задней мысли на кухне, что, по самым новейшим научным данным, в их доме останавливался Наполеон.

— Во время пожара,— веско уточнил дядя, напялил на голову глубокую миску и глубокомысленно скрестил руки на груди.

Это была идея, невероятная ровно настолько, чтобы мгновенно овладеть массами. В нее поверили все, вероятно, потому, что детское начало все же сильно в людях, и увязать свой до каждой выбоины в асфальте знакомый двор, свою провалившуюся лестницу с легендарной, почти сказочной исторической фигурой было очень заманчиво. Немедленно возникло мнение, что дом забрет под свои нужды Франция, и у населения, знакомого с этой страной более всего по фильму «Скандал в Клошмерле», это вызывало противоречивые чувства. Франция, однако, не спешила, и о переезде стали забывать — по-прежнему запасали на зиму дрова, терпеливо занимали по утрам очередь в уборную, во время ливней с суеверной надеждой смотрели на потолок — дай бог, не протечет. И вот тут столь медлительный обычно рай-исполком энергично принялся раздавать смотровые ордера. Может быть, оттого, что ожидание слишком затянулось, или по каким еще причинам, но особой твердости никто не проявил и никаких чрезвычайных благ для себя не выторговал. Но грех было жаловаться, многим действительно достались отдельные квартиры, а дяде Мите — хоть и не вполне отдельная, но замечательная. Две большие комнаты, и Тимирязевский парк под окном, большая ванная и мягкий душ в ней — представляете, сидишь себе в мыльной пене и розетку вокруг себя как хочешь, так и крутишь. И соседей всего одна тетя Варя, вахтерша с пивного завода.

Начались переезды, почти каждый день во дворе появлялись грузовые такси или просто «левые» машины, вещи, которые так или иначе, но создавали уют, служили воплощением семейной жизни: никелированные кровати с блестящими шарами, комоды, шкафы, табуретки — на улице при трезвом свете нежаркого сентябрьского солнца, невольно выставленные на всеобщее обозрение, раскрывшее все несложные тайны хозяйского быта, выглядели застенчиво и бедно. Люди глядели на дом, в котором прошла часть их жизни, вместившая в себя целую эпоху, и ощущали в горле першение, которое не так-то легко скрыть или прекратить. Сбывались

мечты, приходил конец коммунальным склокам, дурацким расписаниям, кому когда мыть пол, проклятые скандалы в тесных прокопченных кухнях превращались в пережиток прошлого, в музейное историческое понятие, надо было радоваться, выбрасывать со смехом ставшую ненужной рухлядь, и ее действительно выбрасывали, иногда даже без нужного почтения, только вот скребло что-то на сердце, и душа была не на месте, и в горле все время першило.

— Что это, Митя, а? — спрашивал татарин Женя.— Что это?— Он пробежал растопыренными пальцами по своей костлявой груди.— Свербит. Как зуб. Или вот как кость, сросшаяся после ранения.— Он подтянул штанину, и на его поросшей рыжим волосом худой ноге стал заметен лучистый разноцветный шрам.

В этот день семья дяди Мити еще не переезжала. Мы готовились к переезду — увязывались узлы, картонная коробка из-под болгарского вина, раздобытая в гастрономе, набивалась книгами. Пора было освобождать гардероб. Дядя встал на стул и достал аккордеон. Он раскрыл футляр, смахнул пыль с инкрустаций, осеннее солнце блекло сверкнуло на клавишах. Ему вдруг показалось, что это несостоявшаяся его жизнь подмигивает ему вспышками театральных огней, несостоявшаяся, и все же нельзя сказать, что такая уж неудавшаяся, потому что были у него слушатели, и зрители у него были, и никто не перебежал ему дорогу, не интриговал, и не злословил: а что еще нужно артисту? Он сам, своею волей задушил свой успех, ему казалось, что он проживет и так, не растравляя себе душу нестойким дымом призрачной славы, а оказалось, что слава ему необходима, и даже не слава, это все бравадные и пустые слова, а просто возможность хоть изредка поймать на себе внимательные, понимающие, благодарные взгляды.

Дядя Митя провел по жидковатым своим волосам металлической расческой и вытащил аккордеон. Он заиграл и совершенно физически ощутил, как свалился с его груди камень, эта музыка оставалась с ним, она была с ним неразлучна, а это значит, что самое дорогое он не теряет вместе с домом, а уносит с собой. Дядя Митя ходил по пустым комнатам, чья невзрачность и ветхость сделались в полной пустоте особенно заметны, он ступал по скрипучему паркету, садился на широкие каменные подоконники, и мелодия отдавалась в высоких по-

толках, разливалась, расплескивалась, расходилась туманящими голову кругами, и отъезжающие во дворе позабыли о погрузке, и татарин Женя счастливо матерился, допуская иногда и вполне литературные выражения.

— Правильно, Митя, правильно, сухой буду, правильно! Прощальный вальс перед началом новой жизни! Заключительный аккорд и вечер воспоминаний!

Пахло горьковатым дымом костра, нафталином и ветхостью разворошенного и встревоженного быта, осенними листьями и просто осенью, ее свежестью и тленом. Грузовики выезжали со двора, катились по переулку в ту сторону, где вливался он в необъятное пространство Садового кольца, и все это время над ними, над диванами и шкафами, беззащитно торчащими из кузовов, над головами пассажиров, примостившихся тут же, на притычке, в обнимку с фамильным фикусом, — над всем этим, одновременно и радостным и печальным караваном, кружились, то вовсе затихая, а то раздаваясь с новой силой, переливы вальса, старого, сентиментального и благородного, не поспевающего за веком да и не стремящегося поспеть — просто и не назойливо сохраняющего свое достоинство.

* * *

Чем мерить прожитую жизнь? Какою мерою? Какими, так сказать, критериями руководствоваться?

Когда нас спрашивают, хорошо ли мы провели праздники или очередной отпуск, мы без труда оцениваем этот краткий отрезок времени, исходя из вполне определенных, не требующих пояснения предпосылок. Весело или не очень, кто да кто был, какая стояла погода, — все эти условия подразумеваются само собою. Но когда думаешь о прошедших годах, любая мера кажется недостаточной, неполной, односторонней — если хватало одного, то не доставало чего-то другого, и эта нехватка больно уязвляет теперь сердце намеком на совершенно очевидные неиспользованные возможности, внезапным горьким сознанием, что жизнь, в сущности, прошла впустую. Мне самому в последнее время все чаще приходит на ум эта обидная и беспокойная мысль — ее трудно отогнать логическими увещеваниями и тем более воспоминаниями о тех безусловно счастливых минутах, какие случались иногда в прошлом. Прошлое счастье не утешает. И вот после многих приступов бессонницы и отчаяния я

понял, что единственный выход в том, чтобы иметь цель, реальную или недостижимую, важно, чтобы большую, не теряющую со временем своей притягательности и такую всеобъемлющую, чтобы в этом смысле она была равна — равносильна, равнодействительна самой смерти.

Мне неизвестно, думал ли об этом дядя. Свойственны ли ему были подобные или похожие на них мысли. Наверное, свойственны. Потому что никакие продвижения по службе, никакие семейные обстоятельства — женитьба на милой женщине Нине и рождение сына Сережки — не в силах были заставить его забыть про сцену, про аккордеон, про публику. То есть временами казалось, что игра сыграна, что страсть эта затерялась в дали прошедших дней и стала предметом воспоминаний, в которых ностальгия перемешана с иронией — на заре туманной юности и все такое прочее, но вдруг в один прекрасный день все начиналось сначала, и дядя Митя забывал про то, что он заместитель главного бухгалтера большого завода — двадцать тысяч рабочих, шутка сказать! — забывал про кредиты, безналичные расчеты, оборотные средства и про финансовую ответственность и вновь чувствовал себя артистом, ответственным за человеческие души. Он целыми вечерами пропадал в заводском Дворце культуры, и хоть на сцену не выходил, но от одного хождения за кулисами, от разговоров в репетиционных залах и осветительских ложах чувствовал себя театральным человеком. Своим в этом мире Знатоком. Профессионалом. Он даже совершенно серьезно решил, что как только Сережка кончит школу, он наплюет к чертовой матери на свою финансовую карьеру, на прогрессивки и выслугу лет и устроится на работу во Дворец культуры. Кем возьмут: режиссером так режиссером, концертмейстером так концертмейстером, в крайнем случае хоть заведующим постановочной частью.

Такая появилась у него цель, в сущности ничем не отличная от той, что владела им в юные годы. Он возвращался на круги своя, в мире по обеим сторонам этих кругов все переменялось, но сам он остался прежним, несмотря на одышку, совершенно поредевшие волосы и железные мосты, вставленные у знакомого протезиста Бориса Абрамовича. Странное чувство, тебя почтительно называют по имени-отчеству, молодежь стесняется декларировать при тебе свои вкусы — как бы не обидеть невзначай — деликатная пошла молодежь, а ты почти

лысый, одугловатый отец семейства, ты, которому уже почтительно уступают место в автобусе, вовсе не чувствуешь себя взрослым. Ты все тот же щуплый парень из московского подвала, у которого от одного лишь слова «театр» начинается учащенное, сладостное сердцебиение.

В первых числах мая шестьдесят пятого года дядю Митю охватило непонятное волнение. Какая-то тоска, чередующаяся с краткими мгновениями неожиданного воодушевления, еще более томительного и беспокойного, чем отчаянная меланхолия. Дядя старался скрыть это свое неприкаянное состояние, Первого мая на семейном небольшом празднике даже выпил больше обычной своей нормы и рано лег спать. Зато среди ночи проснулся и вышел на улицу, в Тимирязевский парк, пахнувший влажной землей и молодыми листьями. Он бродил между деревьями, расстегнув на груди рубашку, удивлялся, как это раньше никогда не приходило ему в голову, что счастье, может быть, в том и состоит, чтобы гулять ночью под деревьями, и слезы текли по его лицу.

Вся неделя прошла как во сне или бреду, в среду ему принесли на подпись ведомость расходов по ремонту пионерских лагерей, он принялся ее изучать и вдруг увидел перед глазами лес, давний, забытый, а быть может, и не виденный никогда, светлый, сосновый, пронизанный длинными, видимыми, почти осязаемыми, словно лучи театрального прожектора, солнечными лучами. Дядя Митя, будто бы заслоняясь от них, закрыл лицо руками.

— Что с вами, Дмитрий Петрович? — перепугались сотрудницы, побежали за водой, за валидолом, в поликлинику. Но дядя Митя быстро пришел в себя и смущенно улыбнулся. Быть в центре внимания он привык в другой роли.

Девятого мая дядя Митя поднялся очень рано, как в будний день, между тем после многих лет перерыва это снова был праздник. Дядя надел нейлоновую финскую рубашку с тугим, твердым воротничком, выходной темный костюм с разрезом и отправился в магазин. Сначала он легко бежал вниз по лестнице, потом пошел не спеша и наконец остановился в раздумье. Поколебавшись немного, он быстро поднялся наверх в квартиру, осторожно, таясь от жены и сына, открыл гардероб и в бельевом ящике, под рубашками, штопаными носками и майками разыскал коробочки со своими наградами.

Стесняясь и не желая портить костюма, он неумело приколол их с левой стороны и вновь вышел из дому. На улице он понял, что поступил верно, и перестал смущаться. По орденам и медалям он узнавал своих людей, людей, про которых он знал самое главное — это сегодня они кандидаты наук, начальники отделов, бригады, специалисты, работавшие где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке и купившие на заработанные там сертификаты «Москвичи» и «Волги», — он знал их московскими ребятами, пацанами, худыми от постоянного недоедания в сорок первом году, а потом возмужавшими, отпустившими гусарские усы, горластыми, лихими на язык, «звонкими», как говорил Аркаша Карасев, сам, между прочим, не такой уже тихий.

В гастрономе дядя Митя купил бутылку дорогого коньяка, он знал, что выпьет сегодня за молодость этих ребят, за баланду, которую они ели, за старшин, выводивших у них вшей гениально варварским способом — весь строй по команде расстегивает штаны, и каждому с ходу мажут под животом намоченной в керосине тряпкой, — за всех калек, стучавших сапожными щетками на привокзальных площадях: «Подходи, гвардия!» — за всех, кого уже никогда не будет в московских дворах, кому не кататься на лодке в парке культуры и не гулять по Арбату. И за свою молодость тоже, после которой все в жизни пошло не в ту сторону, в какую он рассчитывал.

После обеда дядя стал собираться в клуб. Жена Нина не очень-то хотела идти туда, она вообще не понимала, зачем взрослому человеку надо толкаться среди незрелых участников самодеятельности, но дядя Митя ее уговорил. В праздник не хотелось мыкаться в автобусе, и они встали в очередь за такси, без особой, впрочем, надежды дождаться.

Они стояли в самом конце, но машина вдруг подъехала прямо к ним. «Прошу», — сказал шофер и, слегка перекинувшись через спинку сиденья, шикарно распахнул заднюю дверцу. Дядя Митя смутился и даже попятился немного, и непривыкшая к избранности Нина тоже. А очередь заволновалась, всполошилась, потребовала справедливости.

Шофер вылез из машины и внимательно оглядел толпу.

— Не волнуйтесь, граждане, имейте совесть, — сказал он назидательно и торжественно, — фронтовикам сегодня без очереди. Они свое уже выждали. Все, чего

положено.— И он подтолкнул смущенного дядю Митю к машине. И вся очередь принялась подталкивать дядю с женой и ободрять их, и поздравлять с праздником — людям было неловко за свою недавнюю въедливость и скандальность, кто же мог предположить, что борьба за справедливость обернется почти что бестактностью. Только один гражданин сухо поинтересовался: «Это что же, постановление такое вышло, чье, интересно знать?»

— Мое,— серьезно ответил шофер,— мое личное — можете записать, я вам продиктую, я водитель таксомотора «Волга» номер ММТ-09-14, Титов Александр Степанович, бывший водитель танка Т-34, постановляю: девятого мая 1965 года возить фронтовиков без всякой очереди. Потому что они мои братья. Вот такая «семейственность».

И он с такой силой надавил на газ, словно и правда это была грозная, ревущая, скрежещущая, тридцатьчетверка, а не разболтанное, расхлябанное такси на лысой резине.

Они ехали по теплой Москве, поющей и плачущей, растроганной и хмельной, по Москве, которая сделалась мегаполисом, всемирным центром, средоточием высокой политики, конгрессов и фестивалей, но все же осталась живым городом с простой и доброй душой, жаждущей общения и хорошего слова,— дядя почувствовал это с необычайной ясностью. И с тою же самой озаренной ясностью он подумал, что всегда очень любил Москву, не любовался ею, не восхищался, а именно любил, как средю своей несложной жизни и как Родину в самом высоком смысле слова.

Во Дворце культуры ощущалась вовсе не свойственная этому просветительскому учреждению атмосфера, не лекционная, культурная, а скорее семейная, сентиментальная, подогретая вином и общими воспоминаниями. Дяде Мите даже показалось, что он снова, как двадцать лет назад, попал на огромную окраинную свадьбу, с ее поцелуями, чувствительными церемониями и возгласами «сколько лет, сколько зим». Дядя усадил жену в директорскую ложу, куда ему всегда был свободный вход, а сам пошел за кулисы. У него не было ясной, конкретной цели, у него было лишь предчувствие, которое он боялся осознать, но в конце концов и просто возможность посмотреть концерт из-за кулис доставляла ему детское удовольствие.

Уже съезжались актеры, среди них немало заслу-

женных и знаменитых, и молодежи тоже хватало, не такой заслуженной, но тоже знаменитой благодаря телевидению и кино, уже ходил между столиками, иждивением завкома уставленными фруктами и вином, известный конферансье, похожий на дореволюционного метрдотеля и по этой причине почитавшийся воплощением высшей светскости и лоска. Тут же пребывало заводское и клубное начальство, уже выпившее, уже благодушное от общения со столькими знаменитостями, которых всех вместе не увидишь и в субботу на «Голубом огоньке». Председатель завкома угощал актрис шампанским и приглашал их почаще заглядывать на завод, ну вот хотя бы в тот же литейный цех, где стоят теперь патоновские печи, поскольку искусство ни в каком случае не должно отставать от жизни. Актрисы лукаво соглашались и, не слишком модничая, наделали на пирожные и апельсины, дядя этому не удивлялся, он-то знал, что афиши, гастролы, импортные туфли и сапоги — это все так, внешняя форма, видимость, реклама, за которой скрыта обычная житейская проза с беготней по магазинам, с выкраиванием денег на кооператив, с доставкой путевок и контрамарок для парикмахерш и продавщиц из комиссионки.

— Митя, — вдруг позвали его сценическим звучным голосом. — Господи, боже мой, конечно, Митя! И не узнает, главное! Наверное, большой начальник!

Дядя Митя обернулся и сразу же без сомнений узнал эту полную, вальяжную, вкусно смеющуюся женщину, заслуженную артистку республики Машу Зарубееву, которую он помнил по театру хрупкой дебютанткой, правда, с такими же плутоватыми, черными, как маслины, ростовскими глазами.

Они звучно поцеловались, ко всеобщему удовольствию и удивлению, в глазах заводского начальства дядя Митя наверняка приобрел неожиданный вес — от Маши пахло коньяком и «шанелью», говорила она по-актерски преувеличенно громко и с преувеличенной долей интимной задушевности, но была, кажется, и впрямь рада.

— Вы подумайте, — обращалась Маша сразу ко всем присутствующим, — мы ведь с ним в последний раз когда виделись? Двадцать третьего июня сорок первого года. Представляете? Вот с места мне не сойти! У тебя же тогда премьера была в летнем театре в Эрмитаже! «Свадьба в Малиновке». Он ведь тогда актером был, и каким! Ярон Григорий Маркович в тебе души не ча-

ял — смешной был, сил нет, и танцевал как бог. Какой там теперь Шубарин! А я-то, я-то, помнишь, какая была — Джульетта! Теперь не верит никто — я ведь тогда в «Свадьбе в Малиновке» Яринку играла, а теперь только в тетку Гарпину и гожусь, а какая была, никто не верит...

— Я могу лично засвидетельствовать, — сказал дядя. — Маша Зарубеева была и остается прелестной женщиной, примадонной московской оперетты, звездой, этуалью, красавицей, богиней, и, кто в этом сомневается, тот ничего не понимает в искусстве, тому надо ходить в планетарий и зоологический музей.

— Слышали? — захохотала Маша. — Вот какие актеры в наше время были! Еще и герои. — Всплеснула она руками, только теперь заметив награды на дядиной груди.

— А как же? — вмешался уже польщенный председатель завкома. — У нас, можно сказать, в каждом цехе герои. Вы к нам почаще приезжайте, мы вам таких героев покажем, хоть сейчас на сцену! Ударники по всем показателям! И по производительности труда, и по экономии металла. Уже в следующей пятилетке живут.

— А я все еще в прошлых, — грустно сказал дядя, — послушай, Маша, у меня к тебе совершенно серьезная просьба. Ты только не пугайся, пожалуйста, у тебя здесь, в этом концерте, много номеров?

— Один, — удивленно ответила Маша, — из «Трембиты», ну и на «бис», конечно, кое-что есть...

— Ты про тетку Гарпину из «Свадьбы в Малиновке» всерьез говорила, ты ее знаешь?

— Конечно, знаю, а в чем дело?

— Вот в чем, ты сама мне напомнила, сама и виновата, я ведь Яшка-артиллерист. Ну тогда, двадцать третьего июня, я же Яшку играл... Меня сам Ярон готовил. Он меня и правда любил. Так вот, Маша, ты меня прости, конечно, но мне это страшно важно, я даже не могу объяснить. Может, сделаем их дуэт, а? На две минуты. В концертном исполнении.

Маша замаялась, пожала плечами.

— Ты понимаешь, мне не жалко, но странно как-то, ты ведь вроде бы уже совсем не то...

— Я то, Маша, — серьезно сказал дядя. — То. Я ничего не забыл. Мне ведь во сне чуть не каждую ночь снится, как я с деда Нечипора сапоги снимаю... Я сче-

та сверяю, а сам куплеты пою. Я бы не рискнул, Маша, поверь мне... Но ведь действительно такой день...

Он чувствовал, как под нейлоновой рубашкой по спине его ползет противный холодный пот.

— Я, право, не знаю,— Маша беспомощно обвела присутствующих взглядом,— как-то это, по-моему, не принято...

Дядя Митя пожалел, что обратился к ней с такой просьбой, да еще разволновался при этом, как мальчик.

Теперь ему было неудобно, словно бы без всяких оснований и приглашений, только лишь из собственной дерзости, решил он войти в круг этих благополучных людей да еще претендовать здесь на заметную роль.

— А почему бы и нет, собственно,— вдруг барским, наигранно капризным голосом протянул конферансье,— Марья Константиновна, по-моему, в этом что-то есть. Что-то созвучное сегодняшнему дню и вообще эпохе. Вы, голубчик, вы это действительно умеете? Ну, это, каскад и все такое прочее?

— Умею,— сказал дядя,— действительно умею, как это ни странно. Не знаю зачем, но умею.

— Ну так прекрасно.— Конферансье потер руки, будто в предвкушении выпивки и закуски.— Марья Константиновна, как главнокомандующий, так сказать, сегодняшнего концерта, я повелеваю, или, как это говорится, приказываю,— этот номер состоится. Быстренько прорепетируйте текст.— Они подошли к роялю, скороговоркой пробежали положенные слова и договорились с пианистом о тональности. У Маши был по-прежнему неуверенный, растерянный вид.

Дядя плохо помнил, что было дальше. Кажется, он сбегал в зрительный зал и предупредил жену, чтобы она без него не волновалась. Когда начался концерт, он направился в опустевшую мужскую курилку и там, задыхаясь в оседающем дыму, прошелся по нечистому кафельному полу заливчатской чечеткой. Потом, рискуя прослыть среди билетерш безумцем, он проделал несколько роскошных вальсовых туров на скользком паркете посреди фойе. Во рту пересохло, кровь так стучала в висках, что казалось, это уже слышно посторонним. Дядя Митя вошел в артистическую и неожиданно увидел самого себя в большом настенном зеркале. Перед ним был лысоватый человек в съехавшем галстуке и в мешковатом костюме. Мешки под глазами

составляли некую единую отрицательную гармонию с заметным животом и с тем, что брюки складками ложатся на ботинки. В этот момент дядя услышал веле-речивые слова конферансье о том, что дружба, связывающая работников искусств и тружеников завода, только что, буквально несколько минут назад, проявилась в совершенно неожиданной, волнующей форме. И сейчас все присутствующие в зале смогут в этом убедиться. Маша, оказывается, уже была на сцене. Конферансье объявлял уже второй ее номер. Тот самый, о котором без всякой видимой логики Митя, не привыкший никого ни о чем просить, так умолял заслуженную артистку республики Зарубееву.

Дядя услышал свою фамилию и кубарем вылетел из-за кулис.

Он прошелся по авансцене на чуть заплетающихся, как говорится, на «полусогнутых» кавалерийских ногах — не прошел, а прокатился, — маленький человек с большим самомнением, бедолага, босяк, но ухарь, франт, молодец, специалист во всех областях народной жизни — и крышу перекрыть, и байку рассказать, не только легендарный Яшка-артиллерист, но еще и вполне конкретный Аркаша Карасев, первый парень их гвардейского орденоносного краснознаменного полка.

Зал притих. Вернее, потом притих, а сначала ахнул от удивления — вокруг знаменитой артистки, выписывая неуклюжими ногами ловкие кренделя, уморительно увивался — кто бы вы думали? — работник заводской бухгалтерии, корпящий над отчетами и сводками, труженик арифмометра, кость на кость, кость долой...

Первые реплики прозвучали в абсолютной, настороженной тишине. Но вот через несколько секунд Яшка-артиллерист принялся просвещать тетку Гарпину по части современных европейских танцев.

— Гопак? — Дядя снисходительно и вместе с тем иронически повел плечами. — Я, между прочим, всю Европу, — он как будто бы небрежно и невзначай хотел сказать — объехал, но потом опустил сочувственный взгляд на свои бывалые, многострадальные ноги и уточнил, — прошел, так гопака нигде не видел. В Европе, знаете, что танцуют? — Дядя вскочил и утомленной, изломанной, светской походкой подволочился к самой рампе. — В Европе танцуют... — Дядя посмотрел прямо в зал сосредоточенным до бессмысленности взглядом, потом в этом взгляде появилась ученическая паничес-

кая просьба подсказки, потом безнадежная тоска и уныние, но вдруг какая-то искра промелькнула в дядиных глазах, и вслед за нею в них установилось выражение элегической и вместе с тем нахальной самоуверенности.— В ту степь!— произнес дядя, устремляя взор к последним рядам амфитеатра.

Зал грохнул. Не просто рассмеялся, а взорвался хохотом, тем самым, который не стихает уже до конца номера. Это похоже на залпы салюта в тот момент, когда, остывая, догорают последние ракеты, взлетает и рассыпается тысячами огней новый фейерверк.

— Вашу ручку, фрау-мадам,— пропел дядя. Он обхватил Машу за талию, оставаясь при этом на довольно-таки почтительном от нее расстоянии,— получалось, что душой он, как говорится, стремился в ее роскошные объятия, но неверные, обошедшие всю Европу ноги не поспевали за этими порывами души. Сначала казалось, что именно Маша, поразительно легкая, несмотря на вальяжную свою полноту, стала основным источником энергии в этом дуэте. Дядя Митя лишь болтался при ней, как брелок при часах, успевая, впрочем, выделывать ногами невиданные заграничные антраша. Но в какой-то момент дядя, как боксер после перерыва, вдруг обрел второе дыхание, подхватил партнершу и закружил ее с силой, совершенно неожиданной для его невысокого роста. Теперь уже Маша носилась вокруг дяди, и это было похоже на то, как если бы спортивный молот вдруг привел бы в движение метателя и, оставаясь на месте, вращал бы его вокруг своей оси.

Иногда партнеры расходились, чтобы дать друг другу свободу, причем Маша сразу же впадала в родную стихию гопака, а дядей овладевали злокозненные необоримые духи много осмеянных и заклеянных западных танцев, начиная с чарльстона и кончая шейком. Дядя ничего не видел в этот момент. И даже не слышал. Музыка звучала в нем сама — пианист был здесь ни при чем. Всю жизнь звучала в нем музыка — с тех самых пор, как начал он себя помнить, с тех далеких лет, когда носил полотняную толстовку и пионерский галстук с оловянным значком-зажимом, и до нынешнего времени — только вот все чаще приходилось ее заглушать, чтобы не мешала она балансам и годовым отчетам, а вот теперь она высвободилась от давления будничных дел, стала главной, сама сделалась самым

важным в жизни делом, и ничего больше дяде не было нужно.

Никогда еще этот зал, огромный, похожий на римские амфитеатры, построенный в годы первых пятилеток, когда непримиримый конструктивизм рабочих клубов бросал гордый вызов ампиру академических театров,— никогда этот зал не слышал таких аплодисментов. Даже странно было, если подумать серьезно,— давно известный дуэт из давно известной оперетты, не такой уж шедевр юмора и музыкального вкуса, а вот поди ж ты... Может быть, по-прежнему казус, как говорится, в том, что шедевр — понятие не однозначное и не стабильное, чтобы он возник, необходимо мгновенное слияние двух волей, двух духовных начал, творца и слушателя, а оно случается крайне редко. Но зато уж когда случается, всякие разговоры о стиле, о вкусе, о манере делаются в этот момент ненужными. Есть чудо, и ему нужно радоваться, нужно им наслаждаться, впитывать его, отдаваться ему. А расщеплять волос на четыре части можно и потом, по прошествии времени.

Машу и дядю Митю вызывали несколько раз. Несколько раз они вновь повторяли свой танец, и все время по-новому, потому что отрепетированного, затвержденного рисунка у них не было, и они делали что хотели. А потом они кланялись, стоя у самой рампы, перед глазами у дяди Мити плавали разноцветные круги, и сотни лиц сливались в одно лицо, из зала летели цветы, где-то наверху скандировали его имя. «Вот и успех»,— подумал дядя неожиданно спокойно и отстраненно, будто бы не о себе самом, а о совсем другом, чужом человеке.

Он собрал все цветы и торжественно преподнес их Маше, поцеловав ей при этом руку. И опять прогремели аплодисменты, потому что народу нравилось, что их бухгалтер, человек из конторы — счета, арифмометр, сатиновые нарукавники,— вдруг оказался так непринужденно и изысканно элегантен.

Маша вытерла слезы и расцеловала дядю в обе щеки.

— Господи боже мой!— прошептала она.— Звание получила и за границей гастролировала, а такого успеха в жизни не знала!

В артистической после поздравлений и объятий дядя Митя бессильно опустился в кресло. Он был насквозь мокрый, в голове шумело, как после затяжного,

на всю ночь, пьянства, несвежий, пропитанный духами и вином воздух он судорожно ловил ртом.

— Ну и бухгалтеры у вас на заводе,— откуда-то издалека-издалека, словно бы из собственных воспоминаний, доносился барственный кокетливый голос конферансье,— после них артистов выпускать положительно невозможно...

Стесняясь непривычной обстановки, в артистическую вошла дядина жена Нина. Она улыбалась робко и счастливо.

— Нас ждут, Митя,— сказала она.— Человек двадцать народу. Ты представить не можешь, после тебя не захотели больше концерт смотреть.— И вдруг чуть не вскрикнула, вовремя прикрыв рот рукой:— Что с тобой, Митя?

Дядя открыл глаза. Из зеркала на него глядело совершенно чужое, бледное, изможденное, похожее на посмертную маску лицо.

Через три дня дядю отвезли в больницу. Он понял, что это за больница, хотя от него тщательно скрывали ее название и специализацию. Очень наивно скрывали, пряча наливающиеся слезами глаза, кривя губы, бледнея или, наоборот, неестественно улыбаясь и бодрясь.

Эта больница была похожа на отдельный город — так огромны были ее корпуса, и так просторна территория, разделенная на проспекты и площади, по которым взад и вперед ездили автомобили. Странно было подумать, что за стеною, высокой, почти крепостной, течет обычная жизнь, в которой все, даже затяжные дожди, даже грязь под ногами, даже склоки в переполненном автобусе, полно чудесного смысла и ощущения бесконечности бытия. Обычная жизнь, в которой никто не догадывается, а если и догадывается, то не хочет думать, гонит от себя мысль, даже тень мысли о существовании этого города. Дядя Митя вспоминал все неприятности своей жизни, все самые неудачные, скучные, голодные дни — сейчас они казались ему прекрасными. Он думал, что если выйдет отсюда, то никогда не будет пенять на судьбу, что бы ни случилось,— какое там, как можно переживать о деньгах, о тряпках, о том, куда поехать отдохнуть, как можно огорчаться из-за чьей-то неловко сказанной фразы, из-за того, что тебя не заметили или не

оценили, когда можно жить, ходить по улицам, смотреть, как меняется цвет неба, как в мокром асфальте разноцветными полосами отражаются рекламные огни. Когда можно читать, не думая, что эта книга последняя. Когда можно смотреть за полетом городской ласточки, не закусывая в отчаянии губу от внезапного холодного сознания, что она вот так же будет носиться стремительными кругами, то взмывая в небо, то пикируя к самой земле, а тебя уже не будет. Никогда не будет.

Дядю водили к разным врачам. Его шупали, мяли, просвечивали, у него брали кровь из пальца и из вены, каждые три часа собирали мочу — даже в этих совершенно обычных процедурах ощущалась зловещая беспощадная закономерность. Он понимал, что это несправедливо, просто вопиюще несправедливо, но весь здешний персонал: и профессора в золотых очках, и молодые кандидаты в модных галстуках под халатами, и сестры, как-то неожиданно и оскорбительно соблазнительные в этих же самых накрахмаленных халатах, — казался ему служащими фабрики смерти.

Они привыкли к своей профессии, к безнадежности своих усилий, к зрелищу угасающей, истончающейся, уходящей в никуда человеческой жизни, как в других местах люди привыкают к грохоту кузнечных прессов или к высоте.

Если бы они не привыкли, им делать бы нечего было в такой больнице, и все же их спокойствие, их улыбки, в которых виделся отблеск вчерашнего фильма, или концерта, или футбольного матча, сводили с ума.

К дяде Мите часто приходили родственники и сослуживцы. Они приносили апельсины и яблоки, совершенно бесполезные, потому что дядя вообще почти ничего не ел, но в этом приношении сказывался голос традиции, голос давней мужицкой крови, пробившийся сквозь культурные наслоения двадцатого века, — в больницу, как и в тюрьму, полагалось нести передачу. Иногда посетители, как и жена Нина, глотали слезы, глядя на дядю Митю, иногда искусственно бодрились, иногда, выложив на тумбочку приношения, вздыхали с чувством выполненного долга и торопились уходить, пришибленные больничной обстановкой, обыденной безнадежностью. Этим дядя Митя в душе одобрял, потому что посещения были ему в тягость. Он хотел быть один, он хотел обдумать свою короткую, исчезающую жизнь — он давно хотел ее обдумать, да все времени не хватало, и вот теперь, как

перед концом финансового года, пора было подбивать итоги.

Май стоял изумительный, жаркий и в то же самое время свежий, в раскрытые настежь окна накатывали волны тепла, пахнущего цветением, вскопанной землей, политым и высыхающим асфальтом.

Дядя подумал, что с самой юности, даже не с юности, а с отрочества не переживал он так полно и страстно весну. А ведь сколько раз — пять, десять, пятнадцать лет назад — пытался он вернуть это ощущение, это опьянение жизнью, мгновенное, не поддающееся логическому осмыслению, — оно не возвращалось, а если и возвращалось на секунду, то тут же ускользало. И вот теперь оно неожиданно возвратилось, весна опять кружила ему голову, томила его и сладостно мучила, он вновь упивался ею: тогда в предощущении начала, теперь в предощущении конца.

Он смотрел на свои руки, исхудавшие, истаявшие, как свеча, и чувствовал невероятную, режущую жалость к своему телу, к своей убывающей, как талая вода, плоти, к ничтожной своей физической оболочке. Душу не было жалко — души болезнь еще не коснулась, душа сделалась даже зорче и проникновенней. Она парила теперь и видела с мудрой трезвостью настоящую цену всем земным вещам. Душа поражала дядю своею высокой проницательной мудростью. Ей открылись такие высоты и глубины, о которых он и не подозревал раньше. Он не подозревал, например, что кусок высокого синего неба, видимый в окно, если смотреть на него неотрывно, дает ощущение полета, и полной свободы, и отрешенности от расчетливых и корыстных чувств. Каждый день небо было безоблачным и синим, каждый день дядя глядел в него и думал о нем как о будущем своем пристанище.

Ему вдруг показалось, что если он запоет, то преодолеет страх, и земное притяжение тоже, и прямо сейчас сможет дотянуться до высокого и бездонного неба.

Когда он оторвал взгляд от небесной сини, то увидел, что на табуретке рядом с его постелью сидит Аркаша Карасев. Постаревший, с сединой в русых волосах, с морщинами, изрезавшими сухое лицо, и все же мало изменившийся, потому что ни седина, ни морщины не тронули сути. А глаза Аркаши, неистовые, почти белые, ничем не изменились, только вот смотрели сейчас непривычно растерянно и недоуменно.

— Что, друг Аркадий,— спросил дядя Митя,— не узнаешь?

— Почему это не узнаю? — улыбнулся Аркадий, сверкнув грубой золотой коронкой.— Ты что думаешь, таким красавцем стал, что тебя и узнать невозможно!

— Да, похоже на то. Похоже, что меня теперь разве что господь бог узнает. Если, конечно, меня к нему допустят.

— Это ты только что придумал, для меня специально или уже давно? — Аркадий опять насмешливо сверкнул зубом.— У меня, Митя, рука легкая. Кого я отходил, того смерть до ста лет не возьмет. У меня вон теща, да я тебе про нее рассказывал, вроде тебя, на тот свет собралась — врачей гонит да и бабок знахарок тоже, у нас под Горьким они еще попадают в деревнях. Меня-то не было дома, я в командировке был, в этом, в Ираке, оборудование им там монтировал, приезжаю — привет, хоть сейчас вместо встречи за гробом иди. Я говорю: «Мать, ты что? — я говорю.— Тебе подарков притаранил три чемодана, не считая тех, которые малой скоростью следуют. Я денег на машину привез, а ты помирать собралась. Стыдно,— говорю,— и глупо. Что,— я говорю,— по райским кушам тебя возить буду?» Поехал в Горький, нашел там одного еврея Игоря Моисеевича — вот такой специалист! Он мне тещу в две недели поднял. Но сказал, что моя психологическая, эта, как ее, терапия тоже помогла. А ты говоришь! Кто тебя в Вене на главной улице в медсанбат нес? Аркадий Карасев, Советский Союз. А в госпиталь тебе кто фисгармонию доставил, когда ты совсем в тоску ударился? Опять же Аркадий Карасев, то есть я. Я и здесь тебя подыму. Наведу тут у вас порядок.

Дядя Митя ничего не отвечал, он молча смотрел на Аркашу, и под этим взглядом прямо на глазах таяла самоуверенная Аркашина веселость.

— Может, выпьешь, Митя? — робко спросил Аркадий и достал из внутреннего кармана пиджака четвертинку.

Дядя Митя покачал головой.

— Я и кефир уже не могу. А ты выпей, Аркаша, выпей за всех ребят, кого война не догнала. Меня она, как видишь, достала. Я, когда из госпиталя выписывался, думал, оторвался от нее на повороте. Думал, проживем еще, Митя, подумаешь, железки в груди остались — большое дело, что в груди, что на груди медали, — железо оно полезное. В яблоках много железа. Только видишь,

какая вышла польза... Ты выпей, Аркаша, с чувством выпей, а я на тебя посмотрю. Я уже научился — на что внимательно смотрю, тем и обладаю.

Аркадий вылил всю водку в тонкий стакан и посмотрел внимательно на дядю, словно прощался с ним, словно желал показать, как свято чтит он его просьбу, а потом медленно, с тягучим удовольствием выпил горькую, то ли из пшеницы, то ли из дерева добытую влагу.

Он пил, запрокинув голову, а слезы заливали ему лицо, он думал, что сможет их остановить, но не смог, и потому сделал вид, что закашлялся от водки, поперхнулся ею и, значит, имеет полное право закрыть лицо полой наброшенного на плечи белого халата.

— Не надо, Аркаша,— сказал дядя,— какой смысл? Я ни о чем не жалею. Все у меня было: были у меня друзья, и успех у меня был такой, за который ста лет жизни не жалко, и женщина меня любила, хоть и недолго... Все было, грех жаловаться. Я вот только боюсь — ты не подумай, что это сомнение или самоуверенность маразматическая, как бы это сказать... людей я мало радовал... Понимаешь, мне ведь дар был такой дан — от бога ли, от судьбы, от России,— понимай, как хочешь, но я умел людей из мрака вытаскивать, из усталости, из безнадежности, из отчаяния... Самого себя не могу, а других мог... Так почему же я почти не занимался этим? Ведь это мое прямое дело! Я же для этого на свет родился, как другие для того, чтобы в космос летать или в футбол играть. Я же счастье мог приносить — не смейся — мог! Своими глазами видел! А кого я осчастливил? Кому помог? Обидно, Аркаша. И несправедливо.— Он замолчал, потому что ему трудно было говорить, но через минуту снова приподнялся на подушке. На бледных, бескровных его губах запеклась слюна, глаза горели. Он вновь заговорил — сдавленным, горловым шепотом:— Ты только не подумай, что это бред, Аркаша. У меня навязчивая идея появилась. Мне все кажется, что, если бы я перед всеми этими людьми выступил, перед всеми больными — если бы я вышел как полагается, в белой рубашечке, в костюме, с аккордеоном, который ты мне подарил, я бы им такое сыграл, что они бы отсюда выбрались, выкарабкались бы, понимаешь... А мне уж тогда ничего не надо.

— Ты успокойся, успокойся, Митя.— Водка все-таки подействовала на Аркадия, и он вновь сделался благодушен.

— Я спокоен, ты не волнуйся,— ответил дядя,— я только всерьез надеюсь, что мне удастся выступить.

— Ну и выступишь,— громко, словно не в больнице, а где-нибудь в тесной мужской компании, сказал Аркадий.— Раз веришь, значит, выступишь. Я тоже верю — я тут в одном журнале, знаешь, что вычитал? Что больных замораживать будут. Заморозят тебя, скажем, лет на двадцать, за это время твою болезнь вдоль и поперек изучат, все средства от нее найдут, разморозят тебя, и привет, ты через две недели как огурчик. В мире перемен — прогресс, снижение цен,— а ты будто заново родился, в более благоприятные времена. Одно неудобство — от моды очень отстанешь. Будешь смущаться. Но ничего, тут приспособиться пара пустяков. Готовься, Митя, к выступлению. Я тебе говорю — готовься.

Начался обход, и Аркашу поторопили. Он смущенно посмотрел на чопорных, как ему показалось, медиков, сестра почти подтолкнула его к выходу, на пороге он обернулся к дяде и крикнул, опять забыв, где он находится: «Готовься, Митя!»

Профессор, который сидел в этот момент возле дядиной постели, удивленно поднял бровь.

— Совершенно справедливо,— сказал он,— готовьтесь: в начале той недели — операция.

Во вторник, когда за дядей Митей пришли санитары, он попросил зеркало, достал из-под подушки свою старую алюминиевую расческу и тщательно пригладил ею остатки своих редких мягких волос.

* * *

Вечером разразилась гроза. Небо внезапно сделалось лимонно-желтым — если бы это произошло несколькими годами раньше, народ бы наверняка решил, что началась атомная война, таким ненатуральным, небывалым стал небосвод. Потом промчался шквал: зазвенели разбитые оконные стекла, покатались с гулким уханьем перевернутые урны, опрокинутые афишные щиты то взмывали, неуловимо напоминая самые первые наивные самолеты, то плашмя шлепались на асфальт со звуком, похожим на усиленный во сто крат щелчок карты, легшей на деревянный дворовой стол. Крупные, как чайные розетки, капли застучали по двору, ослепительно и зло, с сухим лабораторным треском сверкнула молния, гром

грохотал с такой силой, будто где-то совсем рядом рвались пороховые склады.

Дождь на мгновение перестал, а потом хлынул сплошной стеной, «проливным потоком», как пелось в одной песне из дядиного репертуара, вода бурлила, вскипала, шипела, земли не стало видно от взрывов миллиона брызг — такой дождь возвращает горожанам утраченное чувство природы и ее стихий, он проносится не только по улицам, но и по закоулкам человеческой души, на его стремительной воде выплывают из потаенных глубин запечатленные, но неосмысленные изумительные картины раннего детства и такого же огромного, всеобъемлющего шумного дождя. Вдруг возникают в перспективе улицы чуть наклонившиеся набок силуэты двухэтажных троллейбусов, и бурун воды, мощный, как морская волна, несется вниз по переулку навстречу такому же буруну, несущемуся по переулку с другой стороны улицы, и ноги, да, да, ноги, подошвы, пятки, икры сами по себе в силу атавистической остаточной памяти начинают ощущать плеск дождевой воды, и глубину внезапных луж, и холод выстуженного стремительным потоком булыжника.

После грозы необычайная свежесть проникла в палаты, вытесняя на время извечные больничные запахи. Свежесть майской листвы и мокрой не кошенной еще травы, свежесть дождевой воды, ручьями бегущей по асфальту, свежесть наступающей ночи — вся свежесть мира, омытого дождем, дуновением ветра, заносилась в окно, возле которого положили после операции дядю.

Он ощущал эти запахи, и легкий ветер ощущал на своих щеках, он понимал, что наступает майская ночь, короткая, полная шорохов и поздних шагов. В такую ночь нельзя спать, надо стоять у окна и смотреть, как светлеет воздух. А потом надо взять аккордеон — он оказался почему-то необыкновенно тяжел — ну да ничего, бог с ним — и выйти на улицу под старые липы и клены, и заиграть тихо-тихо, чтобы не разбудить тех, кто спит, а только навеять им прекрасный и печальный сон, тот самый, после которого на щеках остаются слезы и невозможно вспомнить, что тебе снилось, потому что не событие снилось, а состояние. Вот он и заиграл что-то любимое, и давно ему известное, но почему-то теперь неуловимое, ускользающее из сознания. Тем не менее ему казалось, что играет он сейчас, как не играл никогда в жизнь, словно не аккордеонные клавиши он перебирал, а неведомые клапаны своего существа, откуда ни

возьмись появилось перед его взором Лелино окно, и занавеска, как всегда щемяще, выдувалась наружу, и колебалась, и вилась в ритме его музыки. Он пошел к этому окну, оно приближалось, но очень медленно, он никак не мог его достичь, и все яростнее нажимал на басы, словно мог этим способствовать движению, окно, наконец, оказалось совсем рядом, он тянулся к нему, он заставлял аккордеон разливаться и греметь, он ловил губами воздух и запрокидывал голову. Занавеска уже попадала ему на лоб и застилала глаза, он увертывался, сбрасывая ее движением головы, он изо всех сил вытягивал шею...

Там, за окном, оказалась его палата, узкая, как пенал, и высокая, сине-белая, с абажуром молочного цвета и высокими койками на колесиках, похожими на самоходные экипажи...

* * *

Дядю Митю хоронил весь завод. Стоял душный и пасмурный день, который никак не мог разрядиться дождем. Из-за низких туч невидимое солнце слепило глаза. Никто не предполагал, что соберется так много народу, да и должность у дяди была не так заметна, чтобы лежать ему во Дворце культуры,— гроб с его телом поставили в красном уголке старого корпуса заводоуправления. Там тесно оказалось даже родственникам, и потому народ собрался в переулке, сбегавшем к реке, пыльном, перерезанном вновь вырытыми канавами коммуникаций. Летняя одежда, ковбойки, распахонки, сарафаны, ситцевые платица — легкомысленный москвошвей — неотвязно наводили на мысль о даче, о загородной массовке, о футболе в Лужниках. Сначала это даже обижало, но потом я подумал, что в этом, быть может, есть неожиданный высший смысл: дядя был веселым человеком, и официальные церемонии с торжественными речами и процессиями не подошли бы к его последнему пути.

На заводе начался обеденный перерыв, и толпа в переулке увеличилась: среди теннисок и ковбоек траурными пятнами затемнели спецовки и промасленные халаты — дядя, наверное, и не предполагал, насколько велика после того майского вечера сделалась его популярность на заводе. Собрался оркестр — не профессиональные музыканты, привыкшие и к чужому горю,

и к казенной патетике нынешних поспешных похорон, а свой же, заводской, у трубачей — токарей, модельщиков, лекальщиков — были вовсе не музыкантские, узловатые, тяжелые руки с синевой вьвшегося металла возле ногтей, и лица их не были отмечены какой-нибудь хоть самую незначительной божественной печатью, нет, это были самые обычные, негордые, будничные лица притерпевшихся к жизни людей, пожилые и юношеские, каких полно в любом троллейбусе, в любой электричке. Но когда вынесли тело, оркестр заиграл вдруг с такою наивной и пронзительной грустью, на какую, конечно же, не способны заказные оркестранты, штатные исполнители шопеновского марша, унылые тамбурмажоры смерти. Я не знаю, кто уж их надоумил, может быть, они сами догадались, потому что все-таки знали дядю, во всяком случае, не похоронный марш заиграли они, а вальс «На сопках Маньчжурии» — во все не современный и даже анахроничный уже, как пролетка среди автомобилей, не траурный, а ностальгический, навевающий воспоминания о всем, что было и чему не случилось быть, и оттого особенно грустный — всякую жизнь оведал он печалью, а не только ту, что кончилась.

Маленький дядин гроб слегка покачивался на широких ладонях и костистых плечах, он плыл над непокрытыми головами русыми, черными, лысоватыми и седыми, причесанными без претензий и кое-как постриженными, он, как лодка, то слегка нырял носом, то немного запрокидывал этот нос, волны вальса накатывались неиссякаемым напором геликонов и труб, и можно было подумать, что именно музыка несет это сосновое неверное суденышко в тот мир, где текут неведомые, все поглощающие воды. Именно музыка, с которой дядя Митя был неразлучен всю недолгую жизнь, которая сама его выбрала, и жила в нем, и забирала все его душевные силы, ничего взамен ему не обещая: ни славы, ни богатства, — ничего, кроме самой себя. Дядя лежал среди цветов, в лучшем своем костюме, том самом, купленном в рассрочку в неясном расчете на выступления, и невидящими прикрытыми глазами смотрел в московское небо, до которого совсем недавно он мечтал дотянуться с помощью своего аккордеона.

Толпа, выбравшись из переулка, ненамеренно запонила мостовую, разлилась на мгновение, как запруженная река, застопорила уличное движение. Прохо-

жие и пассажиры троллейбусов, высунувшись в окна, тревожно внимая надрывающим душу звукам оркестра, почтительно спрашивали: «Кого хоронят?» Самый тон их вопроса давал понять, что они уже составили представление о каком-нибудь важном и знаменитом покойнике. Любопытным не знали, что отвечать: сказать, что заводского бухгалтера,— значит, ничего не объяснить, а объяснять подробно не было времени. Я подумал, что и сам бы не смог вот так однозначно удовлетворить естественное любопытство прохожих. В самом деле, что можно было сказать, я терялся в догадках и мучился, будто бы мне и впрямь предстояло публично растолковывать причину такого многолюдного собрания, и в это время кто-то из идущих сзади ответил: «Артиста. Артиста хороним.— И через некоторое время, вероятно, на вопрос «какого?», ответил еще раз, громко и отчетливо:— Настоящего!»

Я обернулся, я хотел увидеть того, кто, сам того не ведая, дал пронзительно верный, исчерпывающе, полный ответ, в рамки которого укладывалась вся дядина жизнь, весь ее сокровенный смысл,— я изо всех сил вывернул шею, стараясь при этом не путаться у идущих за мной под ногами и не задерживать движения,— я так и не различил говорившего, я разглядел лишь лица, много лиц, незнакомых мне, но мне известных и понятных, всю жизнь меня окружающих, отмеченных той единою благородною скорбью, которая всегда сближает и роднит людей.

...В юности я был уверен в неизбежности счастья. Того, которое ожидает, так сказать, все человечество, и своего собственного. Трудно сказать, откуда, из каких таких предзнаменований проистекала эта замечательная уверенность. Временами меня ни с того ни с сего охватывало прямо-таки предощущение счастливых событий, свершений и перемен, я верил в них слепо и безоглядно, точно так же, как в бесконечность собственной жизни. Другие умирают, но меня это не касается, меня это не может коснуться!

Вероятно, зрелость в том и заключена, что конечность твоего бытия делается однажды очень конкретна, а недостижимость счастья, тоже очень конкретная, перестает пугать. Меня она все еще пугает. Даже не пугает, а обижает — я еще верю, я не потерял надежды. Я мельтешу, я пытаюсь воротить то опьянение жизнью, в котором прошла моя юность, я панически цепляюсь

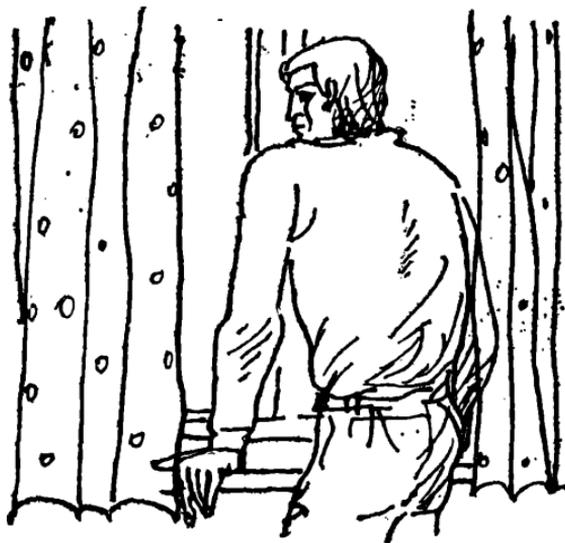
за внешние, почти неуловимые признаки того состояния. Мне позарез нужен запах весны и запах снега, мне нужна бывает рассеянная улыбка незнакомой встречной женщины, может быть, просто сопутствующая ходу ее мыслей, не обращенная ни к кому, но, может быть, и ко мне обращенная, и больше всего мне нужен теперь аккордеон дяди Мити. Вот ведь какое дело — столько лет я вполне без него обходился, я о нем не думал, я даже посмеивался над ним снисходительно, вспоминая простодушное свое детство в обществе иронических знакомых, а теперь мне его не хватает, в груди образовалась пустота, которую не заполняют никакие фестивали и никакие пластинки, огромные, как колеса, в твердых лакированных конвертах.

Потому что дело не в качестве исполнения и даже не в качестве музыки, а в чем-то ином, чему я не в силах найти определения, может быть, в качестве души...

...Мне все кажется, что надо быть наготове, что чутким и настороженным ухом я вдруг уловлю с детства знакомые звуки, долгое время служившие мне символом музыки и поныне оставшиеся символом искусства, звуки, являвшиеся на свет из-под дядиных пальцев и разносившиеся по московским дворам, переулкам и улицам, улетавшие в московское небо, помогавшие жить и надеяться. Не может того быть, чтобы они совсем пропали, не может быть, чтобы их разнесли вдребезги вместе со старыми домами бестрепетные бульдозеры, они есть, они прячутся где-нибудь под сводами подворотен, в ветвях старых лип, в слуховых окнах чердаков. Они есть, потому что есть Москва, потому что Москва без них невозможна, и счастье невозможно тоже.

Я не знаю точно, в чем оно состоит. Я только догадываюсь, что есть люди, которые умеют его создавать — из ничего, из осеннего воздуха, из апрельской капли, из занавески, колеблемой сквозняком.

Мой дядя был именно таким человеком. Его разыскивают теперь красные следопыты из той школы, в которой он учился. Они очень юны и не знают, что война может догнать человека через двадцать лет после ее окончания. Они уверены в бесконечности своего существования и бредят электрической гитарой, на которой играет в школьном дворе один веселый старшеклассник.



Одноклассники

На ходу Борис искоса посмотрелся в зеркало, высокое, врезанное в мрамор вестибюля возле самых дверей. Под ложечкой приятно потеплело: из глубин стекла на него уверенно надвигался рослый молодой мужчина, загорелый, с яркими глазами, в небрежно расстегнутом твидовом пиджаке.

Массивную, обитую медью дверь Борис толкнул без усилия и с потешной преувеличенной галантностью пропустил вперед себя нескольких сослуживцев. Новенькая «Лада» — самая большая игрушка в его жизни, как признавался он приятелям, — бросалась в глаза даже посреди обширной министерской стоянки. Быть может, из-за цвета — и не белого, и не голубого, а какого-то промежуточного, в каталоге его называют «белая ночь».

Борис открыл дверцу машины, с облегчением снял пиджак — в их «конторе» даже в жару не признавали никаких ковбоечек, распашоночек, сандалий, — распустил галстук и принялся закатывать рукава тонкой, в мелкую клеточку рубашки. При этом он перебрасывался с соседями особыми водительскими словечками, с удо-

вольствием отмечая про себя, что, самый молодой из них, он может в этот момент говорить с ними, начальниками отделов и главными специалистами, совершенно на равных. А может быть, даже и с некоторым превосходством, потому что те знают: им сейчас один маршрут — на дачу, к семьям, а он — что вольный казак, — может во всех отношениях использовать удобства, создаваемые собственным автомобилем.

С двумя подругами не спеша прошествовала Оленька, секретарша из соседнего отдела.

— Борис Иванович! — кокетливо и с намеком пропела она. — Будьте здоровы!

— И вы так же, Ольга Васильевна! — в тон ей ответил Борис, его до сих пор забавляла неумолимая чинность министерского этикета.

Неожиданно для себя, он впервые внимательно и без стеснения посмотрел Оленьке вслед. Ему захотелось окликнуть ее и пригласить в машину, однако не в его правилах было торопить события, тем более если исход их не вызывал сомнений. Борис сел за руль, обтянутый ребристым кожаным чехольчиком, нацепил темные очки в тонкой металлической оправе и включил стартер.

Он выехал на магистраль и некоторое время по инерции думал об Оленьке — правильно ли поступил, отпустив ее сейчас, не переиграл ли? Но постепенно знакомый каждому автомобилисту эффект подействовал на него, и Борис незаметно забыл о секретарше, успокоился. Эффект этот состоит в том, что человек, едущий в машине по летней улице, замечает несравнимо большее количество красивых женщин, нежели пешеход, кругозор которого естественно ограничен. Водитель — он как генерал, принимающий парад. Скрытый за ветровым стеклом, он к тому же может позволить себе иной раз взгляды, никак не согласованные с правилами хорошего тона.

Совсем недавно, в конце зимы, Борис взял свою «Ладу» в Южном порту и ездил еще неважно: путал ряды, неправильно обгонял, однако шоферы его не обкладывали, и даже инспекторы ГАИ бывали к нему снисходительны, вероятно, он всем им нравился, хоть и частник, и новичок, да не занюханный, а, наоборот, веселый, с замечательными зубами и стойким нездешним загаром.

Жил он на Садовом кольце, в огромном полукон-

структивистском-полуампирном доме, какие начали строить перед самой войной для видных командиров, артистов-орденоносцев и героев-полярников. Впрочем, отец его не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к третьим, он был главою строительного треста, и въехали они в этот дом после войны, когда командиры назывались уже офицерами, ордена перестали быть редкостью, которую стоит особо подчеркивать, и дети во дворе играли не в полярников, а в партизан.

Сегодня Борису впервые удалось то, о чем он мечтал со дня покупки машины: он, почти не снижая скорости, ворвался во двор и резко затормозил, осадив машину на полном ходу. Такую остановку он видел много раз в заграничных фильмах из жизни романтических гангстеров, резина, конечно, от таких штук летит, ну да черт с ней, зато каково впечатление! Лифтерша, сидевшая возле парадного на табуретке, чуть с нее на свалилась, замахала руками — оглашенный! А ведь какой тихий всегда был, воспитанный, а сейчас чуть не переехал, черт-дьявол!

— Ничего, тетя Дуся, — успокоил ее Борис, запирая машину. — Скоро я от вас совсем уеду.

— Это куда же, Боренька, неуж обратно, в заграницу?

— Ближе, тетя Дуся, чуточку ближе. В Крылатское, квартиру там себе отгрохал.

Борис вошел в парадное с нагретым пиджаком через руку, лифт оказался занят, и он не стал дожидаться, а побежал вверх по лестнице, легко перепрыгивая через ступеньки и радуясь тому, что ничуть не утратил этой легкости, хотя бросил серьезный спорт года четыре назад. Еще он думал о том, что там, в кооперативном новом доме, вот так вот по лестницам не побегаешь — восемнадцатый этаж. Ладно, зато у него будет наконец собственная квартира, и он прекратит подневольную жизнь маменькиного сынка, который каждый вечер висит от того, что собираются делать родители.

— Боря, — крикнула мать из кухни, услышав, как он вошел, — ты стал так скоро возвращаться, я теперь еле успеваю с обедом.

— Это и есть, матушка, преимущества автотранспорта, в которых ты так сомневалась, — ответил Борис, сбрасывая с удовольствия солидные рантовые ботинки — ужасная жара сегодня.

— Я сомневаюсь не в автотранспорте, как ты выра-

жаешься, слава богу, мы с отцом тоже поехали, а в тебе. С твоим неорганизованным характером как раз сидеть за рулем! Я, когда читаю об автомобильных катастрофах в Америке, просто места себе не нахожу...

— Мама, я же не в Америке.

— Какое это имеет значение! Как будто у нас не бывает несчастных случаев! Конечно, у нас об этом не пишут, и правильно делают, зачем нервировать население...

Дальнейших доводов матери Борис уже не слышал, потому что пошел умываться. Он привычно распахнул дверь ванной и застыл в недоумении: прямо перед ним оказалась согнутая мужская спина, обтянутая ковбойкой.

— Боря,— донесся голос матери,— я забыла предупредить: в ванной слесарь из домоуправления. Умойся на кухне.

Тяжелое круглое мыло слегка пахло табаком, вот истинно мужской запах, Борис, вытерся пестрым мохнатым полотенцем и потом не удержался и поднес ладони к лицу — аромат был легкий и стойкий.

Он сел у окна за стол, покрытый тонкой клеенкой, на которой с замечательным реализмом было изображено средиземноморское фруктовое изобилие: апельсины, персики и виноградные прохладные кисти. Борщ чуть дымился на столе, ни с чем не сравнимый и не заменимый ничем, единственный в мире мамин борщ, Борис с улыбкой подумал, что жить в холостяцкой квартире, конечно, удобно, но обедать надо приезжать к родителям, это невосполнимо.

В коридоре мать разговаривала со слесарем, как всегда, благожелательно, однако твердо, без нынешней заискивающей лести, которая разлагает и так-то не слишком стойкую сферу обслуживания.

— У меня к вам еще одна просьба: посмотрите заодно кран на кухне, по-моему, его тоже пора заменить, что он совершенно перестал заворачиваться.

Борис оторвался от тарелки и вновь увидел худую сутуловатую спину в ковбойке, склоненную над раковиной. Еще на слесаре были джинсы, только не фирменные жесткие, стягивающие бедра, а москвошвеевские из дешевой спецовочной ткани, так называемой «шахтерки».

— Нормальный ход,— сказал слесарь, разгибаясь.— Менять не стоит, еще подержится.

Борис чуть не выронил ложку. Он хотел отвернуться, уткнуться в тарелку, сделать вид, что не узнал, уж больно неожиданной и неуместной вышла эта встреча, да и

о чем говорить, неизвестно было, однако притворяться стало невозможно. Они уже встретились глазами. Слесарь узнал его. И Борис узнал слесаря. Он узнал Витьку Буренкова, с которым некогда десять лет учился в одном классе и который последние три школьных года сидел в среднем ряду, как раз перед его, Борисовой, партией.

— Вот так, старик,— сказал Борис, подымаясь,— всего лишь пятнадцать лет не виделись. С выпускного вечера на Лесной в клубе Зуева.— Он взял Витьку за плечи и хотел было его обнять, но на полдороге осекся в смущении: во-первых, потому что они с Витькой никогда не были близкими друзьями и такая интимность выглядела бы, в сущности, фальшивой; а во-вторых, оттого, что Витька не понимал, кажется, такого броского способа проявления симпатий.

Он вообще стоял растерянный, старательно вытирая ветошью грязные руки.

— Да ты умойся,— подтолкнул его к раковине Борис,— и садись за стол. Присоединяйся, как говорится. Мы с тобой, старик, так отдохнем! Я пойду принесу кй-чего.

Он направился в свою комнату и открыл дверцу бара, помещавшегося в книжной стенке. Вспыхнула лампа, и в зеркальной поверхности отразилась пузатая бутылка французского коньяка и разукрашенные медалями да геральдикой наклейки на вермутовых бутылках.

Мать взяла его за плечо:

— Боря! У меня в холодильнике пиво, думаю, это как раз то, что нужно.

Чтобы не уходить с пустыми руками, Борис захватил из бара два хрустальных стакана.

Вернувшись на кухню, он опять же увидел худую Витькину спину и только тут понял, что за эти годы она почти не изменилась, эта сутуловатая спина, обтянутая теперь выцветшей ковбойкой, как некогда форменной хлопчатобумажной гимнастеркой сизого цвета. Странно все-таки: десять лет проучился он вместе с Буренковым, и вот с тех пор, как окончил школу, ни разу о нем не вспомнил. Просто абсолютно ни разу. Вероятно, потому, что в школе никогда не обращал на него внимания, ну есть такой Буренков — ходит в сапогах, курит в уборной, учится средне — тройки, четверки,— вот и все дела. Впрочем, нет, что-то такое случилось однажды, что выделило Буренкова, что-то, установившее между ними невольную связь, только вот что?

Они сели друг против друга, как пассажиры в купе, бутылка пива стояла между ними, и банка марокканских сардин, и югославская консервированная ветчина, и салат из помидоров.

— Ну, давай, старик,— Борис старался говорить задушевно и просто; подцепляя вилкой помидор, спросил:— Так ты в нашем ЖЭКе-то давно?

— Да нет.— Витька ел степенно и сдержанно, явно контролируя каждый свой жест и потому перебарщивая время от времени по части хороших манер. Хлеб, например, брал вилкой.— Да, нет, у меня же здесь батя работал, еще когда домоуправление было, а не ЖЭК, и я пошел сюда по совместительству.

— По совместительству с чем?

— С шарашкой одной, с ведомственным НИИ. Там у меня, понимаешь, смена: отдежурил, и привет, ну вот я и калымлю здесь по-тихому, время есть.— Руки у Витьки, несмотря на июль месяц, были совершенно бледные — худые, безволосые руки с большими жилистыми кистями. Борис выложил на стол пачку «Мальборо» вместе с газовой зажигалкой.

— Смотри, какие у тебя,— подивился Витька,— ну-ка дай попробую.— Он по привычке старательно размял сигарету своими темными, жесткими пальцами и, прикурив от поднесенного синеватого огня, сосредоточенно затянулся.— Ничего, где достаемь-то?

— Так,— уклонился Борис,— есть некоторые связи в нашем буфете, в министерстве.— Он засмеялся:— Сам знаешь, везде подход нужен...

— Это точно,— согласился Витька.— наших кого видишь?

— Вижу,— ответил Борис, прикидывая мысленно, кого из их бывшей компании Буренков может хорошо помнить, класс-то был большой, и люди были самые разные.

— Степанова Андрюшку вижу, помнишь, толстый такой, белобрысый, на задней парте всегда сидел, окна,— актером стал...

— Видел его,— улыбнулся Витька,— в кино, силен! На той работе девка одна его портрет из журнала вырезала, из этого... из «Советского экрана», я ей говорю, это мой, говорю, кореш, в одном классе учились. Не верит.

— Ну да,— засмеялся Борис,— она думает, что артисты с неба падают, в целлофане. Севку Парамонова

встречаю иногда. Этот по торговой линии, Плехановский закончил, потом академию Внешторга, большой человек, куда там. Кого еще... Козел позванивает... ну, Валера Козлов, диссертацию защитил, жена у него дочка Фельдмана, не слыхал? Академик такой знаменитый, по твердому топливу, что ли! Ты-то сам как? Не женился?

Борис плеснул в стакан пива.

— А то мы с тобой гуляем, отдыхаем, можно сказать, а тебя там подруга жизни ждет и тоскует?

Витька засмеялся. Он перестал стесняться, макал хлеб в масло из-под сардин, положил локти на стол и часто смеялся, обнажая металлическую коронку на переднем зубе.

— Нет, никто не тоскует, я ведь... это, графа «семейное положение» — холост.

— Ну и молоток,— хлопнул его по плечу Борис,— учти, умные люди не торопятся. Я тоже, видишь, гарсон, как французы говорят в таких случаях. Мальчик. Игра слов.

— Да и какая, зараза, женитьба,— вдруг в сердцах сказал Витька.— У меня вон сестра восемнадцати лет замуж выскочила, дурища, и к нам его привела. Он малый-то ничего, хороший, но ведь народу теперь в комнате, как в Китае, пять человек!

— Так ведь на очереди стоите, наверное?

— Стоим, что толку? Пока достоишься! Тут другой вариант. У нас сосед один уезжает — квартиру на работе выхлопотал, в Отрадном, вот, а комната остается. Тринадцать метров. Мы и хотим занять, пока то да се. Тем более, кто посторонний теперь в такую комнату поедет, скажи, в перенаселенную квартиру? Старуха одна пришла, и та носом закрутила: окно в простенок, ванна у вас с колонкой — разбирается! Самое главное, тут даже райисполком не нужен, тут ЖЭК наш вшивый в состоянии решить.

— Так за чем же дело?

— За начальником: не мычит, не телится. Ни да, ни нет не говорит. А ведь все по закону. Живем в этом доме тридцать лет, на большую площадь имеем право...

— Ты не волнуйся, старик,— решительно и тепло сказал Борис.— Сделаем. Что-что, а жилье — дело святое. Тут тоже связи найдутся. Да я в крайнем случае и отца попрошу, на что каменный мужик, а в таком вопросе никогда не откажет. Позвонит начальнику ЖЭКа, порекомендует ему, так сказать, и все дела. У меня вот то-

же с кооперативом хреновина была. Двухкомнатная, на одного человека, есть ли у вас права на дополнительный метраж... Ничего, устроилось, к концу лета переезжаю. Заходи, посидим с новосельем и твои проблемы заодно разрешим.

Телефон зазвонил в глубине квартиры.

— Боря! — донесся голос матери.

— Прости, старик.— Борис вошел в свою комнату и, плюхнувшись в просторное кресло, взял трубку:

— На проводе!

— Привет, отец,— раздался веселый, чуть картавый голос, и Борис понял, что это Алик Громан, человек, известный всему городу, то ли сценарист, то ли переводчик, во всяком случае, чуть ли не единственный в Москве владелец автомашины «сааб» шведского производства. Вот парадокс: за глаза Алика многие презирали, называли подонком и проходимцем, и тем не менее всем Алик был необходим, и везде был принят, и всюду появлялся — эlegantный, розовощекий, в толстых итальянских очках и непременно в компании какой-нибудь красивой женщины — манекенщицы или актрисы.

— Привет, привет,— иронически поздоровался Борис, потому что, в сущности, относился к Алику свысока и не упускал случая продемонстрировать это. Как говорится, указать на место.

— Что случилось, отец, тебя нигде не видно? — У этого Алика была подкупающая манера говорить, он о каждом собеседнике проявлял неподдельную, почти родственную заботу.

— Как это «нигде»? — холодно спросил Борис, хотя отлично понимал, что Алик имеет в виду пляж на Николиной горе, большое кафе в центре города и еще две-три квартиры общих знакомых.

— Буквально нигде, отец, между тем везде о тебе разговор. Тасовка без тебя не получается, как без бубнового короля. Неблагодарно, отец, сеять надежды, а потом, извини меня, лиять. Некоторые гражданки в претензии. Впрочем, бог с ними, я к тебе по делу. Тут до меня дошли слухи, что ты хочешь избавиться от своего «Грюндига». Really? А то есть интересное предложение...

«Все-таки он напрасно родился в России,— совершенно искренне подумал Борис.—Здесь ему приходится изворачиваться, выдавать себя то за киношника, то за искусствоведа, а ведь такой талант коммивояжера пропадает!»

— Послушай, Алик,— очень серьезно поинтересовался он,— ты никогда не думал о том, что законы генетики не успевают за развитием общественных формаций? Отстают! Вот у нас, например, время от времени появляются на свет потенциальные коммерсанты, биржевики, маклеры, а идти вынуждены администраторами в кинематограф или в Госэстраду.

— Я вижу, отец,— мало смутившись, сказал Алик,— что попал под философское настроение. Понимаю, сам грешен. Но как же все-таки с магнитофоном?

— Я передумал,— сказал Борис с некоторым вызовом.

— И это понимаю,— не обиделся Алик, его вообще трудно было вывести из состояния благодушного оптимизма.— Холостяцкая квартира, гарсоньера, как говорят в Европе, требует оформления. Причем соответственного, учти. Видишь, отец, я о тебе не забываю. Если мне память не изменяет, ты как-то интересовался насчет дубленки. Я не ошибся, ни с кем тебя не перепутал? А то тут возникли новые возможности...

— Нет-нет,— заволновался Борис.— А что за возможности? — Он чувствовал, что теряет лицо, вновь старался обрести подчеркнуто небрежный и равнодушный тон, однако было уже поздно.

— Да так,— теперь уже Алик, ощутив, что наживка проглочена, проявлял утомленное безразличие.— Есть тут один солист из ансамбля народных танцев... полмира объехал, даже латинские буквы от иероглифов научился отличать, большой человек, в общем, продает по случаю. Меняет жену, меняет машину, сам понимаешь, новая жизнь — новые капиталовложения.

— Конечно,— согласился Борис и, уже не стесняясь, без всяких спасательных для самолюбия околичностей принялся выяснять подробности и детали предстоящей покупки.

В кухню он вернулся минут через двадцать. Буренков по-прежнему сидел за столом, и видно было, что он так и не поднялся ни разу, все сидел и сидел, терпеливо ожидая хозяина. «Вот интересно,— подумал вдруг Борис ни с того ни с сего,— что бы ответил Витька, если бы я спросил его сейчас, где, по его мнению, можно достать дубленку».

— Извини, старина — сказав Борис, — дела. — Он развел руками. — Так, говоришь, не женился еще? Молодец!

Витька улыбнулся не так, как раньше, невесело, а как-то словно извиняясь или на прощанье.

И вдруг Борис вспомнил. С поразительной точностью деталей и всех своих ощущений. Ну, разумеется, он был связан с Буренковым одним эпизодом, теперь, по прошествии полутора десятка лет, заурядным и наивным, но когда-то страшно важным для Бориса и волнующим, даже удивительно, как этот случай сразу не пришел ему на память.

В классе десятом он ухаживал за Наташей Белецкой, дружил с нею, как говорили тогда; на самом же деле это была первая его любовь: не школьная, не гимназическая — на расстоянии, а вполне разделенная, настоящая, со всем тем, чему и полагается быть в любви.

Однажды в апреле, да, да, в апреле, уже в последней четверти, незадолго до выпускных экзаменов, он провожал Наташу домой, и у самых ее дверей их окружили вдруг ребята с ее двора. Борис не был никогда ни тихоней, ни трусом и в разных школьных заварухах умел постоять за себя, но, выросший, что называется, в хорошем доме, он просто не знал той уличной беспричинной злости, которая, словно сжатая пружина, дожидаясь своей минуты, сидела в каждом из этих ребят. Наверное, его здорово излупили бы, жестоко унизили бы просто так, ни за что, а вернее, за то, что он чужак, не способный сейчас к защите. Наташа в конце концов была лишь предлогом. Борис чувствовал с презрением к самому себе, что один лишь вид этой гоп-компании — замурзанной, в кепках, натянутых на лоб, из-под которых выглядывали косые, мнимо блатные чубчики, — внушал ему физическое омерзение, гипнотизировал его, как кролика. Вот тут и появился Витька Буренков. Борис и раньше встречал его в Наташином дворе и считал его здешним. Витька, однако, здешним не был. Не был и чужим — стриженный под бокс, обутый в кирзовые сапоги.

Началось то, что на языке переулков и проходных дворов выразительно называлось в те годы «толковищем» — топтание на месте, хватание за грудки, козыряние неслыханными подворотными авторитетами. Витька сильно рисковал — Борис понимал, что ему нельзя ни отступить ни шагу, ни перейти определенной черты — и в том, и в другом случае вспыхнула бы драка, в которой одноклассникам наверняка несдобровать. И все-

таки эти прыжки «над обрывом» завершились благополучно.

— Ты, что же, за фрайера этого держишь? — со всею возможной брезгливостью спросил у Витьки самый жадный до расправы малый, ткнув при этом Бориса пальцем.

— За кореша,— поправил Витька.

— Ну и оставайся со своим корешом,— парень, перед тем как увести свою компанию, натянул Борису на глаза его аккуратную ратиновую кепку с большим козырьком — «тушинским аэродромом». Наташа посмотрела на Буренкова признательно.

— Спасибо тебе, Витя.

Витька смутился, утратил свое дворовое мужество, улыбнулся странной улыбкой, извиняющейся и прощальной. Такой, как теперь.

— Слушай,— с энтузиазмом заговорил Борис, разливая по рюмкам остатки водки,— а помнишь, ты меня спас тогда?

— Когда же это? — переспросил Витька.— В доме семь, что ль? Скажешь тоже: спас! Было бы от кого спасать! Это ж так, бакланье, хулиганы...

— Ну,— засмеялся Борис,— кто бы ни были, а врезали прилично, да еще при даме,— он картинно сморщился.

— Ты ее встречаешь? — тихо спросил Витька.

— Кого, Наталью? Да что ты! — Борис всплеснул руками.— Это ж так было... грехи молодости, шепот, робкое дыхание. Даже не знаю, что она теперь делает.

— Врач она,— по-прежнему негромко сказал Витька,— квартира у них с мужем на Фрунзенской. Хороший парень, здоровый. Дочка у них лет семи, на нее очень похожа, ну, прямо дубликат, глаза такие же, знаешь, не просто синие, а будто размытые, ну вот как художники рисуют акварелью. Или вот еще мрамор такой бывает, с прожилками... А Наташка сама, ты знаешь, мало изменилась. Не как другие, не обабилась. Издали посмотреть, так просто девчонка, походка та же, и волосы так же поправляет, как в классе, на контрольной: губу оттопырит и дунет — смешно.

Зазвонил телефон.

— Боренька, тебя! — прокричала мать.

Борис извинился и вышел.

— Я, конечно, как всегда, не вовремя,— голос в

трубке был взвинченный и обиженный, Борис даже поморщился, как от лимона.

— Ну, разумеется, Регина,— ответил он, я как раз принимаю сейчас одну балерину, и она для меня одного танцует «Весну священную». На музыку Стравинского.

— Господи, ну как ты можешь, как ты можешь, ты вообще когда-нибудь способен говорить серьезно? — голос в трубке звучал уже на грани истерики. Регина вообще была человеком, склонным к драматическим эффектам, как правило, несвоевременным, и это очень осложняло отношения с ней, однако Борис во время подобных сцен всякий раз испытывал вместе с раздражением и тщеславное чувство удовольствия. Потому что это все-таки лестно, черт возьми, когда красивая женщина звонит тебе что ни день, и осыпает тебя упреками, и чуть ли не руки на себя наложить собирается.

— Послушай,— начал Борис примирительным, успокаивающим тоном, устраиваясь при этом поудобнее в кресле и закинув ноги на журнальный столик.— Мы же с тобой договорились, что некоторое время не будем ни видеться, ни вообще терзать друг друга. Ты сама же решила, что это необходимо. Да, да. Ты знаешь к тому же, как много я сейчас работаю. И никуда вообще не хожу. Где меня видели? С кем? Ну перестань! Я, между прочим, не контролирую твои поступки с помощью твоих же подруг и не устраиваю за тобой слежки. Кстати, где ты была вчера вечером? Как же так дома, если я звонил тебе, и никто не снял трубки. Представь себе, все-таки позвонил. Хотя и дал зарок. Тоже ведь нервы...

— Я к тебе сейчас приеду.— Это сообщение прозвучало безоговорочно и страстно.

Борис в одно мгновение скинул ноги со столика.

— Регина,— заговорил он напористо,— не делай глупостей, слышишь? Я тебя умоляю. Ну хорошо, хорошо, сегодня мы непременно увидимся, только несколько позже. Я за тобой заеду, и мы что-нибудь придумаем. Непременно. Ты прекрасно знаешь, как много я о тебе думаю... Не веришь? Конечно! Ну хочешь...— Борис поднял взгляд к потолку,— хочешь, например, я скажу тебе, какие у тебя глаза — как мрамор. Как мрамор с прожилками. С прожилками, с прожилками,— быстро и членораздельно произнес Борис, оглядываясь и прикрывая трубку рукой.

Потом он медленно вышел на кухню.

— Так, значит, не женился? Мудрый человек!

Витька поднялся из-за стола и потянулся за своим облупленным фибровым чемоданом. В таких вот чемоданчиках в пятидесятых годах, в годы их юности, модно было носить коньки и учебники.

— Я это... пойду, пожалуй,— сказал он снова смущенно,— спасибо за все. За угощение. За угощение, за разговор.

— Так вы уходите, Витя? — Борис обернулся и увидел, что мать протягивает Буренкову зеленую, хрустящую трешку. Тот еще больше смутился, потерялся совсем, переложил зачем-то чемодан из руки в руку и посмотрел на Бориса не то вопросительно, не то ища сочувствия.

— Бери-бери,— как-то неожиданно для себя заговорил Борис каким-то чужим, протокольным тоном, стараясь придать своим словам солидную мужскую убедительность,— бери, старина. Не стесняйся: работа есть работа.

Витька неуклюже, словно для того только, чтобы не ставить хозяев в неудобное положение, взял деньги. Повертел, помял их в пальцах, будто бы не зная, что вообще с ними делать дальше, и в конце концов сунул в карман ковбойки.

— Спасибо.

Борис закрыл за ним дверь и вдруг почувствовал, как неизъяснимая, щемящая тоска, очень мало ему свойственная, бог весть откуда взявшаяся, неотвратимо обволакивает его, давит на грудь. «Все правильно, все хорошо,— успокаивал он себя,— как еще иначе? Посидели, поговорили, прекрасно!» На душе, однако, было нехорошо.

— Что ты, Боря? — забеспокоилась мать, как в детстве, мгновенно уловив его настроение.— Что-нибудь не так? Я что, мало дала? Надо было пять?

— Не надо,— оборвал ее Борис.— Ты дала ровно столько, сколько необходимо.

Он стоял у окна и видел, как Буренков идет по пустому жаркому двору, видел его сутуловатую худую спину. И Борис опять, с необычайной конкретностью, вспомнил, что точно так же уходил он тогда из двора дома семь, в тот полузабытый апрельский вечер, когда Наташа ласково сказала ему «спасибо».

Зазвонил телефон.

— Боренька, тебя! — позвала из комнаты мать.

1979



Ночью на исходе зимы

И так мне сделалось муторно от созерцания чужого веселья, от сознания своей совершенной к нему — хоть бы одним боком — непричастности, что я, дождавшись мстительно нового музыкального взрыва, потихоньку, никем не замеченный смылся в гардероб. Натянул пальто и со сладким чувством отверженности вышел на улицу. Было часов девять, промежуточное время, когда спектакли еще не кончились и компании не разошлись, и потому пустынная, под уклон идущая улица просматривалась из конца в конец. Утренний мороз спал, но и оттепель не наступила, в воздухе ощущалась замечательная свежесть отлетающего холода, мельчайший снег искрился в лучах фонарей. Вокруг были мои места, моя земля, моя малая родина, здесь я столько раз бродил и в пору первой любви, и в годы упоения первой серьезной дружбой, в последнее время мне всего этого ужасно не хватало, мне все казалось, что стоит только выбрать время и пошляться по своему району, как все вернется, прежнее предвкушение перемен и прежняя полнота бытия — вот наконец и выпала эта минута. Каждый дом, мимо которого я проходил, был мне хо-

рошо знаком, в каждом доме я бывал, с каждым было связано какое-нибудь воспоминание — боже мой, когда, с кем все это происходило, в чьей жизни, неужели в моей?

Я подумал о свадьбе, которую только что оставил, — без малейшего сожаления подумал и без горечи, просто невнятность собственной судьбы сделалась мне очевидной. Два, а может быть, три года назад одна прелестная женщина, с которой мы знакомы очень давно, но видимся крайне редко, можно сказать, вовсе не видимся, несомненно умная и тонкая женщина, к тому же мать двоих детей, спросила как-то, посмотрев на меня то ли с насмешкой, то ли с сожалением: зачем ты живешь? В ее тоне угадывалось не только превосходство, но также искреннее желание поделиться истиной.

Я смутился тогда, потом пытался прикрыться бравадой, плел нечто высокопарное и ироническое о своем так называемом предназначении на этой земле и понимал, что уличившая меня собеседница, очевидно, права. Что толку в предназначении, коли обычная жизнь не дается в руки, вывертывается и ускользает, оставляя в виде насмешливой компенсации зрелища вроде сегодняшней свадьбы, с которой я ушел по-английски, не прощаясь. Кому легче оттого, что я живу на свете, кому теплее? Тут я принялся вспоминать все свои лирические обиды, и переживал их с былою остротой, удивляясь тому, что время ничуть не исцелило ран, и находя в желании их разбередить странное удовлетворение. Вот уж действительно — унижение паче гордости.

Внезапно я понял, что добрел до своего переулка. Как пес, брошенный хозяевами, я пришел сюда неосознанно, повинувшись инстинкту. Я жил здесь, на этом крутом московском склоне, двадцать восемь лет подряд, об его несуществующий уже булыжник я обдираю себе колени, здешние дворы и закоулки были моей природой.

«Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда!»

Мимо обычных московских домов прошлого века, мимо бывших меблирашек, а ныне общежитий, мимо типографии, в которой теперь полиграфический техникум, мещанских особнячков и безликих построек я добрался до дома три, собственное лицо которого нельзя было поставить под сомнение. Это была некогда усадьба купца первой гильдии Салтыкова, с садом, с многочисленными

флигелями и невидимыми с улицы задними подворьями. Самого купца, известного московского коллекционера и библиофила, убили в восемнадцатом налетчики, говорят, у букинистов весьма ценятся книги из разоренной тогда салтыковской библиотеки; в мое время дом три, заселенный с катастрофической плотностью, слыл одним из самых шумных и скандальных в нашем переулке.

Ноги сами вели меня, я вошел в ворота и вдоль палисадника направился к дальнему флигелю, где на первом этаже, в квартирке, чудом выгороженной при нэпе из бывших людских, проживает мой одноклассник Павлик Синицкий. Лет двадцать назад это была единственная отдельная квартира, куда я был вхож. Все мои родственники, одноклассники и дворовые друзья обитали в коммуналках, иногда небольших и вполне приличных, на две-три семьи, иногда в огромных, с бесконечными коридорами, где хоть в мяч играй да катайся на велосипеде, и гулками уборными, куда вели двери, украшенные овальным матовым стеклом. В квартире Павлика, тесной от старомодной мебели, было также по-старомодному уютно, отец его, спортивный тренер, в прошлом конькобежец и теннисист, играл на гитаре, мать постоянно пекла что-нибудь не по-нынешнему сложное и ароматное, за печкой в своем уголке среди икон сидела восьмидесятилетняя бабка, ради которой я специально раздобыл православные святцы, чтобы вовремя поздравить ее с покровом или духовым днем.

Теперь все они умерли — и мать Павлика, и отец, и бабка. Теперь он сам хозяин в старом своем доме, глава семьи, отец двух девчонок — семи и трех лет.

Я постоял возле окон знакомой квартиры, они светились все тем же непоколебимым московским уютом, что и в те далекие зимы, лет пятнадцать или двадцать назад, когда мы с Павликом были неразлучны и виделись каждый день. Когда ни о своих, ни о чужих свадьбах мы и думать не думали.

Все правильно, все верно, все так и нужно. Куда же еще идти мне, одинокому пешеходу, позднему прохожему, гостю, улизнувшему со свадьбы втихья, не солоно хлебавши — куда, как не к старому товарищу.

Я стяхнул снег с воротника и вошел в парадное. Павлик сам открыл мне дверь.

— Здорово, шея, — улыбнулся он и ради дружеской ласки прихватил меня своим излюбленным борцовским приемом. В такие мгновения мне сразу же становится

очевидной тщета моей ежедневной утренней зарядки с утюгами вместо гантелей. Освободиться от этой товарищеской железной хватки невозможно. Я понял это еще в девятом классе.

— Ну-ка, ну-ка,— Павлик проникательно потянул носом,— все ясно, уже выступил. Лучшего школьного друга, конечно, не дождался.

Я принялся оправдываться, напирая особенно на свое самовольное и внезапное бегство со свадьбы.

— С чужой, надеюсь? — поинтересовался Павлик.— Со своей бы ты так просто не слинял. По опыту знаю.

— Это по какому же такому опыту? — в переднюю, улыбаясь, вышла жена Павлика Татьяна, очень подходящая к нему женщина, высокая, крепкая, румяная, как деревенская девушка.— Что-то я не припомню.

— Не припомнишь, ну и ладно,— рассудил Павлик, стягивая с меня пальто,— думают, что все про нас знают, что все им понятно. Как только заявление подал, предложил, как говорится, руку и сердце, так и привет, конец всем сложностям. Учти.

— Не слушай его, не слушай,— засмеялась Татьяна.— Ты проще будь, доверчивее, я ведь тебя знаю, ты невесть что такое ищешь, а ты на землю спустишь, вокруг себя посмотри.

Вот так всегда, хоть не ходи в гости к старым знакомым. Всем и впрямь все про меня понятно и ясно, что я ищу да чего я хочу, можно подумать, что я объявлял об этом по радио. И никуда от этих дурацких расспросов и советов не денешься. Вероятно, они будут длиться еще несколько лет, до тех самых пор, пока гипотетическая моя женитьба не делается уже темой для анекдотов и соболезнований.

— А куда ему торопиться? — как верный друг вступился за меня Павлик.— Что, на его век невест, что ли, не хватит? В крайнем случае, скоро наши девки подрастут.

— Вот золотые слова,— обрадовался я поддержке старого товарища,— чем не жених, зрелый мужчина около пятидесяти, не курящий, не пьющий и к тому времени, может быть, даже состоятельный. Представляешь, как это красиво: взять да и жениться на девушке, которую еще девчонкой держал на коленях?

Насколько легче рассуждать о себе самом в таком вот условно предположительном тоне, будто о выморочном литературном персонаже.

Тут, словно почувствовав, что речь идет о них, на пороге комнаты появились обе будущие невесты. Первоклассница Дуня уже немного стеснялась меня, вероятно, в ее сознании я и впрямь обретал волнующие и таинственные мужские черты. Зато младшая, Настя, тут же принялась скакать на одной ножке, взывая пронзительно к моему вниманию:

— Дядя Морозов, посмотри, как я прыгаю!

— Ну вы, подруги,— неумолимо произнес Павлик,— это что еще за разгул жизни? Передачи ваши закончились, усталые игрушки давно кемарят, то есть это... спят, а у вас как раз самый светский выход начался. Ну-ка, на счет «три» умываться и спать!

Кто бы мог подумать, что Павлик, первый в школе лентяй, завсегдатай «камчатки», веселый бездельник, очаровательный шалопай, в любую минуту готовый к авантюре — сорваться ли с уроков, выпить ли пива на черном ходу, подраться ли с кем в переулке, просто так, ради спортивного интереса,— именно Павлик окажется таким вдохновенным и рачительным отцом. О, неисповедимые капризы педагогической музы! Угадав мои мысли, Павлик усмехнулся:

— Ты чего смотришь так, тоже мне наблюдатель жизни. С ними же нельзя иначе. Упусти момент, они тебе по такой линии пойдут... Ты вон на Настьку взгляни, три года всего, а уже готовый женский характер. И ложь, и лесть, и притворство. А то еще моду взяли — стучать друг на дружку, друг друга подзакладывать. С ангельским видом, из лучших побуждений. Представляешь, как это мне приятно. Мне, который фискалов всю жизнь давил, как класс... Так что разговор у меня с этими барышнями армейский. Школа выживания.

Девчонки, уловив в отцовском тоне отступление от непреклонной суровости, стали ластиться к Павлику, хныкать, кокетничать, и впрямь действуя по всем законам извечной женской логики. И столько прелести было в этих капризах, столько простодушного коварства, что я неожиданно вновь, как будто бы со стороны, подумал о своей судьбе — зачем я живу, кому от этого легче и теплее.

— Ну а как молодая-то, что ж не рассказываешь? — дав волю любопытству, поинтересовалась Татьяна.— Красивая хоть?

— Красивая,— ответил я не сразу.— Ты знаешь, я, кажется, только теперь это окончательно понял.

Татьяна захохотала.

— Я ж тебе говорила... ой не могу... сколько раз говорила. Будь проще и внимательнее гляди по сторонам.

В конце того дня в наш отдел заглянула Алена Навроцкая, как всегда безусловно элегантная, словно парижанка.

— Сергей Александрович, можно вас на минутку? — сугубо деловым тоном спросила она, не переступая порога.

Все наши девицы и дамы за своими кульманами и столами понимающе переглянулись. Я помедлил немного, делая вид, что мне чрезвычайно трудно оторваться от сметы проекта, потом отложил карандаш и не спеша вышел в коридор. От Алены по обыкновению чуть-чуть, как будто бы издали, веяло горьковатыми духами, она немного волновалась, но, впрочем, вполне владела собой.

— Сергей Александрович, — она улыбнулась, — будьте любезны пожаловать на мою свадьбу. В субботу, к четырем часам. Не опаздывайте.

Вот так, Сергей Александрович! Как раз тогда впервые за все время нашего знакомства Алена показалась мне почти красивой. Я поцеловал ее торжественно и почтительно руку и обещал, что непременно буду.

Итак, церемония приглашения состоялась, и я вернулся в нашу комнату. Слишком быстро вернулся, к разочарованию дам, они ожидали некоего сюжета, развития событий, может быть, даже выяснения отношений. Но в том-то и дело, что никаких отношений не было, была лишь внешняя видимость.

Впрочем, чего уж притворяться, основания для любопытства имелись, Алена была влюблена в меня некогда, вот ведь какая история! Почему в меня, по какому странному капризу, у нас в институте пруд пруди молодых специалистов, длинноногих и длинноволосых, причем изящно, изысканно длинноволосых, все-таки как-никак архитекторы и дизайнеры, выпускники почти художественных вузов. Есть выбор для пятикурсницы, пришедшей в наш НИИ на преддипломную практику. Бог ее знает, в силу каких обстоятельств она остановилась на мне. Я понимаю, что юной девушке может, даже должен, наверное, однажды понравиться солидный мужчина, но ведь то-то и оно, что этой самой солидности, основательности, или зрелости, назовем ее иначе, во мне ни на грош

нет. Внутренне я ощущаю себя молодым человеком, ее ровесником, ничуть не удивлюсь, как говорит один мой приятель, если со двора крикнут: «Выходи с мячо-ом!»

Когда она меня заметила, ума не приложу.

Впрочем, нет, роковую роль сыграло, надо думать, открытое обсуждение проекта издательства в центре города. Алена — человек серьезный, одержимый редкими для девушки таких лет профессиональными амбициями, вполне понятно, что дискуссии она внимала с благоговением. Я же, как назло, произнес там одну из самых бессмысленных своих речей.

«В защиту Секста Росса», как выражается наш сотрудник Юлиан Григорьевич, получивший образование в классической румынской гимназии города Черновцы. На самом же деле в защиту жилого дома начала века, который в соответствии с новым проектом намеревались снести, мотивируя это решение ничтожными художественными достоинствами старого здания. «Исторической и художественной ценности не представляет» — есть такая сакраментальная формулировка. Больше всего на свете я люблю русский модерн начала века, «сецессион», «ар нуво», «либерти», но не в этом суть. Если бы речь шла о ненавистном мне послевоенном ампире, я бы все равно взъерепенился. Потому что еще больше я ненавижу архитекторов, которые не умеют построить, пока предварительно чего-нибудь не сломают.

— Я не понимаю, что мы строим — ансамбль в столице или центральную усадьбу целинного совхоза? Там простора действительно хватает во все стороны. А здесь, куда ни ткни, то важнейший сосуд, то артерия, то нервное окончание, на котором жизнь висит, как на волоске. Не всякий хирург возьмется.

А нам хоть бы что, мы слепча рубим, без колебаний и сомнений. И тут «не представляет ценности», и там — что направо, что налево. Откуда только такая уверенность берется, такая легкость суждений. Можно подумать, что сами мы создаем бессмертные шедевры... Между прочим, с такой точки зрения можно вырубить на земном шаре все деревья, кроме экалиптов и каких-нибудь баобабов. «Не представляет» — и все! В самом деле, какая художественная ценность в ольхе или осине? Для романса и то не годятся. Только вот жизнь потом среди экзотических несомненных шедевров делается бесчеловечной. И пресной. Как в некоторых наших квартирах...

Подумайте, до чего мы только дошли: слово, звук,

сотрясение воздуха стали надежнее камня. Вот мы полагаем, мы совершенно уверены, что сносим малоценное здание. Так, ерунду, пустяк, доходный дом начала века, собственность купца такого-то или генеральши такой-то — смешно вспомнить. А ведь мы материальный мир уничтожаем! Среду существования целых поколений русских людей. Целой эпохи — блоковской Незнакомки, скрябинской музыки, героинь Комиссаржевской... Представьте себе, что все это подлежит отмене только на том основании, что теперь существует новая поэзия или те «алло, мы ищем таланты!» по телевизору.

Ну и дальше в том же роде, жалкие интеллигентские слова. Однако они-то, судя по всему, и поразили Алену. Показались ей чрезвычайно смелыми, бог ее знает, поэтичными, нонконформистскими, как теперь принято говорить.

Во всяком случае, с тех пор она по делу и без дела зачастила в нашу комнату. Без дела большею частью. Приходила, садилась в единственное наше кресло, сложив изящно и скромно ноги, умопомрачительно длинные по случаю крохотной замшевой мини-юбки, и смотрела на меня круглыми удивленными глазами мультипликационного персонажа. Мужчины с сердечным стеснением отводили глаза от ее ног и еще успевали при этом соорудить мне восхищенную сочувственную гримасу. Женщины, по моим расчетам, должны были осуждать Алену, однако они ее морально поддерживали. Намекая время от времени на мою слепоту и мнимое бессердечие. Они у нас вообще очень передовые личности, наши дамы, в вопросах моды чрезвычайно авангардистки, доверяют лишь проверенным первоисточникам, их споры о длине юбок напоминают представительную теоретическую конференцию — в их собственных туалетах ощутимо, однако, напряжение, натужность, собранная в комок воля, отчаянный вызов — и ретроградам, и семейному бюджету. Алена же одевается на уровне таких «мировых» стандартов, что о зависти или соревновании даже речи быть не может. Только восхищаться можно ею, приняв ее добровольно за совершенный и недостижимый эталон элегантности. Вот чем, я думаю, объясняется то всеобщее сочувствие, каким окружили наши женщины Аленыны порывы.

А я им не доверял. То есть, разумеется, трогали они меня, и самолюбию льстили, и в груди вдруг ни с того ни с сего как-то сладко щемило, но я себя постоянно

одергивал. Не давал себе воли. Я боялся, я позорно трусил, откровенно говоря, уж слишком щедрым казался мне этот поворот судьбы и нелогичным. Я же всю жизнь пытаюсь нащупать в ее противоречиях и скачках закономерную логическую линию. Потом случился у нас в институте какой-то местный праздник — может быть, юбилей, а может, на пенсию кого-то провожали, — с дозволения начальства выпили шампанского, включили портативный магнитофон, был май, это я точно помню, теплый вечер стоял за окнами, верхнего света не зажигали, горели только две-три настольные лампы, от этого в присутственной нашей комнате создавалась небывало интимная атмосфера. Алена вдруг подошла ко мне с отчаянным видом и пригласила танцевать. Я обнял ее за талию целомудренно и даже снисходительно немного, а она отважно, обмирая от собственного героизма, закинула мне руки за шею — я вдыхал запах ее волос и ощущал, как часто-часто бьется ее сердце.

Я по-прежнему не торопил событий, я их сознательно откладывал. Надо было уяснить, что же все-таки происходит, как все-таки я отношусь к этому юному созданию в высоких сапогах и длинном кавалерийском плаще. Ужасно не хотелось суетиться, шустрить, забегать вперед, использовать момент, когда она слаба и беззащитна. Я знаю, конечно, что девять из десяти моих друзей скажут, что все это блажь, что о слабости и говорить не приходится, что женщина, даже очень неопытная, сто раз простит любой обман, но только не отказ, вот он-то и есть слабость. Постыдная, незабываемая.

Как бы там ни было, я получал странное удовольствие от своей неторопливой созерцательности, от сознания своей незаслуженной и полной власти. Наверное, высшее тщеславие в том и состояло, что властью этой не хотелось пользоваться. Мне просто любопытно было взглянуть: на что же способна нынешняя молодежь. Я в возрасте Алены на многое был способен. Господи, неужели все дело в том, что я попросту жаждал реванша за страсти своей юности, за новые бдения под забытыми ныне окнами, за письма, которые, надо думать, так никто и не прочел, за одинокие, якобы непреднамеренные прогулки без видимой цели в определенном районе города, когда случайная, минутная, абсолютно ничего не значащая встреча представляется едва ли не смыслом бытия.

Летом начались командировки, по нашим проектам строят во всех концах страны, вот и я мотался то в Си-

бирь, а то в Среднюю Азию, лирические соображения не выдерживали давления производственных проблем. Я погружался в лирику, засыпая на гостиничной койке или ворочаясь без сна на верхней полке вагона, это были приятные и бессвязные ночные мысли, они могли и днем явиться ни с того ни с сего, посреди планерки или же на лесах во время разговора с прорабом, днем, однако, я научился ими управлять.

Алена же благополучно завершила практику. Юлиан Григорьевич написал ей велеречивую характеристику, отмечавшую ее природное чувство стиля, ей предстояли защита, потом последние каникулы.

В конце сентября я возвратился из Крыма, шли долгие дожди, иногда вперемежку со снегом — слишком ранним и потому обидным, деревья облетели в несколько ночей, отпуск, и без того не очень-то удавшийся, представлялся уже событием давних лет.

Однажды вечером я вышел от приятеля, он жил почти напротив театра, там начинался разъезд. Говорливая толпа выплескивалась из ярко освещенных дверей, холодный неустанный дождь сразу же ее осаживал, охлаждал ее премьерный пыл, в промытом, лакированном асфальте отражались фиолетовые буквы рекламы и мигалки отчаливающих машин. Я раскрыл зонт и остановился на краю тротуара, над широким и быстрым дождевым потоком. Светлый автомобиль «Жигули», весь в каплях дождя, дрожащих и сверкающих, проплывал мимо меня. Встречные фары высветили на мгновение салон, рядом с водителем сидела Алена, улыбающаяся, с кукольно-яркими, по моде, губами, с блестящими, как будто бы даже кемного хмельными глазами. Она что-то говорила все время, забавное и веселое, вероятно, и мужчина за рулем слушал ее с выражением ласковой и усталой иронии, так свойственной бывалым автомобилистам. Все это зрелище удачного светского выезда показалось мне столь вызывающе неожиданным, столь непохожа была Алена на покорную и смущенную практикантку, что я так и застыл на месте, растерянно и нелепо. Автомобиль между тем в одно мгновение нарастил скорость, водитель решительно начал обгон, из-под шелестящих колес с силой вырвалась тугая струя воды и окатила меня с головы до ног. Холодные медленные капли стекали по моему лицу, мне казалось, что такого унижения, такой бессильной обиды я не переживал с самого отрочества, с тех пор, когда непомерная гордыня опережает возможности и силы. Я по-

думал вдруг, что вот и сама жизнь пронесется мимо, отдавая меня изредка, словно фонарный столб, придорожной грязью.

Ненужная привычка во всяком событии видеть потаенный символический смысл. Вредная привычка.

Спустя некоторое время Алена вновь появилась в нашем институте, теперь уже как равноправный член коллектива, мы встречались на заседаниях, конференциях или просто в буфете, отношения у нас сложились самые корректные, от прежней отчаянной лирики не осталось и следа. Даже больше, я вскоре понял, что Алена всячески отделяет себя нынешнюю, деловую, уверенную в себе сотрудницу, от взбалмошной и наивной практикантки прежней поры. Отделяет и просит не путать: что было, то было. Мне стало немного обидно, как будто бы кто-то посягнул на некую мою несомненную привилегию, которой я великодушно пренебрегал, но которую привык считать своим не подлежащим пересмотру правом. Иногда, спускаясь вечером по институтской лестнице, я живо представлял себе, что Алена, может быть, ждет меня сейчас за углом, как наверняка бы ждал ее я, будь я на ее месте. Но нет, за углом торговали сигаретами и цветами, это был прелестный уголок для свиданий и для ожиданий, замаскированных под случайные встречи. Алены там не было. И очевидно было, что и быть не может. И вот — извольте пожаловать на церемонию бракосочетания, и все такое прочее. Мне было не то чтобы грустно, а как-то обидно, не на кого-нибудь конкретно, безлично обидно — и все; неизбежно вместе с возрастом приходит пора, когда всякая неиспользованная возможность запоздало отзывается в сердце.

До самой субботы я не был уверен, пойду ли на свадьбу. Разумеется, обещал, и нарушить обещание было бы не по-джентльменски, ну да ведь не такой уж я важный гость, чтобы мое отсутствие могло кого-либо всерьез задеть. Однако в субботу утром я положительно решил — пойду. Более всего склонила меня к этому решению острая необходимость вырваться из привычного круга знакомых лиц. В этом кругу в конце концов удобно и даже уютно до тоски, как в старом кресле, но он роковым образом замкнут и не сулит никаких неожиданностей, перемен и событий. Между прочим, все встречи, о которых к моим годам в мужском сердце оседают воспоминания, похожие на счастливый давний хмель, так вот — все по-

добные встречи неизбежно случались в тот момент, когда круг удавалось разорвать.

Зная Алену и припомнив владельца «Жигулей», я сообразил, что свадьба будет шикарная, надел модную рубашку в синюю широкую полоску, повязал галстук, привезенный приятелем из Варшавы, костюм был не самого последнего покроя, но вполне приличного шитья.

По дороге на рынок я думал о том, что давно уже не ходил на свадьбы. Близкие мои друзья переженились лет десять назад, многие из них с того времени успели развестись и наладить другие семьи, свадьбы в этих случаях, как известно, бывают не слишком торжественные, без кукол на бампере такси и без лишних гостей. Откровенно говоря, я уже привык думать, что ближайшее бракосочетание, на котором мне придется гулять, состоится лет этак через семь-восемь, когда моим приятелям придет пора женить и выдавать замуж своих детей. Однако дело вот как обернулось.

Молодой грузин с японскими тяжелыми часами на волосатом запястье ловко увязал мне букет, за огромным окном рынка летел хлопьями снег, и почти невозможно было вообразить, что где-то уже наступила весна, такая же нежная и трогательная, как эти цветы. Я попросил завернуть шесть тюльпанов и четыре калы и проявил, таким образом, полное невежество по части светского «протокола».

— Нечетное число полагается, — немного укоризненно покачал головой продавец и увязал в целлофан еще один тюльпан. Я отыгрался тем, что понес букет, держа цветы головками вниз — эту вроде бы небрежную и вместе с тем элегантную манеру я видел в каком-то фильме.

До артистического клуба я доехал на такси. Я и так не опаздывал, просто была в таком моем приезде особая идея. Надо знать, чем был в свое время для меня и моих приятелей этот самый старейший московский клуб. Попасть сюда на елку считалось невероятной удачей, сказкой, утопией, здесь раздавали роскошные подарки, и артисты выступали совсем не те, что в агитпунктах перед выборами, а знаменитые на всю страну, мы знали их всех в лицо, как-никак мы были ребятами из центра. А уже потом, в пору юности, этот клуб был овеян для нас легендами особых закрытых просмотров, актерских капустников, маскарадов, выставок, манивших не столько картинами, сколько возможностью поспорить с благонаправленными посетителями тогдашних академических вер-

нисажей. Еще работал при клубе ресторан, который мне так и не случилось посетить, о нем тоже ходила молва как о последнем заповеднике старомосковской барской кухни.

Гардеробщик с благообразным, приветливым лицом бывшего актера, заметив мой букет, доверительно сообщил:

— На свадьбу пожалуйста налево. В малый зал.

Я оглядел себя в зеркало, мне почудилось, что вид у меня с букетом несколько глуповатый, а вовсе не такой уж непринужденный, как я самонадеянно предполагал, только теперь я до конца прочувствовал, что иду на Аленину свадьбу, и застеснялся, ощутил противную неуверенность и беспокойство. Свадьба обещала быть многолюдной, а я вдруг окончательно понял, что, кроме невесты, не найду здесь, очевидно, ни одного знакомого человека. К невесте же особенно не присоседишься.

В фойе уже толпился народ, большею частью солидный, хотя и не старый еще, подтянутый, бравый, увлеченный утренним бегом, амосовской гимнастикой и всевозможными австралийскими, японскими и бог их знает какими еще диетами. Впрочем, среди стройных этих силуэтов попадался традиционно мешковатый бостон, торжественный и добротный, как не ведавшая диет эпоха.

Я притулился где-то с краю, пожалев впервые, что бросил курить, сигарета в таких случаях создает иллюзию дела и прибавляет уверенности.

И тут я заметил, что моложавая статная дама в длинном вечернем платье, встречавшая гостей посреди фойе, направляется в мою сторону и мне улыбается.

— Вы Сережа? — спросила она, улыбнувшись еще сердечнее и еще обворожительнее. — Я тотчас же догадалась. Алenuшка столько о вас рассказывала, что же вы стоите так скромно в углу, господи боже мой, прямо Золушка какая-то мужского рода, пойдемте, я представлю вас гостям.

И я опомниться не успел, как она уже взяла меня под руку, вот в кого у Алены такая решительность — в мамашу, да и прочие свойства, например, ее замечательное умение держаться на людях, преодолевать смущение.

Мы вошли в уютный зал с большим камином и дубовой, на взгляд, скрипучей лестницей, ведущей на хоры. С другой стороны сквозь стеклянные двери виден был соседний зал, уставленный свадебными столами. Меня подводили к разным людям, я кланялся, пожимал руки,

улыбался, кажется, даже шаркал ногой совершенно уж неожиданно для самого себя, выслушивая из уст Алениной матери превосходные характеристики почетных гостей, судя по ее проникновенному тону и выражению лица, они и впрямь были выдающимися людьми, и только по темноте своей их имен я никогда прежде не слышал. Впрочем, хозяйка была склонна к преувеличениям, она ведь и меня рекомендовала как лучшего Алениного друга, руководителя на архитектурной стезе и почти что благодетеля.

Больше всего на свете мне хотелось затеряться в толпе, я совсем было уже достиг своей цели, однако именно в этот момент прибыли молодые.

Это был как раз тот самый случай, когда данное свадебное понятие обрело совершенно конкретный смысл. Алена и ее муж выглядели в окружении гостей почти детьми. Ибо мужем оказался вовсе не тот респектабельный автомобилист с усталым лицом, а совсем юный паренек с аккуратной гривкой пепельных волос и нежной девичьей кожей. Я представил себя на его месте, и мне сделалось грустно. Не из ревности, нет, не в том дело, что я, чего доброго, мог стоять теперь рядом с Аленой и, наверное, выглядел бы уж совсем глупо, просто вспомнил себя в его годы. Разве так давно это было, вчера, честное слово, вчера, с места мне не сойти, куда они делись эти двенадцать лет, куда утекли? На что они потрачены, неужели только на то, чтобы я стал приблизительно так же одет, как и жених. Чтобы дотянулся, так сказать, до уровня следующего поколения.

Молодых окружили, стоять одному в стороне было неловко, и я тоже подошел с поздравлениями. Как и положено, Алена была в фате, тончайшей, эфемерной, колеблемой дыханием. Подвенечное платье, кружевное, прелестное, крохотное, не доходило до ее коленей, и потому неволью вызывало мысли легкие и непочтительные, что на свадьбе, как известно, не возбраняется.

Я приложился к ее руке, пробормотал какие-то невнятные слова, а потом внезапно, для самого себя неожиданно, поцеловал Алenu. Впервые и как-то не совсем скромно для поздравления — в шею. Тут, к счастью, грянул мендельсоновский марш, распахнулись стеклянные двери, крутобедрые официантки с профессиональной сноровкой кокнули на счастье хрустальный фужер и ловко усыпали паркет там, где предстояло ступить жениху и невесте, алыми и белыми гвоздиками. И они пошли,

оба тоненькие, стройные, ненатурально высокие из-за своих аршинных платформ, непринужденно пошли и независимо, не смущаясь ни метрдотеля с подносом шампанского, ни сияния старинных люстр, все так и надо, так и должно быть,— за ними, слегка выдержав дистанцию, потянулись собравшиеся, получилось целое праздничное шествие, на манер демонстрации, только транспарантов не хватало и знамен. Если бы я женился, то не смог бы пригласить и десятой доли гостей из числа родных и знакомых. У меня бы их просто напросто столько не набралось.

«Внимательнее гляди по сторонам». Все-таки странно оказаться вдруг в категории лиц, которым принято давать наставительные советы, ничуть не стесняясь никакими их достоинствами и достижениями, поскольку имеется в виду, что в самом главном они свою жизнь позорно и очевидно прошляпили.

— Я, кажется, вообще сегодня многое понял,— общил я.— Наверное, по причине свадебной музыки. Страшная вещь. Без преувеличений — действует на все, как говорится, стихии организма и души.

Павлик скроил иронически-компетентную мину.

— Как же, как же... в курсе дела. У нас в конторе молодежь намостырилась культурно отдыхать. Аппаратура-то казенная, какая только хочешь, воспроизведение звука идеальное. Они свою пленку приволокут и наладят во время обеденного перерыва. Туши свет! Через минуту ощущение такое, будто тебе, простите за выражение, клизму поставили во все места. Под давлением. А у них! Блаженство на мордах, словно портвейна задвинули. Это у них называется «кайф словить».

Мы с Павликом вошли в комнату, которая сделалась вроде бы выше и просторнее с тех пор, как после смерти родителей Павлик вывез отсюда допотопный комод из мореного дуба, источенного жучком, и высокую кровать с никелированными шарами. И все же, несмотря на стеллаж и огромный телевизор, здесь витал дух вовсе не теперешнего, не нашего века жилья — может быть, монастырской кельи.

— Ты прав,— согласился я.— Сначала просто обалдение, отключка, затмение. Зато потом — ого-го! Реакция обостряется, и многое становится очевидным. Из того, чего раньше не замечал. Например, что молодость прошла.

— Да брось ты, тоже мне подвел итоги,— замахала руками Татьяна,— стоило на свадьбу ходить! Да ты просто от жизни отстал, и все! Уж от тебя этого не ожидала. А мир, между прочим, молодеет...

— Да. Знаю я это, слышал.— Меня вдруг прорвало после целого вечера учтивой сдержанности, вежливых улыбок, идейных тостов и хороших манер.— Мир молодеет! Спасибо за информацию. В моде юность и красота. Спешите видеть! Кудри до плеч, кружева, музыка, от которой можно лопнуть, будто ты не человек, а воздушный шар — гривенник штука! А вы не замечали, что мир не только молодеет, но и стареет, как никогда быстро. Знаете, как в современном спорте — в двадцать три года уже все в прошлом, привет родителям, хоть мемуары пиши, ветеран. Песенка мне еще надоесть не успела, еще на слуху у меня журчит, а она уже вышла из моды. Галстук все еще меня радует, а уже старомоден. Я сам еще полноты жизни вкусить не сподобился, еще взрослым человеком ни разу себя не ощутил, и нате вам — я уже сошел с круга, я уже вчерашнее, бывшее поколение, меня уже съест пора за ненадобностью, как в каменном веке.

— Успокойся,— подмигнул мне Павлик,— припасов еще хватает. Нервы сдают, дед, нельзя тебе молодежную музыку слушать. Ты помнишь, лет пятнадцать назад, когда мы мальчишками были, юность считалась... ну вроде бы преддверием жизни. Как бы подготовительной стадией — все еще впереди, настоящая жизнь, взрослые дела, свершения, удовольствия — пока лишь пробная стадия, период предпусковых испытаний, как бы сказать. А теперь сразу — пуск! В четырнадцать лет уже не готовятся к жизни, а живут на полную катушку — своя мода, музыка своя, свой мир. Нормальный ход! Знамение времени, пусть неудачник плачет. Помнишь, меня со школьного вечера за американскую пластинку вытурили? «Египтинелла» — буги-вуги. И еще карикатуру похабную в стенгазете намалевали — любитель музыки толстых. А теперь... прошвырнись днем по нашему переулку, от японских машин не протолкнешься. А на том самом месте, где стилигам брюки резали, знак особый висит, обратил внимание: «Стоянка только автомобилей фирмы «Чори». Фирмы! И никаких тебе карикатур. Чему же удивляться? Тому, что любителей подшустрить смолоду, вперед забежать, развелось, так что же, их раньше не хватало, что ли?

— Хватало, Паша, хватало. Сколько хочешь... Только те, как бы тебе сказать, наивнее, что ли, были, простодушнее, в ресторанах тостов за мир не произносили. А уж если и произносили, то не ждали от этого себе немедленной пользы.

— Ну и дай им бог.— Павлик поднялся и выключил телевизор, который все это время старательно вещал и показывал нечто свое, то ли юмористическое, то ли, напротив, исполненное драматизма.— О чем мы говорим, Сережа? Месяцев пять не виделись, с самого лета, считай, и обсуждаем общественные нравы: Хреновина какая-то. Пойдем на кухню, отдыхать пора, Татьяна уж, наверное, организовала нам бомонд.

Я понял, что Павлик имеет в виду а-ля фуршет. Иностранные термины, особенно французские, его иногда подводят. Так, например, знаменитый ликер «Шартрез», он именовал «шартрестом».

Кухня в этой квартире была не совсем обычная — крохотный закуток без окон и дверей, — но очень уютная. На дощатом столе оригинальной экономной конструкции — Павлик сам его вычертил, сколотил и отлакировал — нас ждал ужин — нехитрая домашняя закуска, о которой вспоминаешь чаще, чем о любых ресторанных разносолах, — квашеная капуста, грибки, сливы, маринованные на дому.

Вот он, неизменный уют товарищества, последнее прибежище смятенной души, островок надежности в неустанно меняющемся мире.

— Как наш банкет на три персоны? — потирая руки, спросил Павлик.— Татьяна, как там насчет пивка в холодильнике?

— Минуту подождать можете, сейчас картошка сварится? — не отрываясь от плиты, ответила Татьяна.

Но Павлик был не в настроении ждать.

— Мы пока со свиданьем, — решил он, разливая пиво по граненым стаканам.— Между прочим, стакашки эти, слышал, как раньше назывались? Рублевые. Знаешь, почему? Мне бабка рассказывала. Их в старое время в станционных буфетах к приходу поезда специально выставляли. Штук по сто на подносе, а рядом, как положено, закуска — лососина там, семга, сардина какая-нибудь. Честь по чести. Пусть даже скорый две минуты стоит, пассажир выскочил на перрон, махнул, закусил чем бог послал — все удовольствие ров-

но рубль. И привет, следуй дальше к месту своего назначения.— Под этот экскурс в историю отечественных железных дорог мы закусили грибами, хрустнувшими на зубах, и ощутили на мгновение в груди ту блаженную теплоту, которая сама по себе кажется преддверием, предзнаменованьем счастья и полного душевного комфорта.

— Слушай! — с необычайным подъемом вспомнил Павлик.— Ты представляешь, кто ко мне забегал? Перуанец. Куда что девалось. Будка — во, плешь, фиксы вставил. Два раза, говорит, расходился, а теперь нашел гражданку старше себя лет на пятнадцать. Представляешь, отдуплился?

Я на мгновение опешил, какой такой перуанец, что за бред, потом не выдержал и рассмеялся.

Павлик все-таки поразительный человек. Он три года служил в армии, причем на Камчатке и на Курилах, в своем «ящике» он уже десять лет старший механик группы, незаменимый специалист, его посылают налаживать оборудование в разные города Союза, он отец семейства, наконец, и при этом помнит все школьные прозвища и произносит их с интонацией былой однозначности, и все наши мальчишеские приключения переживает с таким счастливым энтузиазмом, будто случились они вчера вечером. С тех пор как мы вышли из школы, пронеслась, в сущности, половина прожитой нами жизни, собравшись, мы никак не можем о школе наговориться, словно бы дурацкие и вдохновенные те проказы — стрельба на перемене из духового ружья или котенок, засунутый в портфель практикантке-англичанке, — важнее нынешних забот и отраднее успехов.

Татьяна в такие моменты со спокойным сердцем оставляет нас одних, посмеиваясь над нами с высот своей женской трезвости — женщины, особенно довольные судьбой, редко склонны к ностальгическим воспоминаниям — и удовлетворенная одновременно тем, что разговор наш, по всей видимости, не коснется сюжетов рискованных, таящих хотя бы тень опасности для устоявшегося семейного благополучия.

— Что подделаешь, Паша, вздохнул я несколько лицемерно о судьбе незадачливого нашего приятеля, к которому, по соображениям ныне уже совершенно туманным, прилепилась некогда кличка Перуанец. То ли уничижительная, то ли лестная, пойдя теперь разбери.

Время, Паша, проходит. Скоро только и останется, что вдов подбирать.

— Все понял,— завелся вдруг Павлик, уже блестя немного глазами.— Надо заглушить в тебе эту свадебную музыку. Ты посмотри сейчас, что я у себя в подвале раскопал.

Он смотался мгновенно в комнату и приволок не слишком громоздкий, почти новый ящик, вполне изысканной формы, обтянутый дорогой синей кожей — патефон, чудо довоенной техники, мечту пижонов, символ комфорта и передовой европейской культуры.

— Отец еще в тридцать третьем не то премирован был, не то в торгсине купил,— удивлялся Павлик, раскрывая ящик,— открылся малиновый, как срез арбуза, круг, незамутненным зеркальным блеском отсвечивала массивная мембрана, на внутренней стороне крышки в золотом треугольнике красовалась белая собака, кажется, фокстерьер, вытянувшая умную морду к раструбу фонографа.

— Мировая фирма,— Павлик щелкнул знаменитого пса крепким ногтем,— отделения во всех столицах Европы и Америки. Потерпи минуту, ты у меня сейчас забудешь про все свои разочарования. Расслабься. Я такую пластинку поставлю, старик! Душа отойдет. Лучшие годы нашей жизни.

Давно забытым, обрядовым, почти патриархальным ныне жестом принялся он накручивать ручку патефона, вызывая у меня этим энергичным вращением видения прошлой жизни, бедных наших пиров, дворовых танцев под сенью старых городских деревьев, беглых поцелуев и сладостных прикосновений в подъезде, подготовленных отчаяньем и отвагой. Я даже собрался высказаться по этому отрадному поводу, сердце мое сентиментально сжалось в предчувствии трагического всхлипа саксофонов и скрипок, и ухо уже различило характерное шипящее шуршание, непременно предшествовавшее в те годы удовольствию, и надо же было, чтобы именно в этот ностальгический момент кто-то тревожно и пронзительно позвонил в дверь.

На пороге стоял Лёсик. Выражаясь точнее, Леонид Борисович Поляков, сосед Павлика по дому, человек в нашем переулке чрезвычайно популярный, можно даже

сказать, знаменитый — бильярдист, игрок, бретер, широкая натура, король московского ипподрома, свой человек в комиссионных магазинах и в кафе «Националь», скандалист, мот, но, в сущности, добрый малый. Знаменитый джазовый ударник, Лёсик был кумиром нашей скудной музыкальными впечатлениями юности, в ресторан «Аврора» на Петровские линии слушать его съезжались на «Победах» и БМВ московские, так сказать, плейбой того времени, нам же оставалось лишь взирать на него с восхищением сквозь огромное зеркальное стекло дорогого ресторана. Даже заходясь в стихии своих безумных «бреков», извлекая из тарелок барабанов и барабанчиков разнообразнейший, изнуряющий праздничный грохот, Лёсик сохранял невозмутимое, вполне светское выражение пресыщенности жизнью. Впрочем, в концертном своем смокинге с блестящими шелковыми лацканами, Лёсик способен был ни с того ни с сего появиться среди бела дня во дворе, мог с неистовым упоением гонять голубей, залиvisto свистя и карабкаясь в лакированных штиблетах вслед за ребятней на крышу по дрожащей ржавой пожарной лестнице.

В последнее время Павлик стал называть Лёсика «Казанова сорок девять», намекая таким образом на то обстоятельство, что пик поляковских сердечных побед приходится на послевоенные годы. Хотя, откровенно говоря, отблеск этих славных любовных битв и поныне падает на его совершенно безволосое чело.

Сейчас, однако, вид у Леонида Борисовича был вовсе не торжествующий. Барская старомодная шуба на бобрах, крытых потертым сукном, висела на его опущенных безвольных плечах, самолюбиво чувственные губы были горестно сжаты, неожиданно маленький облезший череп Лёсика напоминал голову грифа, печально и брезгливо взирающего на посетителей зоопарка из-за решетки.

— Всё,— произнес Лёсик громким трагическим шепотом,— хана! Нет больше Леонида Полякова. Леонид Поляков потерян, опозорен, разорен, выжат, как лимон. Приятного аппетита, дорогие мои,— опытный, нагловасто грустный глаз Лёсика на мгновение вспыхнул при виде закуски,— я не ожидал такой старости, Паша. Не думал, что буду мандражировать ночами, как последний фрайер. Вместо того, чтобы вздеть на нос очки и почитать на сон грядущий что-нибудь из французской жиз-

ни. У тебя, Паша, был счастливый отец, царствие ему небесное. Я хотел бы оказаться на его месте.

— Ну, ну,— запротестовал Павлик,— что это еще за пессимистические варианты?

— Нет, Паша,— голос Лёсика обрел благородную мужественную скорбь,— разочарованным отцом быть больнее, чем обманутым мужем. Можешь мне поверить.

Стало очевидным, что причина Лёсиковых страданий заключена в драматизме его поздних родительских чувств. Лёсик решился смирить свою кавалерскую гордыню лишь в пятьдесят лет от роду, сам трунил постоянно над своею столь неожиданной и непривычной супружеской ролью, однако отцом оказался сентиментальным и нежным. И вот теперь, на закате жизни, четырнадцатилетний сын, восьмиклассник, не только не служил Лёсика опорой и утешением в жизненной борьбе, но просто-напросто разбивал ему многоопытное его сердце.

— Борька, что,— спросил Павлик, уже догадываясь, в чем дело,— опять соскочил?

— Опять,— сокрушенно вздохнул Лёсик, однако смирение мало шло к его натуре, уязвленное отцовство требовало бурного излияния чувств, а потому в голосе его зазвенела раскатистость ресторанный скандалиста.— Вторую ночь, гаденыш, дома не ночует. Как ушел в пятницу утром, так, не заходя в школу, и слинял.

— Может, он у кого-нибудь из приятелей? — попытался я внести в разговор ноту умиротворяющего благоразумия,— или у родственников?

— Какие родственники? — взвился Лёсик.— Они все у меня на проводе, чуть что — мгновенный сигнал тревоги. Как в Белом доме. А насчет приятелей ты прав, только у них ноги пообрывать надо, у товарищей этих позорных.

— Борька с хиппами связался,— пояснил мне Павлик,— видал, наверное, возле «ямы» ошиваются.

Разумеется, я видел. «Ямой» в нашем переулке назывался пивной бар, открытый на соседней улице лет десять тому назад. Мы с Павликом вначале радовались уюту этого бара, деревянным столам и каменным сводам, мы даже неосознанно надеялись сделать его завсегдатаями, превратить его в свой клуб, в свою, так сказать, «Ротонду», реализовать затаенную мечту о постоянном пристанище друзей — прекрасным мечтам не дано осуществляться. Уже через две недели бар

утратил всякую связь с новыми веяниями в московском общепите, он превратился в заурядное злачное место, с постоянным предчувствием скандала, повисшим в воздухе среди кругов смрадного табачного дыма. С некоторых пор на железных прутьях, огораживающих спуск в «яму», стала собираться молодежь — лохматые ребята с грязновато-серыми лицами, одетые в джинсы, заношенные до небывалой дерюжной сизости, залатанные на задку и коленях с нарочитой наглостью, — а с ними «метелки», совсем юные девушки, растрепанные, щеголеватые и неопрятные одновременно, порочные круги темнели под их разрисованными наивными глазами, в пухлых детских ртах торчали сигареты. Курили девушки, словно невесть какое серьезное дело делали, с поразительно сосредоточенным, почти одержимым видом, с каким, вероятно, совсем недавно решали на контрольных задачи.

— Ты думаешь, они просто так пасутся? — продолжал Павлик, как и прежде просвещая меня по части поветрий и метаморфоз переулочной жизни. — У них там целый клан, организация почище профсоюзной. Малый вроде Борьки прибьется, его подберут, возьмут ночевать, клифт ему достанут вместо школьного обмундирования — у них же чем рваней, тем фирменнее. А там, смотришь, и к делу приспособят. Жвачку у иностранцев клянчить или «бомбить». Ну, то есть, милостыню сшибать у прохожих, — компетентно пояснил он, — не как раньше по вагонам ходили, без нытья, без легенд о наводнении, представь себе — с улыбкой, — поделитесь граждане с юным поколением, нечего над сберкнижками трястись. У них и лидеры свои есть, а как же, честь по чести. Самый главный, патлатый такой, хромой, на палочку опирается, как это — Чайльд Гарольд. Пальто до пят, глаза мерцают, под балдой всю дорогу. С бакланьем малолетним даже не разговаривает, тростью своей тычет: один — туда, другой — сюда. Что ты, играющий тренер! Я особенно на девок ихних смотреть не могу. — Павлик вздохнул. — Потому что про своих собственных думаю.

Я вновь попытался воззвать к благоразумию, теоретизировал о том, что хиппи в условиях нашей действительности — миф, химера, заурядное подражание, они не могут иметь под собою реальной почвы, поскольку их движение являет собою протест против чрезмерной сытости потребительского общества, а заодно и против ма-

териального изобилия, напроць лишенного духовной основы, нам же, как известно, еще только предстоит преодолеть засилье дефицита, то есть нехватки. Что же касается духовности, то ее нам, слава богу, пока хватает.

— Так что не понимаю, откуда они у нас берутся,— заключил я несколько туманно свое безупречное логическое построение.

— Из Голландии приезжают,— разозлился Павлик.— Из Амстердама прямо в наш переулок. Как ты раньше на замечал?

Между тем я был искренен, ничуть не кокетничал неосведомленностью, будто признаком каких-либо высших, неземных интересов моей души. Не строил из себя классную даму, удивленную неизящными манерами ломовых извозчиков. Моя причастность к настроениям и вкусам юношества и вправду ограничивалась мимолетными уличными впечатлениями. Практически я не имел о них точного представления. Они лишь долетали до меня изредка и будто бы издалека, как отголоски парижской моды в былое время. Отчасти потому так получилось, что я сам еще не привык к мысли, что принадлежу к поколению, чья молодость, как ни посмотри, сделалась уже предметом воспоминаний. Я только теперь это постепенно осознаю, и то по боковым, случайным приметам. Узнавая внезапно в плечистом парне, едва ли не упирающемся затылком в потолок лифта, замурзанного соседского мальчонку, который вчера еще хныкал и дрался на лестнице с девчонками. В том-то и штука, что со времени этого «вчера» прошло уже шесть лет, целая жизнь по масштабам мальчишка, ставшего юношей, а со мною ничего не произошло. Я, как и раньше, езжу на работу на метро с двумя пересадками, сижу в той же самой комнате, на том же самом стуле, и по-прежнему живу надеждой на счастливый случай, на мгновенную ошеломляющую перемену судьбы. И в этом смысле, очевидно, сознаю себя личностью менее зрелой, чем многие молодые люди, окружающие меня на работе.

Они никогда не вызывали во мне настороженного чувства. Скорее они мне нравились. Они были мне симпатичны, хотя и не той симпатией, какую испытываешь к своим ровесникам и которая проистекает от совершенного знания всех обстоятельств их биографии. Нет, эти ребята располагали к себе, словно улицы незнакомого города — его, наверное, никогда не полюбишь, как свой собственный, но зато всякий раз думаешь о нем с ощу-

щением чистоты и доброты. А иногда и с уколами ревности, впрочем, тоже светлой и независтливой. Их поведение, приметы внешности, то впечатление, какое они, нимало о нем не заботясь, создавали, были отмечены для меня уверенностью и свободой. Может быть, как раз оттого, что самому мне всегда их мучительно недоставало. И многим моим сверстникам тоже. До сих пор я не в силах забыть тот изнуряющий страх, который был неразлучен со мною в первые годы моей профессиональной карьеры — боже, как я трепетал от того, что меня допустили в святая святых, в наш институт, как боялся, что не выдержу, не оправдаю возложенных на меня надежд — так ли уж грандиозны они были, — окажусь не на уровне поставленных перед коллективом задач. Эти бесконечные сомнения в своем призвании, эта боязнь, оправданная по-своему ничтожеством моей прежней жизни, объяснимая тем благоговением, какое охватывало меня непременно в стенах нашей мастерской, среди кулманов, выставочных проектов и профессиональных разговоров, истощали мои душевные силы. Оборачивались то позорной зависимостью от чужого мнения, то оскорбительной для окружающих заносчивостью.

В молодых моих коллегах я не замечал ничего похожего. Они были неизменно ровны, весело деловиты и чуть снисходительно доброжелательны. Ничей авторитет не обескураживал их, не бросал своим присутствием в жар и в пот. Подозреваю, что это очевидный признак душевной зрелости. Той истинной внутренней силы, которой не требуется самоутверждаться поминутно за чужой счет, доказывать назойливо свое право на уважение. Она естественна, органична и потому рождает не ослепительную, мгновенную вспышку, в которой всегда есть нечто от взвинченности и истерики, а надежное, неиссякаемое горение. Что из того, что мне лично, в силу свойств характера, эта самая нервность, воодушевление, перемежаемое предчувствием катастрофы, ближе и роднее, я ведь совершенно искренне сознаю преимущества трезвой творческой воли, не подверженной колебаниям и упадку. Не ведающей потаенного и стыдливого рабства, то затухающего, то вновь напоминающего о себе, словно неотвязная, хроническая болезнь.

Мне бывало хорошо среди наших ребят. Не то чтобы я искал их дружбы и общества или отдыхал душою, созерцая игру молодой жизни, не так уж велика разница в наших летах для таких умиротворенных наблюдений,

просто некоторые преимущества возраста и жизненного опыта давали мне повод для скромного, простительного тщеславия. Как-никак, я уже прошел тот путь, на который они только что ступили. Хотя, судя по всему, их движение будет не в пример более решительным и целеустремленным. Не говоря уж о его плодотворности.

Вот на какие мысли навел меня рассказ безутешного отца, прокомментированный другом моего детства. Однако вместо того, чтобы изложить их в убедительной последовательности, я неожиданно поддался инерции самого что ни на есть расхожего в таком положении поведения.

— А милиция? — пролепетал я панически и бессильно, почти по-пензионерски, — куда же милиция смотрит?

— Куда надо, — в сердцах ответил Лёсик, окончательно удрученный этой хрестоматийно прискорбной историей из жизни распавшейся семьи, — я был у Плетнева из «четвертака» («четвертаком» в нашей округе называют двадцать пятое отделение милиции), мы с ним приятели. Он ко мне нет-нет да и забежит потрепаться. Ну что, сочувствую, говорит, дам указание обращать усиленное внимание, а официальный розыск имею право объявить только через неделю. А с Борькой за неделю, знаешь, что сотворить могут? Ему ведь даром, что четырнадцать лет, а по виду все восемнадцать. Усищи растут — акселерат хренов. Интересы-то еще самые детские, к нему девки пристают, целоваться лезут, а он не понимает, какого им, как говорится, надо. Так мне сам и признался, чего, говорит им, папа надо, в толк не возьму.

— Ничего, еще пару раз пристанут, и возьмет, — пообещал Павлик, — дурацкое дело не хитрое.

— То-то и оно, — лицо Лёсика вновь сделалось горьким, несчастным и почти мудрым, — кто знает, может, в этот самый момент все и происходит. Ох, юноши, вот так и расплачиваешься за старые грехи...

Как-то отстраненно я подумал о том, что грехов в жизни Лёсика и впрямь наверняка хватало, жил он широко во всякое время, не стесняясь общественного пафоса, в любой исторической ситуации находя возможности для нормального, в своем понимании, существования, именно находя, вернее отыскивая, а не то чтобы приноравливаясь к требованиям эпохи такого первородного греха, надо отдать Лёсику должное, он не знал, вперед прогресса не забегал, во всяком случае нынешние

нравственные терзания стареющего грешника не вызывали сомнений и почему-то особенно трогали. Не только меня, но и Павлика, очевидно, потому что он решительно встал из-за стола, наполнив своею мощью все кухонное пространство, и произнес совершенно спокойно и буднично те самые единственные слова, которые могли вселить в удрученного отца хоть какую-нибудь надежду:

— Ну что ж, придется опять самим искать. Силами собственной опергруппы.— И пошел обуваться и одеваться.

Из детской комнаты появилась Татьяна. Она сразу же поняла, в чем дело, и взволновалась больше всех, несомненно вообразив себе на мгновение с жуткой конкретностью, что одна из ее дочерей взяла да и не пришла домой ночевать.

— Погоди переживать, то ли еще будет,— искушая судьбу, обнадежил ее Павлик, уже снарядившийся для ночного похода. На нем был короткий овчинный тулупчик, из тех, что еще недавно почитались сторожевыми и шоферскими, продавались в деревенских сельпо в качестве прозодежды рублей по пятьдесят за штуку, а теперь сделались предметом русофильской моды и одновременно особого западного шегольства. Павлик, вероятнее всего, приобрел эту вещь в достославные наивные времена, проявив дальновидную хозяйскую практичность.

— Так, так,— приговаривал он, собираясь,— удостоверение дружинника тут, пригодилось все-таки, скажи на милость, деньги, фонарь, о! — чуть самое главное не забыл.— Он достал с полки нечто вроде портативного прожектора, круглый массивный прибор, вызывающий в воображении сцены из заграничных фильмов, какие-то ночные погони, перестрелки, длинные автомобили, трубы на мокром шоссе.

— Ну ты, комиссар Мегрэ, вернуться-то когда считаешь? — в голосе Татьяны по-прежнему ощущалось беспокойство, хотя, привыкшая к мужской жизни Павлика — к охоте, походам в баню, к внезапным, как стихийное бедствие, холостым пирушкам,— она никак не могла удержаться от насмешки.

— Там видно будет,— в тон ей ответил Павлик,— как сложатся обстоятельства.— Он нарочно подмигнул мне залихватски, желая поддразнить жену, будто отправлялись мы не на розыски пропавшего подростка, а в поисках молодецких гусарских приключений.

Уже на пороге мы обернулись, не сговариваясь, и бросили прощальный взгляд на несостоявшуюся нашу трапезу, на классический этот московский натюрморт, уходящий уже в прошлое и потому тем более достойный вдохновенной кисти живописца,— дымящаяся разварная картошка, капуста с морозными редкими искрами.

Снег окружил нас в одно мгновение, мягкий, неслышимый, обильный снег зимы, предчувствующей свой конец и потому как-то особо прощально красивой,— в последние годы я с грустью ловлю не только исчезновение лета, но и уход зимы. Странно, никогда не был я лыжником, не ездил на модные горные катания ни в Терсколе, ни в Бакуриани, чего там, забыл, когда на коньки становился в последний раз, и все же поздние щедрые снегопады роняют в душу ощущение несбывшихся надежд и неиспользованных, проскользнувших между пальцами возможностей.

Мы поднимались вверх по переулку мимо домов, знакомых мне, как может быть знакомо собственное тело со всеми его родимыми пятнами и волосками, и опять-таки странное дело, я впервые глядел на них глазами архитектора, что не так уж они безыскусны в первоначальной своей идее, что явственны в их нынешнем облике родовые приметы русского стильного модерна, московского «либерти» и «сецессиона», а иной раз даже российского «викторианства». Оказывается, стоит лишь покинуть какой-либо мир, выйти за пределы точно очерченной сферы жизни, взглянуть на нее со стороны, как она сразу же обретает законченные черты внешнего конкретного облика, ранее изнутри незаметного. Мой мир оказался довольно-таки жалок, если уж смотреть правде в глаза, хотя и в нем попадались то тут, то там знаки былого процветания, блеска и даже канувшей в Лету изысканности, впрочем, скудные знаки, да что уж говорить, это был мой мир, и от него не пристало отступать. Даже если уедешь невесть куда, за тридевять земель, даже если однажды от этих домов не останется и следа,— от всей этой лепнины, овальных окон, рустовки под дикий северный камень, если однажды этот квартал, как и многие другие кварталы, сроят с лица земли, разнесут к чертям собачьим из высших, разумеется, архитектурно-планировочных соображений, все равно он будет жить во мне со всеми своими флигелями, с

бывшими каретными сараями во дворах, с истертыми ступенями своих подъездов.

Сколько страниц написано о золотом детстве, проведенном в зарослях запущенного сада или дедовского столетнего парка, под сводами отчего дома, где каждая комната полна особого значения и своей неповторимой атмосферы: гостиная, диванная, кабинет, бог мой, девичья — не пора ли воспеть детство в парадном? О, это тоже целая вселенная, универсум, достойный скрупулезного изучения и описания! Вот двери, утратившие под многолетними слоями дешевой жэковской краски благородную дубовую фактуру, но сохранившие под ветрами всех эпох старомодную основательность и медлительную тяжесть; вот ступени, истоптанные тысячами ног, исхоженные в течение десятилетий и штиблетами, и смазными сапогами, и галошами, и туфельками на шпильках, и ботинками на платформе, и просто босыми ступнями, — о какая пленительная дрожь пронизывает твое существо, когда в час оглушающего летнего ливня ступни касаются стылого здешнего камня; а перила, оседлав которые так упоительно страшно скользить вниз? А звонки — разноцветные кнопки, пупочки, которые полагается из всех сил оттягивать, скрежещущее механическое устройство «Прошу повернуть!», наконец, просто-напросто два сиротливо оборванных проводка, которые надлежит сцепить друг с другом? А лифты с автографами отчаянья, безобразия и безответственной клеветы, а конурки кепочников под лестницами? А запахи — от омерзительных, тошнотворных, до странных, чудесных, неведь откуда взявшихся, мимолетных, тревожных, заставляющих вдруг замереть на бегу и зажмуриться... Кто знает, быть может, не так уж мы были бедны, если закоулки нашего детства до сих пор интригуют и волнуют воображение.

План Павлика был прост: мы обходили по очереди все те парадные и черные ходы, где, по его предположениям, могли найти себе приют юные романтики, которым не светили огни молодежных кафе и районных библиотек.

— Важно одного из них прихватить, — рассуждал Павлик, — тогда ниточка потянется, гадом мне быть, — он усмехнулся тому, что незаметно перешел на язык предполагаемого противника.

— Ты думаешь? — неуверенно спросил Лёсик.

— Вопрос! Уверен! Что же я, самого себя в их возрасте не помню? Все знал — все ходы и выходы. И как видите, уважаемый Леонид Борисович, в колонии не сижу, и на высылку как тунеядец не отправлен. Так что паниковать раньше времени нет смысла.

— Из-за тебя бы и я не отчаивался,— Лёсик ухмыльнулся ходу своих мыслей с выражением желчной, сухой иронии,— у тебя, Паша, на плечах как-никак голова. И если в юности ты, как бы это выразиться, не только ей одной доверял, так это были издержки возраста — я так твоему отцу всегда и говорил. А вот кто мне скажет, что у моего Борьки на плечах?

Я невольно вспомнил сегодняшних свадебных родителей и подумал, что даже у них, таких процветающих и благополучных на вид, наверняка не так уж благостно на сердце в этот вечер. Что из того, что им нет нужды рыскать, подобно Лёсику, по ночному городу в поисках блудных детей, кто знает, с какими мыслями проснутся они завтра утром — о размене ли квартиры, о разделе дачи, о мобилизации ли всех средств для покупки кооператива? Хотя, может быть, тут-то и скрыт истинный смысл неведомой мне любви — в этом вечном беспокойстве о ком-то, в навязчивых мыслях о ком-либо, от которых никак не отделаться, в боязни потерять из виду, утратить, упустить.

Что-то слишком спокойным стал я в последнее время, совсем ничего не боюсь...

Мы пересекли пустынную улицу и вошли во двор рядом с молочной. Он был застроен высокими основательными корпусами начала века. Только тут я понял, что никогда в жизни не углублялся в этот соседний с нами двор. Вероятно, мы враждовали в детстве со здешними ребятами, а если не враждовали, то поддерживали в отношениях с ними холодный нейтралитет, во всяком случае, появляться тут без особого дела не имело смысла. Павлик тем не менее знал этот огромный, запутанный двор, вернее даже сеть дворов, соединенных меж собою то аркой, то узким проходом, как свои пять пальцев. Он вел нас уверенно и целенаправленно. И подвел к парадному, в котором и поныне сквозил дух избранной, размеренной жизни.

— Рекомендую,— объявил Павлик,— корпус четыре, строение «б», подъезд одиннадцатый, на языке его завсегдатаев, так называемый «приличный». Именуется так,

надо понимать, за удаленность от городского шума, а также от постоянных маршрутов милиции и общественной. А также, очевидно, за тихий нрав местных жителей, которые не мешают, как говорится, «клубной работе».

— А работа активная? — с тоскою спросил Лёсик. Его богатому воображению постоянно рисовались картины Содомы и Гоморры.

— Так себе. В основном по линии балдежа. Ну, может, подфарцовывают слегка. Во всяком случае, главный сходняк не тут.

— Главный что? — опять не разобрался я.

— Сходняк, ну как понятней выразиться? Малина, что ли, одним словом, база. — Павлик улыбнулся. — Место, где переночевать можно, доспехи свои затырить — клифты, портки с бахромой...

— Вот, вот, — Лёсик опять расстроился, — что им надо, Паша, скажи, что им надо? Магнитофонов, транзисторов, черта в стуле? Я Борьке говорю, в мое время такой техники, как у тебя, в Совнаркоме не было. Ты думаешь, он чувствует? У меня дружок есть в Госконцерте, вот такой концертмейстер, между прочим, ездит много, Гамбия-швамбия, я знаю, я Борьку спрашиваю, хочешь джинсы тебе достану фирменные — «Ли», «Ливи», «Вранглер», а он? Из школы смотается, напаялит на чердаке какую-то рванину, волосы шнурком от ботинок перетянет и счастлив! Хитрованец чистой воды, босяк, люмпен!

Я стал вспоминать о том, как мы были одеты в детстве. Ужасно были одеты. В нечто совершенно не по размеру — то слишком большое, то слишком тесное, режущее под мышками и в шагу, переделанное, перешитое, перелицованное, перекроенное, горевшее на нас огнем по причине деятельной и яростной нашей жизни, во что-то полученное по ордеру, выгаданное, выменянное, купленное по случаю, отказанное за ненадобностью либо по широте душевной каким-нибудь родственником. Честно говоря, мы ничуть не стеснялись жалких своих нарядов, поскольку даже не отдавали себе отчета в том, что они жалкие. Мне, например, впервые раскрыла на это глаза мать одного нашего одноклассника, Валерика Климова. Это был противный малый, пижон, задира, хвостун и мелкий шkodник. Мать его, неработающая дама, вечно околачивалась в школе, поскольку считала, что к сыну все абсолютно несправедливо — и учителя и товарищи,

то есть мы. Учителей она то запугивала своими связями, то этими же связями обольщала, нас же, всех без исключения, обвиняла в том, что мы дурно влияем на ее Валерика. Теперь я понимаю, это наша убогость казалась ей проявлением порочности, выглядела в ее глазах подтверждением извечной плебейской греховности, не требующей подтверждений фактами, дворовости, уличности, обреченной на прозябание в детприемниках и колониях. Главная нелепость заключалась в том, что эта дама своим присутствием и постоянным вмешательством в мальчишеские дела только ожесточала наш конфликт со своим сыном. К одной неприязни прибавлялась другая, уже мстительная, вдохновленная вполне реальными обидами, ищущая повода излиться. Так вот, однажды в школьном дворе разгорелся очередной скандал, кажется, особенно глупый и беспочвенный, в сущности, я имел неосторожность вякнуть что-то в пользу нашей товарищеской солидарности, после чего мадам Климова посмотрела на меня внимательно и брезгливо, будто бы впервые в жизни обнаружив мое на свете присутствие, и произнесла с досадой:

— Ну ты бы уж помолчал, оборванец!

Я опешил. Слова колом застряли у меня в горле. Я беспомощно огляделся по сторонам. До сих пор я полагал, что в жизни таких слов никто и никогда не произносит. Просто не может произнести. Это в книжках, замечательных книжках про старую жизнь, про сирот, про серебряные коньки, про нищенские скитанья, про неимущую гордость — бедность могла оказаться пороком, предлогом для унижений и обид, и то лишь в глазах прирожденных злодеев, каких в жизни я никогда не видел. По-прежнему с перехваченным горлом, хватая губами воздух, я впервые внимательно оглядел, почти изучил самого себя. Сверху донизу. И понял, что она права. Эта холодная очевидность поразила меня. Тогда я впервые понял, как может ударять в сердце безысходная и необратимая правда. Я не понимал, что со мною происходит, иначе бы я взял себя в руки. Это я уже умел в те годы. Я не знал, что со мною происходит, я только чувствовал, что лицо мое сделалось горячим и соленым, а из горла мимо воли вырывались сами собою какие-то отрывистые звуки, похожие на лай или удушливый кашель. Наверное, на меня жутко и стыдно было смотреть, потому что товарищи вдруг расступились и разошлись, я стоял один посреди двора, а они прятали гла-

за, и на лицах их — это я прекрасно помню — было смятение, смешанное с жалостью и смущением. В этот самый момент, мстя за меня, за оплеванное мое достоинство, Павлик назвал взрослую женщину, мать нашего соученика, сукой. За что его на полтора месяца исключили из школы. После чего он едва не остался на второй год. Но все-таки не остался.

— Чего им надо? — вдруг риторически в гулкости парадного повторил Павлик. — Значит, надо... Иначе бы не шастали по чердакам, а сидели бы дома среди гарнитура «Тамара».

Всю эту сентенцию он произнес, несомненно самокритично, как бы в предчувствии того неизбежного момента, когда его собственные дочери упорхнут из дому.

— Ты что хочешь сказать? — без обиды спросил Лёсик. — Что я плохой педагог? Что этот самый американский доктор, как его... Спок из меня не получился? Так я это сам знаю.

Павлик махнул рукой:

— Я в это дело не верю. В теории воспитания, в концепции — баловать, не баловать, наказывать, не наказывать... Просто надо жить по-человечески — и все. Если есть за что — побалуй, если надо — накажи. По шее дай. Только чтобы всегда ясно было, что это не твоя прихоть, а справедливость. Соответствие жизни.

Лёсик посмотрел на Павлика внимательно и грустно:

— Между прочим, Паша, о том, что такое справедливость, тоже разные мнения существуют. Свои теории.

В подъезде был лифт, некогда роскошный, с помутневшим зеркалом в кабине. Но мы подымались пешком, поскольку считали нужным осмотреть здесь каждый этаж. Марши лестниц оказались длинными, но ступени из хорошего, несносимого камня располагались полого. А потому даже Лёсику идти было не в тягость, вообще легко было вообразить, что мы безмятежно движемся в гости, что где-то наверху нас ждет именинный стол, домашние салаты и кулебяка, источающая жар, и взволнованная, возбужденная хозяйка, румяная, рассеянная, пахнувшая духами и чуть-чуть нафталином. Как многие парадные лестницы девятисотых годов, эта была соединена с черным ходом. Туда вели двери, выходящие на небольшие площадки между этажами.

— Ну-ка, — Павлик кивнул мне головой, — загляни

на ту сторону, нет ли там наших клиентов. Свистни в случае чего.

У него и взаправду появились замашки — я уж не знаю кого: то ли оперативного агента, то ли и впрямь какого-нибудь, бог его знает, литературного сыщика.

— Будет исполнено, шеф,— я покачал головой и отправился на черный ход. У меня не было никаких сыскных талантов. И все же, вступив в тускло освещенные пределы черной лестницы, я испытал неожиданно какое-то давнее, полузабытое ощущение. Оно пришло из таких глубин чувственной памяти, что я даже растерялся. И только несколько мгновений спустя постепенно догадался, о чем напоминает мне мое собственное осторожное движение по ступеням черного хода. Оно напоминает мне тот наивный шантаж, которым промышляли мы иногда в послевоенные годы. Тогда в нашем квартале были сосредоточены одновременно пять или шесть комиссионных магазинов. Вокруг них постоянно, в любую погоду, с утра до вечера кишело торжище, шел лихорадочный поиск и сбыт дефицитных товаров — заграничных отрезков и тбилисской лакированной обуви,— на почве которых расцветал хладнокровный и расчетливый бизнес. Постепенно в толпе зевак и случайных торговцев мы научились безошибочно отличать профессиональных спекулянтов. Самыми активными, хотя, вероятно, и не самыми крупными, были среди них женщины, похожие на никогда не виданных нами заграничных кинозвезд, какими мы тогда их себе представляли. В моей памяти запечатлелось зрелище красоты и порока, осязаемого даже детьми, запах резких духов, яркobelые химические локоны и почему-то вульгарная татуировка на нервных пальцах, унизанных толстыми кольцами.

Эти женщины и их занятия, полные тайн и взбалмошного истеричного риска, постоянно нас волновали. Странно и неоднозначно. Запретность их коммерции вызывала туманные видения иного, более жгучего греха. Мы выслеживали торговков в запутанных лабиринтах наших дворов, в парадном и черных ходах и в момент примерки, торговли, а также окончательных сделок, когда из сумочек, из карманов, а то и просто из-за пазухи, из потаенных роковых недр извлекались на свет божий скатанные в трубочку сторублевки, с восторгом безнаказанности принимались выкрикивать обидные, обличающие подпольный бизнес слова. После

чего с сознанием исполненного гражданского долга и с дрожью прельстительного страха бегом устремлялись прочь. Однако обличительный наш пафос скоро выдохся. Однажды мы встретили трех самых приметных наших «деловых» дам выходящими из черного хода после особо удачной операции, и самый отчаянный из нас, одноглазый Пент, которому глаз выкололи в деревне во время оккупации, вдруг ни с того ни с сего нагло заявил:

— Тетеньки, а мы, между прочим, на шухере стояли. А то тут мильтоны крутятся.

От такого нахальства, от такой неслыханой лжи мы потеряли дар речи. А красавицы рассмеялись своими алыми помадными ртами, сияя белыми зубами и золотыми лучистыми коронками, и тут же, раскрыв роскошные свои сумки, выдали нам от щедрого сердца две синенькие пятерки. Десять рублей! Для нас это были баснословные, сказочные, царские деньги! На них можно было купить двадцать пачек мороженого, сходить всей кодлой в кино, а лучше всего закатиться на целый день в Останкино — этот заповедный край огородов, рощ, прудов и старых покосившихся дач, наш собственный маленький рай, где можно валяться на траве, гонять в футбол до потери сознания и безбоязненно, вполне картинно курить сигареты «Кино» по пятьдесят пять копеек пачка.

Предавшись воспоминаниям, я незаметно обошел весь черный ход. Он оказался совершенно пуст и начисто лишен каких бы то ни было признаков местной сладкой жизни. Только кошачьи тревожные глаза мистически светились в полумраке. Я вновь поднялся вверх по крутым здешним ступеням и вернулся в парадное. Павлик и Лёсик стояли на самой верхней площадке, причем Лёсик, надев очки и вытянувшись, изучал одну из квартирных дверей. Не доходя до верха одного лестничного пролета, я остановился — на этой площадке дверей не было, а было лишь окно, огромное, из тех, что прежде назывались венецианскими. Одна его створка была приоткрыта. Я выглянул на улицу. Вился и мерцал снег. Внизу лежали крыши, уставленные крестами антенн, химическим цветом окрашивали небо рекламные, кусок улицы, не загороженный соседним корпусом, находился словно бы на дне колодца. А этажерки новоарбатских небоскребов оказались неожиданно на расстоянии почти что протянутой руки. Вот странно,

когда я по обязанности авторского надзора взбираюсь на верхотуру таких вот двадцатипятиэтажных башен, они отнюдь не поражают меня своею высотой. Вероятно, причиной этому внезапный авиационный эффект: мне всегда кажется в такой момент, что я нахожусь в самолете, который снижается или, напротив, медленно забирает ввысь. А здесь, на шестом этаже старого дома, становится ощутимой его естественная, масштабная человеку городская высота. И кружится слегка голова, предательский, искушающий страх закрадывается на мгновение в грудь. Хаос крыш, скатов, чердаков, светящихся окон окружал меня, и я понял, что в знаменитой моей речи в защиту старой Москвы не хватило одного дельного аргумента. В пользу именно этой кажущейся случайности, мнимой непреднамеренности, какие всегда присутствуют в старом городе, так же как в лесу, скажем, или в горах, и без которых жизнь теряет незаметно, как это ни парадоксально, свою надежность и устойчивость.

— Да-а,— неожиданно элегически произнес Лёсик и при этом фатоватым жестом утомленного интеллектуала снял очки,— только раз бывают в жизни встречи. Надо же, лет, наверное, тридцать здесь не был, с гаком... Даже думать забыл. Здравьете, пожалуйста, и дверь на месте, и табличка... все как было и все не так...

— Это как понимать? — спросил Павлик.— Что за дела?

— Да так,— совершенно не в своем стиле замялся Лёсик,— в некоторых воспоминаниях. Тут у меня одна знакомая жила. Приятельница одна. Короче говоря, роман у нас был. И не так как-нибудь, слово за слово, а серьезно. Красивый роман. Можете мне поверить, я в этом вопросе немного разбираюсь, повидал кое-что, такого в жизни Леонида Полякова с тех пор не случилось. И боюсь, что уже не случится. Как-то уж мало надежды.

Лёсик достал сигарету, высек из ронсоновской зажигалки длинное с дрожащею синевой газовое пламя и закурил основательно, слегка прищурился и наморщив лоб, с тем выражением внимательной печали, какое часто сопутствует процессу прикуривания и превращает его в некое ритуальное, ложноторжественное действие. Так сказать, в обряд мгновенной душевной сосредоточенности.

— Вы еще подумаете, чего доброго, что я жалуясь. Никогда в жизни. Капа — прекрасная женщина и жена дай бог каждому. Но, — Лёсик затыкнулся и, словно следуя моему примеру, долгим взглядом посмотрел в окно, — тут совсем другая история.

Я любил эти Лёсиковы рассказы, хотя и относился к ним со всей неизбежной иронией. Очень странную картину утраченного времени рисовали они, мало похожую на свидетельства мемуаристов и газетчиков. Жизнь представляла в них цепь авантюр, экзотических приключений, растрат, разводов, любовных походов, причем героями всех этих событий выступали, как правило, тогдашние знаменитости. Обилие подробностей и деталей потрясло меня. Опровергнуть их, хотя бы в собственном сознании, с помощью официальных, широко известных воспоминаний было совершенно невозможно. Я только недавно понял, что и не надо опровергать. У Лёсика была своя версия об эпохе — чрезвычайно субъективная и односторонняя, можно даже сказать, фантастически избирательная соответственно его житейским интересам и принципам, и все же некоторые крохи реальности, какие-то периферийные ее закоулки, она отражала точно. Во всяком случае, достоверно. Вот и теперь речь пошла о «Метрополе» тридцатых годов, куда съезжалась каждый вечер «вся Москва» послушать ресторанный оркестр, в котором Поляков имел честь работать — первый и единственный в Союзе классический «нью-орлеанский» диксиленд. Выходили они в белых смокингах, брючата «оксфорд» нынешней ширины, проборы сияют, между прочим, не просто лабухи из училища имени Ипполитова-Иванова, а инженеры, математики. Один даже моряк был — бывший штурман дальнего плавания. А все потому, что джаз тогда, как авиация все равно, считался символом индустриального века. Волновал умы, притягивал к себе личности.

Лёсик опять посмотрел в окно, и я подумал, что такой вот вечер на исходе зимы с его неслышным, тишим снегопадом неизбежно поселяет в сердце странную тревогу, желание оглянуться, разглядеть в прошлом нечто ранее не замеченное, вновь пройти пройденным однажды путем. Может быть, даже ступая в собственные свои следы.

Лёсик говорил о том, что, когда долго играешь на танцах, начинаешь понемногу разбираться в людях.

В женщинах прежде всего. И, честно говоря, романтизму это не способствует. Конечно, «Метрополь» — это не танцверанда «шестигранник» в парке культуры, но, в сущности, сюжеты те же самые. Как говорится, всюду жизнь.

Его лицо на мгновение приняло знакомое выражение блудливого скепсиса, однако глаза смотрели серьезно и вдохновенно.

— И вдруг, можете себе представить, полное выладение из сюжетов. Сидит пара — он и она. Ничего не могу понять, что за система отношений. Чувствую, игра какая-то есть, только не здешняя, не кабацкая — стиль, понимаете, вкус, шик. А он, имейте в виду, молодые люди, не в тряпках, а в манере. В аллюре, как на ипподроме говорят. Знаете, когда воспитание уходит в глубину, это все-таки кое-что значит. Это вам не рабфак закончить. Так вот, не муж с женой, это ясно, не жених с невестой и не любовники, можете мне поверить... Стучу в свои барабаны, лабаю, а сам думаю, что ж за дела такие. И вдруг меня осеняет, он же ее поклонник, дубина! Тебе такие отношения и не снились, так наблюдай, как это бывает, по крайней мере.

— Индийское кино, — заметил Павлик, которого, по видимому, слегка удивила столь долгая прелюдия, он привык к тому, что поляковские сюжеты разворачиваются стремительно, обрушиваются со скоростью нарастающей лавины.

— Ну а как же все-таки познакомились?

— Познакомились! — Лёсик почти обиделся. — Это что тебе, продавщицу из галантереи закадрить? Ты на дверь обрати внимание — вон она, дощечка, — кто ее отец был! Профессор международного права, в Наркоминделе с ним советовались... Кто только сюда не приезжал! А они в этой квартире, между прочим, с революции жили, и никто их не уплотнил. Не подселил в библиотеку ударницу Машу с фабрики Бабаева. Ценили... Вот вам, молодые мои друзья, все на свете происходит, а дверная медь остается. Да.

...Она к нам нечасто заглядывала — раза два в месяц от силы. Было у нее два-три поклонника. Хорошее слово, кстати сказать, зря его забыли. Ну а ваш покорный слуга подход искал, ключ... Будь я, скажем, пианистом или скрипачом, так мне бы обратиться на себя внимание — раз плюнуть, знаете, как у Вертинского: «Но когда он играет концерт Сарасате» — и все такое

прочее... А ударнику что́, хоть из кожи вылезе, никакой лирики не получится, только гром. Я не спорю, тобой, может быть, даже и восхищаются, но разве кто-нибудь подумает при этом, что́ у тебя на сердце? Короче говоря, я ей цветы посылал, представьте себе! Три розы — только красные. В бокале, как у Блока. Не успеет она за стол сесть, а их уже несут, извольте принять. От кого — не имеет значения, покрыто мраком неизвестности.

— Ничего,— отметил Павлик,— красиво, только, как бы это сказать, по линии вкуса немного слабовато.

Лёсик прямо-таки восхитился:

— Слушай, какая душевная тонкость! Она ведь именно так мне и сказала тогда, с места мне не сойти! Кто уж ей мое инкогнито разоблачил, ума не приложу — люди были верные. Стою однажды в вестибюле — вышел покурить, она проходит мимо и как бы невзначай, на ходу, замечает, так это бросает через плечо что-то такое по поводу моих гусарских замашек. Вернее, даже купеческих. Вы бы уж, говорит, хоть иногда гвоздику, что ли, а то все розы, розы. Да еще алые. Я ведь, говорит, все-таки не Кармен с табачной фабрики и не дива из кафешантана.

— Отшила, значит? — почему-то обрадовался Павлик.

— Вроде бы. Но на самом деле наоборот,— самодовольная улыбка слегка тронула Лёсиковы губы.— Потому что гусарство безотказно действует, не то что ваш этот нынешний интеле... не выговоришь натошак... интеле... ллектуализм. Взяли моду с дамами мировые проблемы обсуждать. Ты сбрось перед ней шубу в грязь, она фыркнет, на смех тебя подымет, купцом назовет, но запомнит! Запомнит, стерва! Вот тут-то она и пропала!

Лёсик молодецким шелчком вышвырнул окурок за окно. И, помолчав секунду, с неожиданной объективностью признал, что пропала все же не она, а он, собственной персоной. А все потому, что испугался. Непонятно даже чего, во всяком случае, не ее круга — не профессоров и не дипломатов. Поскольку плебейства этого, робости перед начальством в нем никогда не было. Напротив, нахалом считался. Из юридического института по этой причине ушел.

— Я все-таки думаю,— рассудил Лёсик многозначительно,— если уж честно говорить, я ее класса не выдержал. Уровня личности. Показалось, что не по чину

беру. Дерево не по себе валю, как бы не зашибло. Как это в газетах пишут, убоаясь трудностей. А к чему этот страх приводит, вы можете теперь наблюдать. В шестьдесят лет, как последний жлоб, ишу по ночам своего собственного блудного сына. А? Как вам это нравится?

Павлик пожал плечами:

— Ну и что такого? А то в сорок бы искал. Какая разница?

— Есть, Паша, разница, есть. Каждому возрасту своя мера безумства положена. И своя мера расплаты. Обидно в старости платить по всем счетам сразу.

Нелепость нашего положения бросилась мне в глаза. Трое взрослых людей, один из которых уже, несомненно, достиг почтенного возраста, стоят в полночь на чужой лестнице, в общем вполне трезвы, в своем уме и здоровой памяти и ведут задушевный разговор «за жизнь». Бог знает что, кафкианство какое-то.

Лёсик поймал мой взгляд и от этого мгновенно вышел из состояния элегической прострации.

— Что мы делаем, японский бог,— запричитал он, как при зубной боли,— нашли время и место для вечера воспоминаний! А с Борькой в этот самый момент что происходит? Кто мне скажет? Может, пока мы здесь стихи читаем, его уже развратили к чертовой матери? Наркоманом сделали, анашу научили смолить! Я этого не переживу, я вам честно говорю. Меня кондратий сразу хватит, без покаяний и нотариусов. Не какой-нибудь вшивый инфаркт, а, как раньше говорили, разрыв сердца. Разрыв, внезапный, мгновенный, как звонок ночью. Нервная перегрузка достигнет критической точки, и привет младшему поколению!

Мы поспешно спустились вниз и вышли на улицу. Ранняя ночь, предвещающая оттепель, стояла на дворе. Было совсем пусто, поземка крутила на мостовой сухой снег. Я подумал, что в такой вот поздний вечер, похожий на предрасветный час на излете февраля, хорошо подойти к заветному дому где-нибудь в замоскворецком переулке, найти среди гаснувших, загороженных ветвями окон одно, хорошо знакомое, едва подсвеченное огнем настольной лампы, а потом войти в телефонную заснеженную будку напротив и, прижимая к уху ледяную трубку, набрать номер, который помнишь тверже, чем собственное имя. Долгие гудки вызовут мгновенный панический озноб ожидания, а потом что-то шелкнет у тебя под ухом, и послышится го-

лос — будто издалека, слабый, нежный, растерянный, от которого что-то ошутимо поворачивается у тебя в груди, и спазм перехватывает горло.

Три подвыпивших пары прошли мимо, крикливо распевая дурацкую песню, типичный современный шлягер, стилизованный под наивное пение персонажа из детской радиопередачи, и еще с какими-то наглыми шутками, от которых женщины заливались визгливым разгульным смехом,— я не люблю ни этих мужских шуток, ни этого смеха.

«Компания была небольшая, но хорошо подобранная»,— констатировал Павлик. Мне вдруг впервые за весь вечер сделалось понятным состояние Лёсика. На него жалко было смотреть, он как-то сразу обмяк и постарел, утратив привычное свое фанфаронство и победительный цинизм. Мы прошли еще немного по улице в очевидной растерянности и наконец, не сговариваясь, остановились на углу нашего переулка. Три парня выкатились из ворот дома два, кажется, немного навеселе, один из них держал на плече гитару.

Павлик воспрял духом:

— Ну-ка, вы подождите здесь, а я этих друзей тор-мозну.

Он подбежал к ним, солидно и вроде бы не торопясь и вместе с тем с неожиданной легкостью бывшего борца и хоккеиста. Было видно, как он разговаривает с ребятами — с непринужденностью знатока дворового этикета, не забывшего во взрослой жизни обычаев и законов лихой своей юности. Лёсик мрачно курил, и рука, державшая сигарету, при этом беспрерывно дрожала, как у алкоголика. Я вспомнил о свадьбе, на которой гулял сегодня, вероятно, она уже благополучно завершилась, иссяк нравоучительный пыл старшего поколения, а вместе с ним и танцевальная энергия юношества, гости погрузились в такси и задремали на тугих подушках, отяжелев от вина и шашлыков. А молодых, надо думать, с комфортом доставили на квартиру, снятую на время до постройки кооператива, и теперь им радостно и немного тревожно ощущать себя хозяевами собственного дома, впрочем, Алена к этому быстро привыкнет, обживать — это женское призвание и талант, женщина чувствует себя хозяйкой уже там, где провела одну только ночь. Вот и сейчас она стоит, поди, в ванной комнате перед зеркалом, в распахнутом небрежно нейлоновом халатике и, хлопая своими мульти-

пликационными глазами, томным движением расчесывает волосы.

— Нет, я тебе точно скажу: не женись,— вдруг заговорил с отчаянием Лёсик, развивая вслух какие-то беспокоящие его подспудно мысли.— Кому это надо! Лучше, как псу, под забором подохнуть, чем такие муки знать! — Сигарета прыгала в его губах.

Павлик вернулся все той же легкой побужкой, в глосе его послышалась надежда:

— Значит так, особых новостей нет, но все же кое-что проясняется. Эти парни Борьку не видели, а то бы сказали, сомнений нет, ребята хорошие. Но они, как говорится, наколку дали. Есть тут один местный загребной, по прозвищу Шиндра. В гастрономе работает — бочки катает. Наглец, глотник. Я его давно прищучить собирался — у мальцов деньги отнимает, полтинники, двугривенные... Ребята говорят, что Борька с ним крутится. Так что, если Шиндру попутаем, ученик наш, считайте, найден. Я ведь не сотрудница детской комнаты, я этого оглоода так прихвачу, он мне все расскажет.

— А как ты его попутаешь? — усомнился горестно Лёсик.— Моего-то гаденыша неизвестно где искать, а то такого штопорилу... Его действительно опергруппой не возьмешь.

— Ничего, ничего,— Павлик впервые за последний час улыбнулся,— больше жизни, Леонид Борисович! — И неожиданно обратился ко мне:— Ты как, зодчий, строитель лучезарных городов, свой двор хорошо помнишь?

— Паша,— ответил я,— как тебе не стыдно. Я его не то что помню, я его знаю наизусть.

Действительно, уж от Павлика я не ожидал такого вопроса. Уж он-то мог бы знать, что где бы я ни жил и куда бы меня ни носило, родной дом у меня один — пусть невзрачный, пусть ничтожный, пусть не представляющий ни малейшей художественной ценности и обреченный на снос, но мой собственный и другого у меня не будет. Тут ведь даже не в разуме дело, не только в сознании моем живет воспоминание о грозе в нашем дворе,— внезапную тьму, гром, отдающийся под сводами подворотен, звон стекол, выбитых налетевшим вихрем, я помню физическим обонянием, слухом, мурашками на коже. И затхлость чердаков, и гул пружинящей под ногами крыши, и тепло апрельского ды-

мящегося асфальта живут во мне и лишь со мной исчезнут. Даже в дворовой пыли — в песке, в щебне, в ржавом железе ощущались волнующие ароматы жизни.

— Не обижайся,— сказал Павлик,— я ведь что имею в виду — подвалы. При всех обстоятельствах ты туда лет двадцать не лазил. Осталось в памяти кое-что?

— Осталось,— ответил я уже менее уверенно. Ибо наши подвалы — это, может быть, одна из последних тайн старой Москвы, мне известно, что тянутся они не только под нашими домами, но и под всем переулком; практически же под всем здешним кварталом существует единая сеть подземных помещений, используемых под склады, котельные, погреба, однако не познанная и не исследованная до конца. В детстве, холодея от собственной отваги и запасшись тусклым электрическим фонариком, мы предпринимали иногда экспедиции по этим местным «катакомбам». Далеко ходить боялись, но даже краткие вылазки приносили плоды — заржавленный австрийский штык, старый противогаз, полицейскую шашку-«сеledку», заброшенную в подвал каким-нибудь перепуганным городовым, облачившимся в драповое обывательское пальто. Году в пятьдесят шестом подвалы взялись чистить и переоборудовать, тем не менее многие их закоулки и проходы навёрняка остались нетронутыми.

Мы медленно вошли во двор, в котором прошло мое детство, моя юность и по меньшей мере восемь лет взрослой сознательной жизни. Боже мой, почему с возрастом все так катастрофически ужимается — и дни, и недели, и времена года — раньше в лето, например, укладывалась целая жизнь — и даже вполне материальная среда существования? Неужели передо мной тот самый двор, где было столько утомительного простора для любых игр, столько уютных закоулков, тупиков, спусков и подъемов, изумительных сараев и чудесных крылечек, на которых так хорошо было сидеть всем вместе теплыми весенними вечерами. Кстати, чуть не забыл, ведь именно в подвалах во время затяжных сентябрьских и апрельских прогулов мы прятали наши портфели и сумки, с тем чтобы налегке отправиться на трамвайной подножке в Останкино или на Фили. А однажды управдом обнаружил наши манатки и вывесил их на позор посреди двора. Интересно, подумал я, неужели и мы в свое время доводили своих родителей до

того полуобморочного стрессового состояния, в каком пребывал теперь Лёсик. Впрочем, что значит родителей, мы все были сплошная, поголовная безотцовщина, и матери наши поразительно походили друг на друга — утомленные, раздраженные и робкие, чуть пришибленные в одно и то же время — общность судьбы накладывала на их лица общую печать усталости и смирения. Почему-то они остались в моей памяти только в платках — серых, глухих вигоневых платках, — но куда же делось лето, жара, теплые майские вечера? Иногда по поводу наших прегрешений матерей вызывали в школу или же в домоуправление, вот когда они делались совершенно безгласными, немея перед такими неоспоримыми авторитетами, какими являлись для них участковый милиционер или завуч. Им хотелось, однако, проявить свою сознательность, свое уважительное почтение к тому месту, куда их попросили зайти, они вздыхали, поджимали губы, стыдились валенок, чинно теребили концы все тех же платков и только иногда, сраженные особо горькими фактами нашего поведения, вовсе непедагогично срывались на плач, а то и немедленно выливали всю горечь обиды, невольного унижения и вообще своей вдовьей доли в одну неловкую затрещину.

Вновь, с милицейской методичностью мы обошли все парадные и черные ходы — пахло кошками, стиркой, столетней затхлостью неухоженных лестниц. Наконец в подъезде, именуемом, по сведениям Павлика, «белой лошадьё», мы спустились по ступенькам длинной лестницы и уперлись в глухую, окованную железом дверь. Это был вход в газоубежище. Бог знает, какая строительная добросовестность оправдывала в конце прошлого века сооружение таких прочных, таких надежных подземелий — ведь даже в пятидесятые годы, когда перед гражданской обороной встали новые задачи, они сгодились для создания убежища нового типа. Хотя кому ведома надежность этих гипотетических укрытий?

Павлик подергал дверь, она была наглухо закрыта.

— Друзья мои, — с сарказмом самоубийцы произнес Лёсик, — ну и что из того, если вы прошибете лбом стенку? Что вы будете делать в пустом каземате? Искать инструкторов Осоавиахима, которые тридцать лет ждут ипритовых атак?

— Да нет, — в тон ему ответил Павлик, — ипритом и не пахнет. Вот портвейном, пожалуй! Слушай, —

обратился он ко мне,— ты не помнишь, сюда есть какой-нибудь второй ход?

— Конечно, есть,— ответил я,— аварийный. Даже не ход, а лаз, в бетонную будку выведенный, в дворе в скверике. Только ведь он задраен наверняка.

— Тот-то задраен, о нем я тоже думал,— Павлик еще раз с остаточной надеждой надавил могучим плечом на дверь.— Надежно, как в подлодке. А больше никакого нет?

Я неуверенно пожал плечами.

— Понимаете,— продолжал Павлик,— я их летом на углу часто встречал, хиппов наших местных. Сколько раз. Выхожу на улицу в начале седьмого, кругом ни души, и вдруг, здравствуйте, товарищи, откуда ни возьмись вываливается шлеп-гвардия. Прямо к автомату с газировкой — умыться. Чистой, без сиропа морды ополаскивают. Два стакана — весь туалет. Я еще тогда подумал: наверняка у них где-то здесь база. Причем надежная — чтобы жильцы хая не подняли. Или чердак, или подвал.

— Ох, Паша,— сказал Лёсик, и лицо его сделалось жестоким, выпятилась нижняя губа, обозначились на щеках тугие твердые складки, глаза остекленели и сузились,— ох, Паша, если кого из них встретим, давить буду. Без разговоров глотки гвать.

— Спокойней, Леонид Борисович,— подмигнул мне Павлик,— чем крепче нервы, тем ближе цель. Это ж так, плоды чувств, а не зрелых, как говорится, педагогических раздумий. А Макаренко нас разве этому учил? Или этот, как его... Песталоцци?

— Постой, постой,— припомнил я,— вы знаете, надо снова выйти во двор...

— Кто бы спорил,— Павлик слегка подтолкнул меня вперед,— давай, старик, напрягай эмоциональную память, если уж логическая слабовата.

Во дворе я внимательно огляделся. Так, так. Вот там спуск в бывшее домоуправление, налево — в дворничкине, в которых размещается ныне какая-то игрушечная артель. Есть еще ход в овощной склад, где мы некогда воровали капусту, теперь это, кажется, кладовая парфюмерного магазина. А вот здесь, возле подворотни, одну минуту, ну, разумеется, здесь, находилась раньше котельная, а рядом с ней комната истопника Миши, приехавшего после войны из сожженной голодающей деревни, я его как сейчас помню, этого

маленького трехжильного Мишу, и его крупную жену с мордовским неподвижным лицом, и ораву их замурзанных детей, которых мы дразнили за их деревенский выговор — «покасти», «теперича».

Я подошел к окну бывшей Мишиной комнаты, едва-едва поднимавшемуся верхней своей частью над уровнем асфальта,— стекло в окне уже не было, оно оказалось заколочено фанерным щитом. Неизвестно почему, в силу какой интуиции я присел на корточки и взялся рукой за этот щит. Он неожиданно легко подался и отодвинулся. Выходит, что окно в это нежилое ныне помещение было вовсе не заколочено, а просто заставлено листом фанеры. Я вытянул его на поверхность асфальта, а Павлик тут же направил в комнату пронзительно, раздражающе белый луч своего милицейского фонаря. Круглое яркое пятно высветило грязный дощатый пол, ободранные обои на стенах. Потом Павлик тщательно осветил потрескавшийся корявый подоконник.

— Вперед,— произнес он коротко и, согнувшись в три погибели, решительно полез в окно, я не на шутку удивился тому, как ловко втиснул он свое огромное тело в маленькое оконное отверстие,— видимо, сказала все же армейская сноровка.

— Леонид Борисович! — крикнул Павлик уже из комнаты.— Ты не волнуйся, ради бога, побарражируй немного во дворе, а мы слазим... чует мое сердце...

Стараясь не запачкать пальто и брюки, ругая себя беспрестанно за неловкость и дурацкий авантюризм, я втиснулся кое-как в окно. В подвале уныло пахло плесенью, гнилые половицы скрипели под ногами.

— Да-а! Жилплощадь не самая завидная,— вздохнул Павлик, освещая сырые стены в потеках и зазеленевший потолок.— Вот уж когда не скажешь — жили люди!

— Только за голову схватишься,— сказал я, вспоминая наших товарищей, которые когда-то обитали в таких вот подвалах и даже в худших еще, потому что у некоторых из этих помещений окна выходили в подворотню или же в простенок между двумя четырехэтажными корпусами — дневного света там вообще быть не могло, как в шахте. Эта жизнь в подполье, с уборной в противоположном конце двора никого в те

годы не поражала, даже жалоб особых не вызывала — что толку жаловаться. А сейчас ты строишь шестнадцати- и двадцатипятиэтажные дома с огромными окнами, с кафельными уборными, с лифтами, которые действуют автоматически, почти отчужденно от человека, будто какие-нибудь компьютеры, а люди все равно недовольны, они все равно изъявляют претензии, и они правы: это безответные годы терпения требуют теперь законной компенсации.

Павлик стоял посреди комнаты, расставив ноги и склонив задумчиво голову — и впрямь, ни дать ни взять легендарный литературно-телевизионный детектив, только трубки не хватало да еще корректного европейского макинтоша вместо ямщицкого тулупчика. Он уловил в полумраке мою усмешку, но произнес совершенно серьезно:

— Ты знаешь, этот щит в окне не случайно отодран, а потом так аккуратненько задвинут. И вообще у меня такое подозрение, что здесь недавно кто-то ошивался. Видишь, окурок.— Он указал лучом фонаря на обуглившийся слегка сигаретный фильтр и, как бы предвосхищая мои возражения, добавил:— Совсем свежий, смотри, даже не запылится. Кто-то тут бывает, старичок, кто-то сюда заходит совсем не по слесарному делу. Не по линии отопления.

— Какое уж там отопление,— согласился я,— весь район давно к городской теплоцентрали подключен. Котельная пустует.

— Вот это мы и проверим,— Павлик распахнул дверь,— проверим, как она пустует.— Мы направились в темноту, следуя за круглым пятном луча, который упирался то в кирпичные мокрые стены, а то в какие-то облезлые двери. За одной из них оказалась не котельная, а бывший угольный склад, тонкая пыль противно свербила в носу, мелкий уголь визгливо скрипел под ногами. Единственное окно этого помещения было прочно забрано кровельным железом.

Выбравшись в коридорчик, мы толкнулись в противоположную дверь. Вот тут уж и впрямь была некогда котельная, святая святых нашего перегруженного жильцами дома, к этому подвальному помещению с первых дней промозглой осени были постоянно обращены красноречивые взоры. До сих пор помню, как начинала однажды, в сырой и ветреный вечер, kloкoтaть в толстых допотопных трубах вода, и от ее klo-

котанья светлели на кухне землистые соседские лица. А истопник Миша пускал нас иногда в свою заповедную обитель, и мы залезали на один из котлов, застеленный сверху овчинным полушубком, и мы возились на нем, как щенята, ощущая неведомое городским чахлым детям блаженство деревенской лежанки. Пока я предавался воспоминаниям, Павлик детально изучал пространство, что-то трогал, чем-то гремел. Луч его фонаря прыгал по стенам, вырывая внезапно из тьмы то сплетения труб, то печные заслонки, то какую-то ветошь, мешки, брезент.

— Эврика,— тоном провидца объявил Павлик,— тут-то она ему и сказала... Иди, иди сюда, смотри, что и требовалось доказать.

В дальнем углу котельной, закрытая от меня вторым котлом, находилась дверь. Не такая, как прежние, не дощатая, не окованная жестью, а самая настоящая, цельнометаллическая, с тяжелыми четырехгранными рукоятками, посредством которых она должна не просто запираться, но подгоняться, притираться, «задраиваться». Наивный «конец века», когда страховое общество «Россия» возвело наш дом с барскими, как тогда выражались, квартирами, не знал таких непроницаемых дверей, ими снабдила мирные здания нешуточная ядерная эпоха.

Павлик нажал на одну из этих рукояток и с напряжением толкнул дверь, она поддалась медленно, с металлическим ржавым скрипом.

— Прошу, граф,— торжественно, хотя и приглушенно, провозгласил Павлик,— вход рубль, выход два, как положено.

Мы шли по сравнительно чистому и сухому бетонному коридору, как и раньше освещая себе фонарем дорогу, ступали мы тихо и осторожно, потому что шаги наверняка должны были отдаваться в гулкой пустоте, неожиданно я осознал, что это не просто подвал и не просто котельная, это уже особая среда, ничуть не зависящая от тех обыкновенных квартир с телевизорами и книжными стеллажами, которые расположены над нею. После двух-трех поворотов среди глухих стен и плотно закрытых дверей я вдруг ощутил не то чтобы страх, но тягостное, навязчивое беспокойство.

Поразительно, так уже было однажды, лет двадцать, а может, восемнадцать назад. Мы шли с Павликом декабрьским вечером по нашей улице, и я испытал

внезапно такую же вот навязчивую, неизъяснимую тревогу. Я догадался тогда, что причиной ее были назойливые, размеренные шаги, которые раздавались за нашими спинами. Вот ведь какое дело, улица была полна и встречного и попутного народу, и тем не менее как-то сразу сделалось очевидным, что шаги эти имеют к нам самое непосредственное отношение.

«Я тут двум фраерам на катке рыла начистил,— тихо сказал Павлик,— к девчонкам нашим приставали. Так они, наверное, права качать пришли, не иначе».

Мы пошли медленнее на всякий случай, шаги зазвучали реже. Самое обидное, что некуда было свернуть, чтобы оглядеться, а переулочек свой мы уже миновали. Мы все же остановились разом, не в силах выносить неизвестность, и в ту же секунду нас обступили. Их было четверо, довольно-таки крепких и рослых парней, хотя несомненным силачом выглядел из них только один. Он же и был атаманом, сильной личностью, единственным опытным человеком в том деле, которое они замыслили. А замыслили они нас ограбить — не более не менее. Почему именно нас, по какой причине, до сих пор ума не приложу, правда, на Павлике было приличное по тем временам пальто, зато уж мой гардероб должен был гарантировать мне полнейшую безопасность во всех тогдашних проходных дворах и темных переулках. Скорее всего они были неопытные грабители, им необходимо было решиться — теперь или никогда, вот они нас и прихватили. На нашей собственной улице, в ста метрах от нашего родимого переулочка, где в эти самые мгновения в каждой подворотне, как на посту, торчали с «Беломором» в зубах наши приятели, изнывающие от вынужденного безделья, свято верящие в кодекс уличной чести.

Я не знаю, дрожали ли у меня губы. Наверное, дрожали. Я так и вижу, как дрожали они у грабителей, по крайней мере у новичков, у неопытных, которых главарь нарочно подбадривал ценными указаниями. В «пистончике», говорил он, «пистончике» у него поищите,— что у меня могло быть в «пистончике», разве что так и не отосланная школьная записка. Они шарили по мне немело своими влажными от волнения руками, и стыд был самым жутким и унижительным моим ощущением, именно стыд, а не страх. Хотя и страху хватало. Разочарованные, обманутые моей бедностью, грабители уставились на атамана. Я понимал, что в своем смущен-

нии и растерянности они вдвойне опасны, что им стоит подколоть нас ножом, самодельной финкой с наборной плексигласовой ручкой, раз уж другого доказательства отчаянной своей смелости они от нас не добились. «Что смотришь?» — возвращаясь к самому себе после секундного обморока, спросил Павлик главаря. «Да вот думаю, что на тебе мне нравится», — ответил тот, рисуясь с воспитательной целью перед своей командой. «Ну и что же, нашел?» — опять спросил Павлик, то ли дерзости ради, то ли норовя выиграть время. «Да вот хотя бы перчатки, — улыбнулся главарь и решительно взял Павлика за кисти. — Смотри! Чистая кожа и на меху». Павлик покорно поворачивал ладони, словно и впрямь демонстрируя перчатки, с которыми предстояло расстаться, атаман рассматривал их придирчиво, как в магазине, будто бы сомневаясь, брать или не брать, и в то же время сознавая, что завладеть ими он может в любую секунду. Рисовка его и погубила. В то мгновение, когда он совсем было взялся за перчатки, Павлик вдруг ударил его в лицо только что вялой, безвольной, покорной, в секунду отвердевшей рукой — жестоко ударил и беспощадно, вложив в удар всю жажду мести и справедливости. Потом мы опрореметью помчались в наш переулок, и спустя несколько минут целая орава наших приятелей, обрадованных возможностью почесать кулаки по столь редкому благородному поводу, выкатилась на улицу, однако обидчиков и след протыл.

Коридор со всеми его поворотами был исследован нами до упора. Мы зашли в тупик, дальше хода не было. Дальше была лишь стена, выкрашенная известкой, сложенная на века сто лет назад какой-нибудь трудолюбивой ярославской артелью. Надо было возвращаться, заглядывая по пути в те помещения, двери куда были не заперты. Впервые за весь вечер я почувствовал усталость, даже не физическую, а скорее душевную, пустоту почувствовал и тоскливое равнодушие ко всем на свете родительским тревоблениям, а заодно и к проблемам современной молодежи. Я осознал со всею трезвостью, что целый день сегодня ввязываюсь не в свои заботы, мельтешу, кручусь возле чужой жизни, чужого счастья и чужих неприятностей, до которых мне, в сущности, нет никакого дела. Целый день я посторонний: либо гость, приглашенный из деликатности, либо случайный попутчик. Один только и был просвет,

когда мы с Павликом уселись на кухне, чтобы поговорить о том, о чем никогда и нигде больше говорить не приходится в теперешнем суетливом мире, о себе самих поговорить, о своих бессонницах, надеждах и страхах, так и тут явился Лёсик с собственным уязвленным отцовским чувством. Так я ступил на эту противную и в то же время обольстительную стезю самоедства и уж собрался было и дальше расчесывать затянувшиеся раны, как вдруг в глухой тишине убежища послышались вполне земные, ничуть не подвальные, не таинственные звуки. Будто бы сегодняшняя свадьба пробилась сквозь толщу московской земли напором своей неистой музыки.

Я придержал Павлика за плечо и, взывая к его вниманию, поднял указательный палец. Павлик замер, открыв от усердия рот, потом улыбнулся удовлетворенно и почти счастливо, как давным-давно в школе, когда во время безнадежно завальной контрольной все же удавалось обрести спасительную шпаргалку.

— Гитара,— догадался Павлик,— слышишь, музыкальные вечера на полном ходу.— И как-то даже нежно выругался.

Теперь уже явственно раздавалось пение под собственный аккомпанемент, то самое заунывное, несмотря на разгул, пение высокими голосами, к которому я никак не могу привыкнуть, хотя вошло оно в моду еще в ту пору, когда я был вполне юн и подвержен влиянию различных мировых поветрий и безумств.

Однако теперь я внимал ему почти с благоговением и благодарностью, господи боже мой, из нас и впрямь могли получиться записные пинкертонеры, знатоки, герои бесконечных телевизионных серий, ведь это не шутка сказать, напасть на след молодежной компании, затерявшейся в огромном городе, как теряется в толпе женское лицо, внезапно приковавшее твое внимание.

— А ты сомневался,— укоризненно покачал головой Павлик, и я понял, что он сегодня тоже вымотался — отец семейства, мастер на все руки, популярная личность в переулке, да и во всем нашем районе.— Я знаю, что сомневался. Только ведь я, Сережа, не только в электромоторах кой-чего соображаю, но и вообще в жизни. В других, как говорится, колбасных обрезках. Я ведь урок настоящих видел, воров в законе, а то, подумаешь, хипня самодетельная... дети почтенных родителей. Идем!

Пение только казалось далеким из-за толщи подвальных стен. На самом же деле стоило лишь отворить одну из тех дверей, мимо которых мы только что проходили, как в глубине своеобразной анфилады помещений замаячил неяркий свет. Мы двинулись на него, ступая почти по-балетному, на пуантах. Пение звучало все громче, уже можно было разобрать слова, совершенно дурацкие, на мой взгляд, так, набор назойливых в своем повторении призывов — приди! люби! — и женские голоса сделались слышны, точнее, девичьи, визгливые и вульгарно уличные; мы подошли к той самой полуоткрытой двери, из-за которой сочился свет и доносилась музыка. Павлик постоял совершенно неподвижно несколько мгновений, а потом внезапным резким толчком, со скрежетом и грохотом с маху распахнул дверь.

Я не могу сказать, что зрелище нам открылось чрезвычайно разгульное и бесшабашное, и все же родительской и учительской общественности продемонстрировать его я бы, пожалуй, не рискнул. Настолько непринужденно и привольно расположилась на старом диване эта компания — три девчонки и два парня. Борьки среди них не было. Наш внезапный приход напугал их, как и рассчитывал Павлик, они умолкли разом и попытались даже вскочить на ноги, что оказалось не так-то просто, учитывая небольшую высоту продавленного дивана, вернее, не дивана, а некоего полуразвалившегося канапе с остатками изящества в прихотливо изогнутой спинке, а также крайнюю тесноту их общей позиции. Все же они разобрались кое-как, бросая настороженные взгляды в дверное пространство за нашими спинами — что им чудилось там? Милицейский наряд, вернее всего. На табуретке перед диваном стояли две длинные бутылки темно-зеленого стекла, прав был Павлик, достославный портвейн «Таврический». И шербатый стакан, один на всех, граненый, со следами губной помады — помада теперь, как и в годы нашего детства, — сочная, базарная — находился тут же. Девчонки одернули юбки — впрочем, в юбке, короткой, как набедренная повязка, была только одна, остальные были в джинсах матросской завидной ширины, они тоже чего-то такое поправили в лихих своих «туалетах», поставили на место, упорядочили, крутанув при этом

бедрами и встряхнув по-русалочьи распущенными волосами. В который уже раз за сегодняшний длинный день я подумал о том, что перестал успевать за новациями современной жизни. Взять хотя бы вот этих девчонок, ведь если бы я их встретил в чем-либо доме или на работе, скажем, то ничуть не посмел и не захотел бы рассмотреть их, даже невольно, в свете своих чисто мужских интересов, я бы считал их почти детьми, целомудренную нежность к которым привычно маскируешь иронией. А сейчас я гляжу на них и совершенно хладнокровно сознаю, что передо мной вполне взрослые женщины, в известном смысле, несомненно, более опытные, во всяком случае, более свободные, чем я. Сначала они показались мне сестрами, и только несколько мгновений спустя я сообразил, что это просто общность стиля, какая возможна, например, у танцовщиц мюзик-холла или какого-нибудь там ледяного реву, на самом же деле они совсем разные, только разность эту решительно преодолевают, ориентируясь на неведомый и недоступный мне всемирно-уличный идеал.

— К нам приехал массовик,— весело объявил Павлик, и положил мне на плечо тяжелую руку,— со своим затейником!

Я угадал, что им выбрана тактика дружеского легкого разговора, и попытался соответствующе улыбнуться. Симпатий моя улыбка не вызвала. В этот самый момент я ощутил с досадой, как проклятая скованность, отравившая мне всю мою юность, преодолеваемая мною изо всех сил и вот уж, казалось, совсем позабытая, исподволь овладевает всем моим существом.

— А мы, между прочим, не скучаем,— холодно заметил парень с гитарой на коленях.— У нас самообслуживание, развлекаемся без посторонней помощи.

Он забренчал что-то на гитаре, глядя мимо нас, в сторону, ничуть нас не замечая и убеждаясь потихоньку, что никаких властей мы с собою не привели. Потом добавил, словно вспомнив небезынтересный факт:

— Есть вещи, которые обязательно самим надо делать.— Мгновенная улыбка тронула его губы, дерзкая и самодовольная. Я понял, что это и есть тот самый знаменитый Шиндра. У него было некрасивое и сосредоточенное лицо, напряженное, волевое, с постоянным, судя по всему, выражением задиристости и, как бы сказать, спортивной злости,— я знал таких ребят, образ вероятных соперников изнуряюще преследует их вооб-

ражение и раздражает самолюбие — более сильных соперников, более красивых, более везучих, они в каждом встречном готовы видеть конкурента, эта априорная боевая готовность сообщает им дополнительную энергию, беспардонность, заносчивость и в итоге обеспечивает натужный успех. Вот и теперь не вызывало сомнений, кто кумир компании, — малорослый, напряженный Шиндра, с жидкими прядями прямых поповских волос или же его приятель, высокий кудрявый юноша с туманными женскими глазами, отмеченный вялой, вырождающейся красотой.

— Это правильно, — согласился Павлик и оглядел понимающим взглядом всех трех девиц, куртки и пальто, сброшенные на колченогие венские стулья, сплбченные из-под низу доской, затем бутылки портвейна. — Это понятно, сам не отдохнешь, товарищ не заменит. Только вот уюта не вижу. — Он поморщился от табачного едкого дыма. — Как в загадке живете: без окон, без дверей, полна горница людей. Это ведь тоже не дверь, — Павлик погромел четырехгранной стальной ручкой, — это, можно сказать, печальная необходимость. Как в тюрьме. Глубоко слишком для уюта, вот в чем дело.

— Ничего, — быстро нашелся Шиндра, — перебьемся. Что ж поделаешь, приходится, как кротам, в подполье уходить, если на земле старшие товарищи дышать не дают — все места заняли!

Под джинсовой вдрызг истертой курткой он носил трикотажную майку — с портретом бородатого человека в толстых очках и в нимбе жестких курчавых волос — то ли очередной битовой суперзвезды, то ли латиноамериканского молодежного лидера.

— Так уж и все? — совершенно искренне изумился Павлик.

— Все, — жестко подтвердил Шиндра. — Куда ни ткнишь, везде одно старье окопалось. Если кар приличный едет, наверняка в нем какой-нибудь лысый клиент сидит. Замазаться могу, на что хотите. Джинсы фирменные на зипперах, — поворотом кисти он изобразил движение «молнии» в роковом для штанов месте, — тоже расхватали. Им, видите ли, тоже хочется укрыть свои бледные ноги. Они не успели вовремя, они делали карьеру и подымали целину. А нам куда податься? Укажите, будьте любезны. Может, даже проводите... Во Дворец культуры мукомолов и железнодорожников. Рафаэль, ты пойдешь во Дворец культуры?

— А чего я там не видал? — протянул красавец безразличным голосом обитателя последней парты. — Что я там делать буду? — Он еще пришепetyвал грациозно, и получалось вполне салонно «фто». — «Барыню» в танцевальном кружке плясать? Или лекции ихние слушать о любви и дружбе?

— Вот-вот. — Шиндра оскалился высокомерно и зло. — А мы уж как-нибудь без лекций. На практике...

Вся компания рассмеялась, но не очень громко, очевидно, только-только приходя в себя от испуга и догадываясь, что никакими официальными полномочиями мы не облечены.

— И вообще, — вдруг пожала плечами пренебрежительно одна из девиц, шатенка, — кому здесь не нравится, может уйти. Мы, кажется, никого сюда не приглашали.

Я взглянул на ее лицо, оно было довольно хорошенькое, нежное, свежее, будто бы акварелью написанное несколькими уверенными и в то же время небрежными мазками. «Клякса» назвал я ее про себя.

— Не очень-то вы гостеприимны, — вздохнул Павлик. — Ну что же, если помешали, простите, так уж вышло. Где вы собираетесь, чем занимаетесь, практикой или теорией, не мое дело — вы люди взрослые...

— Вот именно, — сказала обиженно еще одна девица, высокая, с хорошей, вполне сложившейся фигуркой. Щеки ее дышали жарким алым румянцем, казалось, к ним и прикоснуться нельзя — обожжешься, такое неистовое здоровье я видел лишь у вальяжных кустодиевских купчих. Она жевала резинку, и ленивая хамская пренебрежительность, неизбежно связанная с этим занятием, поразительно противоречила ее чинному крестьянскому лицу.

— Не перебивай, когда старшие говорят, — остановил ее Павлик и продолжал: — Вы сами за себя отвечаете, самим и разбираться пора, чего можно, чего нельзя... — Он запнулся на мгновение, и я впервые уловил в его голосе что-то похожее на неуверенность.

Павлик помолчал еще секунду и, чувствуя с заметной досадой, что теряет почву под ногами, поспешил форсировать свою речь энергичной и мужественной интонацией:

— В общем так, ребята, делайте, что хотите, я вам не пенсионер-общественник из товарищеского суда, про непорочную свою юность рассказывать не стану. Тем

более чего не было, того не было,— Павлик улыбнулся,— точнее сказать, всякое бывало, вспомнить есть о чем в более располагающей обстановке. А вы мне вот что скажите: тут один из дому слинял, три дня уже пропадает... в прямом смысле мальчишка, главный герой жизни — крокодил Гена...

— Смотрите, как трогательно,— Шиндра уже окончательно убедился, что визит наш носит сугубо частный характер, и потому совершенно осмелел,— отцовское сердце разбито, бедная мама рыдает, бабушка сандалики откидывает,— и в самом деле, мальчику пора мультипульты смотреть, а он сделал ноги, соскочил из-под родительского крова и, наверное, уже вошел в систему. Совсем не в ту, в какую хотели бы добрые родители. Сочувствую. Примите наши искренние соболезнования, поклон супруге и все такое прочее, но мы-то здесь при чем?

— Не гони картину,— устало, но властно перебил его Павлик,— сам понимаешь, при чем. Чего дурочку-то строить? Прекрасно знаете, о ком я говорю. О Борьке Полякове из дома три.

— Ой! — радостно вкрикнула третья девушка, тоже чрезвычайно симпатичная, просто все как на подбор — миленькая такая, тоненькая брюнетка, подстриженная под мальчика и на мальчика похожая, балованного, капризного.— Боря! Такой клевый мальчик! Просто прелесть. Прямо укусить хочется!

Девчонки расхохотались, теперь уже вновь своим привычным, ярмарочно-визгливым смехом.

— Заткнитесь, мочалки! — огрызнулся на них Шиндра.— Понимали бы что, твари позорные! «Прелесть, прелесть»!

Я даже подивился этой его мгновенной горловой ярости. Впрочем, она тут же и угасла.

— Мы, что же, по-вашему, дорогие товарищи, няньки? Старушки с бульваров — повторите дети «Анна унд Марта баден»? — Эти вопросы Шиндра задавал вполне уравновешенным, едва ли не рассудительным тоном.— Или, может быть, пионервожатые? Из старших классов? — Он мотнул своею жидкою гривой в сторону девиц, снова усевшихся на продавленное канапе. Кустодиевская, чуть подобрав свои избыточные ноги, так и фыркнула.

— Нашим гостям, видите ли, родительские чувства покоя не дают. Спать не могут наши дорогие гости,

как бы с ребенком чего не вышло. Как бы ребенок раньше времени аттестата зрелости не получил!

Девчонки опять радостно взвизгнули, настолько определенно прозвучала последняя интонация.

— А вы никогда не интересовались, может, мальчику скучно? Вы вообще знаете, что это такое — скука, от которой только и остается — рвать когти куда глаза глядят?

— Отчего же это? — не слишком уверенно полюбопытствовал Павлик.

— А от всего. От уроков, от учителей, от фейсов их протокольных, от телевизоров, от дач в Малаховке! От всей вашей жизни, в которой ничего не происходит, хоть тресни, хоть волком вой! Все заранее известно, как расписание уроков. А больше всего от легенд! От воспоминаний бесконечных — мы воевали, мы голодали, мы любили — ну сколько еще можно? Ладно, я согласен, я верю, что все это было, только когда? В прошлую пятилетку? А может, в прошлом веке? А жизнь, как вы правильно понимаете, дается один раз. Мы сегодня живем, сегодня, теперь, сейчас! Понятно вам или нет? Нам вспоминать нечего, а ждать некогда!

— Это ясно, — просто согласился Павлик. — Я сам в вашем возрасте терпеть не мог, когда плешь проедают. Нотаций этих, правоучений... Только так ведь тоже нельзя — чего сами не видели, того и знать не хотим. Нерасчетливо как-то получается. Глупо даже. И тоже ведь скучновато — никто не авторитет, стремиться некуда, все уже достигнуто, так выходит. Подвал, гитара, «бормотуха» вон за рубль двадцать и вечная молодость. А потом, извините меня, рассказы рассказам рознь. У нас во дворе дядя, например, Жора был, флотский товарищ, мариман классический... так он нам, тогда мелюзге еще, про оборону Одессы рассказывал, у меня до сих пор комок в горле стоит...

За дверью, в соседних комнатах слышались то-ропливые шаркающие шаги и тяжелое дыхание, прерывистое, надсадное, со свистом и хрипом. Через несколько секунд в комнату с ходу ввалился Лёсик, багровый, потный, в распахнутой шубе, правый рукав которой оказался вывожен в известке. Лёсик даже и не разобрался, по-моему, как следует, тут ли его сын или же нет, один лишь вид компании привел его в паническое неистовство.

— Паша! Ты с кем разговариваешь? С шелупонью

этой? — дурным голосом, задыхаясь астматически, заблажил Лёсик. — Их же давить надо, хулиганье проклятое! Кончать на месте! А ты с ними ля-ля разводишь...

— Леонид Борисович, попридержи коней... — начал с досадой Павлик, но тот уже с былою и совершенно неожиданной ныне прытью бросился к Шиндре. Руки его тряслись, ярость хрипела в горле. Истошно завопили девчонки, а Шиндра пружинисто вскочил на ноги, согнулся по-борцовски и выставил впереди себя гитару:

— Отзынь, мужик, промеж рог заеду.

Лёсик и впрямь сделался похож на обезумевшего, загнанного быка, глаза его налились кровью, на губах пузырилась и пенилась слюна.

— Вы видите, что делается? — обернулся он к нам. — Это же бандит, штопорила форменный, ему же убить — раз плюнуть! Чего же вы встали, как просватанные? Их же брать надо немедленно, по одному и — в «четвертак!» Я луноход милицейский предупредил, поблизости крутится. Сдадим их через минуту в КПЗ, как миленькие, расколются...

— Сядь, Леонид Борисович, успокойся и сядь, — Павлик обхватил Полякова, тот вырывался, ерепенился, брызгал слюной, но вдруг утратил весь свой пыл и рухнул, тяжело дыша, на канапе, в одну секунду превратившись в разбитого, задавленного одышкой старика. Девушки сразу же брезгливо отодвинулись на другой конец дивана. А Шиндра все еще стоял в углу, держа гитару за гриф — испытанное дворовое оружие, — и на губах его змеилась надменная, торжествующая улыбка.

— Видели, до чего человек дошел, — будто бы даже извиняясь, сказал Павлик. — Как вы думаете, большая радость в его возрасте по подвалам шастать? Почешихи устраивать? Сын у человека пропал — вы хоть представить себе можете, что это такое?

— Рафаэль! — уже свойским обычным тоном, совершенно не замечая нас, произнес Шиндра. — Ты слышал, мой френд, у товарища горе. Нацеди ему стакан, пусть успокоится. — Он бросил взгляд на бутылку и тут же изобразил на лице глубочайшее огорчение. — Ах, ах, ах, что же я говорю, вино выпито. Какое разочарование! И гёрлы наши совершенно заскучали. Ну-ка, Рафаэль, слетай на плешку, надыбай еще керосину!

— Что ты, Шиндра, — немного испуганно возразил высокий юноша все с тем же изысканным пришепеты-

ванием «фто ты»,— ты же видишь, который час, где же я тебе достану. У меня и башлей-то нет.

— Фу, какой жаргон,— капризно поморщился предводитель,— «башлей»! Где ты только научился, таких порядочных родителей сын, такой красивой мамы. Копейки, мой френд, копейки! Пойди, где-нибудь попроси понастойчивей. Ты у нас юноша заметный, прелестный, как теперь говорят. Займи у маминого знакомого. У того фраера, который на белом «мерседесе» ездит. Давай, давай, не заставляй меня краснеть перед старшими товарищами. Они дисциплину любят — учителей и милицию. Жить без них не могут. Но ничего, милиция тоже не против кайф словить.

— Я не пойду, Шиндра,— как можно решительнее заявил Рафаэль. «Фындра» получилось у него.— Куда я пойду в такую поздноту, я не пойду.— Тем не менее он как-то неуверенно, помимо воли приблизился к двери и остановился в растерянности, сведя плечами по обычаю модных ныне танцев и теребя обеими руками длинные пряди своей великолепной «козлухи» — дубленого жилета, расшитого бисером, разноцветными шерстяными нитями, крупным и мелким стеклярусом.

Шиндра вновь с расстановкой, задушевно перебрал струны:

— Пойдешь, дарлинг, пойдешь. Поканаешь, похлянешь, на карачках поползешь, падла!

Я понял внезапно, что уже видел однажды все это. Я понял, что дело вовсе не в проблеме отцов и детей — тоже мне проблема! Просто способ оправдать семейные неурядицы, и не в каких-то там особенных свойствах именно нынешней молодежи, они существуют, разумеется, их нетрудно рассчитать и определить, никакой роли они теперь не играют. Просто всегда находятся люди, которым не жаль — никого и ничего, которые утверждают себя хамством, осквернением, разрушением — если не зданий, то по меньшей мере человеческой души. А может, прежде всего души, потому что ни одному поджигателю, никакому Герострату не ведомо то медленное, жгучее сладострастие, с каким втоптывается в грязь, в прах, в тлен человеческое самолюбие, достоинство, чистота и вера. А названия, социологические термины, вся созданная вокруг мифология — что ж, это не что иное, как приправа, внешнее оформление, модная линия для тех, кто особенно падок на моду, и потому эти самые подвальные «хиппи» вчера могли называться

«уркаганями», а позавчера «свободными анархистами», а в прошлом веке какими-нибудь нечаевцами, нигилистами, способными на озорство в мировом масштабе, готовыми ради идеи уничтожения уничтожить самих себя.

Павлик оглядел внимательно растерянного красавца:

— Вот что, ты и правда, газуй отсюда. Только не за выпивкой, понял, а прямо домой, к маме, не раздумывая. Тоже ведь небось с ума сходит.

— Паша,— прозвучал непривычно смиренный, ослабленный голос Лёсика,— я кидаю им четвертной, на гулянье, на марафет, я знаю... Пусть только скажут, где Борька...

Безвольным, но по обыкновению широким движением Лёсик вытащил из внутреннего кармана пиджака объемистый бумажник, классический купеческий «лопатник» со множеством отделений, перемычек и карманчиков, с «молнией» и медной окантовкой, привычные пальцы преферансиста на ощупь, с пренебрежительной легкостью извлекли из его недр несколько радужных бумажек.

— Больше даю, тридцать, сорок, полсотского, ни за что ни про что, за два слова, в ту же минуту, пожалуйста...

Я взглянул на Шиндру, в его глазах на секунду вспыхнул нескрываемый мучительный интерес, однако он овладел собой и с демонстративным безразличием отвернулся.

— Интересно все-таки,— ни к кому не обращаясь и аккомпанируя себе на гитаре, так что получилось нечто вроде речитатива, заговорил он.— Оч-чень интересно. Старшие товарищи волнуются... Горе у них... Семейная драма... Сынок из дому чесанул, школьник, юный пионер... Теперь хана, его испортят, конечно,— улица, девушки, друзья... А родители у него — святые люди!.. Друзей покупать привыкли. Как последних сявок! По червонцу на рыло!

— Спрячь свои деньги, Леонид Борисович! — зло крикнул Павлик, и Лёсик, сознавая свою оплошность, принялся судорожно засовывать купюры в бумажник, они не лезли, мялись, комкались, шуршали, падали на пол. Лёсик наклонялся, катастрофически наливаясь кровью, и подбирал бумажки, шаря пухлой ладонью по заплывшему цементу.

— А что это вы раскомандовались? — ввязалась в

разговор «клякса» на той высокой ноте провокационно-го дворового высокомерия, какое встречается у продавщиц и у секретарш не слишком ответственного, но влиятельного начальства. Торгового, например.

— Распоряжается вообще, ходи, не ходи, прячь, не прячь. У вас своя компания, у нас своя. Вот вы приперлись сюда без приглашения, а у нас, между прочим, праздник, если хотите знать.

— Это какой же? Национальный или церковный? — поинтересовался Павлик, очевидно не желая обострять отношения, — личный или общественный?

— Личный... — «Клякса» стрельнула глазами в подруг, все они переглянулись на мгновение, в этом переглядывании, в точном попадании зрачков в зрачки обнаружилось нечто чрезвычайно прельстительное и завлекательное для мужского внимания и вместе с тем что-то грязноватое и подлое, — личный и общественный. У нас, может, свадьба сегодня, откуда вам знать?.. Коллективная, слышали про такие или в газетах читали? — Улыбнулась тут для пущего самоутверждения или для того, чтобы оттенить шутку. Улыбка получилась просто-душно-невинная, и в этой своей невинности бесстыдная. — Может, я вас шокировала своим признанием? — этот вопрос прозвучал нарочито вежливо и снисходительно.

— Подруга... чтобы меня шокировать, ты знаешь, что должна сделать? — Павлик весь пошел морковными пятнами, на него было больно смотреть, так яростно переживал он свое непривычное бессилие.

— Вы уж извините, — бесхитростно произнес Шиндра, его глаза, и без того узкие, превратились в жесткие тире, — мы ведь не эгоисты. Не меркантильные люди, запомните на всякий случай. Не купишь. За собственность не держимся — ни моего, ни чужого, все братски. Все добровольно, как в «Молодой гвардии». Смерть индивидуализму. Слияние душ в одно целое, правда, по телевизору этого не показывают.

Вот тут я понял, что все напрасно — и наши ночные поиски, и воспоминания, и неуклюжая дипломатия Павлика, и Лёсиковы жалкие попытки деньгами расплатиться за то, за что и другими-то средствами не расплатишься. Я впервые почувствовал под ложечкой страх, а, вернее, даже отчаяние, и тоску, и холод, и безысходную злость, которая в итоге меня же душит, ранит мое собственное и без того исколотое самолюбием нутро.

Откуда в разрушительстве, в безжалостной пустоте,

в душевной выжженности такая власть над воображением, над сердцами, такая победительная уверенность в себе, такая безотказная притягательная сила? Неужели так пресна и пуглива моя добродетель и честь моя — всего лишь заурядное занудство, раз не завладел я ничьим умом, и сердца ничьего не потряс, ни разу в жизни не поймал на себе влюбленного или восторженного взора? Куда же завели тебя деликатность и порядочность, тонкая душевная организация, какие проценты нажил ты с этого неподдельного капитала? Ах, я понимаю, считаться не приходится, что же это за добро, которое ищет себе вознаграждения, но все-таки, все-таки... Не о прибыли речь, а хотя бы о справедливости. Мы проиграли, ничто нам не помогло: ни знание жизни, ни местное происхождение. В годы моей юности, заносчивой и гордой невероятно, я жил в предвкушении великих событий, которые только оттеняли собою ничтожество моей тогдашней жизни. Я думал тогда, что все только еще будет, я завидовал, чисто и вдохновенно, не богатству, не изобилию, а совершенности чужого бытия, отсвету славы, отблескам, которые бросала любовь. Я считал, что жить стоит только ради этого. Ради того, что непременно будет и со мною. Я предполагал тогда, что жизнь — это долгая дистанция и не стоит выкладываться сразу. А вот этим ребятам смешна моя нищенская терпеливая мудрость.

— Странно,— произнес я неожиданно для самого себя,— а я ведь уже был сегодня на свадьбе.

— Смотрите, как интересно, а где же, если не секрет? — я даже не разобрал, кто из девиц обратился ко мне с насмешливым вопросом, потому что не на них я смотрел, передо мной маячило лицо Шиндры — плебейское, плосконосое и очень мужское, несмотря на хилую мальчишескую небритость.

— Не секрет,— ответил я тихо, совсем не таким авторитетным, как хотелось бы, тоном,— в ресторане Дома артистов.

— Ой-ой-ой! — хором пропели девы, и кустодиевская жеманно потупила взор:

— Представляю, как вам неуютно после тамошней...— она подыскала наконец слово, ироническое, разумеется...— атмосферы.

— Да нет, ничего. Даже наоборот. Я ведь там впервые в жизни был, как ни странно, а здесь,— я обвел взглядом крашенные известкой стены газоубежища,—

здесь, можно считать, прошли мои лучшие годы. Один уж по крайней мере, когда я был абсолютно счастлив, вопреки обстоятельствам.

— Когда же это происходило? — недоверчиво и как бы между прочим поинтересовалась «клякса».

— В сорок первом году. Мне тогда исполнилось полтора года от роду. Замечательный возраст!

— И главное, мозги совсем свежие, — съязвила кустодиевская, пуская своею жвачкой пузыри, розовые химические, наглые в своем подобии слюне дворового идиота, — раз все так хорошо запомнили.

— Запомнил, — я старался не замечать насмешки, не поддаваться на их назойливую провокацию, — память и не такие номера выкидывает. В этом доме, чтоб вы знали, до революции балерина знаменитая проживала. Надежда Савицкая. Как раз над тем местом, где мы сейчас, в первой квартире. Представляете, когда это было? А мне иногда кажется, будто я гулял под ее окнами. Май месяц — вечер, шторы раздвинуты, цветы видны в корзинах, и вальс из глубины квартиры слышен, вздыхающий, колеблющий занавеску... Что это такое? Фантазия? Воображение разыгралось? Но ведь в том-то и дело, что я все это помню. Не то чтобы знаю или, скажем, могу себе представить, именно помню.

Кажется, я перестарался, девицы сидели с ооловевшими от недоумения лицами. Потом «клякса» закатила выразительно глаза и пожала плечами.

— А мне кажется, что еще это помните... ну как его, господи, татарское иго! — Она прыснула первой, и подружки не заставили себя ждать: залились, закатились, заражая и подхлестывая друг друга, упиваясь самим процессом хохота, сотрясающим плечи и грудь, время от времени поглядывая на меня и вновь заходясь в неудержимом, истомляющем смехе. Наверное, никто в жизни еще никогда так надо мной не смеялся. Павлик досадовал на меня за этот неуместный романтизм, но еще больше за меня страдал, мрачнел, сжимал кулаки, смотрел на девушек долгим пристальным взглядом, словно хотел навсегда запомнить каждое мгновение этого залихватского оскорбительного хохота.

— Ой, обвальный номер, — кустодиевская героиня еще более разалелась, распылалась от безудержного своего веселья, щеки ее огнем горели, концом платочка она вытирала слезы.

— С вами родить можно, ухохотали, прямо сил нет!

Она сложила аккуратно батистовый свой платочек, в который уже раз совершила чисто символический обряд, означающий одергивание юбки, и поинтересовалась вполне серьезно, разве что блестя глазами:

— А как насчет танцев на свадьбе? Что-нибудь приличное играли? Или тоже больше из воспоминаний? Польку-бабочку, например?

И вновь хохот зазвенел в подземелье, со всхлипами, с разгулом, со вздохами изнеможения.

— Ой, держите меня, ой, не могу!

Я попытался несколько раз вклиниться между приступами то стихающего, то вновь нарастающего смеха — все попусту. Они были неутомимы. Они ощущали себя всесильными в эти мгновения. Им казалось, что оборжать мир — это и значит в нем утвердиться. Очень распространенная ошибка. Они даже не подозревали еще, что человеком становишься в тот момент, когда начинаешь бояться — за что-то или за кого-то. Все время бояться — днем и ночью. Я мог бы сказать им об этом, они бы мне все равно не поверили. Потому что жалость была им неведома. Та настоящая, которую ничем не уговорить и не утешить, которая не знает ни сна, ни забвения, вдруг поворачивается в груди ни с того ни с сего и горло тебе перехватывает в самый неподходящий момент, ну вот хоть во время свадьбы, например...

По инерции они еще погоготали, а потом как-то странно начали смолкать, уже не синхронно, а как бы по очереди, так, словно механизм их необычайной жизненной силы неожиданно дал сбой.

Впрочем, они тут же попытались заново обрести свой привычный тон, и «клякса», отдышавшись насилу, развязно спросила:

— Ну и как та свадьба? Произвела на вас впечатление?

— Да не большее, чем здешняя, — напрасно я пытался попасть в тон легкой дурашливой пикировки. Откровенно говоря, у меня это всегда плохо выходит. Я живу слишком всерьез, это уже моя собственная роковая особенность.

Я сказал, что эти две свадьбы оказались чем-то похожи — хоть это и совершенно невероятно. Там тоже были молодые люди, которые спешат жить. Торопятся взять свое. Опасаются, как бы их не обошли. По линии

все тех же джинсов и каров, как тут принято выражаться. Только они избрали себе другой лексикон. Более приятный окружающим.

— Но ничего,— пообещал я,— вы тоже научитесь, если захотите. А они по-вашему прекрасно понимают, не сомневаюсь ничуть, только знают, когда надо понимать, а когда нет. Я даже бы не удивился, если бы узнал, что кто-то из вас был на той свадьбе.

— Во дает! — удивился молчавший до сих пор Рафаэль. Кстати, я так и не понял, что это,— настоящее его имя или же прозвище, данное за красоту и постоянство музыкальных вкусов.— Как же это может быть? — его искренность не вызвала сомнений.

— А ты вникай, вникай, может, разберешься,— посоветовал Павлик,— может, усечешь, что к чему.

Я впервые, почти в упор, без стеснения посмотрел на девушек: стало ясно, что они вовсе между собой не похожи, только бесстыдно красные губы и ресницы небывалой синевы существовали как некий отдельный и единый знак на их совершенно разных лицах.

Тамадой свадьбы в Доме артистов оказался отец жениха, мужчина высокий и плечистый, с густыми кудрявыми волосами, как у довоенного оперного тенора, в нем вообще бурлацкая мощь странным образом сочеталась с вкрадчивой, почти женственной мягкостью. Особенно заметно это становилось в тот момент, когда он подымал бокал грациозным и плавным, почти любовным движением сильной руки, чувствовалось, что в застольях всякого рода, и в особенности многолюдных и официальных, этот человек поднаторел. Говорил он со вкусом, с пространными лирическими отступлениями по любому поводу, с психологическими паузами, с необходимой, точно рассчитанной долей гражданского пафоса, без которого не обходится российское торжество, с внезапным решительным взлетом головы, приводившим в движение просоленные сединой кудри. Я впервые представил себе воочию, как могли выглядеть записные златоусты Государственной думы или же суда присяжных.

Меня усадили за молодежное крыло стола, однако, оглядевшись после двух-трех тостов, я понял, что тайные мои надежды оказались напрасны. Все молодые дамы, подружки невесты или, может быть, родственницы, как назло, находились при своих кавалерах — женихах,

а вероятнее всего, мужьях. Так что Алена в известном смысле только-только навестывала упущенное.

Бог ты мой, как нарядны были эти мужья, куда уж моему варшавскому галстуку, продукту сэвовской интеграции, до их туалетов дипломатического класса, привезенных откуда-нибудь с Бонд-стрит или Рю де ля Пэ. Какая чарующая цветовая гамма, нежная, интенсивная, почти интимная, какая линия силуэта, какое точное соответствие деталей — этих мальчиков хоть сейчас можно было выпустить на подиум Дома моделей или же выставить в витрине магазина, впрочем, у нас и магазинов-то таких нет, которые отвечали бы уровню подобных манекенов. Что со мной происходит — я едва избавился от комплекса неполноценности по отношению к старшим, и вот уже вспоминаю о нем при виде молодежи. Чтобы взять реванш, хотя бы и мысленный, я мстительно подумал о том, что проигрываю рядом с этими молодыми людьми чисто внешне, да и то лишь с самого первого взгляда. А если бы мне дали шанс, если бы застолье наше продлилось в менее торжественной обстановке, то неизвестно еще, вполне возможно, что кое-кто из юных дам посетовал бы, пусть на мгновение, на тягость супружеского долга. В конце концов, много ли мне надо было — рассказать пару-тройку историй.

Вот так я успокаивал самого себя не совсем благородными мыслями, а тамада меж тем умело управлял течением праздника, позволяя гостям насладиться не только вином и закусками, но и зрелищем законных, освященным браком поцелуев, не утративших пока, однако, любовного пыла. О духовной стороне торжества он тоже не забывал, и потому его собственные речи чередовались с напутственными тостами со стороны родственников и добрых друзей. Причем всякий раз слово тамады служило как бы логическим прологом, конференсом, предшествующим грядущей речи. Поэтому интересно было, внимая его рассуждениям, предугадывать, какого свойства тост предстоит услышать.

— Честно вам скажу, я с удовольствием гляжу на нашу молодежь, — торжественно и вместе с тем с нотками личного признания объявил тамада. — В конфликт поколений, так называемый «отцов и детей», я не верю. Я верю в диалектику, в преемственность устремлений и идеалов. А молодым нынешним я завидую. По-хорошему, как теперь принято говорить, бескорыстной, светлой завистью. Завидую тем возможностям, которые пе-

ред ними сейчас открыты, раскованности их завидую, внутренней свободе и... и красоте тоже,— он улыбнулся с покорным видом сознающей свое ничтожество скромности.— И красоте.

Но я хочу,— тут голос тамады вновь окреп и зазвучал неподкупною медью,— я хочу, чтобы молодежь знала и не забывала, какую ценой заплатили мы за эту красоту и свободу. Чтобы, сидя за этим столом, вообразили бы они себе наши военные пиры — тушенку и жестяные кружки с трофейным ромом при свете коптилки. Чтобы, разъезжая в «Жигулях», могли бы они представить себе теплушки, в которых путешествовало наше поколение, или хотя бы трамваи нашей юности, незабвенную «аннушку», чей звонок возвещал для нас наступление нового дня.

Тут поколение родителей, а также и дедов страшно растрогалось, да и я испытал вдруг тайную гордость оттого, что помню и «аннушку», и теплушки, и американскую тушенку и лярд, которые до сих пор даже здесь, за этим роскошным столом, кажутся мне олицетворением сытости и предельного жизненного достатка. А слово взял и, как на собрании, встал рядом с председателем молодой человек из-за нашего стола. Высокий и видный из себя, с обильной по моде и вместе с тем аккуратной, можно даже сказать, скромной прической. «Из МИМО, из МИМО»,— прошелестели мои соседки. Ну об этом бы я и сам догадался, отметив его особую вышколенную статью и ловкость.

Он и заговорил немного высоковатым, но хорошо поставленным голосом опытного институтского оратора, привыкшего от имени многотысячного коллектива принимать обязательства, давать заверения и клятвы. Он сказал, что старшие товарищи напрасно беспокоятся, нынешнее поколение тоже знакомо с трудностями, хотя их, возможно, и не сравнить с прежними. Впрочем, это ведь тоже как посмотреть, у каждой эпохи свое представление о том, что считать тяготами. Во всяком случае, его ровесники не просто ездят в «Жигулях», а проводят свой трудовой семестр в строительных отрядах, и неплохо, честно говоря, проводят, сколько коровников, школ и больниц возвели они вот этими самыми руками. Что же касается высоких идеалов, то и тут отцы и деды могут быть спокойны.

Выпили и за это с сознанием честно выполняемого гражданского долга.

Тут вне всякой очереди, к изумлению тамады, инициативу самочинно перехватил какой-то дальний родственник, извертевшийся от нетерпения, веселый, уже пьяненький слегка, потому, видно, и разошелся, давно и безнадежно лысый, в зеленом, чрезвычайно солидном костюме, сшитом из ткани «метро», очень ценимой в пятидесятые годы.

— Я доволен! — признался оратор, и это, очевидно, была святая правда, такая благодушная улыбка растягивала его не слишком уже послушные губы, такое сияние источали его почти совсем уже незаметные, исчезнувшие в складках радостных морщин глаза.— Я доволен,— повторил родственник,— а когда я доволен — нет слов, душа поет. Позвольте и теперь... специально для новобрачных... любимую арию...— и тут же грянул, нисколько не стесняясь и ощущая себя, вероятно, как некогда, весельчаком и душой общества, игривый и дурашливый дуэт из какой-то полузабытой оперетты, кажется, из «Холопки»: — «А мы сидим с тобой, сидим, как птенчики...» — и дальше в том же самом роде.

К счастью, как и следовало ожидать, в застолье объявили перерыв — размяться, потанцевать, к тому же официанты собирались произвести на столах перемену. Заиграл оркестр. Пробираясь меж столов и стульев к дверям, я узнал ненамеренно, что музыканты не кто-нибудь, а лауреаты телевизионного конкурса и к тому же личные друзья жениха, а потому играют сегодня от души, как для самих себя, в своем кругу. Начали они, как и положено, с вальса, но я сразу понял, что не он их стихия. Этот оркестр принадлежал к очень авангардному течению — битгруппа соседствовала в нем с традиционными для джаза трубами и саксофонами. Музыканты выглядели молодо, даже юно, хотя изможденный их вид наводил на мысли о возможных скрытых пороках, и только руководил ими человек моего возраста, а может, даже и постарше — сутулый, узкоплечий, длинноволосый, как должно, с жидкой бородкой Христа и узкими нагловатыми глазами хулигана. Я узнал этот тип московского джазового волка, лабуха «с первого часа», глотника, короля «шестигранника» — самой знаменитой танцверанды тех лет, тайного рыцаря только что зародившейся тогда фарцовки.

Свой стиль оркестр вполне оправдал. Музыка нагнеталась, словно мощными насосами, ее громкость пре-

восходила существующий в человеческом организме порог чувствительности, она распирала стены, застила глаза, насилывала волю, подавляла, унижала и мучила. Потом солисты запели по-английски, разумеется, голосами ненатурально высокими, напряженными, и легко было представить, что не колебанием голосовых связок создается такой звук, а напряжением и сокращением нервных окончаний.

Я стоял возле стены и прислушивался, как бродит во мне глухое раздражение. Господи, неужели это приметы старости, ранние, но неумолимые, в том и состоящие, что всякий новый стиль — в одежде ли, в музыке ли — вызывает в душе сначала легкое недоумение, а потом уже неприязнь, побуждает к озлобленной иронии, еле прикрываемой соображениями хорошего тона. Да нет, уговаривал я себя, это всего лишь зрелость, которой свойственна устойчивость вкусов и неприлично заискивающее остолбенение перед дуновением надвигающейся моды. Тем не менее на душе было нехорошо — может, от выпитой водки, так бывает, у французов есть даже особый термин для такой противоположной реакции: «грустное вино».

Вновь из уважения к старшему поколению как-то исподволь зазвучала медленная музыка, к тому же объявили белый танец. Раньше, на студенческих и еще школьных балах, я жутко волновался в такой момент, самолюбие натягивалось, как струна, хотелось убежать от позора, и вместе с тем тщеславная надежда затмевала разум. Сейчас подобного волнения не было и в помине, и все же остаточное мужское самолюбие покалывало в груди, заставляя придирчиво оглядывать зал с выражением утомленного равнодушия. Меня так никто и не пригласил. Ничей, не то чтобы взволнованный, просто слегка заинтригованный взгляд на мне не остановился. Я был словно пожилой родственник, которому на празднике оказывается всяческое почтение, но в серьезный сердечный расчет которого не принимает никто. Пригласили, поднесли, будь, как говорится, и на том благодарен. И так мне сделалось тогда муторно от созерцания чужого веселья, от сознания совершенной к нему — хотя бы одним боком — непричастности, что я, дождавшись мстительно нового музыкального взрыва, потихоньку, никем не замеченный, смылся в гардероб.

Я искренне признался, что на той свадьбе мне по-

навивалась только невеста: потому что она была счастлива. И совершенно этого не стеснялась, не боялась, кто чего подумает. Входит в зал и улыбается, не просто губами или глазами, а всю свою сущностью, каждый шаг, каждый жест — улыбка. И путь ее усыпан цветами. Есть за что. Она счастлива, значит, победила. Очень полезное зрелище.

— Я знаю,— обличительно догадалась похожая на мальчика брюнетка, косясь на меня блудливо своими фарфоровыми белками.— Вы сами в нее влюблены, наверное, в эту невесту, вот в чем дело.

— Вот и не угадали. Чего нет, того нет.

Я замотал головой и сказал, чувствуя, как кровь приливает к щекам, что так, вероятно, и вправду должно было быть и даже бывало не раз, но только в другое время.

— Вообще-то это очень грустно — любить чужую невесту,— признался я,— обидно, зло берет, и все-таки не так уж глупо. Даже наоборот, умно и замечательно. Потому что счастье ведь не только в личной выгоде, моей, скажем, или еще чьей-нибудь. Какое же это счастье, это так, спортивный турнир, голы, очки, секунды... Истинное счастье сложнее. Вот, например, все давно прошло,— говорил я,— окончилось, отболело, зарубцевалось, уже на улице ты ее встречаешь совершенно спокойно — с мужем так с мужем, с другом так с другом, с чертом, с дьяволом, даже бровью не поведешь, потому что давно вырвал ее из сердца и даже об обидах, о боли думать себе запретил, и вдруг однажды, представьте себе, однажды ни с того ни с сего ты видишь ее во сне, так, как будто ничего не произошло, как будто только накануне вы расстались и утром увидите вновь... Вот тут просыпаешься в слезах и ничуть этого не стесняешься, даже наоборот, покой на сердце оттого, что не надо никого стыдиться и себя в первую очередь... — Я волновался, путался, запинался, подыскивал слова, торопился выговориться впервые за этот вечер, потому что эти самые с таким трудом находимые слова были, в сущности, нашим последним сегодняшним аргументом. Я еще сказал в заключение, что весь мир со всеми его чудесами, с Эрмитажем, с Лувром, с лесами, с полями, с океанами, с какими-нибудь полуденными островами, где земной рай,— весь мир не в состоянии возместить каждому из нас одного человека.

— Одного-единственного... Не самого красивого, очевидно, и не самого лучшего... это уж наверняка.

Я не знаю, с чего это меня так понесло тогда, какого черта я ударился в эту неслыханную откровенность, где и перед кем, впрочем, может, так оно и должно быть, рутина обыденной жизни приучает к скрытности и иронии, как бы посмотрели на меня коллеги по работе, если бы я ни с того ни с сего принялся рассказывать им о своей любви, нет, нужен ночной вагон дальнего следования, или попутная машина, либо зал ожидания какого-нибудь захолустного аэропорта, когда рейс откладывается на неопределенное время, либо, наконец, вот этот неожиданно ставший на моем пути старый подвал, в котором тридцать пять лет назад меня прятали от немецких бомб. И все же до исповеди, наверное, я бы не дозрел, если бы в глазах этой компании — впервые за все это время — не затеплилось что-то вроде любопытства. Что-то вроде интереса, призрачного, неверного и все же не издевательского уже, а истинного. Интуиция подсказала мне, что брешь наконец пробита, что контакт, хоть и слабый, дыханием колеблемый, все же достигнут, едва-едва достигнут, это чувство воодушевляло меня, я почти пьянел от собственной искренности.

С ними ведь просто-напросто никто не говорил никогда, с этими ребятами, я был теперь в этом уверен, все попытки общения происходят формально, чуть ли не под протоколом, а чаще всего с позиции силы, с нажимом, с угрозами, то неясными, а то конкретными, — вот они и не хотят никого слушать. Но ведь так не бывает — человек не может не слушать. Кому-то он внимает, пусть не матери, не отцу, не учителю, не соседу-ветерану, но кому-то наверняка, чьи-то слова, чья-то речь, косноязычная она или высокая, западает ему в душу, касается заветных струн, о которых никто вокруг и не догадывается, толкает на ответную откровенность. Потому что без нее человек тоже не может: сколько ни кривляйся, ни глотничай в подворотне, сколько ни эпатируй прохожих на главной улице собачьей импульсивностью своих манер, сколько ни увиливай от жизни, от себя самого все равно не спрячешься. Все равно настанет момент, когда вся твоя суть хлынет наружу потоком — со всеми снами, мечтами, детскими бантами и взрослой тоской, обманутыми надеждами и раскаяниями.

Из состояния почти шаманского вдохновения меня выбил голос Шиндры. Не тот, что прежде, не насмешливый, не рассудительный в своей издевке — базарный, муторный, истеричный, памятный мне с детства, со времени устрашающих легенд о бандитах и ловли трамвайных карманников, с эпохи голодного, хищного водворота на Тишинском рынке и беспощадной давки на подступах к стадиону «Динамо».

— Распустили уши, суки позорные! — надрывался Шиндра, и жила на его горле набрякла. — Мочалки паскудные! Про счастье им базлают, беседы проводят о любви и дружбе, о чем другом не хотите? Развесили уши-варежки, вечер вопросов и ответов! Вам же мозги пудрят, на понт вас берут, расколоть вас хотят, вы что, не понимаете! Они же поймать нас всех собрались, им сходяняк нужен, псам, козлам вонючим...

Павлик в одно мгновение оказался возле Шиндры и коротко, почти не разворачивая руки, ударил его ладонью по лицу. Я бросился к Павлику, нелепо стараясь схватить его за руки, однако напрасно — Павлик уже остыл. Это в его характере, вся злость, все уязвленное самолюбие, вся нервотрепка вкладываются в один решительный жест или поступок, после чего тягостная атмосфера его души моментально разряжается.

Упавший на диван Шиндра медленно поднялся. Он обтирал ладонью лицо, хотя крови не было. Просто щека его горела. Шиндра ничего не говорил, он был не в состоянии вымолвить ни слова, а только вроде бы подвывал хрипло, в этом еле слышном вое искала себе исхода такая неприкрытая бешеная ненависть, что мне даже сделалось не по себе. Да и Павлику, вероятно, тоже, потому что смотрел он на Шиндру с брезгливым и настороженным сожалением. И даже виновато отчасти.

Взгляд Шиндры метался по комнате, я уловил на секунду его направление, и с проворством, пожалуй, чересчур суетливым, схватил со стола пустую бутылку и спрятал ее за спину. Павлик взглянул на меня неодобрительно, однако и сам вдруг нагнулся и легко подобрал за гриф брошенную гитару.

Шиндра прислонился к белой стене, руки его повисли беспомощно, как у боксера между раундами, глаза он в изнеможении прикрыл, раз уж не было другой возможности перебороть унижение.

— Ну, мужик, теперь тебе хана, — произнес он медленно и раздельно бесстрастным тоном, — я тебе четко

говору. Я тебя уделаю, не сомневайся. Подловлю, и не узнаешь когда.

— Что ж меня ловить, что я — блоха, что ли, — ответил Павлик, поигрывая гитарой. Я даже испугался, что он сейчас ахнет ее о железную дверь или о стену. — Чего же меня ловить? Я сам к тебе загляну. В твой магазин. Может, подкинешь чего по старой дружбе.

Павлик машинально повертел гитару, посмотрел на нее внимательно, будто удивляясь, каким образом попала она ему в руки, и аккуратно положил ее на диван. Он повернулся к нам:

— Пойдемте отсюда. Что нам здесь делать? Разве это разговор человеческий? Одно расстройство.

Я попрощался и, убедившись, что Лёсик поднялся и запахивает шубу, направился к выходу. Я слышал за своей спиной шаги друзей, особенно грузные от усталости и расстройства, неудача всегда ступает тяжело, это у счастья танцующая походка. Несколько мгновений только эти шаги и нарушали тишину, как вдруг ее пререзал девичий крик, панический, бьющий по нервам, не знаю, кому он принадлежал, настолько страх его обезличил:

— Берегитесь, берегитесь, у него нож!

Мы разом обернулись, и я почувствовал, как дурнота подкашивает мне колени и спазмом подступает к горлу.

Прямо на нас, опять-таки слегка пригнувшись и расставив руки, двигался Шиндра. Лицо его было бескровно белым, пот выступил на лбу, в правом кулаке он держал нож — типичное хулиганское «перо», щеголеватое, узкое, которое без труда можно хранить в кармане джинсов или даже нагрудном кармане, завернутым в носовой платок.

— Э-э, парень, парень, — заговорил встревоженно Лёсик, — с этим не шутят.

Павлик медленно выставил в сторону левую руку, словно огораживая нас с Лёсиком, отводя и тем самым принимая вызов. Я даже и предположить бы раньше не смог, что лезвие финки может так гипнотизировать, внушать такой ошеломляющий страх. Такое чувство животной обреченности. Павлик сделал несколько шагов навстречу Шиндре. Таким я его никогда прежде не видел, это был другой человек, с застывшим, неподвижным, отрешенным лицом, с неотвратимой уверенностью в каждом движении, пластичном и как бы трагически затор-

моженном. По тому, как Шиндра держал нож, Павлик прикинул направление возможного удара и, очевидно, определил свою тактику. Они замерли в двух-трех шагах друг от друга. Шиндра кусал губы, терзая самого себя раскольниковским вопросом. Кому доказать хочешь? Самому себе?

— Ну что? — неожиданно мирно спросил Павлик.

И вдруг приказал негромко, но со всею тяжкою силой еле сдерживаемой ярости:

— Спрячь нож! Быстро!

Я уже оказался рядом, готовый вмешаться, закричать, раз в жизни совершить решительный поступок — ничего этого не требовалось. Шиндра поднял финку к самому своему лицу, он уставился на сияющее лезвие, будто впервые его видел и не знал, что с ним полагается делать, а потом с горловым звуком, похожим на рыданье, швырнул его оземь и закрыл лицо кулаками...

Ночь стояла чудесная, с едва заметным морозом, возле бортиков тротуаров на мостовой робко скопился легкий снег, наметенный слабеющим дыханием февраля. Боже ты мой, я уже забыл, когда в последний раз выходил ночью на улицу, вот так и отпускаешь жизнь, словно воду сквозь пальцы, следуя раз и навсегда установленному течению дней, рутине обязательных дел, будь они все прокляты, все равно их никогда не переделаешь, хоть сто лет проживи, вот так и черствеешь раньше времени из благоразумных и стыдливых соображений житейской целесообразности.

— Мимо денег с песнями, — зло сказал Павлик, когда, обогнув угловой дом, мы вышли из переулка на улицу. Лёсик, словно дождавшись сигнала, растопырил руки, будто кур собирался ловить:

— Стойте, стойте, — затараторил он хрипло, блестя безумными глазами, — куда же мы? Надо же прямо в отделение! Ему же срок накинута, гаденышу этому, как пить дать! Даже разговаривать не станут, мы же свидетели!

Павлик отмахнулся:

— Ну тебя, Леонид Борисович, ты человек крайностей. То тюрьмой грозишь, то деньгами швыряешься, гуляй, Вася, а толку что? Кто тебя просил в подвал лезть? Сказали же русским языком — подежурь во дво-

ре! Влетел, шуму наделал, «всех понесу!». Вот и понес. Что теперь делать? Я лично не знаю.

Вид у Лёсика был убитый и жалкий. Он бормотал что-то оправдательное, разводил растерянно руками, пытался обрести достойное выражение лица, не выдержал, резко повернулся и пошел прочь. Мы даже опешили вначале, глядя на его скорбную сутулую спину, а потом бросились его догонять.

— Пойдите, подождите меня! — прозвучал от угла женский голос. Павлик обернулся и пронзительным лучом своего фонаря высветил из полутьмы лицо запыхавшейся «кляксы». — Я покажу вам, где прячется Борька Поляков. Люся, — с достоинством произнесла она, успокоившись, и протянула подошедшему Лёсику маленькую руку. Оживший Поляков преобразился, слегка изогнулся в пояснице, одновременно при свете уличного фонаря тускло сверкнули его золотые зубы.

— Очень приятно, Поляков Леонид Борисович. Так не скажете ли, как далеко нам идти?

— Надо ехать, — сообщила наша новая знакомая вполне деловым тоном. — Я покажу.

Лёсик моментально, с какою-то уже никак не предполагаемой в нем сноровкой, выскочил на мостовую, поднял повелительно руку: в таких делах ему неизменно везет, такси послушно причалило к тротуару. Шофер открыл дверцу, и, как и следовало ожидать, в ход пошли среднерусские былинные названия московских новых окраин, Лёсик однако успел просунуть голову в салон, его реплик не было слышно, зато и голос водителя раздавался все реже и реже. Спустя минуту Лёсик галантно пригласил «кляксу» в машину:

— Вы наш Сусанин, Люся, так садитесь вперед.

Через пять минут, когда миновали Садовое кольцо и по бульвару подъехали к сплетению некогда пугающе легендарных улиц и переулков, я стал догадываться постепенно, куда примерно лежит наш путь. Весь этот район в последние годы практически стерт с лица земли, он превращен в бесконечную стройку, и, между прочим, по проектам нашего института здесь тоже возводятся несколько экспериментальных жилых домов. Хотя, что значит экспериментальных, просто хороших, откровенно говоря — с разумной планировкой квартир, с высокими потолками и просторными лоджиями. Однако кое-где между новыми кварталами, среди котлованов и

строительных кранов еще сохранились типичные местные домики, кирпичные в первом этаже и бревенчатые во втором, с подслеповатыми окошками, которые, кажется, и не раскрывались никогда со времен наполеоновского нашествия, с деревянными скрипучими лестницами, с кладовыми и погребями, со всем застойным духом окраины. Участь каждого такого дома решена в самом прямом смысле слова, и хотя в некоторых еще теплится жизнь, допотопная, коммунальная, большинство из них уже опустело совсем или наполовину, на три четверти и дожидается своего часа. Впрочем, наступление этого рокового часа откладывается порой на неопределенный срок из-за непредвиденной заминки в грандиозном строительстве или же из упорства какого-либо последнего жильца, тоже по-своему грандиозного; попробуйте стоять на своем, когда соседи давно уже перебрались в новые квартиры, за тридцать-сорок верст отсюда, когда коммунхоз отключил воду, а строители стучатся в двери чугунными чушками, повисшими на стрелах экскаваторов.

«Клякса» достала сигарету, и Лёсик услужливо высек ей ронсоновское синеватое пламя. Она закурила с той небрежной и нарочитой женской естественностью, какую прививает девчонкам исподволь современное кино. Шофер покосился на нее с недоверием, а заодно через плечо и на нас — вот уж, действительно, можно представить себе, что он про всех нас мог себе вообразить.

— Слушайте,— зашептал Лёсик,— а ей можно доверять, этой маленькой заразе? Она нас в «малину» какую-нибудь не завезет? А то ведь нам, в случае чего, и отмазаться нечем. Между прочим,— эти слова Лёсик произнес уже в полный голос, обычным своим тоном иронического знатока жизни,— как раз в этих местах, насколько я понимаю в медицине, работал некогда извозчик Комаров. Большой оригинал, не скрою от вас, подбирал у вокзалов седока посолиднее, зазывал отдохнуть к себе на «фатеру», именно в эти благословенные края, опаивал клиента с помощью своей благоверной супруги, а потом привет из столицы — колуном кончал — и в погреб! Туда, где квашеная капуста хранится.

— Своевременная история,— заметил Павлик,— что особенно приятно, как раз под настроение. Ты как, боевая подруга, не напугалась?

— Не-а,— покачала Люся головой,— мне когда интересно, то не страшно.— И тут же скомандовала:— Стоп, стоп, стоп, тормози, шеф, приехали.

— Вот вам юное поколение,— вздохнул Лёсик, расплачиваясь с шофером,— ему не страшно, ему интересно.

Я узнал это место. Именно тут строились наши дома по индивидуальному проекту, семнадцатизэтажные, кирпичные,— первый уже подвели под крышу, а во втором только-только завершили нулевой цикл. Этот самый второй должен был подняться на берегу пруда, напоминающего о патриархальной московской старине, совсем недавно его вычистили, урегулировали, обложили аккуратно бетонными плитами, исчезла его трогательная заходустная живописность, он сделался похож на безлично-элегантный американизированный водоем из международного архитектурного проспекта. Между двумя этими стройками, нарушившими былую геометрию квартала, как раз и притулился случайно уцелевший дом, прямо к которому вела нас наша проводница. Вероятно, он стоял раньше во дворе, этот двухэтажный особнячок, с неожиданными для здешних мест проблесками интеллигентского модерна — тут строили обычно бесхитрое и кондоее. Сейчас вокруг него была пустошь, заваленная строительным мусором, щебнем, остатками снесенных соседних домов, перепаханная бульдозерами и самосвалами. Старый тополь возле этого дома казался невероятно, противоестественно одиноким, он стоял раньше в мещанском тихом дворике, заросшем застенчивой и бурой городской травой — это летом, а зимою заваленном оседающими под собственной тяжестью сугробами, он украшал собою этот дворик, осенял его своими ветвями, засыпал подоконники пухом, который почему-то принято ругать, хотя в глубине души все ему рады, его нелепому, ненужному, изумительному кружению в воздухе. Сейчас тополь остался в полнейшем одиночестве, как человек, которому некому звонить — не стало больше окон, куда привыкли заглядывать его ветви.

— Здесь,— сказала «клякса»,— в этой халупе, уже полгода ни одна собака не живет. Вот хипня тут и обосновалась,— своим тоном она уже как бы отделяла себя от наших самодеятельных последователей сомнительного мирового движения.

Потом голос ее незаметно утратил небрежную бывалую самоуверенность.

— Я тоже вас кое о чем попросить хотела,— призналась она с видимым затруднением,— услуга за услугу.

Лёсик понимающе поджал губы:

— Не проговориться, кто нас сюда направил, так я понимаю?

— Да ну! — злясь на самое себя, презрительно поморщилась «клякса». — Также мне секреты! Я вас о другом прошу — не заявляйте на Сашу в милицию. Не надо. У него и без этого приводов хватает.

— Какого Сашу? — не понял Павлик.

— Шиндина. Ну на Шиндру то есть! — Она отвела глаза.

— А-а,— сказали мы едва ли не хором.

— Что «а-а»? — взвилась «клякса». — Вы ведь его совсем не знаете!

— Да уж, знакомство мимолетное,— согласился Павлик,— но незабываемое.

— Ничего смешного не вижу. Он очень хороший парень.

— Если никого не зарежет,— уточнил Лёсик.

— А вы не преувеличивайте! — Нашей новой знакомой овладел издавна мне известный дворовый защитительный пафос. — Ничего ведь не случилось. Разговоры одни. И не могло случиться. Он добрый, вы бы видели, как он рисует. И животных обожает, ни кошки, ни собаки в обиду не даст.

Павлик поинтересовался:

— А как насчет хозяев? Хозяевам при этом не достается?

Сраженная иронией, «клякса» вдруг сникла:

— Хватит вам. Вам смешки, а его посадить могут.

— Вообще-то давно пора,— авторитетно заявил Лёсик, красуясь незлопамятностью и сердечной широтой. — Да уж бог с ним, пусть пока гуляет. Но с родителями его я поговорю по душам. Я им дам прикурить!

— У него нет родителей,— тихо сказала Люся. — Только бабка.

— Куда же они делись? — спросил Павлик недоверчиво. — Все-таки не сорок пятый год.

— Ну и что? — «Клякса», как это ни странно, очевидно, чувствовала себя неловко. — Папаша его неизвестен... То есть известен, конечно... но вообще не имеет к нему никакого отношения... И мать тоже.

— То есть как это «тоже»? — не унимался Павлик.

— А так! Вы что, маленький, что ли, объяснять на-

до? Материнских прав ее лишили.— После этих слов ей стало легче.

Павлик протяжно свистнул:

— Вот оно что! Она что же, пила?

— И пила. А бабке семьдесят пять, за нее, можете считать, и прошу.

— Ладно,— мрачно произнес Павлик, глядя мимо «кляксы» на двери указанного ею дома,— так и будем считать. Ты только скажи своему другу животных, что, если он с ножом ходить будет, я ему руки оборву. А лучше знаешь что? Пусть-ка он мне его завтра домой принесет. Без смеха. Меня найти нетрудно. Так вернее будет.— Он поднялся на крыльцо, одним боком осевшее в землю, и несколько раз с силой подергал дверь.— Доской заложили, гады. Где они тут обычно сходятся, внизу или наверху?

— Наверху,— ответила Люся,— вон там,— и показала на два крайних окна во втором этаже.

Она стояла совершенно спокойная и безучастная и курила, отставив нарочито мизинец, вспышки сигареты освещали ее лицо, и я только теперь понял, что она, пожалуй, очень хороша собой. Повинуясь необъяснимому духу противоречия, я кинул придиричивый взгляд на общий ее силуэт в надежде обнаружить хотя бы единственный явный недостаток и на этом удовлетворенно успокоиться, увы, в своем свободно льющемся максипальто она была стройна и непреднамеренно элегантна.

— Ни хрена себе ночка,— бормотал Павлик,— то вниз, то вверх, и без всякой страховки. Нашли тоже испанского гранда ночами по окнам шастать!

Он обошел несколько раз вокруг дома, порывлся, тихонько ругаясь, в кучах строительного хлама и раздобыл наконец неверную кривую стремянку, вероятнее всего, наспех сколоченную когда-то штукатурами или малярами.

— Держи крепче,— приказал он мне,— в случае чего бюллетень за твой счет.

И вновь со сноровкой, не совместимой, на взгляд, с массой его огромного тела, полез вверх. Я боялся, что колченогая эта лестница чего доброго все-таки расползется, и потому сжимал ее перепачканные несущие оглобли до боли в кистях. Между тем Павлик добрался до заветного окна — благо не так уж высоко оно было, и надавил плечом на ветхие рамы. Лестница в моих руках в одно мгновение сделалась легкой, это Павлик

прямо с карниза шагнул в распахнувшееся вовнутрь окно. В детстве, когда однажды на водной станции «Динамо» Павлик с десятиметровки сиганул в воду, я почувствовал с ужасом, что, несмотря на обморочную слабость, подламывающую ноги, прыжок мой в бездну уже предопределен. Если не судьбою, то нашей дружбой. И недаром два часа назад я тоже без малейших колебаний нырнул в подвал. Теперь же мне неоспоримо предстояло по хилой этой лестнице карабкаться наверх. Лёсик на расстоянии уловил мою решимость, он подскочил ко мне и подпер лестницу могучей платформой своего штиблета:

— Будь спокоен, я удержу.

Стараясь не осрамиться, я полез по шатким перекладинам, разумеется, сразу же занозил ладонь. Павлик, стоя на подоконнике, вовремя протянул мне руку.

Еще не спрыгнув на пол, он зажег фонарь и ярким лучом уперся в противоположную, оклеенную выцветшими, измазанными обоями стену. Комната оказалась весьма просторная, обычный эффект особняка: взглянуть снаружи — почти японская миниатюрность, а заходишь внутрь и попадаешь в огромный зал, в котором хоть сейчас можно закатывать балы и играть комсомольские свадьбы. В ослепительном, будто бы солнечном пятне света возникали то сломанный стул, то ободранный сундук, то вовсе непонятная рухлядь, и вдруг луч, методично и неспешно обшаривавший комнату, осветил изумительное зрелище: на узкой железной кровати, даже не кровати, а койке казенного вида, типа больничной или приютской, свернувшись калачиком, безмятежно и сладко спал Борька. Он самый. Тот, ради кого была затеяна вся сегодняшняя кутерьма с чердаками, подвалами и приставными убогими лестницами. Во сне у него было беззащитное и невинное, прямотаки ангельское лицо, сложенные вместе ладони он трогательно зажал между коленей.

Павлик, закатив глаза, улыбнулся с выражением снисходительной и усталой иронии:

— Как тебе это нравится? А? Мы сходим с ума, мельтешишь, мы почти что жизнью рискуем, чуть шею себе не свернули, а малютка хоть бы хны, малютка спит и всех нас видит в гробу. Ну, доктор, что ты будешь делать с этим подрастающим поколением?

Я сказал, что после того, как его конкретный представитель нашелся, его, так сказать, более общая судь-

ба меня уже не волнует. По крайней мере сейчас, на исходе февральской ночи.

— Но будить его почему-то жалко,— добавил я.

— Не говори,— согласился, усмехаясь, Павлик,— в который уж раз замечаю, ни одна достигнутая цель не удовлетворяет. Полной радости не приносит. Пока выкладываешься, уродуешься, все как будто так и надо, а как только добьешься своего, или грустно, или вот так вот будить не хочется.

Он подошел к Борьке и потрепал его слегка по спине:

— Вставай, отличник, третью четверть проспичь.

Борька пробормотал что-то сквозь сон, почти что промурлыкал томно и расслабленно, как кот, которого снимаешь с теплой батареи, потом он потянулся, помотал головой, поломался, покобенился и наконец раскрыл глаза.

— Дядя Паша,— пробормотал хриплым изумленным шепотом.

— Он самый, Советский Союз,— представился Павлик.— А ты кого ожидал? Учительницу по астрономии?

— А как же вы меня нашли, дядя Паша? — спросил мальчик, опуская ноги на пол.

— По звездам,— Павлик высветил возле ножек кровати Борькины ботинки,— я ведь астрономию тоже проходил.

— В каком классе? — живо заинтересовался Борька, проявив не совсем своевременную любознательность по части образовательного ценза.

— В полковом,— ответил Павлик,— я тебе о нем отдельно расскажу. В другое время,— он еще раз, словно лучом прожектора, вскользь осветил комнату,— и в другой ситуации.

— Вы меня куда поведете? — спросил Борька довольно-таки обреченно, хотя и без особого испуга, было заметно, что внезапная эта ночная беседа весьма его интригует.

— В пионерскую комнату,— рассердился Павлик,— в молодежное кафе! Что ты мне голову-то морочишь? У родителей предынфарктное состояние, а он интересуется, куда мы с ним среди ночи отправимся?! На экскурсию! Тебя бы, гада такого, на самом деле Плетневу надо было сдать, чтобы он тебя в КПЗ подержал пару суток да еще бы башку обрил, паразиту! Обувайся — и на выход!

Скорее всего именно угроза вероятной стрижки, хоть и не слишком серьезная, произвела на мальчика решающее действие, он в два счета обулся и встал с кровати. На нем был грязный свитер, выкрашенный домашним хитроумным способом так, чтобы на груди образовались разводы наподобие стрелковой мишени, и джинсы с дерматиновыми круглыми заплатами на коленях. Павлик скептически покачал головой:

— Видал, прифрахерился юноша из приличного дома. Тебя ведь после всей этой заразы ни в какой «Дарье» не ототрешь! Ничего, завтра с утра двинешь со мной в Сандуны. Я тебе в парилке массаж устрою, а заодно салазки загну.

Даже в хипповой своей униформе Борька был поразительно красив, совершенно еще не осознанной, бескорыстной и потому особо покоряющей красотой: белокурые густые волосы, закрывая уши, касались нежной шеи, длинные девичьи ресницы затеняли голубые глаза, он все время улыбался, добродушно и чуть бестолково, обнажая замечательные, крупные, какие-то очень новые зубы. Принц из киносказки, иного сравнения и не подберешь.

Я вспомнил всех записных красавцев нашего выпуска, всех танцоров, ухарей, стилиг и спортсменов — нет, такими они не были, даже у самых ярких и самоуверенных из них проскальзывала в облике либо прыщавая скованность, либо юношеская угловатость.

— Тебе не страшно тут одному? — спросил я Борьку, осознавая со стыдом позорное благоразумие своего вопроса.

— А вам разве дома страшно? — ответил он мне с простодушием, вполне вероятно, лукавым, в полутьме я не сумел в этом убедиться окончательно.

— А потом я не один вовсе, — он кивнул головой в сторону соседней комнаты, — нас тут целая...

— Гоп-компания, — уточнил саркастически Павлик и направился к двери.

Борька засмеялся и признался с неожиданным в таком месте барством:

— Они храпят во сне, а я этого не выношу. Из-за этого даже из пионерлагеря бегал.

— Ничего, в армии привыкнешь, — пообещал Павлик и распахнул дверь. Пропахшая табакон, потом, затхлым теплом соседняя комната была совершенно пуста. Загоревшаяся под потолком лампочка осветила гряз-

ный, истоптанный пол, покхабные рисунки и английские надписи на обоях, что-то на ту же классическую тему любви и войны, а также два широких, двухспальных продавленных матраца, еще хранящих следы человеческих тел. Дверь в противоположном конце комнаты была приоткрыта.

— Смотались,— констатировал Павлик с некоторым упреком самому себе.

— Конечно,— радостно согласился Борька,— у них сон чуткий, не то что у меня.

Я только теперь догадался, зачем несколько минут назад он так старался вовлечь нас в абстрактные разговоры.

— У нас аварийный выход есть на случай шухера,— признался Борька не без гордости.— На первом этаже, через окошко в уборной. Выходит прямо на стройку, с улицы ни фига незаметно.

— Молодцы,— одобрил Павлик,— только я на днях еще раз сюда наведаюсь среди ночи и всю вашу благодать прикрою. Наглухо. Ты меня знаешь, из принципа спать не лягу, приеду сюда и всех ваших загребных лично возьму за транец. Знаешь, что это такое? Задняя часть вельбота и яхты.

— А вы плавали на яхте, дядя Паша? — вновь как ни в чем не бывало полюбопытствовал Борька, будто не торчали мы ночью в полуразвалившейся хибаре, а сидели вечером при свете зеленой лампы за уютным чайным столом.

— Плавает, Боря, дерьмо,— наставительно сказал Павлик,— а яхты, равно как и прочие суда, ходят. Учти это на будущее. Пригодится,— он нахлобучил на красивую Борькину голову кроликовую потертую ушанку.

При свете фонаря по корявым поломанным ступенькам мы спустились вниз.

— Отчиняй,— приказал Павлик Борьке, и тот с напряжением, пытая, вытянул из дверных ручек увесистую основную доску.

После теплой и затхлой вони заброшенного, обреченного на снос дома, на свежем ночном воздухе слегка закружилась голова. Борька шел шагах в четырех впереди нас, и мы с Павликом, чуть поотстав неволью, любовались естественной, вовсе не мальчишеской пластикой его походки. Какой такой потаенный генетический ход наградил Лёсика столь совершенным наследником?

Завидев нас, Лёсик оставил под деревом «кляксу» и опрометью бросился Борьке навстречу.

— Вот ты где, мерзавец, нашелся наконец,— кричал он голосом любителя уличных «процессов», в котором, однако, жалким образом угадывалось подлинное чувство,— босяк, подонок! Мать пластом лежит, увидеть его не надеется, я с ног сбился, не знаю, кого просить, перед кем на коленях стоять, чтобы хоть след его, сучонка, отыскали! А он отдыхает. С кем? С бакланьем мокрозадым, с безотцовщиной, с наркоманами!

Лицо Лёсика было перекошено, губы дрожали, правый глаз дергался, последние слова он выкрикивал неожиданно высоким, почти бабьим голосом. И, убеждаясь в собственной слабости, стыдясь позорного бесилия, он вдруг развернулся со всего плеча...

Я прямо-таки прыгнул ему наперерез, влекомый извечным интеллигентским инстинктом миротворства, органическим неприятием насилия, даже праведного, родительского, я безрассудно надеялся урезонить и успокоить оскорбленного отца — затрещина, предназначавшаяся блудному сыну, досталась мне. Получилось так, что я прикрыл Борьку своим телом. А сам, отлетев в сторону, едва-едва удержался на ногах, потому что рука у Лёсика оказалась верная и тяжелая.

Борька встрепенулся в ту же секунду и, увильнув в сторону футбольным ловким финтом, легко, как на соревнованиях, спортивным, размашистым шагом чесанул вниз по улице, вдоль забора, огородившего стройку. У Лёсика было глупое, несчастное лицо, он чуть не плакал, сознание вины и катастрофы подкашивало ему ноги.

— Э-эх! — сплюнул Павлик.— Леонид Борисович! Большой педагог! Чуть что — по морде, вот и все воспитание. Ищи-свищи теперь твоего сына, я, между прочим, не чемпион по марафонскому бегу!

— Подожди, Паша,— сказал я, прикладывая снег к саднящей скуле,— он сейчас до пруда добежит — и направо, налево там пути нет. Давай попробуем ему наперерез, через стройку, я здесь бывал, пройти можно.

Мы перелезли через забор, перевалились тяжело и неловко, при этом я, естественно, располосовал подкладку пальто, потом мы побежали что было сил, спотыкаясь, падая, обходя с досадой поддоны кирпича и штабеля бетонных плит, перепрыгивая через канавы, налетая с ходу на доски и арматуру, ругаясь непрестанно.

но и обливаясь потом, какое счастье, что на той стороне, куда мы стремились, в заборе оказалась щель. Один за другим мы протиснулись сквозь нее на улицу, это была асфальтовая дорожка, проложенная вдоль берега пруда. В изнеможении мы привалились к забору, и как раз в этот момент все тем же неумолимым стайерским шагом Борька выбежал прямо на нас. Павлик усмехнулся и уже совершенно формально, просто чтобы обозначить намерение, раскинул руки:

— Ну ты даешь, Борис! Ты бы в секцию записался, раз уж такой бегун на длинные дистанции. Глядишь, и добежался бы до утешения собственных родителей. Чтобы они по ночам спали и не мотались по городу, как собаки.

— А я не знал, что вы такой, дядя Паша,— не то с грустью, не то с восхищением признался Борька,— от вас, оказывается, не оторвешься.

— А ты думал, Боря. Мне бы учителем вашим быть, вы бы за мной табуном ходили. А не отирались бы в трущобах. Ну чего ты от нас бегаешь сейчас, скажи на милость? Что уж мы, лопухи последние, глупее твоих дружков, видели меньше, сказать нам нечего? Знаешь, если человек от обезьяны произошел, это еще не значит, что все, кто старше тебя, полные шимпанзе.— Павлик сдвинул на затылок шапку и распахнул полушубок. Теория педагогики давалась ему с трудом, пар так и валил от его разгоряченного тела.— Оборжать их, конечно, нетрудно. Но они ведь и научить кое-чему могут. Мыслей пару-тройку подкинуть — не плюй в колодец. По крайней мере, по душам поговорить, если уж тебя такая тоска приперла. Только ведь она потому и приперла, что тебе на все наплевать. Что тебя еще ни хрена не волнует по-настоящему.

— Почему это, дядя Паша? — обиделся Борька.

— Это ты мне скажи, почему? Вот ты из дому слинял, с какой целью? Что тебя влекло, как говорится? Чего ты добился тем, что отца с матерью чуть в гроб не загнал? Свободы, скажешь? Туфта это, а не свобода, то есть, прости, ерунда! Зачем тебе свобода? В подвале груши околачивать?! Не за тем, Боря, из дома уходят. Если уж уходить...

Павлик хотел еще что-то сказать, но просто обнял Борьку за плечи, и мы пошли потихоньку по берегу замерзшего пруда, под склоненными низко под тяжестью снега сказочными ветвями навстречу девушке

Люсе и Леониду Борисовичу Полякову, который еле ковылял, поминутно хватаясь за сердце.

— У вас под глазом синяк,— сказала «клякса», глядя на меня внимательно и серьезно.— Очень большой.

Я вспомнил про скулу, дотронулся до нее, она тут же противно засадила.

— Конечно,— рассудил я,— без жертв сегодня обойтись не могло, вы же видели. Кто-то должен был пострадать. Вот я и схлопотал.

Я подумал с тоскою, что с утра придется разыскивать темные очки, потому что в моем возрасте и с моей репутацией эстетствующего интеллигента появляться на работе со столь недвусмысленными знаками настоящей мужской жизни, да еще после свадьбы, о которой наверняка известно половине нашего института — прекрасной, разумеется,— более чем рискованно. Впрочем, что в этом случае темные очки, так, условность, фиговый листок, хорошая мина при плохой игре, как сказал бы по-французски мой старший коллега Юлиан Григорьевич, закончивший классическую гимназию в городе Черновцы.

Такси поймали быстро, наша своевольная сфера обслуживания определенно пасовала перед Лёсиком. Он тяжело опустился рядом с шофером, а мы вчетвером кое-как втиснулись на заднее сиденье, причем «клякса» оказалась у меня едва ли не на коленях. Сейчас меня это нимало не волновало. Мы ехали по засыпанной снегом, неслышной Москве, мы как будто бы плыли посреди снегопада, он окружал нас, успокаивал и навевал сны, полные, как в детстве, надежд и обещания счастья.

— Тебе куда ехать, подруга? — осведомился Павлик.— В какие края? Специально подбросим.

— Не надо. Мне туда же, куда и вам.

Сквозь дрему я подивился тому, как ровно, с каким достоинством и тактом звучит ее голос, такой вульгарный недавно.

Борька спал, положив ангельскую свою голову на широкое плечо Павлика, успокоенный отец после треволения тоже клевал носом, только мне, по странности природы, спать вдруг расхотелось. Вдруг пропала, исчезла куда-то недавняя сонливость, я вновь, вероятно, в последний раз за сегодняшнюю ночь чувствовал себя бодрым и свежим. Почти как в те давние ночи, когда ходил через всю Москву по мостам и переулкам и думать о сне не думал, какой мог быть сон, когда жизнь

каждый день дарила новым впечатлением, неизведанным, небывалым, от которого захватывало дух — любовью, разлукой, честолюбием и печалью. С каждым годом этих потрясений становилось все меньше, жизнь упорядочивалась, входила в берега, как река после наводнения, пока не сделалась размеренной, расписанной по часам, на многие годы вперед в лучшем случае, что еще может в ней случиться? А вот случилось. Надолго ли хватит? Чего-то все-таки недоставало мне во всей этой истории, начавшейся в ресторане Дома артистов среди шикарного аромата французских духов и американских сигарет и завершившейся вполне благополучно в гнилой комнате опустелого особняка, чего-то еще просила неудовлетворенная душа, только чего: точки, захлопнувшейся двери, прощального аккорда?

Шофер затормозил на углу нашего переулочка. Я вылез из машины, чтобы пропустить остальных, попрощался ободряюще с Лёсиком, который смотрел на меня благодарно и виновато, я опять было собрался влезть в такси, но Павлик тронул меня за рукав:

— Слушай, отпусти шефа, полчаса раньше, полчаса позже, какое это теперь имеет значение?

— До свиданья, дядя Паша,— так и не проснувшись окончательно, пробормотал Борька.— А на яхте вы еще поплывете?

— Ишь ты, вспомнил, паразит,— засмеялся Павлик,— пойду, Боря, пойду, можешь за меня не беспокоиться. Я всегда хожу — и по суше и по морю, даже против течения. А что плавает, я тебе уже говорил.

— А мне сюда,— церемненно сообщила мне «клякса» и кивнула, здравствуйте, пожалуйста, на то самое парадное, в котором я прожил почти тридцать лет жизни непосредственно после появления на свет в distinguished роддоме имени товарища Грауэрмана.

— Вот так номер! И давно вы сюда переехали?

— Откуда переехали? Я всегда здесь живу,— она пожала плечами, вроде бы пеняя на однообразие судьбы, но вместе с тем гордясь ее несомненным постоянством. Это я уехал из нашего дома как будто бы вчера... семь лет назад это было, в какой же класс она тогда ходила, я ведь ее совершенно не помню?

— Я хотела бы вас найти,— вдруг вроде бы без всякой насмешки, глядя мне прямо в глаза, сказала «клякса».

— Меня? — Я даже растерялся от удивления.

— Вас,— она смотрела на меня с выражением победного и снисходительного женского превосходства, мое замешательство доставляло ей удовольствие.

— А сто́ит ли? — Я старался говорить утомленно и насмешливо, как и подобает бывалому мужчине, которому не привыкать к приятным сюрпризам. Кажется, получалось очень фальшиво.

— Сто́ит,— она улыбнулась,— вы уж не обижайтесь, что я инициативу проявляю. Ради вашего же самолюбия. Вы же кадрить не умеете, то есть, простите меня, на улице знакомиться. Или даже в кино.

— Не умею,— сознался я,— и в лучшее — то время не умел, а теперь вроде бы поздно учиться. Только я ведь не отказа стесняюсь, не насмешки — самого себя.

«Клякса» грустно кивнула:

— Вот видите, я же чувствую.

— Ладно уж,— успокоил я ее,— вы меня не жалейте. Перебьюсь как-нибудь. Тем более что с вами мы все-таки познакомились. И я даже знаю, в каком доме вы живете, тут для меня тайн не существует. Сами недавно убедились.

— Обед в «Арагви» за мной в любое время! — крикнул на прощанье Лёсик, остановившись на секунду возле своих ворот.— Хоть завтра! Только скажите, у меня там метр — вот такой приятель, примет по высшему классу. И никакой водки! Пьем только коньяк!

Мы остались с Павликом вдвоем, совершенно одни на всей нашей улице, первозданно белой от снега и оттого немного чужой, но вместе с тем и уютной неожиданно, как собственная квартира после ремонта. Вот если бы в эту минуту мне предстояло выступить на архитектурно-планировочном совете, посвященном предполагаемому сносу «не имеющих ценности» зданий, я бы им наговорил! У меня нашлись бы аргументы, достало бы логики и красноречия, я бы им рассказал, как со сломом домов утрачиваются невосвратно целые периоды человеческого бытия, быть может, даже целые эпохи в масштабе одной отдельно взятой личности, у которой, как ни посмотри, жизнь одна, и родина тоже. «Не в том дело, что улица хороша,— сказал бы я,— а в том, что я на ней становлюсь лучше. Потому что знаю, куда мне надо возвращаться». Только градостроительные советы никогда не устраиваются на исходе февральской ночи.

— Ну и снег,— восхитился Павлик, снимая шапку и ловя снежинки губами.

— К теплу. Весна скоро. Весна, старик! Перезимовали. Девушки шубы сбросят, сапоги. Можно жить. Ты знаешь, я чего-то жутко стал бояться ее пропустить. А? У тебя не бывает такого чувства? Будто без тебя все случилось, вышел на улицу, а весна уже прошла, прозевал, ушами прохлопал. Боюсь. Да! Я-то думаю, чего это у меня душа не на месте — у нас же с тобой ужин нетронутым остался. Можно сказать, гусь непечатый! Обидно — и посидеть не посидели, и поговорить не поговорили. Вечно так. Я даже пластинку тебе не завел, а сколько месяцев собирался. Я ее как только откопал, сразу о тебе вспомнил. Слушай, спать все равно уже не придется, заскочим ко мне, в кои-то веки встретились по-человечески.

Снег мы стряхнули на лестнице, там же и разулись и в одних носках на цыпочках вошли в спальную квартиру. Двери в комнаты были плотно прикрыты, но роскошная наша трапеза так и осталась нетронутой на кухонном столе. Как видно, Татьяна легла спать в полной уверенности, что мы непременно вернемся. Павлик приоткрыл дверь в маленькую комнату, оттуда донеслось сопение и бормотание спящих детей. Он вошел в детскую и, улыбаясь из темноты, поманил меня пальцем. Дунька спала, натянув на белокурую голову одеяло, уткнувшись носом в подушку и выставив наружу маленькие розовые пятки, которые так и хотелось пощекотать. А Настька, широкая натура, разметалась, одеяло ее почти совсем сползло на пол; во сне она раскраснелась, ей снилось что-то захватывающее, бурное, потому что ресницы ее поминутно вздрагивали и морщился нос.

— Дрыхнут подруги,— проронил Павлик и от смущения поскреб свою могучую, уже чуть-чуть обмякшую грудь.

— Знаешь, что я тебе скажу, заводи ребенка. Жена — это дело другое, как сложится, лучше или хуже, тут загадывать не приходится. А ребенок... это навсегда, это, старик, главное оправдание, и выше ничего быть не может. Честно тебе говорю.

За ванной комнатой в этой странной квартире находился замечательный чулан. Совершенно темная, без окна, крохотная, хотя довольно-таки высокая комнатка, в которой Павлик обосновал свое собственное за-



ветное пристанище, приют мужских суровых интересов и мастерскую широкого профиля. Здесь уместился настольный токарный станок вместе с электромотором, слесарные тиски, а также полный набор напильников, молотков и отверток, чертежный кульман стоял у стены, жестяная лампа на кронштейне озаряла деловой здешний уют сухим заводским светом, а еще на самодельно сколоченных полках и на старом помпезном комодe, каких теперь нигде уже не встретишь, горой лежали старые журналы, растрепанные книги, театральные программы давно забытых спектаклей — щекочущий аромат книжного тлена приятно урезонивал, на мой вкус, прозаические технические ароматы. Вот сюда-то мы и перебрались потихоньку, примостив тарелки среди жестянок с винтами и шайбами, мотков ленты и проволоки и всевозможного слесарного инструмента. На комодe нашлось достойное место для патефона.

— А я чувствую, что-то не так,— признался Павлик, наклоня кувшин с заметным напряжением кисти,— дело недоделано, хуже нет. Терпеть этого не могу. Ну что, доктор, волю в комок и вперед? Пора и нам отдохнуть, вроде бы заслужили. Ты что это смурной такой, мой совет покоя не дает?

— Наверное, так,— согласился я.— Странное дело, Паша, я никого не люблю. Ума не приложу, как это случилось. Ведь это же почти моя профессия была — быть влюбленным. Мой жанр. Несчастно чаще всего, неразделенно, под окнами ходить, не спать ночами, письма писать, которые никто не читает... И жить этим. Ощущать, что все это и есть жизнь. То есть движение и надежда. И вдруг ничего, вакуум, равнодушие. Может быть, какие-то резервы в душе иссякли, вот как источник иссякает. Вчера думали: ни конца ему, ни краю... А сегодня — одни пузыри. Грустно, Паша.

Я сказал все это вовсе не для того, чтобы вызвать сочувствие, и уж тем более не затем, чтобы услышать какую-либо конкретную рекомендацию, подходящую к данному случаю жизни. Просто должен же я был произнести однажды эти слова вслух, для того, чтобы увидеть их как бы со стороны, напечатанными на бумаге, и этим самым воспринять состояние, которое они выражают, по возможности отстраненно. И кому же я мог их высказать, не рискуя различить в глазах собеседника вежливую скуку или, того хуже, насмешку, уличающую меня в неполноценности и несостоятель-

ности, кому же еще, как не старому другу? Не школьному товарищу, помнящему меня таким, каким я себя почти не знаю, — тихим мальчиком с последней парты у окна, застенчивым до заносчивости подростком, юношей, терзаемым честолюбием и робостью.

— Не бери в голову, — Павлик сам усмехнулся формализму этого расхожего совета, в котором по-своему отразилось время. Он привык к моим сомнениям и признаниям еще с давних школьных лет и великодушно их сносил, сознавая по деликатности натуры, что ни утешения, ни ободряющих слов от него не требуется, нужно только, чтобы он сидел напротив, олицетворяя свою физической мощью надежность бытия и стараясь нащупать хотя бы подобие логики в путанице моих лирических доводов. Раз уж сама собою назрела во мне исподволь необходимость заговорить о том, к чему в сутолоке нынешних дней принято относиться с иронией — почтительной и пугливой, впрочем. Что, как и бессонницу, принято глушить успокаивающими таблетками и вечерним бегом трусцой. Состояние духа — вот что меня занимало на краю этой зимней ночи. Вот что пробовал я осознать, убеждая самого себя, что тревоги мои, вполне вероятно, мнимы. И равнодушие, столь тягостное и бесплодное, хотелось бы верить, — явление преходящее. Просто пора уже перестать существовать в инфантильном ожидании ежедневного чуда — вот откуда берутся ежедневные разочарования.

— Это точно, — подтвердил Павлик, — знаем мы вас, вы ведь думаете, что с вами бог знает что должно случиться. Принцесса прилетит на воздушном шаре, ленточкой перевязанная.

А я говорил, что начинаю, быть может, догадываться, в чем мудрость жизни. Хоть и не так легко далась эта догадка, требующая жестокой трезвости и откровенности перед самим собой. В простых делах. В их постоянстве. В том, что никуда от них не деться, в какие выси ни заносись. А главное, что и не нужно деваться. В них всё — и уверенность, и спасение, и верный способ сохранить лицо, именно в них, а не в надеждах, истомивших душу. Все настоящее просто: ночь, снег и наш стол, освещенный чертежной лампой, уют нашей дружбы, которой не нужны ни проверки, ни доказательства, она равна самой нашей жизни. И возвращение блудного сына — разве этого мало? А остальное приложится, случится все, чему суждено, не надо только

суетиться и махать руками, теряя достоинство и самого себя. А если и не случится, не страшно. Жизнь все равно не прошла даром, раз было в ней нечто, чему нет и не может быть конца.

— Конечно, не прошла,— подвел Павлик итог.— Я тебе это докажу сейчас.

Грибы пахли погребом, лесной сыростью, домостроем, неподвластным времени, оттепелью, осенью и весной. Павлик подмигнул мне многообещающе, встал, бережно приподнял, повернул и, уловив вращение пластинки, опустил мембрану патефона. Послышалось шуршание, напоминающее шелест страниц, шорох, как от ветра в кустах, и, наконец, простудный, гриппозный хрип, сквозь который вначале неловко, стыдливо, но постепенно набирая силу, завывли доверительно саксофоны и скрипки, не раздумывая, почти с места взвились до пленяющей, дух захватывающей высоты.



Снимок на обложку

— Тебе какая-то девица весь вечер названивала,— будто невзначай сообщила Елена и не удержалась на высоте женской мудрости и деланного равнодушия:— Дожил, малолетки проходу не дают.

Мимолетная эта ирония, ерундовая, в сущности, шпилька, разозлила Сергея пуще откровенной претензии — ему казалось, Елена должна понимать, что на ревность не имеет права. Разумеется, впрямую он не решался ей об этом объявить, такая правда неизбежно отдает цинизмом, потому-то и не следует о ней говорить, ее надо чувствовать. Особенно женщине. Впрочем, тут ведь особой чуткости и особой интуиции не требуется, Елена чувствует, конечно, но по женскому счастливому неумению признаваться в поражении все на свете относит за счет его, Сергеевой, мнимой черствости. И вздыхает иной раз с демонстративным стоицизмом жертвы: что ж, мол, это мой крест, и я его с достоинством несу. Сознание жертвенности, несомненно, тешит ее самолюбие и помогает переносить Сергееву уже несомненную не то чтобы холодность, но не слишком пыл-

кую заинтересованность, она убедила себя, что такой уж он человек. Молчаливый, с закрытым сердцем, ни слова ласкового, ни блаженно опрометчивого поступка ждать от него не приходится. Господи, откуда ей, бедной, знать, что на самом деле все совершенно наоборот, что святые безумства, романтические глупости, та же сумасшедшая, неукротимая, никаких резонов не признающая ревность — это как раз природные свойства его натуры. Его, можно сказать, прерогатива и специальность.

Недоумение тоже способствует несдержанной его досаде. В самом деле, кто бы это мог ему звонить? Как-то помимо воли с заинтересованностью, несколько неуместной для сорокалетнего мужчины, Сергей начал припоминать один за одним все похожие случаи, не столько по существу ценные, сколько для психологического самочувствия, обостряющие вкус к существованию, к погоде, к движению, к еде и питью. Мало-помалу он и до самого первого добрался, того самого, что до сей поры отзывался в его существе отголоском невозможного, непосильного счастья, хотя в итоге привел к краху, к катастрофе. Вспоминать о том, что он все-таки с нею справился, устоял, не сломался, было, что называется, лестно, хотя в то же самое время ему было жаль своей давно минувшей тоски. Вот именно — не счастья, а тоски, не первоначальной, может быть, от которой невозможно ни есть, ни пить, ни ходить, ни сидеть, ни смотреть на белый свет, а, так сказать, последующей, той, что наполняет жизнь значением и смыслом, поскольку понуждает то и дело действовать, быть лучше, нежели ты есть.

Вот тут-то и зазвонил телефон. Сергей, почувствовав озноб надежды, опять же недостойной зрелого, уверенного в себе человека, едва не бросился к аппарату в прихожую, чем вызвал у Елены саркастическую гримасу. Совершенно напрасную, как оказалось, ибо звонила ему дочь.

Вероятно, в такой момент полагалось бы испытать укор совести, ощутить, как волнение перехватывает горло, но ничего подобного с Сергеем не произошло. Он только подивился несколько отстраненно, будто и не его касалось, каким знакомым, повторяющим материнский, голосом разговаривала эта четырнадцатилетняя девица. Хотя каким еще голосом могла она разговаривать? Как говорится, не из родни, а в родню. Он прики-

нул, когда видел дочь в последний раз. Это было в ее день рождения, ей исполнилось десять лет, Марина устраивала по этому поводу вполне взрослый праздник, пришлось ради такого случая отправиться в гости в дом бывшей своей жены. Обычно в такие дни Сергей встречался с Мариной где-нибудь в городе, та препоручала ему дочь на полдня с уговором доставить ее в определенный час в определенное место. Чаще всего это бывал какой-нибудь оживленный перекресток в центре, куда Марина подкатывала в пронзительно лиловых «Жигулях» своего, наверное, мужа. В свой бывший дом Сергей заходить избегал. А тут уж не удалось отвертеться. Ломал голову, что подарить: и угодить хотелось, и удивить, быть может, и продемонстрировать бывшей жене и бывшей теще, что не жалеет для дочери денег, такая рабская мыслишка тоже мелькала. Он и не жалел, хотя в то время заработки у него были не ахти. Выручила одна сотрудница на работе, где он всем надоел своими отцовскими признаниями и сомнениями. Приволокла бог знает где добытый джинсовый костюмчик, как по заказу, для девочки десяти-одиннадцати лет. И так и сяк его вертели всей конторой, и с практической точки зрения, и по соображениям престижности признавая почти шедевром. Сергею и самому нравился костюмчик, он и без бабьих консультаций знал в этом толк, потому-то, не торгуясь и даже с нескрываемым удовольствием выложил восемьдесят рубликов — «меньше не соглашались», смущалась сослуживица, исполнившая, по принятой версии, роль промежуточной инстанции.

В гости к дочери он ехал почти с нетерпением, черт возьми,— оказывается, это очень приятно делать подарки тому, кого любишь, особенно, если самому тебе за всю твою жизнь подарков почти не доставалось. Он думал об этом без малейшей обиды: что в самом деле могли подарить ему в детстве его родственники? Книгу, выбранную, вероятно, на ходу, в каком-нибудь уличном киоске, как назло, вовсе без учета его склонностей и интересов, дешевенькую авторучку с пипеткой, акварельные краски? Так рассуждал он, подымаясь по широкой лестнице дома, к которому за два прожитых в нем года так и не сумел ни привыкнуть, ни прилепиться душой. Гостей наверху собралось немало, такой сбор сделал бы честь и иному, более солидному юбилею, публика оказалась большею частью Сергею неизвестная вовсе, однако же вроде бы и знакомая. В том смысле,

что совершенно на него непохожая,— не даром ведь вскоре после заключения их брака Марина разобралась, что к чему, и предпочла этих людей ему. Это все были легкие люди, вот в чем дело. Изящные, милые, не было в их кругу большей бестактности, нежели завести какой-либо серьезный разговор. Уж извинительнее невежей прослыть, хамом, монстром, лишь бы только не занудой. Занудства они боялись больше всего, и потому обо всем на свете — о собственных делах, и о любви, и о политике, и о родителях своих, и о детях говорили в раз и навсегда установленном пренебрежительно-поощрительном тоне, с шуточками, с подначками, с непременным стремлением в любом событии и во всяком человеке выпятить смешное. Окажись в их компании известный врач, хирург или, боже упаси, онколог, на чье благосклонное участие, в крайнем случае, они суеверно рассчитывают, за его спиной над ним, над медициной, над больными они все равно потешались бы с легкой душой. Было время, когда такая вот презрительная ко всему на свете, шутовская болтовня поражала Сергея, нечто пряное, притягательное чудилось ему в ней, какая-то губительная охлажденность ума, покуда однажды, как-то в одночасье протрезвев, не сообразил он, что причиной этому высокомерному пренебрежению ко всему святому, заветному да и просто насущному была никакая не избранность, никакой не аристократизм духа, а самая обыкновенная, скучная, бесплодная пустота, выжженность, вытопанность, как на танцевальном пятачке. А еще — бездарность, неспособная хоть чем-либо по-настоящему увлечься — не идеей, так занятием, не занятием, так человеком. Сергей уразумел, как нетрудно, оказывается, возвыситься в собственных глазах над обыденностью труда и творчества, стоит только перенять эту сытую привычку все на свете оплевывать и высмеивать; то-то и оно, что он испытывал ко всей этой «понтыре» природное отвращение. Ничтожество дворового детства приучило его уважать душевный порыв и неотделимую от него муку, в чем бы она ни выражалась: в тоске ли, в неясном ли томлении, в нелепой ли обидчивой задиристости. От того-то и чувствовал он постоянно охоту задраться с этими людьми, тем более что силу, как и деньги, они, при всей своей насмешливости, несомненно, почитали. Однако и тут осознал вскоре, что, даже в случае краткого своего торжества над ними, потеряет несравнимо больше. Так, в

сущности, и случилось. Несмотря на многочисленные свои моральные триумфы, в конечном счете он потерпел сокрушительное поражение, утратив сразу и жену, и семью, и дочь. В тот день, когда дочери исполнилось десять лет, он уже смирился со своим крахом. И на гостей, на их столь ненавистную некогда, непристойно язвительную трепотню не обращал внимания; ни тон их, ни суждения, ни слова больше его не трогали. Ему было все равно. Он сам удивлялся этому и радовался. Как выяснилось вскоре — преждевременно. Подвыпив, гости потребовали шумно, все в той же небрежной, чуть скабрёзной манере, которая некогда выводила Сергея из себя, а его бывшей жене по сю пору казалось признаком избранности и особой посвященности, так вот — гости потребовали, чтобы Дашка продемонстрировала им подарки, полученные к своему первому юбилею. Дашка была не тем человеком, которого надо просить два раза. Она тут же скрылась в своей комнате и спустя некоторое время принялась оттуда то опрометью выскакивать, то появляться торжественно, удивляя общество какой-то немислимой цыганской юбкой, автоматическим прозрачным зонтиком, огромными, похожими на экзотический цветок, вполне настоящими наручными часами из пластмассы. Детским, точнее даже девчоночьим счастливым тщеславием светилась ее мордашка, и тем забавнее было обнаруживать в ее осанке, в повороте головы, в том, что в народе именуется выходкой, некую заносчивую уверенность в себе, свойственную профессиональным красавицам, манекенщицам или стюардессам.

Захмелевший самую малость Сергей с родительским глуповатым благодушием любовался дочерью, замечая в ней, в ее пластике, улыбках и гримасах неуловимые, казалось, лишь ему одному внятные материнские черты, когда-то дарившие блаженство; в то же время по-детски нетерпеливо ожидал он момента, когда дочка выйдет в гостям в подаренном им джинсовом костюмчике, и вот тогда уже произведет истинный фурор — такой нарядной, прелестной, соответствующей своему образу ее никто еще не видел. И все ахнут. Смешно признаться: давно и естественно презирая всю эту публику, он тем не менее безотчетно все еще ориентировался на ее вкусы, а значит, все еще от нее зависел, все еще рвался взять над нею верх.

Дашка в подаренном им костюмчике так и не появи-

лась. Сначала он почувствовал себя уязвленным, потом успокоил себя тем, что в ворохе подарков до него просто-напросто не дошла очередь, а после новой рюмки даже польстил себе с охотой, что его подарок, как особа для нее дорогой, Дашка, очевидно, не захотела выставлять напоказ этой публике. В такую, ненароком забредшую ему в голову версию он почти уверовал, и, если бы не пожелал в ней окончательно убедиться, состояние тайного, незаметного никому торжества ничем бы не было нарушено. Так нет, дернул его черт, как, впрочем, и прежде дергал, прояснить до конца ситуацию.

На перевале вечера, когда всеобщее застолье малопомалу завершилось а-ля фуршетом, проще говоря, междусобойчиками по разным углам квартиры, когда из разных ее концов полилась новейшая музыка и тонко зашекотал ноздри пахучий дымок привозных сигарет, Сергей заглянул на минуту в Дашкину комнату, где бывшая его теща по обыкновению жеманно просвещала Дашку по части хороших манер, и, совершенно не сообразуясь с обстановкой, вытянул из кучи сваленных на диван вещей собственное приношение.

— А почему ты этот костюмчик не примерила? — осведомился он с чуть наигранной обидой, ожидая излияний, может, и не бог весть каких бурных, но искренних, только между ними двумя возможных признаний.

— Да ну его! — и впрямь вполне искренне поморщилась Дашка, даже не удостоив подарок взгляда. — Сразу видно — польский или болгарский!

Сергей не знал, какое у него в это мгновение лицо, дочкина же смазливая мордашка, как и у матери, сделалась непроницаемо-спесивой. И так же, как в свое время перед ее матерью, Сергей испытывал перед Дашкой совершенную растерянность, граничащую с чувством вины. Пластиковый конверт с джинсовым костюмчиком, как-то мгновенно упавшим в цене, действительно дрянным и поддельным, как это он сразу не заметил, жег ему руку. Неизвестно, что было с ним делать. Как со словами непринятой, ненужной любви — взять их назад, сделать вид, что они и не произносились вовсе? Несколько секунд он не в состоянии был ни слова вымолвить, ни пальцем пошевелить.

— Ну что ты, Даша, по-моему, очень миленькая вещь, — с жеманством поспешила бывшая его теща заглядывать внучкину бестактность и тем самым как бы под-

сказала Сергею выход из положения. Он сунул ей в руки конверт и вышел из комнаты. Растерянность и смущение мгновенно были смыты нахлынувшей яростью. Только в этот момент, семь лет спустя после своего развода, он сообразил, какую долговременную ловушку приготовили ему в этом уютном доме, где — в вещах: в шерсти, в коже, в хрустале и фарфоре — разбирались почище ломбардовских оценщиков. С ненавистью смотрел он на гостей, попивающих коньячок и коктейли из особых длинных стаканов — «лонг дринк», «лонг дринк» — рекомендовал это питье нынешний муж не муж Марины, в общем друг белобрысый, на английский традиционный манер причесанный переводчик, только что воротившийся с какого-то чертовски важного конгресса. Его Сергей в ту секунду тоже ненавидел, и бывшую свою жену — больше всех. За то хотя бы, что дочь вышла похожей на нее, как пятак нынешней чеканки на пятак шестьдесят первого года. Внезапно трезвыми глазами увидел он здешнее общество и осознал, на этот раз почти с научным беспристрастием, почему заветная его покупка производит тут жалкое впечатление. Уж больно высокопробен, породист был парад собравшихся на праздник костюмов и платьев, на поверхностный взгляд, приятно неброский и ненавязчивый, лишь постепенно утверждающий свое достоинство подлинностью фактуры и единичностью покроя.

Компания, рассредоточившаяся непринужденными группами по разным углам просторной комнаты, смеялась локальным островам, Сергею стало казаться, что смеются над ним, над его неудачной попыткой обрадовать дочку, над тем, что она фыркнула ему в лицо; подогреваемая хмелем обида разрасталась катастрофически, и уже нетрудно было поверить, что к его дворовому детству относится этот благополучный заливистый хохот, к курткам его, перелицованным из материнского выношенного пальто, к его красным в вечных цыпках, вечно мерзшим мосластым рукам, которые торчали из коротких обтрепавшихся рукавов этих непрочных курток, к той стеснительной робкой радости, которая колотила все его существо, когда неожиданно-негаданно в руки ему будто бы с небес сваливался подарок — довоенный значок Осоавиахима на цепочке или перочинный нож с такой тугой пружиной, что проще было обломать ногти, чем вытащить лезвие.

Злая, пьяная муть подымалась со дна Сергеевой

души, к счастью, он знал, как нехорош, обидчив, неуправляем бывает в таком состоянии, и потому усилием воли переборол, остудил закипавшую агрессивность и, не прощаясь, вышел на лестницу. С почти забытым чувством отверженности спускался он по бесконечным ступенькам, трезвел чуть ли не с каждым шагом и все еще надеялся услышать наверху суматошный дробный топот догоняющей его дочери. Он даже постоял несколько секунд возле самых парадных дверей — топот так и не раздался. Тогда он вышел на улицу, твердо и холодно решив, что никогда больше не придет в этот дом и с дочерью не встретится до той поры, пока она сама ему не позвонит. Выходит, она наконец-то осознала эту необходимость. Четыре года спустя. Он вдруг растерялся — каким тоном с ней разговаривать? Изображать злопамятную холодность было глупо — столько времени прошло, особенно с точки зрения ее маленькой жизни, от всех прочих интонаций — и насмешливых и сердечных — он, как выяснилось, отвык. Да и самая естественная вдруг его оставила.

— Как успехи в школе? — спросил он, не нашедши ничего лучшего. Не хватало еще добавить:— Какие оценки?

— Так себе,— без кокетства, ничуть не темня, ответила Дашка. Сергею понравилось, что она не стала врать и увиливать, тем более что и без ее признаний было известно: ученица она неважная. Несколько раз, скрывая это от Дашки и от бывшей жены, он заезжал в Дашкину школу поговорить с ее классной руководительницей. Школа была, естественно, специальная, престижная, в свое время Дашку еле туда пристроили, и нравилась ему мало, а классная руководительница и того меньше. Была она молода, шикарна и походила на секретаршу какого-либо внешторгового начальства, более своего шефа усвоившую и воспринявшую всем существом протокольную стилистику международных переговоров, во всяком случае, получающую от нее несравнимо большее удовольствие. Особенно в общении с людьми, удаленными от этой ответственной сферы. Разумеется, вполне вежливо держалась с Сергеем учительница, как говорится, в высшей степени корректно, однако сквозь эту англазированную корректность, которая и в манерах выражалась, и в улыбке нет-нет, да и проскакивало нечто неуловимо высокомерное — то ли в равнодушии взгляда, старательно изображающего пе-

дагогическую компетентность, то ли в тоне, за пределами привычек эффективных формулировок удивительно бесцветном и безразличном. Впрочем, своим образом современного педагога, не хуже своих воспитанников осведомленного в новинках радиотехники, поп-музыки и джинсовых лейблах, эта дама владела превосходно, лишь изредка обшаривая Сергея недоуменным взглядом — чему-то он не соответствовал, то ли облику своей дочери, то ли жены (о том, что она бывшая, здесь, естественно, не было и речи), то ли всему данному учебному заведению в целом.

«Подумаешь, лицей,— со злостью думал Сергей,— тоже мне, пажеский корпус...» Он без особой сентиментальности вспоминал свою бывшую школу, первоначально мужскую, со всеми соответствующими времени правами и забавами; но, беседуя с разряженной, дорогой косметикой оснащенной дамой, вставлявшей то и дело, видимо по соображениям профессии, в свою речь английские словечки, которые навязчиво напоминали болтовню фарцовщиков в комиссионке, Сергей почти с нежностью думал о своих учителях, обо всех этих «Ганнибалах» и «Петрах первых», по-военному строгих или же интеллигентски рассеянных, однако же всегда истинно бескорыстных. Если бы от него зависело, он не колеблясь забрал бы Дашку из привилегированной школы, развращенной родительским заискиванием, подарками и подачками, и перевел бы ее в самую обыкновенную, в ту, что за углом от ее дома. Нетрудно, однако, было вообразить, какой переполох вызвала бы в этом доме одна лишь такая попытка.

— Отец,— вдруг вовсе незнакомым, взрослым голосом, очевидно, подражая кому-то, может быть, героине какого-нибудь фильма, сказала Дашка,— мне надо с тобой поговорить.

— Ну так говори,— неожиданно он обрел, наконец, нормальный тон в этом внезапном долгожданном разговоре,— говори, столько времени собиралась. Я тебя слушаю.

— Я так не хочу,— вновь родная своевольная капризность послышалась в Дашкином голосе,— я хочу лично.

— Ах, вот как...— усмехнулся Сергей этой неожиданной-негаданной дочерней настойчивости.— Что ж, приезжайте лично, девушка... Адрес вам, вероятно, известен.

— Нет, к тебе не хочу,— за этой мнимой вздор-

ностью Сергей угадал ревнивое нежелание встречаться с Еленой.

— Ну, что ж,— согласился он после затянувшейся паузы.— Давай встретимся на улице. Когда ты хочешь?

— Завтра,— не раздумывая, заявила Дашка.— Завтра днем.

Как и ее мать пятнадцать лет назад, она не сомневалась в том, что любое ее условие будет принято.

— Завтра не выйдет,— сказал Сергей,— завтра я целый день занят.

— Нет, завтра, завтра,— заносчиво, но в то же время и неуверенно, на грани слез настаивала Дашка.

— Ну хорошо, хорошо,— поспешил согласиться Сергей, женских слез он не переносил, а эти предполагаемые девчоночьи воспринимались им вполне как женские. Он вспомнил чьи-то, не то вычитанные однажды, не то слышанные где-то слова о том, что мужчина зависит от дочери, в сущности, так же, как от любовницы или жены, и отметил справедливость этого наблюдения.

Сговорившись с Дашкой о времени и месте их завтрашнего свидания и уже положив трубку, он сообразил, что бессознательно назначил именно тот перекресток возле Лужников, где некогда встречался с Дашкиной матерью.

— На свидание пойду,— традиционно насмешливым голосом сообщил Сергей, воротившись из комнаты в кухню, впрочем, для иронии имелись основания, он как бы подначивал Елену, все улики налицо — и звонок, и долгий разговор,— какой, в самом деле, смысл кривить душой?

На этот раз, однако, Елена пропустила мимо ушей неуклюжее Сергеево подстрекательство. Деловито убирала она со стола посуду, споласкивала ее под краном, в лице ее, миловидном, но до обиды, до злобы на самого себя, не дорогом ему и не родном, он различил какое-то незнакомое ему выражение, какую-то неведомую замкнутость и отчужденность. Похоже, что он переборщил со своим ехидством...

— Послушай,— начал он глуповатым тоном, каким всегда признаются в неудачных шутках и бестактных розыгрышах,— это ведь Дашка звонила, дочь моя... ты даже видела ее, по-моему.

— Нет, не видела,— спокойно ответила Елена, вытирая стол. Какая-то непривычная итоговость, законченность сквозила в ее движениях.

— Что ж в самом деле,— злился Сергей,— уж и дочь не имеет права человеку позвонить?

— Имеет, конечно,— опять как-то безлично и равнодушно признала Елена.

— Так в чем же дело? Что за повод спектакли устраивать?

— При чем тут спектакли,— еще два-три точных, выверенных движения, и уборка закончена, порядок наведен,— не спектакли, а жизнь. Грустная жизнь, Сережа.

— Какая есть,— пожал он плечами, сознавая при этом, что нельзя с женщиной, даже нелюбимой и нежеланной, но все же близкой, разговаривать таким тоном.

— Вот это правда,— Елена достала из сумки пудреницу и, глядя в зеркало, спросила,— только мне-то она за что, эта грусть?

Сергей молча отвел глаза.

— Что молчишь?

Сергей не знал еще, к чему она клонит, хотя о причине этого внезапного бунта трудно было не догадаться.

— Мне ведь ничего от тебя не нужно,— Елена закрыла пудреницу,— только теплоты, и ничего больше... Хотя бы немного. Но ты даже на это не способен.

Она смотрела на него тщательно подведенными, вполне, можно сказать, красивыми глазами, просто и грустно смотрела, все верно понимая и все же надеясь краем души, что сейчас он опровергнет ее слова.

Сергей не опроверг. Он был бестактно, патологически искренен и не умел, кляня себя за это, подсластить пилюлю. Раньше еще пытался, а теперь не мог физически, язык не поворачивался, прилипал к небу.

— Все верно,— утвердилась Елена в своих самых горьких предположениях и щелкнула запором сумки, словно подводя итог несостоявшемуся выяснению отношений. Впрочем, отчего же несостоявшемуся — все выяснилось.

Сергей поплелся вслед за Еленой в прихожую, неловко пытался ее удержать. Елена, не слушая резонов, переступила порог. Потом замерла на секунду, вновь раскрыла сумку и, вытащив связку ключей, сняла с кольца один из них.

— Возьми, пригодится дочери,— и скрылась за сомкнувшимися бесшумно дверями лифта.

Сергей постоял на пороге, прислушиваясь к гудению умчавшейся вниз кабины,— произошло то, что было

неизбежно, что должно было произойти, чего он ждал с часу на час и на что никак не мог решиться. Радоваться надо было тому, что инициативу Елена взяла на себя, понятное дело, ей ведь важно было запомнить, что она сама, по собственной доброй воле совершила этот шаг,—облегченно вздыхать полагалось. Он и вздыхал, и долгожданное облегчение испытывал, больно оно уж смахивало на внезапную душевную пустоту. Не такую тоскливую и гибельную, какую ощущал он в давние годы, когда ни пить не мог, ни есть, ни ходить, ни сидеть, а только лежать пластом, уткнувшись лицом в пыльное покрывало тахты,—нет, слава богу, не такую, такой пустоты уж, верно, не дано ему было вновь пережить, однако же весьма на нее похожую.

Хлопотный день предстоял ему с самого утра, не столько делами занятый, сколько беготней, разъездами, мотанием по городу из конца в конец; Сергей даже пожалел, что дал себя уговорить, именно на сегодня назначив дочери встречу. В подмосковный совхоз отправился он затемно, тамошний коровник, механизированный и автоматизированный, будто новейший заводской цех, предстояло отснять, да так, разумеется, чтобы бетонные его бастионы и эскалаторная лента транспортера не торжеством голого техницизма воспринимались, а некой современной буколичкой, обещающей в скором времени разлитое молочное изобилие. Не в пример некоторым своим коллегам, предпочитающим натуру выигрышную, праздничную, сенсационно притягательную — мировые чемпионаты, эстрадные конкурсы, премьеры и конгрессы, Сергей не пренебрегал производственными съемками и даже радость находил в том, что фотографирует тех самых людей, среди которых прошли его детство и юность, обыкновенных, в толпе друг от друга мало отличимых. Втайне он гордился, что наперекор этой житейской уравниловке умеет распознать их единственность и непохожесть; к тому же, уж совсем не признаваясь себе в этом, он находил безотчетное оправдание в том, что, уйдя насовсем из их будничной, раз и навсегда определившейся трудовой жизни, он все же, хоть каким-то боком, оказывался к ней причастен, останавливая на пленке ее мгновения.

Вот и на этот раз ему приглянулся председатель колхоза, молодой еще мужчина, года на три-четыре

старше его самого, уже познавший власть и уже отчасти ею избалованный, точнее, кое-какими неотрывными от нее обстоятельствами, например, привычкой к публичности, к прессе и в то же время презрением к ним. Не этим, однако, оказался он интересен Сергею, а уверенной своею деловитостью, непоказной, неброской, зато с иронической российской смекалкой, которая больше всего проявляет себя в умении разбираться в людях. Хотелось думать, что и в Сергее председатель отчасти разобрался, во всяком случае, первоначальная насмешливость, нет-нет да и мелькавшая в председательском глазу, по мере общения сменилась тою особой мужскою доверительностью, какую Сергей знал еще по работе в геологических экспедициях и ценил больше всех прочих проявлений симпатии. Вопреки ожиданиям, а вернее, благодаря вот этой исподволь возникшей солидарности, отснялся Сергей гораздо раньше, а главное — лучше, чем предполагал. То есть, разумеется, судить о том, какая вышла съемка, всерьез можно лишь в тот момент, когда просматриваешь придирчиво проявленную пленку, соображая при этом, каким образом напечатать тот или иной кадр, однако ощущение после работы тоже что-нибудь да значило. И, как всегда, параллельно этому отрадному ощущению, позволяющему Сергею хоть отчасти уважать самого себя, возникало чувство досады и недочета — только-только установилась некая связь с настоящей, неподдельной жизнью, только-только потекли между тобою и здешними людьми несомненные токи доверия и понимания, а уже надо торопиться, благодарить за помощь, укладывать свои вызывающие восхищенное почтение, тускло мерцающие японские причиндалы в поместительный кофр и — не поминайте лихом, до следующего свидания, карточки вышлю. По опыту всех своих прошлых многочисленных съемок он знал, что не пошедшие в печать снимки застрянут в шкафу в его лаборатории, на полках завалются и отосланы никуда не будут, и все же в момент сердечного, почти дружеского уже прощанья совершенно искренне верил в то, что спустя две недели не забудет о своих героях и несостоявшихся друзьях. Должно быть, это душа его по нормальному человеческому свойству сопротивлялась той мимолетности, тому беспрепятственному скольжению по поверхности жизни, к которым вынуждала его нынешняя профессия.

До свидания с дочерью он успел заскочить еще и в

таксопарк, в котором работал когда-то, «Волга», списанная за изношенностью из рядов такси, была им куплена по твердой государственной цене при содействии его бывшего начальства. Сверхтвердая эта цена все равно выбила у Сергея твердую почву из-под ног, не только мобилизации всех средств потребовала, но и нерасчетливой распродажи кое-чего из домашнего имущества, так что Сергеева квартира, давно уже обжитая, вновь напоминала теперь странной своею опустелостью жилище новосела. Хуже всего, однако, что перекрашенная в серебристый благородный цвет, кое-как подновленная и подмарафеченная, бывшая таксистская «Волга» месяца не могла обойтись без ремонта, по крайней мере, без компетентной профилактики. Старая дружба со слесарями и механиками парка помогала, как водится, выйти из положения, однако же от существенных затрат не спасала. Вот и теперь пришлось отступить знакомому слесарю десятку, да к тому же посулить ему художественное исполнение семейного его портрета. Со стыдом признавался себе Сергей, что уж этого-то нужного человека наверняка не упустит из виду, прибудет в его финскими гарнитурами обставленную квартиру для того, чтобы запечатлеть почтенную его родню на фоне арабского ковра и закарпатской чеканки.

Неуважительно сунув полученные деньги в задний карман джинсов, слесарь все же проявил себя совестливым человеком.

— Зря ты, Серега, за дешевизной погнался. Сам шоферил, должен понимать, в каком состоянии эти тачки списывают... Ты бы за те бабки, что в свою коломбину вбухал, шестую модель бы взял.

— «Мерседес»,— в тон ему согласился Сергей.

— Не,— совершенно серьезно покачал головой слесарь,— на «мерседес» ты бы не потянул. Даже на спиленный.

— Ладно,— Сергей уселся за руль в продавленное, издерганное хлесткой таксистской ездой кресло,— для меня и эта бандура хороша.

Слесарь поспешил загладить свою бестактность:

— Да нет, на вывеску-то она в порядке. Окраска — серебристая тень. Что ты, вполне фирменный кар.

— Как раз то, что мне сегодня нужно,— Сергей приветственно поднял руку и выехал за ворота.

Размышляя невольно о словах приятеля, о том что со стороны производит впечатление вполне преуспевающего, уверенного в себе клиента, он по ощущению быстро добрался до Лужников. Остановил машину на пустынной площадке возле гостиницы «Юность» и огляделся по сторонам. Никого, хотя бы предполагаемого похожего на Дашку, поблизости не оказалось. Видит бог, к чему — к чему, а к самодовольной солидности, к внушающей почтение «упакованности», как выражается нынешняя молодежь, он никогда в жизни не стремился. Другие были у него идеалы, может, наивные, наверняка даже, может, и «понтырские» по-своему, то есть в какой-то степени тоже рассчитанные на внешнее впечатление, но в том-то и дело, что всю жизнь он старался обеспечить это желаемое впечатление подлинной сутью. Для того и занимался боксом, и на лыжах прыгал с трамплина, и по тайге шатался месяцами то с геологическим рюкзаком, то с охотничьим снаряжением. А в итоге? А в итоге добился отчасти того аллюра, по которому нынешняя преуспевающая публика не без признательности отличает себе подобных. Ему даже противно сделалось от этой мысли — дожил, называется. Чего доброго, бывшая его супруга Марина, а вместе с нею и бывшая его теща Таисия Митрофановна подивятся тому, как без их участия сделался он в конце концов уважаемым человеком. Его даже в дрожь бросило при этих воспоминаниях. Брезгливый озноб отвращения к собственной персоне. Надо же было столько терпеть такую явную, такую откровенную нелюбовь к себе! Ведь это же постыдно, унижительно, да и вредно, наконец!

Вероятно, тем и объяснялось долгое его тогдашнее оторопелое терпение, что он попросту не мог уразуметь, в чем дело. Почему терзал он себя недоумением, за что? Пока не проклюнулось в сознании, что не за что, а точнее, за то лишь, что напрочь не отвечал он тешиным представлениям о человеке, способном составить Марино счастье. Не отвечал — и все тут, хотя любил ее до потери сознания, до обморочности, до невозможности представить себе, сможет ли день прожить без нее. Кто знает, быть может, как раз беззаветная эта любовь и раздражала более всего Таисию Митрофановну, поскольку служила его единственным и несомненным вкладом в зыбкое свое семейное счастье. Никакими иными капиталами он не располагал. И, надо думать, в глазах тещи выглядел наглецом — мальчишка, студент,

голь перекатная, ни родных порядочных, ни знакомых, своими безудержными сердечными порывами только отвлекал жену от предназначенного ей некоего неясного, однако, несомненно, избранного круга. Ситуация сложилась будто в пьесе Островского: любая жертва со стороны Сергея вызывала у тещи недовольство и насмешку. Он тогда с дневного отделения ушел на вечернее, поступил в таксопарк, наслушавшись о таксистских шальных заработках, не всегда, впрочем, праведных, он с ног сбивался ради того, чтобы обеспечить «трэн» жизни, как говаривала теща, соответственно уровню притязаний своей жены. Все эти натужные старания прямо-таки дураком его выставляли в глазах жениной родни.

Теперь-то он соображал, как бесили тещу именно его жалкие попытки держаться на плаву, в те дни он ни о чем таком не догадывался, с ума сходил, задыхаясь без сочувствия и понимания, как без воздуха.

Сергей вылез из машины, закурил с независимым видом свободного человека, огляделся по сторонам. Никаких созданий Дашкиного возраста не было и в помине. Дашка опаздывала, совершенно в материнском духе.

Тот самый вождеденный круг, о котором, не стесняясь, вздыхала теща, к ее радости не замедлил обозначиться. Сергей даже не заметил, как это случилось, как он сам оказался в этом чужом, замкнутом пространстве, а в скором времени и вновь за его пределами, о которых, впрочем, отныне был уже точно осведомлен. Он запомнил только некую компанию, точнее, конец вечера в некой компании, ничем поначалу ему не подозрительной: так, обычные Маринкины подружки — не то переводчицы, не то кандидатки в актрисы со своими столь же непонятными ему хахалями; впрочем, нет, был там и еще кто-то, рангом повыше, наверняка был, оттого и заварилась каша. Часов около двенадцати он незаметно потянул жену домой, до дому было недалеко, но подыматься ему предстояло в шесть утра, к первой смене. Маринка сделала вид, что не поняла намеков, он продолжал настаивать, все еще деликатно, обиняком, стараясь не обращать на себя внимания. Вот тут и состоялось первое предательство.

— Ну что ты ко мне пристал? — досадливо и вместе с тем показушно громко, так, чтобы расслышали все, и не просто расслышали, а, так сказать, полюбовались на семейную сцену, спросила Марина. — Тебе вставить

рано, ну и иди, кто тебя держит? Это твои проблемы. Иди. Я вернусь попозже.

Не один лишь женский каприз проявился в этих словах и в том, каким тоном, с каким выражением были они произнесены, не одно только понятное своеволие молодой жены — в том-то и дело, что проскользнула в этом всплеске самоутверждения особая тональность, на постороннее восприятие рассчитанная, и на всеобщее, и на чье-то конкретно. Этой самой нотой Марина сознательно, а если безотчетно — то еще хуже, — отделяла Сергея от себя, отводила ему совершенно определенное, малозначительное, служебное место и к тому ж заявляла об этом во всеуслышание, словно бы за тем, чтобы в возможных будущих препирательствах и выяснениях отношений у нее были свидетели его первоначального унижения. Как-то сразу, купно, целиком уразумел он все это тогда и от подлинности осознанного не в состоянии был раскрыть рта. Вероятно, не слишком умно выглядел он в тот момент, не найдясь, как поступить и что ответить; должно быть, потешное представлял он для публики зрелище, если Марина, не удовлетворившись достигнутым эффектом, пожелала еще более утвердиться в своей власти.

— Иди, иди, — словно комического простака, подтолкнула она Сергея. — И не смотри, пожалуйста, с такую великой скорбью, — наверняка смех должна была вызвать эта последняя, снисходительная в своей уверенности реплика. Она и вызвала ухмылку, такую же снисходительную и добродушную, вынести ее оказалось тяжелее, нежели самый злой и ехидный взрыв хохота.

Конечно, Сергей был в те годы, что называется, неотесанным парнем, любая душевная смута, а уж обида тем более, изливались у него в непосредственном физическом действии, вслед за которым почти неизбежно наступали сожаление и раскаяние. Он ударил тогда Марину и тотчас же вышел вон, едва не разрыдавшись на лестнице от сознания непоправимости случившегося и от жалости к жене, по-детски зажмурившейся от его увесистой пощечины. Хотя, честно говоря, жалеть было не о чем, быть может, это и был его единственно верный мужской поступок во всех долгих и запутанных отношениях с женой.

...Сергей взглянул на часы, сверил их с уличными, Дашка опаздывала почти на полчаса. А между тем рабочий его день еще не был окончен. Оглядываясь по

сторонам, он старался издали высмотреть дочь, а точнее, угадать ее в суете возле станции метро и возле тоннеля под мостом, ведущего на ярмарку. Поразительно, как повторяются в жизни одни и те же ситуации! Пятнадцать лет назад на этом же самом месте он вот так же пытался издали распознать Маринин силуэт. Он подумал об этом чисто умозрительно, а вовсе не потому, что ее фигура почудилась в толпе. То-то и оно, что она давно уже нигде ему не чудилась. Настолько не чудилась, что даже поверить трудно, что некогда одна лишь мысль о ее возможном появлении бросала его в дрожь.

Нет, слава богу, в затянувшихся этих отношениях его еще раз хватило на мужской решительный поступок. На то, чтобы уйти. Сразу, без ссор, без скандалов и, к счастью, без унижительного мордобоя, собрал в один прекрасный день все свои манатки, благо немного их было, и на машине, благо опять же, что таксист, маханул, осчастливив разом жену и тещу, на Суцевский вал, в свою сиротскую двенадцатиметровую комнатуху. Он тогда надеялся, что уж это-то суровое решение развяжет все его путы, но не тут-то было. Еще и несколько лет спустя после его отъезда Марина вызванивала его для встречи, и он не в силах бывал ей отказать. Чаще всего это случалось поздними вечерами, даже ночью, она просила, умоляла почти, чтобы он заехал за ней в какую-либо компанию и отвез ее домой. Он бросал все дела, а если спал, то одевался поспешно, мчался через всю Москву по указанному адресу. Ругая себя при этом последними словами и все же в глубине души надеясь на какое-то чудесное, невероятное изменение обстоятельств.

Квартиры, из которых предстояло извлекать бывшую супругу, случались самые разные — и однокомнатные, и такие, в которых ничего не стоило затеряться, и новые, и построенные в годы благих для их владельцев излишеств, и богато обставленные, и кое-как, на скорую руку, — атмосфера, так сказать, создавалась там на удивление одна и та же. Полутемно там бывало, пахло хорошим табаком, нездешними пряными духами — в этом Сергей научился разбираться, но более всего уже с порога ударял в голову невыразимый, однако различимый с ходу дух греха, обольстительного соблазна — Сергей не был ханжой и по дворовому воспитанию своему сизмальства привык к неприкрытости мнимых житейских

тайн; тем не менее в передних этих квартир наваливалось на него какое-то мучительное в своей ущербности нравственное чувство. Открывавшие ему дверь хозяин или хозяйка, возбужденные хмелем, распаренные, как после бани, или же, наоборот, как-то элегически рассеянные, удивлялись его приходу, даже трезвели на мгновение и в дом, слегка оторопев, впускали, да и трудно было его не впустить, высокого угрюмого парня с внешностью не то грузчика, не то матроса.

Марину он находил сразу, она бросалась ему навстречу, объявляла развалившейся на диванах и в креслах компании, что благоверный муж, как всегда, настиг ее и теперь возвращает в семейное гнездо, он не верил ни одному ее слову, и в то же самое время парадоксальнейшим образом надеялся по-прежнему на внезапное ее душевное прозрение. Прозрения, однако, так и не наступало. В машине, которую с трудом удавалось поймать на ночной улице, Марина тотчас же задремывала, будто непосильными трудами, сломленная всей этой безудержной и неутомимой гоньбой — просмотрами, премьерами, днями рождений, внезапными приездами знакомых южан или залетных иностранцев; возле своего дома она инстинктивно подбиралась, будто часовой, сквозь дрему заслышавший шаги поверяющего, клевала Сергея в щеку и исчезала во тьме своего парадного, с тем, чтобы объявиться вновь посреди ночи месяца через полтора-два. В одну прекрасную ночь загадка этих панических ночных вызывов решительно прояснилась.

Как всегда, в чужой квартире, из таких, в которые он никогда не попадал днем, струился сквозь табачную пелену интимный приглушенный свет; как всегда, со всех сторон, с книжных стенок и чуть ли не с потолка лилась обволакивающая душу музыка; и лица в полутьме, как всегда, белели какие-то полужнакомые, то есть лично ему незнакомые вовсе, но вроде бы примелькавшиеся по афишам, либо на телевизионном экране. И Марина, по обычаю, обрадовалась ему так неподдельно, словно в одиночестве, как Пенелопа, ждала его из дальней командировки. Однако в тот самый момент ее властно, с бесспорным правом удержал за руку крупный молодой мужчина — лицо его опять же показалось Сергею неуловимо знакомым, а коротко постриженные волосы удивили тем, что были, как у женщины, обесцвечены перекисью водорода. Марина с капризным же-

манством хотела было вывернуться из рук мужчины, но он, не поддаваясь на ее уловки, с намеренной грубостью тянул ее за собой в глубь квартиры.

Злое, упрямое, капризное было у него лицо и в то же время по-детски недоуменное: как же так, веселая, лукавая, манящая, с чертовщинкой в глазу, то загадочно безмолвная, а то беспечная до дерзости женщина внезапно разыгрывала недотрогу, было от чего опешить. Только что хохотала беззаботно, радуясь шуткам, неуклюже прикрывающим намерение, или же намерениям, кое-как преподанным в виде шутки, глазами стреляла, поощряла безумства и вдруг — нá тебе, она, видите ли, совершенно не по этому делу!

Вот тут Сергея и осенило! По мере приближения решающего момента, опомнившись и желая ускользнуть от неизбежной платы по векселям, бывшая возлюбленная его супруга как ни в чем не бывало вызывает его по телефону, словно личного шофера или, еще хуже, сутенера-телохранителя. Даже осознав всю постыдность отведенной ему роли, Сергей вынужден был ее исполнить. С отвращением, с омерзением к самому себе и, что противнее всего, с мимолетным, но внятным удовольствием. За него-то потом и корил он себя больше всего, за эти два четких, почти незаметных со стороны удара, какими он отключил Маринино кавалера. Кавалер сам нарывался и в преимуществе своем, точно так же, как и в своих правах, не сомневался ничуть. Наказать наглеца бог велел, и все равно; от презрения к самому себе Сергея мутило. Побитый ухажер, забыв начисто о недавней своей самоуверенной агрессивности, требовал вызвать милицию, его успокаивали, отпаивали корвалолом. Сергей увел Марину на улицу, ненавидя ее в этот момент не меньше, чем себя самого.

Что-то перевернулось в ту ночь. Он и на таксистскую свою деятельность, в которую уже втянулся, в которой уже познал кое-какие закономерности и секреты, взглянул в одно прекрасное утро совершенно другими глазами. И вновь, уж совершенно незаслуженно, с какой-то травмированной щепетильностью почувствовал себя бог знает кем: не то наемником, не то лакеем. В те дни и начались его мотания по свету, будто грех какой незамолимый или необоримый страх гнали его из дому: с геологами так с геологами, с охотниками так с охотниками, месяца три он даже собак дрессировал в киноэкспедиции.

На Камчатке, в окрестностях Мутновского вулкана, судьба свела его с человеком, каких он не встречал еще во время разнообразных своих странствий, хотя сталкивался, кажется, с кем угодно. Странный симбиоз являл новый знакомец собою даже наружно. Тут переплелись своеобразно профессия этого человека и его жизненное кредо. По профессии он был фотографом, умел общаться с людьми, посещал по роду службы собрания и зрелища всякого рода, знал толк в хорошей мужской одежде и в новинках техники; по натуре же оставался нелюдимым, больше всего в жизни любил природу, причем дикую, невозделанную, ту, в какой почти незаметно человеческое присутствие. Под старость напрочь отошел он от репортерской суеты, фотографировал только пейзажи для роскошно издаваемых альбомов — озера Карелии, реки Полярного Урала; в тот год он почти два месяца прожил в палатке возле потухшего кратера, день за днем, час за часом запечатлевая на сверхчувствительный «кодак» первые, едва заметные признаки вулканического пробуждения. Учеников старый фотограф не завел, последователей тоже; даже в самые свои рискованные путешествия в горы, на необитаемые острова он предпочитал отправляться в одиночку.

Сергей оказался едва ли не единственным человеком, ради которого он изменил своей естественной мизантропии. Сказать, что они сделались друзьями, было бы слишком сильно — они стали партнерами. А независимо от него партнера, само́ не расположенного, кстати, кому-либо навязывать зависимость от себя, старик счел незазорным приохотить неназфйливо к своей жизненной повадке, к чуть брезгливому одиночеству, к походному снаряжению лучших марок, к пустынной, не нуждающейся в человеке и равнодушной к нему красоте ледников, тундры, безжизненных утесов, о которые разбивается с налету океанская волна. Откровенно говоря, этой хладнокровной философии Сергей так и не постиг, она скорее сопротивление в нем вызывала, стихийное бессознательное противодействие живой теплой души, однако сдержанности и покою, умению держать людей на дистанции и самому дистанцию без нужды не сокращать она его научила. И к делу приставила, о котором он, как говорится, не мечтал ни сном ни духом, забавой его почитая, утехой дилетанта, которое и потом, долго еще по привычке рассматривал как

очередное свое преходящее временное занятие. Известно, однако, что постоянное временных сооружений ничего на свете не бывает. Вот уже больше десяти лет работал Сергей фоторепортером.

В совершенном соответствии с материнским обыкновением Дашка явилась на свидание как раз в тот момент, когда ее уже решительно отчаивались дожидаться. Сергей уже и двигатель включил, когда, бросив, единственно для очистки совести, прощальный взгляд в перспективу осенней улицы, тотчас же углядел там свое единственное дитя. Скорее особым отцовским инстинктом признал его, нежели просто глазом,— за те годы, что они не виделись, Дашка страшно вытянулась и вообще почти взрослой девушкой выглядела, разве что пренебрежительное неосознание некоторых несомненных своих достоинств заставляло видеть в ней все же подростка. Вопреки не то чтобы ожиданиям Сергея, а просто-напросто естественной его уверенности, одета Дашка была не ахти как, в какую-то поролоновую куртку мужского образца и в поношенные, вытертые во многих местах вельветовые брючки. Вид этой дочерней непрезентабельности внезапно кольнул Сергея в сердце, он вспомнил, как ее классная руководительница рекомендовала ему купить дочери приличные сапоги. Ему известно было, сколько сапоги эти стоят, и в сопоставлении с затратами и покупками своих собственных школьных лет такая сумма представлялась ему оскорбительной и бессмысленной. В эту минуту, однако, никакие финансовые соображения морального свойства не казались ему существенными. Нормальная родительская сердобольность, готовая на любые траты, мгновенно овладела им. Он даже устыдился того, что не купил дочери к моменту их свидания никакого подарка. Вот тут воспоминание о том, как расценила она однажды его сюрприз, слегка его отрезвило. К тому же Дашка подошла ближе, и, глядя на ее смазливое, такое типичное для ее поколения лицо, от дискотек неотделимое, от подростковых компаний, колготящихся возле кафе «Лиры», Сергей уже с нарастающей трезвостью подумал о том, что, как у многих ее сверстников, у Дашки небрежная скудость одежды — вовсе не следствие материальных затруднений, скорее — поза, ритуал, вызов

общественному вкусу, а чаще всего — родительскому благополучию.

— Привет, Артемов,— словно однокласснику, бросила ему Дашка неожиданно низким голосом.

— Привет, Артемова,— в тон ей ответил Сергей, со злорадством убеждаясь в своей догадке; грубоватость, «халпежность» у Дашки явно проистекала из принятой в ее кругу наперекор старшим хамоватой эстетики.

— Что же это за обычаи? — осведомился он, хладнокровно подставляя дочери щеку для поцелуя.— Назначаете свиданье, требуете встречи, а потом опаздываете почти на час. К репетитору, наверное, не опаздываете,— не родительским занудно-страдательным голосом произносил он эти замечания, а холодно бесстрастным, каким не упрекают, а выговаривают несостоятельному должнику или деловому партнеру. В наказание, все тем же равнодушно-привередливым тоном, он сообщил дочери, что собирался ради встречи повести ее куда-либо пообедать, но, поскольку она безбожно опоздала, времени у него теперь перед следующей съемкой в обреш, если хочет, может поведать ему о своей нужде по дороге.

Невольный его наставник на жизненном пути, уединенный фотограф и землепроходец, надо думать, одобрил бы про себя такую подходящую джентльмену бесстрастно-невозмутимую интонацию. Сергей и сам ей подивился: раньше, даже при особом желании, она никогда у него не выходила.

— Куда поедет? — поинтересовалась Дашка вроде бы вполне серьезно и даже уважительно, однако с едва различимой насмешкой, на которую у Сергея был особый нюх.— На завод? Или на свиноферму?

— Почему на свиноферму? — сделал вид, что недопонял Сергей.

— Ну как же? — невинно глядя ему в глаза, съязвила дочь,— это ведь твои обычные, как это называется...
темы...

— Совершенно верно,— подтвердил Сергей бесстрастно,— самые любимые. Только сейчас, к сожалению, тема другая. Поедешь?

— Смотри-ка,— присвистнула в ответ Дашка, непочтительно не придавая значения отцовской сухости,— даже не верится, что это «Волга»!

— Залезай, убедишься,— пригласил ее в машину Сергей, ему известно было, каким контрастом с внеш-

ним видом поражает пассажиров интерьер его машины, привести который в божеский вид он так и не собрался по нехватке средств и охоты.

Не дожидаясь повторного приглашения, Дашка проворно обежала машину и, плюхнувшись рядом с отцом, насмешливо огляделась по сторонам, ничего не упустив из виду — ни грязи под ногами, ни пепельниц, набитых смрадными окурками.

— Все вы такие, — с какой-то вовсе не девчачьей, а скорее уже женской подковыркой заявила она, — понтыряшки. Снаружи блеск, фирмá, а внутри — родимое безобразие...

— Кто это «все»? — с интересом посмотрев на нее, осведомился Сергей.

— Кто? Кто? — Дочь нимало не смутилась. — Как будто не знаешь? Мужики современные...

— Мне такие мужики неизвестны. — Сергей, что называется, в комок собрал волю, чтобы не разораться на Дашку, не выйти из себя, да что там, чтобы просто-напросто баранку удержать в руках и не совершить на дороге какого-нибудь оскорбительного нарушения. — А откуда тебе они известны, ума не приложу. В школе, что ли, вашей себя проявляют?

— Да хоть бы и в школе, — совершенно всерьез ответила Дашка, не утратив тем не менее бывалого женского скептицизма. Неужели это мать ее, такая жадная всегда до впечатлений Марина, вдруг разочаровалась в жизни? Ведь это же ее разочарованная бабья мудрость сквозит теперь в Дашкиных словах, чья же еще? Скажите на милость! Неужели клюнул-таки жареный петух? Ему сделалось стыдно своего мгновенного невольного злорадства.

— Хороша, значит, ваша школа, — усмехнулся Сергей, стараясь изо всех сил не утратить этой пренебрежительно-бесстрастной интонации. — Но ведь, слава богу, и другие есть. Ты уж заранее поймей в виду.

— Это где же они есть? — По линии непочтительной язвительности Дашка могла посостязаться с кем угодно, а не только с отцом, известным своим чересчур серьезным, считалось даже, что досадно лишенным юмора отношением к жизни. — Наверное, на БАМе где-нибудь?

— И на БАМе, — совершенно невозмутимо, дабы не ронять репутации, согласился Сергей, отголоски давних бессмысленных вповор, в которых он неизбежно оказы-

вался проигравшей, даже потерпевшей стороной, слышались ему в этой дурацкой ленивой перепалке, он и на раздражении себя ловил том самым, давнем, давно, казалось, позабытом, потому и старался ни за что не повторить былых ошибок.— И в других местах,— продолжал он,— настоящих ребят, слава богу, хватает. Только они тебе неинтересны, ты их знать не хочешь. Тебе же на самом деле только те любопытны, о которых ты говоришь, над которыми вроде бы иронизируешь. Потому что сами вы, юный мой друг, более всего внешним впечатлением обеспокоены. Ходите вот почти в рванине, чтобы соответствовать...

— Чему? — не удержалась Дашка.

— Этого я уж не знаю. Каким-то вкусом, среди вас принятым... Стилю вашему... убеждениям... Хотя откуда они у вас? Парий из себя изображаете, непонятных, отверженных, а дома по лакированному паркету в ботинках боитесь ступить, на коврах валяетесь, системы иностранные у родителей клянчите, по три-четыре тысячи, как же, иначе звук не тот, грохот, видите ли, не такой, вопль, вой не той кондиции — не фирменный, не центральной... «Демократы»! А потом вдруг за ум берутся. Прозревают... Примерными становятся, рванину свою в утиль сдают... Еще бы, карьера светит, кресла, командировки, твердая валюта...

— Пап, ты что это выступаешь? — испуганно, теперь уже вполне по-детски прервала его Дашка. Он и сам осекся, осознав внезапно, что не удержался на зыбком гребне невозмутимой иронии.

— Прости, пожалуйста,— произнес он смущенно, образовав к тому же, что при всем своем вызывающе взрослом виде Дашка все еще ребенком остается, подростком, ничуть не виноватым в тех метаморфозах нравов, которые так его раздражают.

— Прости, Дарья,— повторил он,— так о чем ты хотела со мной поговорить?

Ехать предстояло в противоположный конец города, в спортивный комплекс, построенный на двадцать лет позже Лужников, в иной, дальней москворецкой излуцине. Осенний город бежал навстречу, не в пример летнему, погрустневший и посерьезневший и потому особенно дорогой, до тоски, до какого-то наивного и стыдного першения в горле. Почему-то во всех своих странствиях — и камчатских, и чукотских, и более близких — псковских, либо вологодских, начиная исподволь скучать

по Москве, он всегда представлял ее вот такой, осенней, сентябрьской, в кружении листьев, в потеках дождя на оконных стеклах, в сумеречной необъяснимой праздности. И всякое возвращение домой существовало в его памяти именно осенним возвращением, приятным холодом подмосковных платформ, вокзальных площадей, чья суматоха создает в душе ощущение домашней налаженности и покоя, и странным, уж совсем редким теперь чувством, что все только начинается.

— Мама выходит замуж,— тихо, будто пробурчала, проговорила Дашка.

— Опять? — удивился несколько нарочито Сергей, поражаясь тому, что известие это, уже никакого отношения к нему не имеющее, все же неким нелепым образом его ранит. Во всяком случае «достаёт», как выражается Дашкино поколение.— Так за кого же, если не секрет?

— За иностранца,— буркнула дочь.

Сергей не удержался от свиста:

— Ого! Вот это я понимаю, последовательность! А то что это? — переводчики, дипломаты, внешторговцы — паллиатив! Временное решение, так это по-русски называется. Сбылась мечта, ничего не скажешь.

Он и предположить не мог, как заденет его это известие о закономерном повороте в жизни бывшей его жены, ведь последние пять-шесть лет, это была сущая правда, а не желание самоубеждения, он и думать-то о Марине перестал, а не то, что ревновать.

Из Дашкиного сообщения выяснилось, что будущий ее отчим, как и можно было догадаться, бизнесмен, служит в московском представительстве некой известной фирмы, Марина с легким сердцем покинула свой проектный институт, в котором протрубила более десяти лет, и с архитектурным своим призванием без особого сожаления рассталась, поскольку в ближайшее время собирается помогать мужу в его делах.

— Секретаршей, что ли, у него работать? — уточнил Сергей.

— Наверное,— неопределенно пожала плечами Дашка.

— Секретаршей, конечно,— рассудил Сергей,— не консультантом же по экономической конъюнктуре.

Он вспомнил, какой культ будущей благородной профессии царил в их доме, когда они поженились. Марина представлялась ему непосредственной ученицей Мель-

никова, Корбюзье или Нимейера, ее суждения о городах и знаменитых зданиях чудились ему вершиной изысканного точного вкуса, он из института подался в таксисты не только затем, чтобы содержать молодую жену, но и для того, главным образом, чтобы развивался, не погрязая в обыденности, ее редкий талант. Да, да, именно талант, в этом он ни секунды не подумал усомниться. Какие могли быть сомнения, достаточно было бросить взгляд на ее акварели (архитекторы, как известно, рисуют и пишут красками), достаточно было услышать, какой спектакль намерена она оформить в качестве сценографа, или же понаблюдать за тем, с какой сноровкой из материнского летнего пальто сороковых годов мастерит она себе фирменный туалет (опять же архитектор, золотые руки!). И вот теперь все эти дарования, дерзкие мечты, весь этот мятежный дух отечественной богемы с ее ночными спорами, клятвами и сумасшедшими планами, оказались равны секретарскому месту в фармацевтической компании, белому шведскому столу, разноцветным телефонам и диктофонам, пишущей машинке на электрическом плавном ходу.

Несмотря на последний ремонт, что-то стучало и звякало в машине то и дело: то в двигателе, а то в ходовой части. Сергей подумал, что однажды после очередной профилактики и очередных капитальных затрат она просто-напросто рассыплется на ходу, и дай бог, чтобы для водителя и вероятных пассажиров этот юмористический трюк закончился благополучно.

— Ну а тебе что светит? В связи с маминым замужеством? — поинтересовался он у дочери с тем чувством тщательно скрываемого ледяного страха, с каким мог бы спросить, а может, и спрашивал когда-то у любимой, чего ждет она от новой своей жизни, в которой ему не останется места.

— Не знаю, — Дашка опять пожала плечами, — мне в школе многие завидуют. Говорят, счастливая, столько всего увидишь... Ездить везде будешь, говорить на разных языках...

— Родной разучишься понимать, — добавил Сергей ей в тон.

— Как это? — не поняла Дашка.

— А так. Перестанешь, и все. То есть смысл слов, конечно, останется, но ощущать его перестанешь. Как тебе объяснить?.. Ну, например, «милая Даша», это ведь

совсем не то, что «Даша дарлинг»: Сечешь? То есть буквально то же самое, в словарь можешь не заглядывать, но ведь по существу «милая» это непереводаемо... Для того, кто обращается. И для той, к кому тоже, по моему...

Боксер и лыжник, грубоватый внешне мужик, пятнадцать лет назад он совершенно искренне верил в могущество слов и страшно страдал в спорах с Мариной, в тягостных выяснениях отношений, когда чувствовал, что слова его, так неопровержимо и точно пришедшие на ум, деревенеют, не успев сорваться с языка. Чем искреннее и серьезнее он говорил, чем сокровеннее подбирал доводы, тем вернее загонял самого себя в тупик, собственной неуклюжей логикой сотворенный, а точнее, Мариным восприятием его логики. Самое святое доказательство оборачивалось битьем головой о стену.

Теперь на свои слова он не слишком полагался, хотя они потяжелели, скупее и надежнее сделались, выражая всякий раз что-то конкретно виденное, испытанное, пережитое. Что толку? Такая тяжесть могла лишь отпугнуть Дашку, она еще ничего не видела, не пережила и не испытала, рвется, как водится, испытать и увидеть все сразу, для этого открылись теперь захватывающие душу возможности. Ему случалось спорить с людьми, которых такие возможности однажды ослепили, которым все вокруг заслонили — друзей, любимых, родные улицы и родные деревья — это тоже было с его стороны немалой глупостью, потому что умного человека в таких случаях не переспоришь, а с пустым спорить бессмысленно.

Сергей молчал, злясь на себя, и вновь, как в ту давнюю ночь, когда в последний раз вызволял Марину из подгулявшей компании, сознавал свое поражение. Важно было не выдать себя Дашке, и то дело.

Перед Дворцом спорта он приткнул машину возле двух аккуратеньких иномарок с московскими новыми номерами — не то французских, не то итальянских, в последнее время он хуже стал в этом разбираться.

— Подождешь меня здесь или со мной пойдешь? — спросил Сергей у дочери, вытаскивая из багажника увесистый кофр с аппаратурой. Надо было каким-то однозначным образом закончить разговор, прийти к какому-то определенному выводу, высказаться по-отцовски авто-

ритетно и твердо, как и подобает самостоятельному, спокойному за себя мужику,— вот этого он и не сумел. Потому и оттягивал время, по мужской опять же привычке прячась за неотложностью дел от назойливых житейских вопросов.

— Зачем? — с гримасой безотчетного своеволия поинтересовалась Дашка. Она тоже вылезла из машины и теперь изучала иностранные автомобили с выражением искушенности и пренебрежения, каким, похоже, маскировала любопытство и восхищение.

— Посмотришь,— пожал Сергей плечами,— перед кругосветным путешествием.

Дашка фыркнула по-кошачьи, однако любопытствовала все же будто невзначай, каким зрелищем ее соблазняют.

Сергей объяснил, что фигурным катанием, и перечислил протокольно-безразличным голосом имена спортсменов, которых должен сфотографировать для обложки журнала. Дашка изменилась в лице, при всей своей браваре она оставалась современным подростком, героями ей служили все эти нынешние идолы, о которых Сергей не имел никакого представления — диск-жокеи, эстрадные певцы, те же фигуристы, по полгода не сходящие с телевизионных экранов.

— Точно этих? — Дашка деловито и почти с придыханием в то же время повторила нашумевшие фамилии и при этом едва ли не с самым большим почтением упомянула тренершу, которую Сергей между делом вовсе упустил из виду. Пришлось подтвердить, что и ее.

— Мне казалось, что ты только тундры снимаешь,— недоверчиво призналась дочь, отчасти тем не менее повышая его в ранге,— да еще чабанов разных...

— И чабанов,— согласился Сергей и тут же объяснил ей, что по роду службы не может пока заниматься одними лишь своими любимыми безвестными объектами, приходится иногда довольствоваться и знаменитостями.

Дарья вновь снисходительно ухмыльнулась, признав, что схохмил отец вполне на уровне.

Во Дворец они вошли со служебного входа, вахтер, пенсионер высокомерно бдительного вида, недоверчиво соотнес внешность Сергея с его внушительным документом. У дежурных всех мастей и рангов по неведомой

причине он неизменно вызывал подозрение. Десятки его коллег, внешне вовсе не представительных, ну, может быть, одетых подороже и помоднее, да и то самую малость, обладали свойством с ходу завоевывать неподкупные сердца различных администраций, перед ними открывались любые заповедные двери, и в театры ведущие, и в концертные залы, и в секции знаменитых универмагов, известные под кодовыми номерами; Сергею же, при всей его внешней внушительности, на контроле и перед администраторскими презрительными окошками приходилось качать права. Надо думать, ушлый народ — администраторы и вахтеры, под стать его бывшей теще, подсознательно угадывали в нем некую житейскую несостоятельность, вечную, как бы сказать, угрюмую дворовость, короче говоря, его чужеродность в этом праздничном мире премьер, просмотров, фестивалей и чемпионатов. Вот и родная дочь догадывалась неясно об этом свойстве его натуры и потому, кажется, не верила до конца, что отцу откроется доступ в заповедник чемпионов. Впрочем, когда оловянный взгляд вахтера остановился на ней, Дашка ничуть не потеряла куража, напротив, как-то вся подобралась, закинула голову и на бдительный вопрос, обращенный к Сергею: «А это еще кто с вами?» — ответила заносчиво, опередив отца: «Ассистент!» Сергей от души подивился Дашкиной находчивости и, вероятно, впервые в жизни подумал о том, что ученики необходимы не только для того, чтобы приставлять их к делу, но и затем, чтобы самому обучающему не засидеться в учениках.

Амфитеатры пустых трибун, подобно театральному залу во время репетиций, были притемнены, а каток, озаренный, будто сцена, тускло блестел благородным серебром нераскатанного нового льда. Человек пять или шесть, молодые люди и девушки, можно даже сказать, девчонки Дашкиного возраста — ни груди, ни бедер — кружились, вращались волчками, прогибались так и сяк, имитируя полет, а быть может, и впрямь к полету стремясь, — самостоятельно отработывали всякие сложные коленца — тулубы, батманы, как они у них называются, старался припомнить Сергей, — судя по тому, что выходило у них ловко, а также по замечательным их костюмам, всего лишь для тренировок рассчитанным, а не для выступлений, это были многообещающие спортсмены, но все же не главные мастера, не чемпионы и даже пока еще не кандидаты в них. Чемпионы тренировались

отдельно, в правой половине катка, Сергей, редко смотревший соревнования по телевизору, все же тотчас же их узнал, они выглядели старше и как бы значительнее остальных фигуристов на льду, молодые, но уже зрелые люди, она — высокая, томная, нежная, а может, просто усталая, пожалуй, даже красивая, в отличие от многих других чемпионки с их простоватыми лицами дворовых девочек, продавщиц и машинисток; и он, мускулистый, как и подобает партнеру, но не слишком, не до суперменской самодовольной мощи, и на физиономию приятный,— такими, положительно невозмутимыми и розовощекими, бывают в институтах повышенные стипендиаты, старосты и комсорги.

По ступенькам между рядов Сергей поднялся до уровня второго яруса, фоторепортеру перед съемкой, как и командиру боевой единицы, необходимо бывает осмотреть поле боя, вникнуть в обстановку. Дашка осталась внизу, возле выхода на лед, он не видел теперь ее лица, только темный ее силуэт различал у барьера, но чувствовал ее волнение, сладостный озноб, счастливую лихорадку, которая охватывает молодого человека, когда он впервые носом к носу сталкивается с прельстительным миром славы, аплодисментов, известности.

С помощью широкоформатного объектива, так называемого «рыбьего глаза», способного улавливать действительность стереоскопически, он сделал несколько общих панорамных снимков и, исполнившись вдруг благого намерения, негромко окликнул Дашку; почему бы и в самом деле не пристрастить ее к фотоделу и не удивить, эффект «рыбьего глаза» поражал и более бывалых людей. В ответ Дашка только рукой махнула в досаде, ей было не до него, это он прекрасно понял и чуть не затрясся вдруг от жгучей, мгновенной, как в юности, обиды, едва удержался, чтобы не запустить в дочь японской камерой. Он ненавидел в эту секунду этот сияющий каток с его лучшим в Европе искусственным льдом, с тягучим, мяукающим пеньем какого-то прогремевшего в последние полгода ансамбля, под записи которого шла тренировка, с красивыми, пластичными, каучуково-тугими мальчиками и девочками в замечательных свитерах, куртках и майках, по-английски именуемых «ти-шерт». Злость тем не менее не мешала ему снимать, ловить кадр, отыскивать выигрышный ракурс, профессиональный инстинкт, к счастью, оказывался могущественнее

непреодоленных с юности комплексов. Им и следовало руководствоваться.

— Папа! — раздался снизу просительный Дашкин голос, Сергей оторвался от аппаратуры и увидел, что перед Дашкой стоит мелкокурчавый брюнет в кожаном пиджаке, наверняка какой-нибудь здешний администратор или антрепренер. «Уже кадрят»,— с тоской подумал Сергей, но, судя по обращенному к нему испуганному лицу дочери, отчасти ошибся.

Молодой человек и впрямь оказался чиновником Спорткомитета; как официальное лицо он интересовался, чем, собственно, занимается на закрытой тренировке бог весть каким образом проникшая сюда девица; но и первоначальное предположение Сергея вместе с тем было не так уж далеко от истины. «Еще год-два, и никакой папа уже не спасет»,— соображал он, с оскорбительной медлительностью демонстрируя молодому человеку свои документы. Тот моментально надулся, напустил на себя почти государственно значительный вид, столь знакомый Сергею по съемкам такого рода, вот отчего и предпочитал он фотографировать чабанов и буровиков.

— Я помню о вашем звонке,— милостиво согласился брюнет, с чрезмерной строгостью, как бы перечеркивающей прежний заигрывающий тон, поглядывая на Дашку. Она же, зараза, смотрела на этого разожравшегося хорька с вызывающим, почти взрослым кокетством. Вот так же и мамаша ее умела смотреть на мужчин, от которых хоть что-то зависело в ее жизни, причем необязательно серьезное, так, чепуха какая-нибудь, минутное удовольствие.

— Звонок помню,— повторил с расстановкой кудрявый администратор,— но, боюсь, обстоятельства переменились. Тамара Борисовна,— он кивнул сдержанно вбок, в сторону тренера фигуристов,— сегодня не в настроении. Право, не знаю, имеет ли смысл отрывать ее нынче...

Он вздохнул глубокомысленно и солидно, казалось, что легенда о недоступности тренера нужна более всего ему самому. Для того чтобы производить впечатление на дурочек типа Дашки — от расстройства, от боязни, что нежданный этот праздник вот-вот закончится, она даже осунулась, Сергей заметил это краем глаза.

— Я никого и никогда не отрываю от дела,— произнес он бесстрастно,— это даже не обыкновение мое, а

художественный принцип.— Терпеть он не мог высокопарных выражений о собственной работе, именно потому и прибегнул к ним в эту минуту: — Мне необходимо, чтобы люди занимались своим делом.

Еще о своих путешествиях по Чукотке, о премиях в зарубежных конкурсах не хватало сообщить этому болвану, подумал он с тоской и неприязнью к самому себе.

— Не знаю,— изо всех сил цеплялся за свое служебное достоинство брюнет в кожаном пиджаке,— тренировки очень ответственные, Спорткомитет не одобряет постороннего присутствия.

— Ну это уж заботы моего редактора,— радуясь сухости своего тона, произнес Сергей,— а с Тamarой Борисовной позвольте мне лично переговорить.— Он указал Дашке место на трибуне, где ей следовало оставаться, а сам вышел на лед и твердыми шагами ко всему на свете привыкшего профессионала направился в противоположный сектор катка.

Несмотря на тайную неприязнь свою к знаменитостям, Тамару Борисовну Сергей узнал тотчас же по снимкам в журналах и по телевизионному экрану, там она смотрелась весьма внушительно, операторы любили показывать ее в тот момент, когда она вместе со своими питомцами, обессиленными, но счастливыми ловит на электронном бесстрастном табло свидетельства высшего успеха и победы.

Тамара Борисовна тотчас же принималась звонко лобзать своих учеников, не забывая при этом заглянуть прямо в объектив камеры, на шее ее непременно красовалось кольцо, а на плечах замечательная, небывалая шуба. Сергею были известны зрительницы, чем-то похожие на его бывшую тещу, которые и к телевизору усаживались более всего ради этих шуб и украшений, перипетии соревнований занимали их не в пример меньше.

В жизни Тамара Борисовна выглядела моложе, чем на экране или на снимках, и не так монументально; вальяжная, роскошная ее полнота, все еще соблазнительная в твиде и мохере, приятно и удивительно сочеталась в ней с легкостью и проворством движений, хотя чего же удивительного: ведь не так давно и она выступала в сольном катанье. Говорила очень быстро, хотя и отчетливо, опережая живым умом формулирующий указания язык. И при этом еще курила длинную сигарету, независимо сбрасывая пепел через плечо и,

на минуту предоставив спортсменов самим себе, перебрасывалась намеками с маленькой пестро одетой женщиной, свесившей ноги, обутые в лунные сапоги, с барьера,— не то со вторым тренером, не то с хореографом. Вероятно, они советовались, хотя низкий голос Тамары Борисовны и тут звучал чрезвычайно авторитетно.

Сергея, постороннего человека, видного, что называется, мужчину, обвешанного к тому же разнокалиберной аппаратурой, они решительно не замечали, хотя стоял он в трех метрах от них.

Все же дождавшись паузы, он представился. Тамара Борисовна на мгновение удостоила его взглядом, дежурно улыбнулась, показав зубы, слишком безупречные, чтобы быть своими, и, выразив официальное удовольствие видеть представителя прессы, жестко и без особой деликатности поставила его в известность, что не сможет уделить ему сегодня внимания. К сожалению. И вновь улыбнулась какой-то нездешней, на приемах и пресс-конференциях выработанной формальной улыбкой. Ни чабаны, ни шахтеры, ни доярки так улыбаться не умеют.

— Кстати,— властным и пренебрежительным жестом подозвала она работника Спорткомитета,— я же предупредила...

Курчавый брюнет, скользя, торопился по льду.

— Я объяснял, объяснял товарищу,— торопливо оправдывался он на ходу, неприязненно поглядывая на Сергея,— он, видимо, хотел лично получить отказ.

— Я хотел лично вас заверить,— удивляясь своему спокойствию, произнес Сергей, глядя Тамаре Борисовне прямо в глаза,— что в данную минуту я, к сожалению, а может, и к счастью, лицо не постороннее. Наоборот — причастное. По роду деятельности, вы уж извините.

С каким бы удовольствием после этой фразы он повернулся спиной к этой высокомерной знаменитости и к ее заискивающему окружению и пошел бы восвояси небрежной походкой знающего себе цену мастера, которого даже попрекнуть не посмеют за то, что он не выполнил задания, раз уж не было ему оказано соответствующего уважения. А завтра вместо него придет сюда какой-нибудь хлыщ или же веселый шустрила, который будет рассыпаться перед тренершей в комплиментах, и всей ее камарилье станет льстить, и чиновнику самодовольному что-нибудь пообещает — лекарство, подписку, резину для «Жигулей». То ли слова Сергея

произвели на Тамару Борисовну некоторое впечатление, то ли по-женски сумела она угадать его непошедшие в слова чувства, так или иначе она соизволила уступить. По ее мановению подъехали чемпионы, вежливые, хорошо воспитанные, благожелательные и равнодушные ровно настолько, чтобы с энтузиазмом не тарашиться в объектив,— такую натуру Сергей любил. Тренер обнял спортсменов за плечи, вдруг преобразилась вся, засветилась, засияла, радушной сделалась, словно хлебосольная хозяйка, любящая не только накормить гостей, но и перезнакомить их между собой на случай романа или даже брака, чем черт не шутит. Обаятельнейшая светскость, надеваемая в один момент, будто шуба на плечи, как и давешняя улыбка, наверняка была выработана под светом европейских и всемирных юпитеров, однако плотоядное это лукавство, двусмысленностью отдающее ерничество могли вполне считаться домашним, характерным, естественнейшим свойством, оттого чуткий к таким безотчетным проявлениям природы Сергей мгновенно припал к аппарату.

Позировали спортсмены умело и точно, очевидно, имея четкое представление о том, как воплотится в снимке тот или иной их жест, такой или сякой поворот головы, а уж тем более какое-либо излюбленное танцевальное па. И хореограф попал в кадр, и кое-кто из молодняка помог в создании некоего зрелищного апофеоза (один Сергеев коллега, фоторепортер старой школы, совершенно серьезно называл это «гипофизом», и «гипофиза» во время каждой съемки добивался по традиции, сложившейся еще в тридцатые пламенные годы). Тамара Борисовна проявляла себя опытным режиссером, к тому же она, словно для того, чтобы оттенить былую несговорчивость, демонстрировала истинную широту души, взад и вперед прогоняя перед объективом своих учеников. Можно было поверить, что тренировка невзначай превратилась в особое, для фотографа предназначенное шоу. Уж Дашка-то наверняка так думала, собралил Сергей, кинув на нее взгляд; рекламная суета позирования казалась ей праздником жизни, которому не будет конца. Конец, однако, наступил внезапно. Тамара Борисовна, мгновенно согнав с губ улыбку, из очаровательной матери большого семейства вновь превратилась в суровую начальницу, в должностное лицо, чье время представляет собой государственную ценность и расписано по часам.

— Все,— произнесла она безлично деловым тоном, в котором даже заподозрить невозможно было недавних компанейских интонаций.— Целое представление разыграли. Даже Евровидению такого не устраивали.

— Какое же «все»,— весело возразил Сергей, пропуская мимо ушей ссылку на международный престиж отечественной школы фигурного катания,— какое же «все», когда только начинаем работать.

Глаза тренерши остекленели.

— Да вы, оказывается, нахал,— искренне удивилась она, словно впервые разглядев наконец фоторепортера,— вы что, всерьез полагаете, что мы собрались здесь только затем, чтобы заниматься вами?

— А чего мною заниматься? — усмехнулся Сергей.— Я ведь не Евровидение. На меня и внимания обращать не надо. Мне не представление нужно, а истина.

И как ни в чем не бывало принялся менять объективы.

Еще раз окинув его взглядом, выразившим всю глубину пренебрежения, и ничего не понимая, тренер нарочито повернулась к Сергею спиной — это должно было обидеть Сергея и, чего доброго, унижить; он, однако, почувствовал лишь облегчение. К счастью, за годы, прошедшие после развода, самолюбие его мало-помалу закалилось.

Тренировка возобновилась, Сергей некоторое время ничем не напоминал о себе, лишь смотрел и прислушивался, на него не обращали внимания, быть может, излишне демонстративно, ему только этого и надо было, он ждал, когда о нем совсем забудут. В глазах дочери, он догадывался, это выглядело новым унижением, терзаться по этому поводу не было охоты.

Его вдруг заинтересовали лица чемпионов, ему даже неловко сделалось за то, что поначалу он ими как бы пренебрег, определив для себя ее как избалованную капризницу, а его, как бестрепетного отличника боевой и политической подготовки. Сквозь вымуштрованную любезность, сквозь неизменное обыкновение и на просьбу и на упрек, и на замечание отвечать заученной улыбкой на этих лицах нет-нет да и проступало нечто совершенно иное, ни с какими манерами не совместимое, чему Сергей вначале никак не мог подобрать определения. На усталость это было похоже, на тайную озабоченность или недовольство собой... Такую вот отрешенность, сокровенную сосредоточенность на чем-то самом

главном в жизни Сергей подмечал и при случае старался заснять как раз у обыкновенных, ничем не приметных людей: у работяг, едущих после смены в полупустом, люминесцентной голубизной озаренном ночном трамвае; у водителей рейсовых грузовиков; у женщин, покорно стоящих в хвосте нескорой очереди. Тут и горечь давала о себе знать, опять же не жалостливая, не на сочувствие и внимание рассчитанная, то-то и оно, что внутрь себя обращенная и лишь тенью, отброшенной на лицо, доступная постороннему взгляду. Именно тенью, так легко ее было спугнуть или смутить. Какая уж тут фотография! Он бывало локти себе кусал, что не может в такую вот минуту достать аппарат, и профессиональную безоружность старался возместить жадным наблюдением, непритворным желанием понять, растущей тягой оказаться одним из этих людей.

Что-то подобное почудилось ему в чемпионских лицах — поверх благополучия, благовоспитанности, славы — и в ее, томно-красивом, и в его сосредоточенно-полджительном. Ну уж теперь-то Сергей не отрывался от видоискателя, то так с аппаратом присядет, то этак, на колено становясь, ноги чуть не шпагатом раскидывая, по свойству профессии в кадре он видел больше, чем просто в жизни, не ограниченной рамками искусства. И то, что минуту назад лишь чудилось ему в облике знаменитых спортсменов, вдруг сделалось ему совершенно очевидным — цена успеха обозначилась в том неисчислимом выражении, которое и горечью можно назвать, и душевной надсадой, и внезапной скукой, и протрацией, когда все равно и все едино.

Сначала легкое злорадство постыдно затеплилось у Сергея под ложечкой, ему почудилось, что, угадав нечто сокровенное про этих людей, он тем самым их разоблачил. Заблуждение, свойственное многим его коллегам, да и прочим читателям, в душах, которым по роду занятий или же по душевной прихоти случается толкаться среди публики. Он и заметить не успел, как мнимое его торжество сменилось в нем сочувствием к этим ребятам, таким же пронзительным и честным, какое испытывал он к обычным своим героям — к бурильщикам, заляпанным грязью, к монтажникам в касках и прочих доспехах, разминающим в корявых пальцах «Шипку», к какой-нибудь бабке на огороде, с трудом разогнувшей спину...

Те люди понятия не имели о своем так называемом

образе и со стороны себя представляли плохо, нацеленный объектив их поначалу гипнотизировал, краснеть заставлял, столбенеть неестественно или прихоращиваться; однако, занятые делом, они вскоре напроочь о нем забывали, и правдивы становились, откровенны в каждом обдуманно необходимом по работе или же произвольном жесте, в улыбке, в гримасе досады и озабоченности, в недоумении, пересекшем морщинами лоб, в злости, обозначившей желваки под кожей. Там все выходило честно, как перед матерью. Как перед богом.

У людей же, привычных к публичности, суть была надежно прикрыта личиной артистизма и обаяния, прорваться сквозь которую Сергею бывало не легче, чем сквозь бдительность вахтеров и администраторов. Потому-то он терпеть не мог их снимать, в профессиональном их умении нравиться и пленять чудился ему циничный расчет и лицемерие. И вот надо же, заглянувши за всемирно известную, сотнями юпитеров и софитов озаренную маску, он поймал себя на том, что вовсе не о природе славы думает в этот момент, и не о том, как портят людей овалы и постоянная жизнь на виду — о несостоятельности, ненадежности судьбы хотелось ему размышлять. И на сердце у него скребло всякий раз, когда возникали в кадре эти великолепные молодые люди, при всей их красоте, нерастраченной силе, при наградах их и званиях, не говоря уж о новеньких машинах французского или итальянского производства, украшающих сейчас стоянку.

Как всегда, увлекшись работой, он незаметно успокоился, хозяином почувствовал себя на этой озаренной ярчайшим светом, расхожей, прельстительной музыкой распираемой площадке — когда ему понадобилось продлить какую-то мизансцену, он, не раздумывая и не смущаясь, подошел к тренеру и властно прервал ее посреди вдохновенных, хотя и мало вразумительных для постороннего объяснений. И столько справедливой, рабочей потребности было в его уверенном, не очень-то деликатном жесте, что Тамара Борисовна, к удивлению окружающих, не взвилась и не взъядрилась испепеляющим бешенством, а лишь захлопала намазанными ресницами, отодвигаясь слегка и уступая фотографу место.

Он уловил правду, единственную и однозначную, до которой репортерам в силу вечной спешки и привычки к жизнеутверждающим стереотипам недосуг бывает до-

копаться. Он дух ее учуял, который ни с чем невозможно спутать, очутился в поле ее властного притяжения. Теперь она его влекла, манила неотвратно, хоть за семью замками ее спрячь, одно лишь ее предчувствие озаряло жизнь и буквально вздрагивать его заставляло. Не этого ли испугалась неробкая Тамара Борисовна, бабьим нутром доперев, что не до самолюбия теперь, что на пути к своей истине он самого себя не пощадит и никаких препятствий не потерпит?

К тренерше Сергей тоже переменялся. Не до конца, разумеется, слишком уж лично знаком был ему этот человеческий тип, но все же и в оплывшем ее заносчивом лице, с двойным подбородком, с генеральскими брыльями, разглядел что-то иное, ею самой позабытое, если и сохранившееся, так только на школьных карточках с фигурным обрезом, простодушное, девчачье, доверчивое.

Видимо, не только Сергеева одержимость, не только натужные и неустанные приседания и прочие кульбиты, а сама его повадка нешуточно занятого делом мастера впервые внушили всем этим привыкшим к рекламе людям сочувствие к его делу, а заодно и догадку, что мастерство его на этот раз как-то по-особому их коснется. Во всяком случае, он вновь вдруг оказался в центре внимания, услужить ему старались, с ним всерьез советовались, и не по поводу лишь съемки спрашивали его мнения, но и вообще по существу той или иной композиции, черт возьми!

И, как всякий русский мастеровой, он не то чтобы чересчур загордился от такого к себе отношения, но быстро воспринял его как должное и привередливостью своей, решительными манерами, взглядом вроде бы отыгрывался безотчетно за первоначально испытанное здесь и, оказывается, вовсе им не забытое и не прощенное пренебрежение — не к себе, нет, к своему ремеслу.

Он не заносился и не торжествовал мстительно, он просто уважал себя с тем же сознанием правоты, что и мужик, вспахавший поле, срубивший дом, баранку до одури и ломоты накрутивший по степному разливанному бездорожью.

Отснявши почти всю пленку и ощутив, как усталость болезненно сводит плечи, Сергей прислонился бессильно к барьеру, укатали его фигуристы — ничего не скажешь. Даже головы повернуть не было сил в ответ на деликатное прикосновение к плечу. Это Дашка с неожиданной

для нее чуткостью протягивала ему сложенный вчетверо платок — утереть пот.

— Ну что же, — улыбаясь обворожительно и вместе с тем вполне свойски, обратилась к нему Тамара Борисовна, — долг свой вы исполнили, доставьте и нам удовольствие. Щелкните нас на память.

Не дожидаясь его согласия, она знакомым уже, на безусловное подчинение рассчитанным жестом созвала всю команду. Даже представитель Спорткомитета с приличной ответственному лицу снисходительностью старался пристроиться рядом с Тамарой Борисовной, обнявшейся с молодежью со всею безоглядной щедростью своей широкой натуры.

— Откровенно говоря, я на память не снимаю, — неожиданно для самого себя, не то, чтобы жестко, но с прямою, не оставляющей иллюзий, признался Сергей, обстоятельно вытирая лицо дочерним платком, — но уж вместе с одной девицей — так и быть.

И он вытащил из кофра «широкоугольник» — объектив, позволяющий целиком захватить в кадр как раз такую многолюдную компанию.

Дашка, однако, сниматься наотрез отказалась, а когда ее стали зазывать, понукать и заманивать, вдруг вспыхнула, то ли от смущения, то ли из чувства противоречия, и бегом понеслась к выходу. Спортсменов это развеселило, а потому даже такой нарочитый, семейный, альбомный кадр получился живым и искренним.

Потом уже, в машине, Дашка устроила Сергею скандал, зачем, видите ли, он заставлял ее сниматься вместе с чемпионами, посмеяться над ней хотел — не иначе.

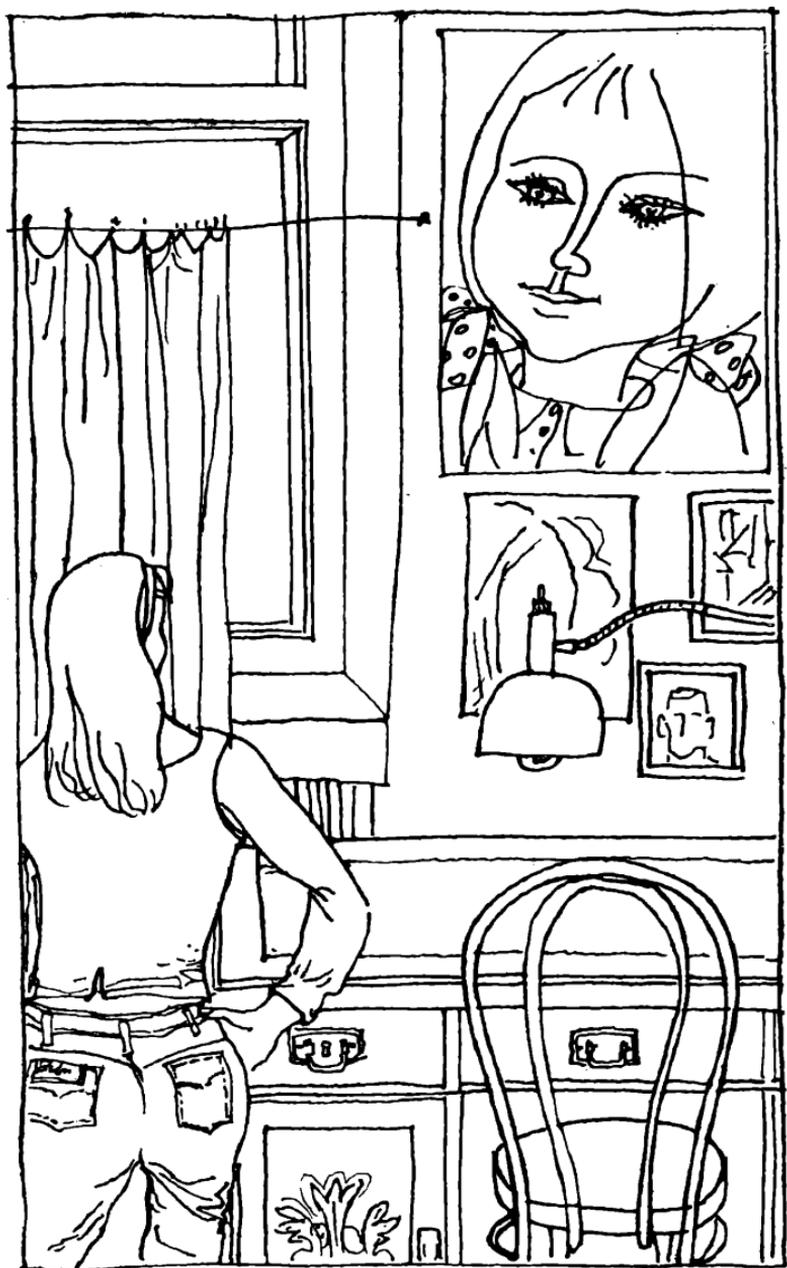
— Но я же видел, что тебе хочется, — шутя, оправдывался Сергей, — так и тряслась вся...

— Ничего не тряслась! — кипятилась Дашка.

— Ну даже если и не тряслась, мог я сделать тебе приятное?

— А кто тебе сказал, что мне это приятно? — приближала Дашка к отцу свое негодующее, пылающее лицо, вновь напоминая ему тем самым какие-то полузабытые, канувшие в вечность женины бунты, — ты что, меня совсем за дурочку держишь? За кретинку, которая знаменитостей у подъезда караулит?

Красный свет дал Сергею возможность всерьез оборотиться к дочери.



— А может, я тебя хотел сфотографировать себе на память? — спросил он ее.— Такую возможность ты допускаешь?

В этой отцовской квартире Дашка не была никогда в жизни и потому осматривалась тут с явным любопытством, впрочем, с тем же самым, что и на улице среди иностранных машин — насмешливым и снисходительным. Отец возился в кухне с чайниками, ничего особо примечательного она там не углядела, кухня как кухня, довольно-таки аккуратная, хотя и скучноватая, словно казенный пищеблок, не оживленная женской рукой. Она торкнулась в ванную, там женщиной вообще не пахло, предметы фотолаборатории — кюветы, ванночки, банки с химикалиями совершенно заслонили набор нехитрых принадлежностей туалета, лезвия, мыльницу, тюбики с пастой и пеной для бритья. Ну уж в комнате-то Дашка наверняка рассчитывала обнаружить ревнивым глазом хоть какие-нибудь следы женского присутствия.

И вновь удивилась необычайной здешней пустоте и скудости убранства; странным, похожим на индейские пироги и в то же время на авиамодели камусным лыжам, прикрепленным к стене; ружью, висящему рядом, старомодному, похожему на те, которыми вооружены в кино разбойники и пираты; шкуре неведомого зверя, прибитой тут же, не ахти какой красивой, даже облезлой, честно говоря, но, видимо, привезенной издалека и тем отцу памятной. Еще на стенах между самодельными книжными полками и над тахтой, между прочим, какой-то неудобной, даже на взгляд, жесткой, как солдатская или приютская постель, — висели окантованные фотографии, опять-таки из дальних и гибельных мест привезенные — из тундры, с горных ледников, с уединенного утеса, обрывающегося в пустынный океан. Совершенное безлюдье поражало на этих снимках, понятно было, что лишь игра света и теней, столб мельчайших брызг, белизна льдины привлекали внимание автора, останавливали его бесстрастный взор. И вдруг над допотопным письменным столом, книгами заваленным, какими-то толстенными папками и конвертами, Дашка обнаружила портрет. И не какой-нибудь, а большой, как на обложке журнала, наверняка получившийся, — она кое-что в этом смыслила — путем сильного увеличения, когда, например, лицо, запечатленное на пленке среди многих

других, как бы вытягивается из окружающего быта, вырастает до объема характера, судьбы, личного изображения.

Девочка улыбалась на снимке, ребенок, дитя, школьница, пионерка; однако натура уже выдавала себя в манере закидывать голову, в складке губ, поджатых так, чтобы усмехнуться было легче, чем расплакаться, в глазах, где нарочитая надменность, бог весть к кому обращенная, изо всех сил прикрывала обидчивую, стыдливую нежность. Солнечный луч бродил у девочки по щеке, заставляя зрителя вспоминать о первом внезапном тепле, о раздуваемом во все стороны свете апреля.

Дашка смотрела на себя и себя не узнавала. Она головы не могла приложить, где, когда, в каком году, на какой улице увидел ее отец и ухитрился незаметно сфотографировать. Она улыбалась самой себе и не решалась себя узнать.

— Ты где? — Из кухни донесся голос Сергея. — Чай готов!

Дашка никак оторваться не могла от собственного лица, она стеснялась этого, уставившись себе в глаза с таким странным ощущением, будто впервые в жизни узнала о себе что-то невероятно важное.

— Тебе что, особое приглашение нужно? — Сергей на секунду возник в дверях, раздраженный Дашкиной неторопливостью.

Она еще раз взгляделась сама в себя и пошла на кухню. Отец уже сидел за столом, слишком большой и громоздкий для шаткой здешней мебели, одетый, как и ее сверстники, в потертые джинсы и в рубашку с погонами, похожий чем-то на тех парней, которые с недавнего времени стали останавливать ее на улицах, только сумрачный и усталый, какими они никогда не бывают.

— Сережа, — неожиданно для себя, как в дошкольные свои годы, обратилась к нему Дашка, — я тебе еще не говорила? Я хочу жить здесь.



Последний день лета

Жуткая, гнетущая жара навалилась на город. Тем более невыносимая, что по календарю лето давно катилось в закат, и не зноя, не пекла, даже не блаженного тепла просила истомленная человеческая природа, а осенней бодрящей прохлады, сентябрьской элегической ясности. Меж тем и раннее пустынное утро не сулило свежести: солнце, затянутое сумеречной, угарной дымкой, всходило над Москвой злым предвестием духоты и потного безразличия.

В домах все до единого окна были растворены настежь. Однако неподвижными, мрачно неколебимыми оставались самые легкие занавески даже на двенадцатом этаже, под крышей типового блочного здания небогатого по нынешним временам кооператива, втиснутого в приземистую толчею бывшей московской окраины. Теперь она помимо воли почти в центр передвинулась, и, если глядеть поверх крыш, можно было поверить, будто до этажерок новоарбатских небоскребов рукой подать. До главных площадей, до знаменитых проспектов и столетних бульваров, где тишина сейчас

застоялась такая же безысходная и удушливая, как и в путанице переулков, как и в не остывших за ночь асфальтовых дворах.

В этот птичий час восхода в однокомнатной холостяцкой квартире Андрея Ершова прогудел настырно резкий, дребезжащий звонок — установить благозвучный электроколокольчик у хозяина вот уже лет пять как руки не доходили. Андрей разлепил глаза, напрягся внутренне в тревоге разбуженного внезапно человека, который не привык к тому же к таким неожиданным визитам, без предупреждения по телефону. Несколько мгновений он лежал неподвижно, будто надеясь еще, что посторонний этот звук долетел из глубин тяжелого душного сна. Звонки, однако, повторились еще настойчивее и требовательнее. Пришлось подняться. В прожженном, хотя до сих пор все еще изящном халате Андрей вышел в свою, подобную чулану, прихожую. Медленно, словно преодолевая бессознательную робость, снимал цепочку, поворачивал ключ. Спросить «Кто там?» — стыдился. Предусмотрительным же глазком его дверь тоже не была оборудована.

Распахнув ее, Андрей вздохнул с облегчением. На пороге стоял очень хорошо известный ему человек. Двадцать два года назад, да-да, всего лишь каких-нибудь двадцать два года, в баснословные времена, когда еще и в помине не было ни «Жигулей», ни джинсов, ни малогабаритных этих холостяцких берлог, японскими календарями украшенных и портретами Высоцкого, они вместе закончили школу. И хотя в последние год-два виделись нечасто, с гостем можно было не церемониться.

— За что люблю старых друзей, — хриплым со сна, раздраженным голосом произнес Андрей, — никогда не оставят в покое. Всегда вовремя навелят.

— Я думал, дружба — понятие круглосуточное, — с горьким вызовом ответил гость. — Прости, Андрей. — И повернулся, чтобы уйти.

— Это уж вы простите, Станислав Николаевич, — хозяин явно ерничал от смущения и от злости, — просим, заждались, входите, будьте любезны!

Гость переступил порог и по обыкновению своего здесь человека без сомнений двинулся в комнату. Андрей едва успел придержать его за плечо.

— Стива. Все-таки надо предупреждать...

Гость замер на мгновение, по лицу его, все еще молодому, почти юношескому, несмотря на морщины у

глаз, было заметно, что он никак не может взять в толк, в чем загвоздка. Наконец до него все же дошло, и угрюмая досада промелькнула во взгляде.

— Сюда, сюда,— хозяин подтолкнул его на кухню, там бросились в глаза следы небогатого вчерашнего кутежа — две чашки с недопитым чаем, почти пустая и липкая на вид бутылка вина, коробка с расплывшимися остатками торта, керамическая пепельница, наполненная до краев раздавленными душистыми окурками, и повсюду крошки и пепел. Стива присел на табуретку, брезгливо покосившись на весь этот содом и передернув плечами. Хозяин обиженно насупился:

— Извините, сэр. Мы, как известно, люди холостые... И вообще, можем себе позволить. Кто нам запретит? — Последние слова уже явным вызовом прозвучали. Не слишком тонким намеком на некие, обоим понятные, давно сложившиеся обстоятельства.

Стива тем временем рассеянно вертел в руках бутылку с остатками десертного вина, будто прикидывал так и этак, что с ним делать, как поступить.

— Похолоднее у тебя ничего нет?

— Ого! — от удивления Андрей сразу взбодрился. — Делаете успехи, молодой человек! Всего только двадцать лет с окончания школы, и вот, пожалуйста, с чего наши медалисты начинают день.

Он раскрыл холодильник и вытянул из ледника запотевшую банку пива.

— Я, насколько ты помнишь, тоже едва не попал на почетную доску, тоже мог бы служить назиданием грядущему юношеству,— решительным движением под краем были ополоснуты стаканы,— на меня даже рассчитывали наши добрые педагоги... Но я не оправдал их надежд. Увы... Увлёкся одной не самой примерной ученицей... Поздно стал домой приходиться... книги отцовские загонять в букинистическом... Но Станислав Томашевский спозаранку поправляет здоровье, кто бы мог подумать...

Тут он словно впервые разглядел лицо товарища — совершенно трезвое, но такое безмерно несчастное и окаменело усталое, что у него даже перехватило дух.

— Что с тобой, Стива? Стряслось что-нибудь?

Стива отвернулся, помотал головой, взглянул в окно.

— Да нет,— проямлил он невнятно,— ничего особенного...

— Но я же вижу! — Андрей от возмущения чуть

банку не трахнул об пол.— Является ни свет ни заря, лица на нем нет, глаза безумные, и все это, оказывается, просто так, только потому, что давно не виделись! Какого же ты, хотя бы десяти часов дождался.

— Я всю ночь по городу шлялся,— тихо, будто с трудом припоминая свои поступки, признался Стива,— шел куда глаза глядят, без определенного маршрута. В центре оказался. Занесло помимо воли... Все наши места облазил, свой бывший двор, твой... Я там лет пятнадцать не был, представляешь...— И умолк. Потом, без всякой связи с предыдущим, сообщил: — От меня Надька ушла.

— Перестань! — совершенно искренне и наивно, что никак не вязалось с его бывалым видом, поразился Андрей.— Да нет,— он рукой отмахнулся от этого сообщения, как от нелепой шутки,— этого быть не может... Надька тебя... безумие просто. Слушай, может, тебе примстилось? Это бывает у таких верных мужей, как ты. Может, она просто расшевелить тебя хочет, спровоцировать... на новые порывы... Ночует где-нибудь у подружки...— Вот уже и привычная насмешливость прорезалась в голосе Андрея, помогающая ему во всех случаях жизни установить верный тон отношений. Смягчить зависимость от чужой воли, либо наоборот, намеренно огрубить сердечность.

В кухню как ни в чем не бывало вошла, а точнее, вплыла молодая девушка, заспанная, блаженно розовая, со спутанными волосами, томная, как кошка. Только Андрееву рубашку набросила спросонок, насколько можно было судить, однако при виде Стивы ничуть не смутилась, потянулась сладко, прогнулась и уселась на табуретку, скрестив с вызывающей скромностью длинные загорелые ноги.

— Уже гости,— отметила она, туманно улыбаясь.

Андрей взглянул на нее с досадой и упреком, потом немного виновато на Стиву и, вопреки правилам, первой представил девушку.

— Наша, как бы сказать, знакомая... Зовут Галя. Засиделась допоздна, пока метро не закрыли.— И, уже обращаясь к девушке: — А это, малыш, мой одноклассник, тебе, конечно, трудно вообразить, но мы тоже когда-то учились в школе.

— Как интересно,— вновь с истомой прогнулась девушка, откровенно разглядывая Стиву,— а я своих одноклассников не вижу.

— Большая удача,— заметил Андрей,— по крайней мере в пять утра никто не заявится тебя будить.

Стиву вдруг прорвало. Он заговорил бессвязно, нервно, ничуть не стесняясь присутствия посторонней девушки, а быть может, и раздражаясь ее беспардонным присутствием, которое вызывало у него мучительные ассоциации. Целую ночь молчание душило его и вот теперь требовало исхода.

— Она просто сбежала, ты представляешь! С ума сойти!

Будто с урока или из надоевшей компании... Утром ушла с сумкой и ракеткой, я не придавал значения, думал, как всегда, на теннис... Днем — нет, вечером — нет, и телефон молчит. Матери ее звоню, подругам — нет, говорят, не заходила. Не знаю, что и думать. На стену лезу. И вдруг в девять вечера приносят телеграмму — распишитесь. Полюбуйся,— он протянул уже затертый, прямо-таки насквозь зачитанный телеграфный бланк.

«Прости за все. Ухожу навсегда. Не жди. Надя»,— торжественно, что опять-таки выдавало иронию, прочел Андрей. Девушка при этом бесцеремонно, с каким-то даже неприличным удовольствием заглядывала ему через плечо. Как будто подозревала, что какую-то особо пикантную подробность от нее намерены скрыть.

— И никаких объяснений — что, зачем, почему? — не находил себе места Стива.

Андрей вздохнул, выдавая неволью какую-то старую обиду:

— Чего уж там объяснять. Скажи спасибо, что на мелодраму вот эту разорилась. Могла вообще до инфаркта тебя допечь неизвестностью. А депеша-то,— он вгляделся внимательно в замусоленный бланк,— между прочим, из Курска. Надо думать, проездом. Заложиться могу, на юг чешут наши влюбленные.

— Счастливые! — совершенно искренне позавидовала полуголая Галя.— К морю, из этой духоты.— Она поймала на себе ненавидящий Стивин взгляд и с испуга осеклась. Вовремя, потому что Андрей уже готов был вовсе не в шутку и врезать.

— То есть как это чего объяснять! — Стива так ерепенился, будто не друга хотел опровергнуть, а самого себя, собственные непереносимые сомнения.— Она потому ничего не сказала, что боялась, как бы я ее не переубедил! Она же не идиотка какая-нибудь! — новый испепеляющий взгляд был брошен на Галю, на этот раз

она его благоразумно не восприняла.— Мы же с ней всегда были самыми близкими людьми! Духовно близкими, ты можешь понять! Ведь за это она меня и любила! А она меня любила, я это точно знаю!

— Ты бы пошла все-таки, привела себя в порядок,— жестко, по-хозяйски велел Андрей девушке. Она ничуть не обиделась на резкость тона и плавной, вызывающей походкой, которая Стиву в бешенство приводила, направилась в ванную.

— «Любила, любила»...— безжалостно передразнил товарища Андрей.— А теперь любит другого. И духовная близость с тобой ничуть этому не помешала.

— Так не бывает! — закричал Стива.

— Бывает, бывает.— Андрей, видимо, придерживался того мнения, что горькая правда в подобных случаях — лучшее средство. К тому же он давал понять, что у него и у самого есть резонные основания отрицать решительно любые благие иллюзии. Просто на дух их не переносить.— Можешь быть уверен, не в поезде они сейчас торопятся к морю, не в общем вагоне. Голову даю на отсечение. Слушай, неужели ты раньше никогда ничего не замечал? Рассеянности там... охлаждения? Поверить в это не могу! Или вот, знаешь, обида у них ни с того ни с сего появляется. Абстрактная, не на тебя, не на кого... а на судьбу...

Стива замаялся:

— Вроде бы ничего. Она, правда, часто ходила на теннис... но ведь могут же у нее быть какие-то свои, не связанные со мною увлечения. Потом она всегда мне оттуда звонила...

— Ну конечно,— Андрей с какою-то неожиданной ненавистью изобразил женский шелестящий, мнимо заботливый голос: — «Милый, ты работаешь? Ну, работай, работай, лапа, не буду тебе мешать, я тебе еще позволю...» Вот они тебя и «разыграли».

Стива чуть не разрыдался — настолько точно, хоть и безжалостно зло, была воспроизведена ситуация. Вполне заурядная, оказывается, он только теперь начал об этом догадываться, и догадка эта его потрясла. Галя, вдохновенно занятая в ванной своею внешностью, не без интереса в то же время прислушивалась к разговору на кухне. Сбивчивые Стивины слова при этом не отвлекали ее, напротив, странным образом сопровождали ее точные, раз и навсегда выверенные движения.

— Я непременно должен с нею поговорить. Пока еще

не поздно. Пять минут, хотя бы пять минут! Она голову потеряла, я понимаю, я поговорю с ней, и туман рассеется. Я умею ее убеждать, в первый раз, что ли? Все встанет на свои места. Я должен их догнать.

— Вприпрыжку? — с невыносимым уже сарказмом поинтересовался Андрей.

— На твоей машине, — как всякий одержимый, Стива не допускал возражений. — Ты же адский водитель, мы их запросто догоним. А если и не догоним, то все равно найдем, я знаю все ее любимые места, куда ее все время тянет. Мне только увидеть ее с глазу на глаз, на пять минут, даже на три минуты... Или хоть письмо ей передать.

Галя тем временем вышла из ванной. Как певица на эстраду или манекенщица Дома моделей на «язык», вынесла себя в тесное пространство запущенной кухоньки одетая в светлое платье, военным стилем вдохновленное, африканской охотой сафари, с карманчиками, клапанами и погончиками. Волосы ее, будто из парикмахерской явилась, оказались тщательно уложены, глаза подведены.

— Как интересно, — произнесла она своим обычным, немного дурашливым тоном, всякое событие окружающей жизни воспринимая с точки зрения сенсационности. — Андрюша, ты когда-нибудь догонял убежавшую жену?

— Видишь ли, малыш, — неожиданно серьезно ответил хозяин дома, — у меня на этот счет другие принципы. Я считаю, что догонять никогда никого не следует. И уговаривать тоже.

Галя усмехнулась. Вдруг сделалось совершенно очевидно, что вовсе не так уж легкомысленна и беспечна в жизни эта юная нестеснительная женщина.

— То-то ты со своими принципами золотое место потерял.

— Я его не потерял, — взвился Андрей, вновь обнаруживая какую-то давнюю боль или обиду, — я его по собственной воле оставил. Это для тебя ошиваться на приемах и любезничать с «фирмой» — верх блаженства, а для меня — типичное холуйство! А я не холуем рожден!

— Ну конечно, — вполне невинно, а потому более язвительно согласилась Галя, — ты у нас рожден для науки! Мечтаешь в нее вернуться. Так что же не пойдешь к тому шефу, как его там, к доктору, членкору, которо-

го о тебе предупредили? Тоже принципы не позволяют?

— Не позволяют, представь себе, — Андрей со злостью махнул рукой. — Но придется, видимо, поклониться. Не век же без дела сидеть!

Из всей этой яростной перепалки, не обращая внимания на тонкости и глубинные намеки, Стива усек лишь одно: Андрей пока свободен.

— Послушай, ведь за неделю дело твое все равно не решится. А я, если ее не найду, я не знаю, что с собой сделаю. Я с ума сойду! — Он умолк в отчаянье, но, вспомнив внезапно о материальной стороне вопроса, принялся заверять: — Денег хватит, не беспокойся... Беру на себя. И бензин, и все остальное... Мы же телевизор цветной собирались покупать.

Андрей молчал, то ли страстной этой просьбой подавленный, то ли Галиным неуместным напоминанием о том, как неважно складываются его дела.

Из деликатности, смущенный собственной непривычной настырностью, Стива вышел на балкон. Московская панорама открылась ему, силуэты новейших отечественных небоскребов, вылезших то тут, то там из гущи знакомых кварталов, купы развесистых, старых, быть может, вековых лип в увеселительном бывшем саду, который со всех сторон обступили, зажали, затерли ныне жилые, на широкую ногу построенные корпуса. Гладь патриархального пруда выглянула среди пожухлой зелени, а чуть дальше — утрамбованная толченым кирпичом площадка теннисного корта. Тугой, цокающий стук ракеток о мяч зазвучал в ушах. Не этот пыльный, запущенный городской корт предстал его взору, а какой-то иной — ухоженный, покрытый низко остриженной, тугой, несминаемой изумрудной травой, веселым, праздничным солнцем озаренный, окруженный нарядной толпой. Мужчина и женщина играли на нем, высокие, поджарые, как и положено фанатикам этой благородной игры, изящные, холеные, будто сошедшие с рекламного плаката всемирных фирм «Адидас» или «Пума». Партнера можно было увидеть лишь со спины, но и это позволяло догадаться, что игрок — не молодой человек, не юноша, а, что называется, зрелый мужчина. Зрелость сквозила в каждом его мощном и пластичном прыжке, обнаруживала себя в хорошо поставленном точном ударе. Лицо женщины возникло перед Стивиными глаза-

ми — прелестное и молодое, и вся она была молода, не девчачьей угловатой, но пленительной в любом движении молодостью самого женского цветения.

Галя из кухни бросила взгляд на Стиву, опершегося о перила балкона. При его росте такая рискованная поза вызывала нешуточную тревогу.

— Как бы не спланировал,— не то съязвила, не то всерьез обеспокоилась она.— Он что, действительно, твой старый друг?

— Друзья всегда старые, малыш,— ответил Андрей, стаскивая с себя халат.— Это только любовь всякий раз новая.

Потом он наспех брлся в ванной, впопыхах оставлял порезы, словно десятиклассник, чертыхался и почти с ненавистью всматривался в свое заметно обрюзгшее, чужое лицо.

* * *

Все трое спустились во двор. Не ахти как велика была здешняя автостоянка, между чахлах кустов выгороженная и мусорных переполненных баков, однако и здесь Андреев «Москвич», поцарапанный, давно не мытый, выглядел вконец опустившимся существом, бог весть как затесавшимся в бодрую процветающую компанию. И внутри машины — ни намек на чехлы на лоснящихся сиденьях, под ногами какая-то хозяйственная либо техническая рухлядь, пепельницы забиты окурками.

— Следы благополучия,— вздохнул Андрей, злыми рывками пытаясь расшевелить не желавший запускаться двигатель.— Аккумулятор сел к чертям собачьим! Одно к одному. Что хозяин, что кар... А помнишь,— это уже к Стиве адресовалось,— как мы его в «Березке» брали? Я тогда только что из Египта вернулся...

Не исключено, что на Галю была рассчитана отчасти эта невольная элегия, но она ничуть не поддавалась, чрезвычайно деловым, невосприимчивым к посторонним впечатлениям, даже туповатым слегка сделалось ее личико. Прямо перед собой смотрела, словно отгородившись от приятелей невидимым стеклом, на манер тех, что в допотопных роскошных машинах отделяли пассажиров от шофера, и время от времени выразительно поглядывала на часы.

Наконец они тронулись с места и по жарким, уже с утра ленивым улицам покатали в центр, где в учрежде-

нии с торжественным порталом служила Галя. Андрей приткнул свой «Москвич» поодаль от разноцветного, сияющего здешнего паркинга и вышел из машины проводить Галю до дверей. Корректной молодой дамой, воплощением делового и спортивного стиля выглядела теперь эта девушка, кто бы и подумал, что еще полчаса назад в мужской рубашке на голое тело сидела она в холостяцкой кухне и притворялась простодушной щекотушкой.

— Непременно заезжай к шефу,— строго наставляла она Андрея.— Ты же сам хотел, чтобы папа поговорил с ним, а теперь кочевряжишься? В какое положение ты ставишь папу?

— Хорошо, хорошо, заеду,— будто провинившийся ученик, соглашался Андрей.

— О друзьях заботишься, очень благородно, конечно,— через плечо Андрея она вдруг будто заново увидела Стиву: он тоже выбрался из машины и топтался в эту минуту посреди тротуара, неприкаянно и безнадежно, будто выгнанный из класса школьник, мешая спешащему потоку служащих.

— Он и вправду ее очень любит? — без малейшего перехода, совсем иным голосом спросила Галя.

Андрей даже не понял сначала, о ком речь, настолько внезапной была эта перемена.

— Кого? Кто? — недоумевал он. Потом, уловив направление ее взгляда, усмехнулся: — Наверное. Тех, кто не любит, не бросают.

Потом они со Стивой вновь катили по раскаленному городу. Надрывно, будто сердце инфарктника, захлебывался двигатель.

— Я все продумал,— в тон ему, задыхаясь, говорил Стива,— ночью было трудно, ночью меня обида душила. Горло перехватывала. Я, наверное, сам виноват. Да, да, не спорь, надо быть объективным. Я стал меньше ею интересоваться, ее делами, мыслями, душевным ее состоянием... Все проклятая диссертация, провалилась она пропадом, господи, да плевать надо было на все титулы и звания... Она почувствовала себя одинокой, вот что страшнее всего, правда?

Зная Стивин характер, Андрей терпеливо молчал, не возражал и не поддакивал, только иногда, будто прикусив язык, насмешливо и горько улыбался. А Стива, не замечая его улыбок, продолжал с упорством свихнувшегося:

— Ты понимаешь, ей, наверное, казалось, что это я ее покинул. Точно! Внутренне покинул, ясно, да? И она неосознанно потянулась к тому, кто рядом. Логично?

— Ни к черту аккумулятор,— выругался Андрей.

— Вот я и должен вернуться первым, понимаешь? Немедленно, теперь, пока не поздно. Пока это ее тяготение не обрело законченной формы. Пока она от меня еще не отвыкла...

— Да куда мы на этом катафалке попремся! — вдруг разозлился Андрей.— Тут до дому не знаешь, доедешь ли, а до моря... Весь двигатель надо перебирать, на это же неделя уйдет, минимум, да еще полторы недели в очереди настоишься!

— А Вовик? — с неожиданной для него находчивостью напомнил Стива.

— Что Вовик? ¹

— Неужели откажет? Ни за что не поверю.

Андрей с некоторым удивлением покосился на друга, покачал головой, словно совершая про себя некую переоценку давно знакомых обстоятельств, и резко крутанул руль направо, поскольку предстояло изменить маршрут.

Такие невзрачные, навечно пропахшие вчерашними щами, точки общепита, несмотря на вывеску «кафе», в расхожем просторечье именуют «забегаловками» и «гадюшниками», а иногда, по старой памяти, «голубыми дунаями». Трудно было вообразить, что у неуютного этого, неопрятного заведения, с липкими его столами и продавленными кособокими стульями, могут найтись свои приверженцы и завсегдатаи. Тем не менее они нашлись. И собрались, как всегда, за столиком возле просторного окна — несколько мужчин разного возраста, еще сохранившие в одежде и облике разрозненные черты кое-какой чинности и даже остаточного щегольства — почти все, например, были при галстуках и причесаны аккуратно, иногда на пробор — и вместе с тем отмеченные тою единой печатью неряшливости, какая присуща еще не спившимся окончательно, но регулярно пьющим людям. Нетрудно было домыслить, глядя на них, что с утра они испытывают, как правило, угрызения совести, обманывая самих себя, стараются навести марафет, смачивают волосы под краном, затягивают удавкой галстук, уже не обращая внимания на грязноватоседую щетину и на угольный воротничок рубашки.

Три «фугасные бутылки портвейна торчали на столе, из четвертой разливал по стаканам вино молодой еще, хотя и оплывший заметно мужчина могучего телосложения. С первого взгляда можно было догадаться, что он и слывет самым значительным лицом в здешней компании, несмотря на то что нашлись бы тут «отдыхающие» и постарше. Как часто бывает, за столом закипал хоть и хмельной, но весьма принципиальный спор, не каких-то там мелких обид или претензий касающийся, но предметов высоких и в данном случае почти отвлеченных.

— Ты мне мозги не парь,— предупреждал могучий мужчина, обращаясь через стол к собутыльнику, пожилому уже гражданину несколько богемной внешности, седовласому, с пушистыми бачками, с кокетливым, хоть и несвежим платочком на шее, несомненному красавцу и пижону сороковых годов,— не парь мозги. Я про керченскую операцию капитально знаю. Не хуже Академии Генерального штаба. И про первый десант, и про второй. Меня это лично интересовало, понял, как бывшего маримана, хоть и с Балтийского флота. По этой линии подготовился.

— Ты подготовился,— иронизировал с достоинством бывший красавец,— а я воевал.

— Да кто же спорит-то? — возмутился богатырь.— Воевал он, герой Отечественной войны! Ты воевал-то в батальоне аэродромного обслуживания, на Карельском фронте, с сорок четвертого, сам говорил. А Керчь у нас где?

— Теперь все воевали,— подначил один из собутыльников.

— Не в этом дело,— обрезал его предводитель застолья,— кто воевал, тот воевал — закон. Вопрос — где воевал? А я, между прочим, не только литературу прорабатывал. Хотя библиотека... этих самых... военных мемуаров у меня в порядке! И наши маршалы, и ихние. Тоже, между прочим, соображали кой-чего насчет картошки дров поджарить. У меня, можно сказать, и личные впечатления. Я тут одному генералу «тачку» делал.— В лице, и в голосе у рассказчика появилась особая значительность, смягченная, впрочем, особой же доверительностью к друзьям.— Это же человек! Что ты! Непосредственный участник! Того самого! Эльтигенского десанта! Митридат врукопашную брал, смерть видел в упор, вот как я тебя. Можно ему верить или нет?

Тем временем Андрей и Стива, оставивши «Москвич» в переулке, входили в классический московский двор. Под старыми ветвистыми деревьями ступали они по асфальту, усеянному раньше срока сгоревшими от жары палыми листьями, мимо облупившегося особняка направлялись в дальний флигель, вовсе не видный из переулка.

Дверь, выходящую прямо на улицу, им открыла симпатичная, видная из себя женщина в домашнем ситцевом платье, с лицом расстроенным и недовольным.

— Явились не запыхались.— Она, кажется, даже обрадовалась приходу гостей, в том смысле, что нашла наконец повод излить на кого-то бессильное свое раздражение.— Хороши товарищи!

— А чем плохи? — пытался отшутиться Андрей, спускаясь по трем скрипучим ступенькам в знакомую с детства квартиру. Странное это было жилье, в двадцатые годы оборудованное предприимчивым застройщиком из конюшни либо каретного сарая. О былом его предназначении напоминали крутые своды потолка да мощная кладка стен, заметная глазу в нишах окон. Старая, громоздкая, чуть ли не антикварная, по нынешним временам, мебель соседствовала здесь с небольшим токарным станком, книжный стеллаж от пола до потолка с разнообразнейшим набором слесарных, столярных и бог весть каких еще инструментов. Не сияло чистотой это определенно запущенное жилище, и о тонком хозяйском вкусе не очень-то свидетельствовало, если принять во внимание дешевенькие эстампы на стенах да наивные силуэты из гнутой проволоки, зато ощущалось тут нечто такое, что дороже любого комфорта и любой эстетики интерьера — тепло и обжитость прочного человеческого существования.

— «Чем плохи? Чем плохи?» — злилась хозяйка, противореча своею взвинченностью умиротворенности собственного дома.— А тем! Как все в порядке, вы все тут как тут,— то у вас премия, то защита, то просто так давно не собирались. А как все кувырком пошло, так вы и глаз не кажете! — Она даже всхлинула от души, давая волю давней и неотвязной своей обиде.

— И тут не слава богу! — искренне подивился Андрей.— Вот уж думать не думал! Что за дела-то хоть? По дамской линии что-нибудь?

— Да ну тебя! — отмахнулась жена Вовика. — Только одно на уме! Да если бы это, стала бы я переживать! Испугалась я соперниц! Да в гробу я их видела!

— Учись, — заметил Андрей Стиве, — вот мудрый подход! Так что же все-таки стряслось? А, Маша?

— Сливается ваш товарищ, вот что, — совсем по бабьи запричитала она, — как занялся этой автомобильной халтурой, так все и завертелось! В себя в бане приходят, а оттуда опять на бровях выползают... И главное — слова не скажи — у меня руки золотые! Да лучше бы они кривые были, прости господи, по крайней мере дома бы сидел, а не с алкашами в яме!

— Где, где? — недопонял Андрей.

— В «стекляшке» на углу. У них там целая гоп-компания подобралась, что ты! Любого на лечение отправлять можно, хоть сейчас...

Стива сомнительно покачал головой:

— Неужели так серьезно? У Вовика отличное здоровье всегда было...

— Здоровье и выручает! — никак не могла успокоиться Маша. — Другого уж давно бы ногами вперед вынесли.

Андрей устало опустил на венский стул, каких давно уже не осталось нигде, кроме разве сельских клубов, и еще раз обвел взглядом эту просторную, причудливо обставленную комнату. Ему и Стиве здесь все было почти родным, двадцать с лишним лет назад они все вместе делали здесь уроки, возились до потного изнеможения под утробное гудение пружин на этом вот, похожем на собор, диване, мастерили хитроумные, микроскопическим почерком исписанные шпаргалки, готовясь к экзаменам, а за тем круглым столом собирались всем классом, провожая товарища на флот. Перед самой первой разлукой, из многих, какие предстояли им в жизни. И он и Стива не раз меняли квартиры, переезжали, съезжались, разъезжались, а Вовик все это время жил в том же самом доме, в каком появился на свет, куда воротился июньским утром, отслужив во флоте четыре года, где женился и стал отцом семейства; быть может, потому и у них со Стивой в этих стенах, как в родительском, давно покинутом доме, отходила душа.

— Н-нда, — покачал головой Андрей, — пришли в эту благословенную обитель искать успокоения, а нашли сплошное расстройство. Что ты будешь делать?

Маша посмотрела на них с горькой бабьей снисходительностью.

— Вам-то от чего успокаиваться!

С ее точки зрения, они были несомненными баловнями судьбы.

— Это известно: чужую беду руками разведу,— согласился Андрей.— Мне действительно не от чего, у меня все в лучшем виде. Просто в изумительном! А вот от клиента,— он кивнул на Стиву,— жена ушла.

Стива при этих словах резко отвернулся к окну, а Маша всплеснула руками.

— Как ушла?! Надежда? Да бросьте вы. Вот это номер... Такая любовь. На вас же смотреть было одно удовольствие,— как ребенок, переключивши внимание, мгновенно забыла о собственных неприятностях.— А, может, просто поссорились, недоразумение какое-нибудь?

— Разве что почтовое,— вздохнул Стива, по-прежнему глядя в окно,— на, ознакомься,— и вытащил из заднего кармана джинсов затертую телеграмму.

— «Не жди»,— последнюю фразу текста Маша повторила вслух,— господи, да как же можно? Как же можно не ждать?

— Можно,— сухо сказал Андрей.— Даже необходимо в некоторых случаях.

Слова эти прозвучали вполне безотносительно, но Стива по-своему понял содержащийся в них намек.

— Маня,— строго произнес он,— ты не думай, пожалуйста, что мы жаловаться пришли. Мы по делу.

— Да, господи, что я не понимаю, что ли,— известие о Стивином горе определенно помогло Маше взглянуть на свое расстройство другими глазами,— а хоть бы и жаловаться! Все равно правильно сделали! К кому же еще идти, как не к друзьям! Ты знаешь, ты только не молчи. У тебя ведь какой характер! Не стесняйся! Это молчание тебя с ума сведет. Ты выговорись!

— Я и говорю,— покорно кивнул Стива.

«Стекляшку» они нашли без труда. И компанию, где лидерствовал их школьный товарищ, различили среди многих, едва переступив здешний порог,— как раз под художественной вывеской о том, что приносить с собой и распивать строго воспрещается. Принципиальный спор

на темы отечественной военной истории, судя по всему, уже иссякал, но из нестройного гула хмельной болтовни все же выделялись по тональности отдельные, то праведно-вопросительные, то старательно-авторитетные реплики.

— А Первым Украинским кто тогда командовал?

— У них уже «пантеры» тогда были, официально говорю.

— А Жуков как об этом пишет?

— Газы они побоялись использовать, фактически известно!

— Смотри-ка,— заметил Андрей, приближаясь к пирующим,— прямо заседание редколлегии военных мемуаров.— И обстановка,— он окинул взглядом застолье,— самая академическая.

— Какие люди! — Могучий мужчина, вокруг которого гоношился и голосил этот самодельный, дешевый праздник, совершенно искренне обрадовался друзьям. Он поднялся во весь свой гвардейский рост и обнял за шею их обоих, точнее, не обнял, а, что называется, прихватил, как делал это, вероятно, еще в школе.

Стива и Андрей, по виду вполне крепкие ребята, совершенно потерялись в этих железных объятьях.

— Кончай, кончай! — обиженно протестовали они, страдая более всего по поводу утраты достоинства.— Перестань, Вовик, совсем обалдел, сколько раз тебе говорить!

Вовик не обижался, он только похохатывал довольно, озорным блеском сияли его глаза, даже удивительно, до чего этот грузный мужчина сделался похож в эти мгновенья на безалаберного и обаятельного школьного заводилу.

— А я уж на вас всесоюзный розыск объявил,— громко, на все заведение шутил Вовик,— по пять двенадцать за голову! Нормальный ход!

— Подорожали,— потирая занемевшую шею, заметил Стива,— раньше ты, кажется, два восемьдесят семь назначал.

— А я и повысить цену могу,— расплылся в улыбке Вовик,— десять двенадцать, например, годится? Или даже шестнадцать пятьдесят!

— А по рубль сорок за чьи головы давал? — поинтересовался Андрей, оглядывая бутылки из-под рублевого портвейна. Насмешливостью он как бы возвращал на

место свою поколебавшуюся самоуверенность.— За этих, что ль? — он кивнул пренебрежительно на компанию вольготно рассевшихся вокруг стола.— Правильно, самая красная цена.

Короткая тишина воцарилась за столом. Алкаши словно не знали: обижаться или нет. «Не думай о портвейне свысока», — глуповатым голосом пропел один из них. А другой, худой, жилистый, в круглых железных очках, несмотря на ежедневное «причащение» не утративший разночинного, семинаристского облика, с вызовом уставился на Андрея.

— Ну ты, фрайер, ты чего выступаешь? Тебя что, вызывали?

— А я без вызова, — ответил Андрей, он понял, что при всех своих потерях, рядом с этими опустившимися людьми и впрямую все еще производит впечатление «фрайера», иными словами, человека благополучного и сытого, и от этого начал весело раздражаться.— Хочу принять участие в дискуссии. Вы тут, я слышал, оружие обсуждали — газы там, «пантеры», фаустпатроны... А между прочим, самое губительное оружие — перед вами.— Он осторожно и брезгливо взял в руки бутылку.— Убойная сила — сто процентов. Посильнее нейтронной бомбы.

— Ну ладно, — в свою очередь, завелся «разночинец». Праведным гневом светились его круглые очки.— Тут простые люди отдыхают! Портвейн ему не нравится! Жри коньяк! «Вдвинь» — пять звездочек! Виски с содовой! Пепси-колу! Интеллигент вшивый!

— Мне нравится портвейн, — перебил его Андрей, — как средство против тараканов и империалистов. А вы им моего друга травите!

— Друга! — взъерепенился очкарик, откидывая пятерней назад пряди непослушных анархистских волос, — подумаешь, персона какая! Отравили бедного, на машине не объедешь! Может, и народ тебе не годится, а не только вино?!

— Закрой пасть! — вдруг выступил Вовик.— Это кто здесь народ? Ты, что ли? Да ты свой народ не то что на портвейн, на зубной эликсир променяешь, лишь бы только зенки налить!

Суматоха поднялась за столом, повскакали с мест, загремели стульями. Стива хватал Вовика за руки, приятели со всех сторон удерживали «разночинца», который, впрочем, не так уж и рвался затеять почешиху, ере-

пенился больше для виду, для «процесса», как говорят на улице, за бутылку пытался схватиться, горло надсаживал, напрягая вздувшуюся жилу.

— Давайте, давайте отсюда, алкаши чертовы, шас участкового кликну,— предательски голосила местная уборщица, размахивая грязной тряпкой,— мало того, что винище жрут, еще и скандалют!

Откуда ни возьмись и впрямь возникла милиция, правда, не слишком сурово настроенная, скорее всего зашедшая перекусить, тем не менее скандал сам собою затух, и друзья не без облегчения оказались на улице.

— Как-то неловко вышло,— в искреннем смущении посетовал Стива,— люди сидели в своем кругу, а мы пришли, незваные...

— И все опошлили, так, что ли? — обозлился Андрей.— Какое общество нарушили, подумать только!... Но ты тоже хорош! Нет, Вова, посмотри на этого гуманиста! Он, видите ли, всегда готов войти в чужое положение. Потому-то у тебя жену и увели!

Выпалив последние слова, Андрей осекся, удар явно получился ниже пояса. Зато двусмысленность нынешней ситуации как-то сразу разрешилась.

— Постой, постой,— по-прежнему с хмельным задором, однако с нешуточным беспокойством заговорил Вовик.— Как это у в е л и? Стива, это что, правда? Кто? Ты только скажи мне, а я уж с ним сам поговорю, если тебе неудобно. Я с ним так поговорю, что он у меня сразу вспомнит о моральном кодексе. Врежу промеж глаз во славу крепкой семьи, и все, и туши свет!

Стива болезненно поморщился:

— Ах, Вовик, разве этим сможешь?

— Не скажи,— мечтательно произнес могучий его приятель, очевидно предаваясь внезапно нагрянувшим приятным воспоминаниям,— это очень верное средство, главное — убедительное.

— Ладно уж, борец за нравственность, ты лучше колеса мои посмотри,— рассудительно попросил Андрей.— Тут, видишь ли, приключение романтическое намечается. Бросок на юг в поисках сбежавшей подруги жизни.

* * *

Техосмотр состоялся прямо под окнами Вовиковой квартиры. В тихом и зеленом дворе, каких с каждым годом все меньше и меньше остается в пределах Садового

кольца, в замкнутом, кое-где мощенном, а кое-где корявым асфальтом покрытом пространстве, отгороженном от городской суеты патриархальными стенами бывшего гнезда московских масонов. Вовик за столом, не меньше, чем о керченском десанте, любил повествовать о чудесах, сокровищах и тайнах здешней ложи, на которую согласно легенде совершили нападение не то анархисты, не то обыкновенные бандиты из числа знаменитых попрыгунчиков. Версии чередовались в зависимости от количества выпитого и от компании, собравшейся за столом. Ни одна тем не менее не уступала другой в яркости и конкретности деталей, Вовик, несомненно, одарен был способностью вживаться в обстановку давно минувших событий. И воссоздавать их с такою простодушной непосредственностью участника, что слушателей порой даже оторопь брала, уж не сам ли он в белом балахоне с пружинами на ногах сигал с крыш во двор, чтобы, подскочив, влететь, подобно демону, прямо в просторное окно на втором этаже купеческого особняка. Нерастраченный мальчишеский авантюризм подспудно бурлил в этом большом и грузном человеке, странным образом сочетаясь с усидчивостью и кропотливостью при возвращении к жизни самых безнадежно и безжалостно загнанных механизмов. Вот и теперь, разложив на старом, в трещинах и рытвинах асфальте многообразные инструменты, Вовик вдохновенно копался в моторе. Именно вдохновенно, это выражалось в полнейшей сосредоточенности, в насвистыванье, весьма фальшивом, каких-то забытых, а то и вовсе не существующих мелодий, в назойливом повторении одних и тех же поговорок и словечек, мало что выражающих по сути, однако неотвязно прилипших к языку. Стива, угнетенный сознанием, что все эти непомерные, с его точки зрения, труды предпринимаются ради его прихоти, от души пытался ассистировать товарищу.

— Может, мне тоже надо было купить машину? — как будто сам с собой рассуждал он при этом. — В конце концов, взял бы учеников, в долги бы залез, как люди поступают.

— Люди по-разному поступают, — скрытый за капотом, наставительно ответил Вовик, — у нас сосед, например, из десятой квартиры, видишь, «Волга» стоит...

— Оранжевая?

— Кому оранжевая, а кому «коррида», так этот цвет в каталогах называется, могли бы и знать, кандидат

наук, так что я хочу сказать, владелец ее, пространщик в Сандунах... Вы готовы переквалифицироваться?

Стива умудренно вздохнул:

— В том-то и дело, когда к ним подъезжает вот такая «коррида», они совсем не думают, кто за рулем — пространщик, спекулянт или кандидат биологических наук, занятый исследованием простогландинов и их влияния на организм.

— Простогландинов,— усмехнулся Вовик, с кряхтением залезая под машину.— Спекулянт — это даже надежнее. Вернее.

— Ну так тоже нельзя рассуждать,— Стива вертел в руках большой разводной ключ, к этому, в сущности, и сводилась его помощь,— это, прости меня, очень поверхностный подход. А может, дело вовсе не в примитивной меркантильности, а в том, что машина олицетворяет для них... ну, как бы это сказать, истинное мужское начало?

— И начало, и концы,— в тон ему донесся из-под машины голос невидимого Вовика.

Стива, однако, не смущаясь, продолжал философствовать:

— Кто вообще знает, а вдруг в автомобиле они неосознанно чувствуют символ надежности, жизненной устойчивости, застрахованности от разных невзгод...

— Только пока эту страховку получишь,— заметил Вовик, вылезая из-под «Москвича», отфыркиваясь и вытирая рукавом измазанный лоб,— все остальные огорчения тебе праздником покажутся, сплошным Первым мая. А насчет надежности, то считай, что к данному механизму это понятие не относится. Вот так вот, простогландин,— он хохотнул, так и этак попробовав незнакомое слово на вкус: похоже, что и оно прилипло к его языку.

* * *

Андрей в ремонте своего «Москвича» участия не принимал, и даже при нем не присутствовал, поскольку в это самое время мыкался в коридорах некоего академического научно-исследовательского института. То там, то здесь останавливался, вглядывался в таблички на дверях, отыскивая нужную, в растерянности возвращался назад, или же наоборот, имитируя решительное спокойствие, широкими шагами устремлялся вперед. Давно уже, откровенно говоря, со времен студенческой

юности, не испытывал он в учрежденческих стенах подобной, по рукам и ногам вяжущей робости. Было время, когда он, пожалуй, и поверить не смог бы, что когда-нибудь вновь ее испытает. А вот пришлось, поскольку не знающий себе цену сотрудник внешнеторгового ведомства с выражением привычной брезгливости на лице заглядывал теперь просительно в чужие кабинеты, а искатель места, не вполне уверенный в правомочности своих притязаний. Заветная дверь как-то не вовремя сама собою отыскалась. Потоптавшись возле нее безвольно, глядя и презирая себя за внезапное потное смущение, Андрей с преувеличенной твердостью переступил порог.

— Добрый день,— кивнул он не очень уже молоденькой, но вполне еще достойной внимания секретарше и тут же через силу изобразил на лице проверенное выражение уважающего себя, собою довольного, однако же самую малость замороженного жизнью мужчины. Женщины инстинктивно испытывают неясную потребность прийти ему на помощь.

— К Евгению Григорьевичу. Если можно, конечно.— Точно отработанный образ и на этот раз не подвел.

— А он вам назначил? — поинтересовалась секретарша, выдавая невольно беспричинную мгновенную симпатию к незнакомцу.

— Да нет,— Андрей усмехнулся как бы про себя, опять же особой усмешкой сильного, но усталого, что называется, замотанного человека,— однако заходить приглашал в любое время.

Это была святая правда, понимающая в людях секретарша тотчас же это ощутила и кивнула вполне по-свойски, допуская внутренне, что такому обаятельному мужчине двери и впрямь могут быть открыты в любую минуту. И тем не менее тут же с сочувственной милой грустью поджала губы.

— К сожалению, именно теперь время неподходящее. Евгений Григорьевич срочно отозван на симпозиум.

— Бывает,— Андрей, не желая потерять лица, ничего на нем не изобразил. А в душе страшно затосковал от того, что предприятие, столько сил у него отнявшее, утраты самолюбия ему стоившее и прочих жертв, ни к чему конкретному не привело, а быть может, и вовсе провалилось.

— Вы не могли бы дать мне домашний телефон Ев-

гения Григорьевича,— как-то неожиданно для самого себя попросил он,— вдруг он уже вернулся?

Откровенность просьбы, которую нельзя было признать вполне корректной, смутила доброжелательную эту даму, на мгновение она даже высокомерно-неприступной сделалась, соответствуя выражением лица строгому и рациональному дизайну приемной. Но только на мгновение. Взглянув с высоты своего ответственного поста на растерянное лицо Андрея, даже беззащитное почти, она совершенно непосредственно ощутила смысл поговорки о том, что сердце не камень. Вздохнула чуть лицемерно, сетуя на женскую слабость, и с улыбкой начертала на особом прямоугольничке белоснежной бумаги заветные цифры.

Сбегая по лестнице, Андрей с запоздалым ухарством вдруг подумал о том, что на щегольской этой карточке вполне мог бы уместиться и еще один телефонный номер.

* * *

Маша, не признаваясь себе в этом, была страшно довольна тем, что появление школьных друзей отвлекло мужа от новой его компании. Больше того, она бы сама с удовольствием накрыла им праздничную трапезу. Впрочем, перед дальней дорогой о застолье не могло быть и речи. Вот собрать кой-чего в дорогу, сухим, как говорится, пайком — это другое дело. Этим она с дорогой душой и занималась, насмешливо поглядывая тем не менее на мужниных товарищей:

— Ну и мужики пошли! И проводить-то по-человечески некому. Дожили, нечего сказать! Я вам кофе в термос налью, хорошо?

— Конечно, набуровь, чего спрашиваешь? — указывал Вовик. — Могла бы и лепешек каких заделать на скорую руку. Пусть лучше в лесочке где-нибудь перекусят, на природе, а не в шалманах этих придорожных.

— Ой-ой, кто бы говорил, сам-то давно ли, — не удержалась не поддеть мужа Маша и тут же прикусила язык, опасаясь взглянуть свое нежданно обретенное семейное согласие.

— Да, провожатых действительно не густо, — признал Андрей, с пытением и чертыханием затягивая «молнию» на дорожной сумке. — Найдутся ли встречающие? Вот вопрос. — Он покосился на Стиву. — Не обижайся, это не к тебе относится.

— Почему же не ко мне? — пожал плечами Стива.— Именно ко мне. Но я не обижаюсь. Надька вечно меня упрекала за то, что я не способен на поступки. Диссертация, споры на кафедре, это ж для нее так... нечто умозрительное.

— Конечно,— Андрею явно нравилось подкалывать Стиву.— Вот теннис — это другое дело. Можно сказать, целая программа действий. Что ни удар, то решительный поступок.

— Пусть она узнает, что я тоже умею отражать удары,— в никуда пригрозил Стива.

— Давно бы пора,— одобрила его Маша. Как никто близко к сердцу принимала она его отчаяние. И волновалась за него искренне, по женскому, почти утраченному в нынешней суете милосердию.— Женщина никогда не должна быть уверена в твоей любви,— завернув плотно крышку термоса, она внимательно посмотрела на Стиву.— Неужели ты этого не знаешь? Слушай меня, сама баба, который уж год замужем. Обожай ее, как хочешь, с ума сходи, совершай эти самые свои поступки, но только не раскрывайся до конца, не показывай виду. Темни хоть немного, понятно? Не давай ей полной уверенности. А ты ведь как? Она тебе про луну скажет, что это солнце, и ты сразу же согласишься.

Стива кивал, справедливость Машиных слов одновременно и уязвляла его, и радовала, а отчаянная, вызывающая улыбка, вдруг озарявшая его поникшее лицо, убеждала всех окружающих друзей в том, что в первый же подходящий момент он сразу же забудет о всех этих благих намерениях и ни у кого на свете не оставит сомнений в своей любви.

Вовик при всей своей насмешливой грубости это отлично понимал.

— Нашла, кого учить. Когда он в Надьку втюрился, это ж не только ей заметно было, а всему прогрессивному человечеству. Их словно по ящику демонстрировали.

Довольный точным замечанием, он отправился на улицу, в последний раз проверить что-то в машине, поставленной у самых окон.

— Его и теперь будто на сцене показывают,— махнул рукой Андрей.— Вся Москва только и спрашивает, что это с бедным Стивом стряслось.

Он как-то нерешительно, совершенно не в своей манере, снял телефонную трубку:

— Коротенький звонок можно?

Глядя, как задумчиво, с промежутками, словно сомневаясь, стоит ли, набирает он номер, и Маша со Стивой пришли, разумеется, к выводу, что звонить он собирается женщине. Однако ничуть не игривым и непривычно зависимым голосом он попросил к аппарату Евгения Григорьевича.

— Простите, что беспокою... Да, да, по деловому вопросу. А когда будет? Неизвестно? — на том конце, надо думать, резко бросили трубку.

— Странно,— пожал плечами Андрей в смущении и растерянности,— нельзя сказать, чтобы очень деликатно... Ну и жизнь пошла!

В окно просунулась растрепанная голова Вовика:

— Ну, вы, участники пробега! Даю гарантию — две недели без починки! При условии, что не будете гнать. Семьдесят километров — нормальный ход.

Всею компанией выбрались на улицу, загрузили багажник кое-какими вещами, хозяйственную сумку с кустарным портретом Аллы Пугачевой, полную домашней снеди, приткнули на заднее сиденье. Обнялись от души на прощание. Отъезжавшие по-братски приложились к Машинной щеке.

— Ну вас,— взгрустнула она,— появятся раз в столет, чтобы тотчас смотаться к черту на рога.

— Ни пуха ни пера, мужики,— напутствовал Вовик друзей, когда они уже сидели в машине,— соблюдайте достоинство. Стива, усек? К тебе относится. Андрюха, ты его жуль чуть что, не давай распускаться.

Андрей изобразил на лице тонкое понимание обстоятельств: о чем речь, как говорится.

«Москвич» тронулся и медленно покатыл, словно поплыл, по длинному двору, минуя арку, разнообразные флигеля и палисадники. Почему-то даже по внешнему впечатлению ясно было, что не ближний предстоит ему путь, что не на другой конец Москвы он направлялся, а, можно сказать, на край Отечества.

Вовик и Маша, как положено мужу и жене, плечом к плечу стояли у своих дверей и махали руками. Выезжая в переулок, автомобиль замедлил ход, он поворачивал, и затылки друзей исчезали из виду.

— Стой! — вдруг заорал Вовик; с легкостью, совершенно неожиданной в таком тяжелом мужчине, он промчался вихрем по двору и буквально уцепился за ручку отъезжающей машины.

— Стоп, мужики! Командора забыли! Вы уезжаете, а я — остаюсь? Хреновина какая-то! В самом деле! Через полчаса соберусь, по-флотски! Всем стоять по местам, с якоря не сниматься! Мария только рада будет, что попал в надежные руки.

* * *

Путешествие в автомобиле не поездка и не прогулка, а именно путешествие в дальние края, да еще такое внезапное, непредвиденное: сорвались и рванули куда глаза глядят — возвращает душе забытую остроту чувств, восприимчивость и возбудимость — будто пыль сдувает с ее поверхности. Душа молодеет, солнце отражает, как в забытые почти годы юности, а совершенная неохватная воля ударяет в голову, как вино. Все, что осталось за спиной, не только дела и надоевшие хлопоты, но даже и быт, и связи, и обязательства, и родимый домашний уклад, — решительно все на свете на какое-то мгновение кажется вовсе несущественным, ошибочным и пресным. Жизнь, единственно достойная своего названия, представляется дордой. Вот такой — бесконечной, бог весть куда ведущей, меняющей по собственной прихоти пейзажи и ландшафты.

Даже Стива, впервые за все это время как будто бы отвлёкся от скорбных и мучительных своих мыслей. И у Андрея неотделимая от него кислотовато-скептическая мина уступила место почти мечтательному выражению. О Вовике и говорить не приходится, он прямо-таки бушевал на заднем сиденье от переполнявших его эмоций, то ржал без видимой причины, то песню ни с того ни с сего пытался затянуть, то в виде дружеской ласки нешуточно лупил товарищей по плечам, и при всей своей внушительной солидности вновь поразительно походил на школьного толстяка-заводилу.

— Живем, мужики, а! Сидели на печи, парились, кисли, и вдруг с ходу — аля-улю! Свободный полет! Автономное плавание! Пишите письма! Мой адрес — Советский Союз! И ведь ни в жизнь бы не собрались, если бы не Надежда твоя благоверная! Я ей даже благодарен, прости, конечно, Стива...

Навстречу им неслись такие же легковушки — «Жигули» различных моделей, «Москвичи», старые и новые «Запорожцы», иногда несносимая «Волга» прежнего выпуска, тяжелая, будто танк, монументально возникала

на горизонте. Это возвращались с юга отгулявшие отпусники, корзинами и фруктовой тарой загрузив до предела семейные свои экипажи, взгромоздив иногда на крыши перетянутые веревками палатки, тюки с неизвестным содержимым, а иногда и целые байдарки. Иностранные автобусы, расписанные картами трансъевропейских маршрутов, встречались по пути время от времени, туристы из-за огромных, подтененных синевой либо желтизной окон глядели отстраненно, будто рыбы из аквариума. Однако чаще всего мчались друзьям навстречу высокие КамАЗы с прицепами, эти караваны были не только мощны, но и быстроходны под стать легковым машинам, оттого, поровнявшись с ними на мгновение, дребезжащий «Москвич» едва ли не отлетал в сторону, сносимый воздушным потоком. Андрей в эти секунды чертыхался, с напряжением выравнивая руль.

— Стива ее тоже поблагодарит, если встретит,— бросил он Вовику через плечо,— что еще ему остается?

Стива встрепенулся, готовясь обидеться, но только вздохнул:

— Ты не хочешь меня понять...

Андрей, забыв о благоразумных предупреждениях, решительно давил на газ.

— Да что там понимать? — азарт шоссейной езды побуждал его к рисовке, к показной резкости и особому залихватскому тону.— Чего понимать? Тоже мне теория относительности! Знаешь, как сказал поэт: «На лестнице кричать «Вернись!» уже не надо». Понял? А ты на всю страну кричишь: «Надя! Ау? Где ты?!»

Андрей по-прежнему подначивал друга.

— Я не кричу,— наперекор его ехидству тихо произнес Стива,— я только хочу сказать ей несколько слов.

— Каких? Каких слов? Тут, брат, уже не слова, а дела на полный ход! — даже лексика у Андрея вдруг прорезалась под стать тону — натурально неотделимая от того шегольства грубостью, какую знаменит частный российский автомобилизм.

— Что ты ей скажешь? «Вернись, я все прощу»?

— А вот это уже не твое дело! — наконец обиделся Стива.

— Конечно, не мое,— тут же смирился Андрей.— Мое дело — крути, Гаврила.

— Кончайте, мужики,— добродушно вмешался Вовик,— в кой-то веки вырвались на волю, расслабиться

можно, дышать, глаза пялить по сторонам, а вы соба-
читесь.

— Да уж,— согласился Андрей,— чего-чего, а воли навалом... От всего на свете освободились — от денег, от любви... Ого, как нас подпаривают! — В зеркале над головой водителя показались окантованные спереди массивным тугим бампером «Жигули» новейшей модели, стремительно, будто вжимаясь в асфальт, настигали они «Москвич», проблесками фар властно требуя дороги.

— Во прут, а! — восхитился Вовик. — Что значит новая «тачка»!

— Да пропусти ты их, Андрей,— поморщился Стива, у которого с детства любая агрессивность, даже просто показная, нарочитая, вызвала чисто физическое от-
вращение,— видишь, им некогда.

— Пропущу,— кивнул Андрей,— я не хам. И хамов на дух не переносу. Нет, вы смотрите, как им не терпится, гадом буду, сейчас гудеть начнут.

И впрямь, в подтверждение его слов сзади донесли нетерпеливые, словно приказ, гудки.

— Что я говорил? — восхитился Андрей своим пониманием жизни.— Видали фельдъегерей! Того и гляди, нагайкой хлопбыстнут!

Он собрался было, не торопясь, не теряя достоинства, будто бы просто невзначай уступить «Жигулям» путь, как в тот же момент, противу всех дорожных правил и приличий, они на полном ходу буквально обскакали «Москвич», вынырнув на пространстве шоссе перед самым его носом. Андрея даже пот прошиб: такие номера, как правило, дорого обходятся тому, кого обгоняют. Не успел он оправиться от потрясения, как его вновь подрезали, будто нарочно повторяя только что проделанный маневр, еще одни «Жигули», такие же новенькие, скользяще элегантные, разве что выкрашенные в другой цвет.

Ослепленный яростью, Андрей бросился догонять обидчиков, но уже через несколько секунд, заслышав в моторе надсадные астматические хрипы, вынужден был резко сбросить газ.

— Воля,— процедил он устало, словно слезы, утирая пот раскрытой ладонью,— ценное достояние. Других нет. Один — безработный, второй — алкаш, у третьего жена сбежала. Компания небольшая, но хорошо подбранная. И вместо транспорта гроб с музыкой.

Друзья ничего ему не ответили. Он покосился на них, Вовика самое первое их дорожное приключение отрез-

вило лишь самую малость, зато в Стивиных глазах, устремленных вслед промчавшимся «Жигулям», появилось какое-то новое, вовсе незнакомое Андрею выражение.

* * *

Возбуждение первых минут пробега постепенно покинуло друзей. Простейшая мысль о том, что долгая такая езда — это труд и для водителя, и для пассажиров, и в первую очередь для транспортного их средства, сама собою сделалась внятной всем участникам путешествия, включая и автомобиль, пожалуй, судя по молодому его кряхтенью, тревожному, необъяснимому сразу дребезгу и стуку в разных его частях. К тому же и привычные для обыденной жизни перебои с тем или иным снабжением, временные, разумеется, конечно же, незакономерные, и на трассе живо напомнили о себе. Возле заправочной станции вытянулся, к примеру, длинный черед разнообразнейших экипажей. Семейных, навьюченных самым прозаическим скарбом, детьми, напиханных пожилыми родственницами, похожими на допотопных приживалок, кажется, даже домашними животными в виде лохматых болонок и бесхвостых сиамских котов, но также и элегантных, всего лишь пару катающих, в соответствии с названием нашумевшего некогда фильма из такой вот автомобильной жизни — мужчину и женщину. Встречные путешественники, коротая время, разглядывали друг друга, жаловались на нехватку бензина и объезды, отводили глаза от остова в пух и прах расколошмаченной машины, которую пост ГАИ выставил, словно современный монумент, на кирпичном пьедестале в наизидание бесшабашным или просто неумелым водителям.

Друзья не без скрытого содрогания осмотревши эту жуткую кучу искореженного, измятого, фантастическими узлами завязанного металла, этот памятник катастрофе, вылезли из своего, сразу показавшегося таким ненадежным «Москвича». Андрей, пересчитывая талоны, направился к окошку заправщицы, а Вовик со Стивой от нечего делать принялись слоняться взад-вперед, разминая затекшие ноги и всматриваясь с затаенной надеждой в окружающую публику.

— Привет,— оживился вдруг Вовик,— вон они, те клиенты, которые нам под Фатежем хвост показали.

Он повернул Стиву лицом к двум «Ладам», которые тоже дожидались заправки, хотя и заметно впереди «Москвича», однако же не настолько, чтобы оправдать эту ковбойскую гонку на шоссе с оскорбительными и опасными обгонами. Разрезанный автогеном кузов, то, что еще недавно было таким же сияющим и сверкающим лимузином, вновь заставил приятелей обернуться в свою сторону. Лишь на мгновение, поскольку на целые и невредимые «Лады» глядеть было все же любопытнее.

Трое мужчин стояли возле машин, веселые, белозубые, по-нынешнему, то есть слегка журнально, неуловимо киношно обаятельные, точнее даже, трое парней, чья молодость, может быть, впервые счастливо совместилась с совершенной и законной полнотой бытия, с возможностью иметь все, что необходимо, именно в то время, когда необходимо, нормально и естественно иметь, без надрыва и напряжения, как раз по мере пробуждения и выявления потребностей. Поскольку у большинства сограждан зазор между мечтою и несколько запоздалым ее претворением тотчас же обнаруживает себя в том или ином несоответствии внешности стилю, либо повадки имуществу, трое молодых буквально в глаза бросались особой, ничуть не наигранной уверенностью в себе и умением взирать на мир с некоторым снисходительным безразличием. Как бы ничему на свете не придавая слишком большого значения.

Стиву данный человеческий тип, хотя в быту он с ним почти не сталкивался, одним своим видом повергал в странное смятение, внутреннее беспокойство на него нагонял. Его, пожалуй, и страхом неосозанным можно было бы назвать, но все же это был не страх за себя лично, за свою шкуру, а некая на первый взгляд совершенно необоснованная боязнь за все ему до боли, до озноба дорогое, за мысли, за сокровенные чувства, за жену Надю, наконец. Вовик, при отсутствии комплексов, ни малейшего ущемления от контактов с подобными «центровыми» ребятами не испытывал, выгодных клиентов по автомобильной части привык в них видеть, которые отстегнут за срочный ремонт любую сумму да еще сверху накинут, ну а если занесутся не в меру случаем, то осадить их, на место поставить ему не составляло труда — не на фрайера, не на хмыря лопухого нарвались. Сейчас, между прочим, Вовику представлялся именно тот самый случай проявить свои педагогические способности.

— Ну что,— Вовик даже руки потер в предвкушении,— может, пойти, сказать им пару слов?

Стива переполошился, он слишком хорошо знал своего товарища:

— Вова, я тебя прошу!

Как раз в этот момент выпрыгнули из машины две девушки, а их появление способно было унять чьи угодно решительные намерения. Некоторая даже досада омрачила на миг лукавое лицо Вовика, какую неизбежно вызывает вид красоты, сопровождаемой недостойным, с нашей точки зрения, окружением. Недостойным же по той простой причине, что прочным, хозяйским, непроницаемым — не оставляющим надежд на посторонние поползновения.

Девушки, по-нынешнему рослые, свободные в движениях, пластичные — то ли от природы, то ли от соответствия привычкам профессии и моды — и впрямь были хороши, особенно одна, с нежным, будто бы удивленным лицом. Вторая была тоже очень даже ничего себе, но ее сытенькая, самодовольная физиономия слишком явно выдавала характер и жизненные цели.

Подошел озабоченный Андрей, привычно плюхнулся за руль и только тут обратил внимание на молодых женщин. Долгим, пристальным, обстоятельным взглядом смотрел он на них — так знающий тренер оценивает возможности рокового соперника, а бывалый командир изучает местность, на которой предстоит принять бой.

— Какие, однако, впечатление встречаются в пути,— мнимо безразлично покачал он головой, для того чтобы скрыть от приятельских глаз нежданную, похожую на азарт игрока, на задор кулачного бойца счастливую дрожь всего своего существа, какую ценил, какую дорожил больше всего в жизни. Жаль только, что все реже и реже охватывала она его.— Действительно, стоило ехать.

Вдруг до него дошло, что путешествуют красотки как раз в тех «Ладах», что так рискованно и пренебрежительно его обогнали. Он высунулся в окно и на этот раз четким сознанием делового человека оценил лихих автомобилистов, налитых жизнью, ее соками и силой, заводных, спортивных, принадлежащих, очевидно, к одному и тому же кругу и даже к одной и той же физической породе. Хотя один из них, невысокий крепыш, был белокур, другой шарообразной шапкой смоляных жестких волос походил на лидера «черных пантер», а у третьего розовощекое смешливое лицо всеобщего

любимца и баловня украшала изящная, не то мушкетерская, не то по-русски барская бородка. Внезапным томлением отозвалось в груди у Андрея зрелище этой компании. Он узнавал себя в этих ребятах, да чего там, он просто был одним из них, совсем недавно, вчера, ну от силы — позавчера, боже мой, неужели уже десять-двенадцать лет просвистело с тех самых пор? Он узнавал себя в них, но даже в лучшие свои годы, в праздничную, удачливую пору жизни, когда свершения опережали самые честолюбивые планы, он все же не бывал вот так вот свободен и безотносителен и в шмотках своих, по тем временам почти неслыханных, не ощущал себя с такой восхитительной естественностью, как во второй коже.

— Все ясно,— мстительно подвел Андрей итог своим наблюдениям,— деловая интеллигенция.

И вздохнул иронически, то ли от того, что не принадлежал больше к ее обеспеченному кругу, то ли выражая свое к ней в высшей степени пренебрежительное отношение.

Команда «Жигулей» тем временем заправила горючим и, рассевшись по местам, разворачивалась теперь уверенно и осторожно, чтобы выбраться на шоссе. В ту секунду, когда одна из «Лад» совместилась с «Москвичом», Андрей не удержался все же от замечания:

— Хорошо ездите, молодые люди. А вот воспитаны кое-как. Просто из рук вон. Кто это вас учил попутчиков подрезать?

— Стив Мак-куин,— не задумываясь и не снисходя до обиды, подмигнул один из водителей «Лад», тот самый блондин с симпатичным задорным лицом.— В картине «Уайлд Энджелс». Случайно не видели?

При этих словах оба владельца «Лад» дружно, даже синхронно, можно сказать, надавили на газ.

— Уайлд Энджелс,— спустя несколько минут вдруг вспомнил Андрей, пристраивая заправочный пистолет в отверстие бака.— Дикие ангелы, так, видимо, надо понимать... Скажите на милость,— воспоминания теснились у него в голове, все сплелось и перемешалось: и собственная мотоциклетная юность с такими удалыми пробегами, от которых только теперь буквально захватывало дух и холодело в животе, и кадры из каких-то боевиков, где по солнечным, ровным, словно бильярдный стол, «хай-веям» неслись длинные автомобили, и девушки в туманных круглых очках, огромных, будто спаса-

тельные круги, и музыка, неотделимая от езды, как от любви...

— Вовик,— позвал Андрей с хозяйской озабоченностью,— достань-ка из багажника канистру, запасем-ся на случай временных перебоев.

Предусмотрительность вполне себя оправдала, впрочем, чтобы не давать Андрею повода загордиться, Вовик уверял, что Андрей просто-напросто накликал эти самые трудности. Правда, на чужую голову. Вот уже несколько раз проносились друзья мимо заправочных станций, корявыми буквами объявлявших, что бензина нет и в ближайшее время не ожидается. И опрометчивые автотуристы попадались им на пути, тоскующие возле бессильно неподвижных своих экипажей — на их молящие и заискивающие призывы Андрей хладнокровно не обращал внимания. Только лишь улыбался молча, не без злорадства, все же похваляясь втайне перед приятелями своею дальновидностью и практическим пониманием жизни.

— Вы заметили,— мечтательно произнес вдруг Стива,— какое хорошее лицо было у одной из тех девушек?

— Наш-то, а? — загоготал довольный Вовик.— Ты слышишь, Андрюха? В себя начал приходить, уже на гражданок косога давит.

— Признак обнадеживающий,— согласился Андрей.

— Да ну вас,— Стива отвернулся от друзей.— Красота беззащитна, вот я о чем подумал. Она достается тому, кто властно предъявил на нее права. А кто в этих правах не уверен...

— Красота — это имущество,— раздражаясь мало-помалу, назидательно перебил его Андрей.— А точнее — капитал. Как вот у нас голова и руки. Только мы со своего капитала не проценты нажили, а так... собачьи слезы... А гражданки, поразившие ваше воображение, распорядились им осмотрительнее.

— Да уж,— подтвердил Вовик,— как бабка-покойница говорила: «Убили бобра. При копейке мужики, с ходу видно».

— Об этом и речь,— подхватил Андрей и не упустил случая вновь поддеть Стиву,— а из тебя какой бобер?

Углубленный до сей поры в назойливые беспокойные свои думы, товарищам отвечавший лишь для того, чтобы утвердиться в них или их же опровергнуть, Стива

разом затарахтел и задергался, будто внезапно оживший мотор:

— Ей никогда не было скучно со мной, голову на отсечение даю! Я бы это сразу почувствовал!

— Милый мой,— созерцательно изрек Андрей,— нас бросают не оттого, что с нами скучно. А потому, что с другими весело.

— Ни за что в это не поверю! — таким бешеным Стиву еще не видывал никто в жизни.— Вы все это мне нарочно говорите, я знаю! Вы с самого начала в мое счастье не верили! Оно вас раздражало, вы мне завидовали! Простить не могли! Переглядывались все время, перемигивались, что я, не помню? Шушукались у меня за спиной, как это такому обалдую такая красавица досталась!

Вовик, оглушенный потоком напраслины, только рот раскрыл. Однако и слова вымолвить оказался не в состоянии. Зато Андрей сделался каменно невозмутим, что было у него явным признаком злости.

— Ну что ж,— произнес он с отвратительной брезгливой вежливостью,— подожди немного, догоним беглянку, еще раз позавидуем, пошепчемся, что нам еще остается?

— Ты догони сначала! Плетемся, будто мусор возем! — такой вопиющей бестактности Стива не ожидал сам от себя. Извиниться тотчас все же не смог, просто устался в окно.

Леса, только-только начинающие желтеть, едва-едва вспыхнувшие багрянцем, а чаще все еще надежно зеленые, стояли по обеим сторонам шоссе, однако время от времени вдруг отступали к окоему, расчищая место полям, уже убраным, уже под зябь вспаханым неутомимо стрекочущими тракторами. Более всего приближение осени сказывалось в придорожных деревнях, где возле калиток или же просто на дорожной обочине были выставлены на продажу крупные, чуть ли не с волейбольный мяч, яблоки в оцинкованных ведрах.

— Верно говоришь,— после долгого молчания вздохнул Андрей.— Я бы даже определеннее выразился: не как мусор возем, а как дерьмо!

Переехав мост через неведомую речушку, друзья с недоумением завидели знакомые пижонские «Лады», застывшие над кюветом. Почти вся известная компания вылезла из машин, о чем-то совещалась, спорила, про-

вожая взглядом проезжающие автомобили; сбавив скорость почти до шага, Андрей выглянул в окошко.

— Ну что, «ангелы»? Или как вас там, пираты! Не вижу скорости. Где же галоп? Овса мустангам не хватает? Пусть жуют сено.

Он нажал на газ, и старенький «москвич» сорвался с места почти с тою же прытью, что и новейшие «Лады».

— Тоже мне, киногерои,— Андрей вымещал на попутчиках давно сдерживаемую злость,— козлы! Кукуют теперь полночные ковбои!

Стива покачал головой, чувствуя за собой вину и не решаясь возражать резко.

— Нехорошо все-таки, Андрей, я понимаю твои чувства, но ведь там как-никак несчастье...

— Ничего себе несчастья! — Андрей едва руль не выпустил.— Не видали вы несчастий, муж неверной красавицы. Вот когда они нам под Фатежем хвостом крутанули, вот тогда могло случиться дорожное происшествие. С цинковыми гробами малой скоростью.

— Это уж точно,— авторитетно поддакнул Вовик, однако дальше повел соглашательскую линию:— Андрюш, попадут ведь фрайера вместе со своими телками, кто им сейчас отольет, сам посуди. Ведь таких, как мы, ушлых, на дороге раз-два и обчелся. Остальные сами только и мечтают, как бы до заправки дотянуть. Все-таки дамы у них...— воротился он в иных терминах к самому вескому аргументу.

— Вот всегда так, дамы! — с обидной иронией заговорил Андрей, круто и резко, как заправский гонщик, разворачивая машину.— А потом страдаем! На друзей кидаемся! Вдогонку мчимся!

* * *

Компанию «ангелов» застали в совершенной растерянности и унынии, хотя и трудно было поверить, что такие уверенные в себе деловые ребята способны растеряться и приуныть. Впрочем, именно зрелище полнейшей их подавленности и разброда и примирило до некоторой степени с ними Андрея.

— Обогнать, молодые люди,— это полдела,— затормозив, назидательно покачал он головой,— главное — доехать куда надо.

Он вылез из машины, открыл багажник и плюхнул

на асфальт полупрозрачную полиэтиленовую канистру, в которой, как живой, тяжело колыхался бензин.

— Налетайте! Поите коней! Если уж вы дикие ангелы, пусть я буду ангел-хранитель.

Владельцы «Лад», не поверив внезапному везенью, были смущены таким широким жестом незнакомых и к тому же обиженных ими людей. И, кажется, даже заподозрили в душевном этом бескорыстии какой-то подвох. Во всяком случае, некую заднюю мысль.

— Не пожалеете потом?— недоверчиво спросил невысокий блондин, переглянувшись с товарищами.— Запас кармана не тянет. Мы в долгу не останемся,— поспешил заверить обладатель чудесной бородки,— как положено в крайних обстоятельствах.

Его друзья тотчас же с готовностью закивали. Андрей не без шика подмигнул своим.

— Видали? Состояние можем нажить в условиях «энергетического кризиса».

И тут же с великолепным пренебрежением махнул рукой, на глазах растроганных женщин отвергая любую мысль о какой бы то ни было плате.

Уговаривать молодых автомобилистов не пришлось. Споры занялись они заправкой машин, хотя время от времени все же бросали на щедрых приятелей настояроженные взгляды, как бы интересуясь, не понадобится ли все же от них какого-либо ответного широкого жеста. Девушка с незащитным лицом — нельзя не признать, что наблюдение Стивы попало в точку,— нашлась первой.

— Что бы без вас делали?— застенчиво улыбнулась она Андрею,— уж и не знаю, как вас благодарить.

— Меня лично никак и не нужно.— Андрей смотрел на девушку откровенно и с нескрываемым вызовом, такова была его проверенная, хотя пошловатая отчасти, он сам себя на этом ловил, манера производить впечатление.— Их благодарите,— кивнул он на Стиву с Вовиком,— они у нас гуманисты.

— А это у нас гонщик-террорист,— с радостью принял пасс Вовик,— догнать не догонит, зато измучает. Нотациями. Поверьте главному механику и техническому руководителю.

Девушка засмеялась, и смех у нее оказался хороший, искренний, от души, без кокетливой заливистости и без профессиональной почти готовности потреблять юмор, будто одно из дефицитных благ жизни.

— А вы,— чуть лукаво обратилась она к Стиве, на которого еще раньше бросила беглый взгляд и, различив на его лице вовсе не легкомысленное, не располагающее к дорожной болтовне выражение, сама смутилась,— вы... что у вас за роль в вашем экипаже? Гуманист — это ведь не профессия?

— Что за роль?— Стива всерьез задумался.— Видите ли, я и сам не могу этого понять.

Андрей, уже вернувшийся в машину, вдруг как бы со стороны, как бы из другой, параллельной жизни, увидел Стиву рядом со встречной девушкой и внутренне окаменел на мгновение, настолько, как ему почудилось, подходили они друг к другу.

Тем не менее помягчавший было Стивин взгляд внезапно заледенел. За стекло одной из «Лад» был он мистически направлен, туда, где среди книг, термоса и кепок с длинными козырьками находилась еще и теннисная ракетка в чехле с английской надписью «данлоп». Тень отворачивания пробежала по Стивину лицу.

— Кто это у вас играет?— осведомился он неприязненно, даже не произнося из суеверного ужаса рокового слова «теннис».

Девушка была удивлена не столько переменной темы, сколько переменной тона.

— Все. И я, например.

Стива посмотрел на нее изучающе и придирчиво и, обнаружив мстительно в ее облике некое соответствие неотвязным своим подозрениям, молча и резко отошел в сторону.

— А ваш товарищ, что, тоже играет?— растерянно обратилась девушка к Вовику.

— Да нет...— многозначительно покачал тот головой,— скорее наблюдает.

Как раз в этот момент симпатичный блондин с благодарностью возвратил Вовику пустую полиэтиленовую канистру.

— Не привык я к одолжениям,— с сомнением прищелкнул он языком,— может, найдется все-таки способ рассчитаться?

— Найдется,— Вовик оглянулся на приятелей,— как не найтись.— Растопырив большой палец и мизинец, он изобразил популярный образ стакана.— Буль-буль,— добавил для пущей выразительности.

— О чем речь!— сверкнул зубами оказавшийся рядом парень с прической битовой суперзвезды и нырнул

в машину. Плоскую заграничную бутылку извлек из ее недр, похожую на фляжку, которую так удобно таскать с собой в кармане — хочешь, в заднем, хочешь, в боковом, и, отвернув стаканчик металлической пробки, налил его до краев.

— Ну, на дорожку! Волю в комок — и вперед! — сразу воодушевился Вовик и махом опрокинул стаканчик. — Сильная вещь!

— Пошло? — засиял добрейшей улыбкой «артист», как мысленно окрестил его Вовик. — Ну и слава богу. Суй ее на задницу. — И протянул Вовику фляжку, податливо изогнутую для того именно, чтобы плотно и надежно соприкасаться с телом.

А Стива стоял у края шоссе, отвернувшись и от приятелей, и от попутной компании, смотрел вдаль на излучину полевой, рассеянной, прихотливо изгибающейся речки, правый берег которой зарос густым кустарником, камышами и осокой, а левый, отлогий, был покрыт нежнейшим и мельчайшим даже на взгляд песком. И вновь, как прежде, в ушах его раздался мелодический стук теннисных ракеток, и корт опять возник перед глазами, и фигура молодой женщины в коротком голубом, открывающем коленки платье, которое делало ее похожей на угловатую, еще не осознавшую своей прелести девочку, какой и была она, вероятно, всего лишь несколько лет назад.

Жуткую, гибельную пустоту ощутил он в груди, замотал головой, руками задергал. Потом обернулся и, заметив, что обе компании рассаживаются по машинам, помчался к ним что было сил, будто ребенок, испугавшийся, что его забудут и оставят на произвол судьбы. Сам не осознавая, что делает, Стива миновал родной «Москвич» и ухватился за дверной запор отъезжающих «Жигулей». Несколько метров он семеня рядом с машиной безуспешно и судорожно дергая заднюю дверь, пока девушка с беззащитным лицом, перегнувшись через спинку кресла, не догадалась ее отпереть.

— Вы едете прямо? — нервно и требовательно спросил Стива, словно облечен был какими-то официальными полномочиями. Симпатичный блондин и девушка недоуменно кивнули. — Я с вами! — решил Стива и, не дожидаясь ни согласия, ни возражения, влез в автомобиль. — Пожалуйста, побыстрее, — барским, идиотским тоном не то попросил, не то приказал он, владелец «Лады» хмыкнул от изумления и нажал на газ.

Андрей и Вовик переглянулись, пронаблюдавши от начала до конца всю эту невероятную сцену.

— Ты что-нибудь усек?— поинтересовался у друга растерянный Вовик, который привык к тому, чтобы между следствием и причиной обнаруживалась четкая логическая связь.

Андрей усмехнулся:

— Усек, чего ж тут не усечь. Невелика проблема. Засиделся клиент в домашних условиях. На безумства тянет... А для безумств, Вова, требуется соответствующий транспорт. На моем, например, тещу хорошо навещать, либо тетю захоластную. А уж беглых жен догонять... извини,— никакой гарантии.

— Так что нам теперь делать?— Вовик терпеть не мог психологических сложностей, неясностей, недомолвок, внезапных непредсказуемых порывов, основательно полагая, что от них в жизни вся морока.— Назад, что ли, пилить?

— Зачем назад?— Андрей включил двигатель.— Только вперед. Помрачение у нашего товарища временное. Преходящее, как говорят врачи. Обнаружится где-нибудь, часа через полтора. Куда ему деться.

Они тронулись с места и впервые за весь этот день поехали, как и рекомендовал Вовик, неспешным и созерцательным семейным аллюром.

* * *

Как ни был Стива безразличен к вещному миру и уж тем более к нынешним его престижным техническим атрибутам, все же и он спустя минуту понял, что это совсем другая машина. Другим был самый ее ход, плавный и мощный; чувствовалось, что запас лошадиных сил под капотом намного превышает количество, потребное для того, чтобы привести данную массу в движение. Немалые эти силы ощущались совершенно непосредственно, как живые, под тугой кожей сидений, под ногами, утопающими в ворсистом ковре. Расслабляющим, покойным и каким-то даже пряным уютом обволакивала здешний салон,— оттого ли, что струилась, неведомо откуда,— ненавязчивая, подсознание достающая музыка, оттого ли, что пахло в нем не бензином, не смазочным маслом и не резиной, а чудесным, неясным сплавом духов, кожи и хорошего табака. Неизбалованный комфортом, Стива, чем дальше, тем больше, ощущал

себя не в своей тарелке. Помрачение, вдохновившее его на столь безрассудные и дерзкие действия, как-то незаметно испарилось, он сознавал необходимость объясниться.

— Получилось неудобно, я понимаю,— начал он после недолгого ерзанья и покашливания,— бестактно получилось, честное слово... Я должен перед вами извиниться...

Водитель небрежно пожал плечами. «Чего уж там, какие могут быть счеты?»—говорило, вероятно, при этом его лицо, лишь верхняя половина которого отражалась в зеркале заднего обзора.

— Дело в том,— продолжал Стива с особым тщанием, будто пьяный, ни за что не желающий выдать своего состояния, подбирая слова,— дело в обстоятельствах совершенно особого рода... Я должен догнать, вернее, я догоняю одного человека...

— Да что вы говорите?— в глазах водителя, отраженных обзорным зеркальцем, искрой промелькнуло лукавство, и губы его насмешливо дрогнули,— а мы, выходит, должны вам в некотором смысле помочь, интересно... Прямо-таки дорожный детектив, надеюсь, не опасный?

Девушка повернулась к Стиве беззащитным своим лицом и посмотрела не то с сочувствием, не то с тревогой. И с явной охотой выслушать.

— Нет, не в опасности дело,— отмахнулся, не улавливая подначки, Стива,— опасность тут ни при чем, просто дело срочное и деликатное...

— Понятно,— кивнул симпатичный блондин, прикуривая от автомобильной зажигалки душистую длинную сигарету,— не опасно, и на том спасибо. А в чем же, простите, все-таки как участник погони я хотел бы знать, так в чем же особая деликатность и срочность? Должника, что ли, своего настигаете? Или... даже уж не знаю кого, даже вообразить не могу?

— Жену,— дивясь своей откровенности, признался Стива.— Я непременно должен ее настичь как можно скорее... Тут каждая минута дорогá, вы же понимаете...

В лице девушки, повернутом к нему, Стиве чудилось понимание и сочувствие такое, какого он и у приятелей не находил, вечно, как ему казалось, подтрунивающих над ним, вечно недоверяющих былому его счастью; потому-то, поддавшись необманному своему впечатлению, он разоткровенничался. Не так чтобы уж до конца, до

подробностей и деталей, однако с полнотой достаточно рискованной, если учесть, что слушателей своих и нынешних благодетелей он видел впервые в жизни. Впрочем, быть может, именно это обстоятельство и облегчало ему исповедь, ведь заподозрить собеседников в каких-либо задних мыслях он не мог. Вот и рассказывал, перескакивая с пятого на десятое, к истокам своей драмы возвращаясь или же забегая вперед, о полученной внезапно телеграмме, о бессонной ночи, проведенной в скитаниях по опустевшим дворам и забытым закоулкам, о друзьях, к которым сами ноги ведут в такие минуты жизни, что бы он делал, если бы не было их у него!

Не отдавая себе в этом отчета, Стива, конечно же, вкусил тайной и опасной отчасти радости, которая в том и состоит, чтобы облекать свое страдание в слова, чтобы изливать и изливать без конца изболевшую душу. Ему уже представилось, он уже поверить был готов, что более чутких, более внимательных к нему людей он не встречал в жизни. Это, разумеется, прежде всего к девушке относилось, положившей подбородок на запястье руки и не сводящей со Стивы глаз, но также и к владельцу машины, симпатичному блондину, который внимал Стиве красиво постриженным затылком, поддакивал время от времени сердечно, поощряя на дальнейшую откровенность, вздыхал сокрушенно, качал головой и делал, если верить обзорному зеркалу, большие глаза.

— Насколько я понимаю,— успел он, наконец, вклиниться между двумя Стивиными признаниями,— вы собираетесь переубедить сбежавшую жену, простите за резкость, вы сами об этом рассказали. С трудом представляю,— он взглянул на свою соседку,— как это у вас получится. Если уж женщина на это решилась,— он вновь покосился на девушку,— то спорить с ней поздно. Как говорится, поезд ушел.

— Вот я и хочу его догнать!— снова с уверенностью проповедника заговорил Стива, не отдавая себе отчета в том, что убеждает не хозяина машины, не его внимательный затылок, а самого себя.

— Отважный человек! — восхитился водитель.— Это ж все равно что колесо истории вспять повернуть, а? Как это тебе нравится?— обратился он к девушке.

— Ну тебя! — махнула она на него.

— Нет, в самом деле, — продолжал симпатичный блондин,— интересно будет взглянуть, как это вам уда-

стся. Вы уж не скрывайте, дайте знать, как оно у вас прошло, это самое роковое объяснение. Все-таки я вас подбросил самую малость, свои, можно сказать, теперь люди...

Стива поспешно закивал и принялся благодарить водителя и его спутницу с такой истовой искренностью, будто цель его путешествия оказалась уже благополучно достигнута и жена Надя переубеждена.

— Да что вы!— всерьез возражал ему симпатичный блондин. — Это мы должны вас благодарить за оказанное доверие.

Между тем сельская местность за окнами машины сменилась индустриальной окраиной с пылью, с разбитым асфальтом, с длинными заборами из бетонных плит, над которыми высились пролеты цехов, торчали фабричные трубы, градирни, пересекались линии электропередачи. Потом потянулись новые жилые кварталы, отчасти безличные и неряшливые, в манере поздних пятидесятых и ранних шестидесятых годов, отчасти же, при той же самой неряшливости, щегольские, как говорится, привязанные к рельефу, к взгорьям и низинам, многоэтажными башнями отмеченные, между которыми сохранились кое-где в виде естественных парков редкие рощицы и перелески. Очень быстро, как при особом киноэффекте, промелькнули за стеклами перекрестки еще в старое время построенных улиц, как-то не по-нынешнему уютно узких, на обстоятельные прогулки рассчитанных, на неспешную езду в коляске, и вдруг в качестве основной перспективы движения предстал отель «Интурист». В историческом центре города по соседству с башнями местного кремля и знаменитым на всю страну собором в стиле избыточного русского барокко, был он возведен, судя по всем приметам, совсем недавно, уже без оглядки на типовые проекты и прижимистую смету. Не менее колоколен и крепостных стен сделался он, надо думать, достопримечательностью города, а заодно и средоточием местной вечерней жизни. Недаром же из ресторанных окон на всю благородно провинциальную, так и подмывает сказать, губернскую площадь разносилась песня о Мясоедовской улице, скрыться от которой на территории нашего отечества стало практически некуда.

Обе «Лады», одна за одной, подобно свадебному кортежу, описав на площади круг, лихо подкатили к гранитному крыльцу гостиницы.

— Рекомендую,— громко, едва ли не на всю площадь, представлял симпатичный блондин Стиву своим приятелям из второй машины, — рискованный товарищ! Через всю страну бросился на поиски пропавшей жены! Представляете? Вот это любовь, в чем был, в том и поехал! Ладно, ладно, не смущайтесь,— подзадоривал он Стиву,— гордиться надо! В наши дни искать беглых жен — никто на такие порывы и не способен!

Компания согласно загалдела, засмеялась, разглядывая Стиву, словно иностранца, прибывшего в здешние края из какой-либо вовсе экзотической державы, по плечам его хлопали, так и этак поворачивали, Стива вдруг почувствовал, что панибратство это, при всем его видимом благодушии, раздражает его.

— Вас же в кино показывать надо! — с восхищением, похожим отчасти на презрение, прямо в лицо сказала ему девушка из второй машины.

— А я что говорил! — опять на всю площадь заголосолил упоенно симпатичный блондин. — Детектив из супружеской жизни! Мировой сюжет! — то ли братски, то ли хозяйски обхватил он Стиву за плечи. — Не рыдай, супруг! Отыщем твою беглянку! Самим охота посмотреть, чем закончится приключение!

Уже протрезвевши окончательно от исповедального своего хмеля, уже уловив непристойность в своем положении музейного экспоната, Стива неизвестно зачем вместе со всей компанией вошел в парадный и прохладный, мрамором выложенный и розовым туфом, увешанный чеканными панно холл гостиницы. Несколько иностранцев, одетых, кстати сказать, непритязательнее Стивиных новых друзей, бесцельно бродили по вестибюлю, похожему неуловимо на станцию метрополитена. На краешках низких кресел, обитых румяной кожей, на благодушный кейф рассчитанных, с чашечкой кофе или с высоким стаканом виски в руках, робко примостились, держа на коленях матерчатые чемоданчики, граждане заштатного вида с привычно терпеливыми, слегка зачуханными лицами, наверняка командированные, притом не очень-то и бывалые, к ним Стива безотчетно почувствовал симпатию. Они, можно сказать, были ему единственно родным объектом во всем этом мнимо роскошном интерьере с его кондиционированной прохладой, надписями на английском языке и все тем же ароматом виргинского табака и пряных дезодорантов, к которому он так и не притерпелся в машине.

Возле стойки администратора, широкой и тоже обитой кожей, словно в баре, томились несколько человек, безуспешно изображая из себя знатоков жизни и всех возможных ее тонкостей. Ни шуточки их традиционно заискивающего свойства, ни бессмысленно запутанные речи, полные неясных и многозначительных намеков, не производили на администраторшу ни малейшего впечатления. Господи, к чему только не привыкла она на своем не просто ответственном, но поистине боевом посту — и к скандалам, и к угрозам — от бессильных до чреватых действительными неприятностями, — и к жалобам, и к посулам, в которых опять же научилась отличать скупую в словах надежность от щедрой на заискивание трепливой пустозвонности. От того-то в голубых выпуклых глаза этой видной, как выражаются в народе, самостоятельной женщины навеки застыла хладнокровная ирония, подкрепленная пронизательностью и профессиональным высокомерием. Мужчин из прибывшей компании оно, впрочем, не очень-то смутило, это на людей, подобных Стиве, оно действовало безотказно, в непонятный трепет их повергая, в нервную бессмысленную горячку; эти же молодцы, забыв про забавного своего попутчика и на предыдущих искателей гостиничных мест не обращая ровным счетом никакого внимания, как ни в чем не бывало непринужденно и удобно, словно в баре, облокотились о стойку. Некоторое время они не произносили ни слова, не сводя с администраторши откровенного, хотя и не наглого мужского взгляда.

В конце концов даже эта владеющая собой дама не выдержала:

— Вам что, товарищи? — как-то очень определенно, словно оторвавшись на мгновение от бог весть каких чрезвычайных дел, поинтересовалась она. — Вы же видите: «мест нет». — Не заметить этой таблички, этого объявления, выполненного с той монументальной обстоятельностью, с какою изготавливаются надписи на памятниках, и впрямь было невозможно. Приятели с преувеличенным почтением, с благоговейным выражением ценителей принялись ее оглядывать так и этак, потом, подтолкнувши друг друга локтями, переглянувшись весело, пришли к выводу, что эта табличка относится к разряду нетленных духовных ценностей, как шишкинские мишки, например, которыми так славен гостиничный сервис, и толковать ее буквально, право же, не имеет смысла.

— У такой выдающейся хозяйки гостиницы, — прия-

тели вновь интригующе переглянулись,— и чтобы не нашлось места? К тому же для выдающихся гостей?

— Чем же выдающихся — пронизательная эта женщина не снисходила до юмора.

Однако ребята не отчаивались:

— Как это чем? Разве незаметно? — все трое засияли обаятельнейшими улыбками, подобрались, поднапружинились слегка, как перед объективом пляжного фотографа, пустили в ход всю свою тренированную рекламную мускулатуру, свое привычное, вошедшее в кровь, как выразился бы классик, натуральное нахальство. Такое надежное в общении, вопреки привычным заверениям, в особенности женским, о непримиримой к нему неприязни и даже враждебности.

— Заметно, конечно,— впервые согласилась с ними дама-администратор, слегка потеплев глазами,— только конкретно непонятно, чем же?

Главная ее оплошность, хотя, быть может, и сознательная уступка, в том сказалась, что она позволила втянуть себя в разговор. Для него приехавшие на «Ладах» ребята припасли особые доводы.

— Чем, чем, ну, хотя бы... дружбой с Валерием Петровичем,— будто невзначай, непривычно скромно признался обладатель изящной бородки.

Администратор не смогла скрыть мгновенной, совершенно ее преобразившей, обезоружившей улыбки. Какая-то, черт возьми, забытая, ностальгическая теплота забрезжила в регламентированном ее облике.

— Так бы уж прямо и говорили, молодые люди. С этого бы начинали. А то морочат голову ерундой... Вас трое?

— Пятеро,— с наигранным смущением признался артист и, обернувшись назад, словно бы затем, чтобы еще раз пересчитать всю компанию, заметил неприкаемую фигуру Стивы.

— Вас считать?.. Вы остаетесь с нами?

— Нет-нет,— Стива замотал головой, его давно уже смертельная тоска одолевала от зрелища хитроумного этого флирта со сферой обслуживания, на который он никогда и ни при каких обстоятельствах не был способен. Стоять в очереди — это все, что он умел. Безропотно, покорно, терпеливо, не пытаясь даже хоть в малости обмануть судьбу. Жена Надя часто подтрунивала над ним за это поразительное умение жить на общих основаниях. Он так и не заметил, как постепенно это любовное под-

начиванье переродилось в насмешку. Он все еще полагал, что втайне она им гордится.

— Нет, нет,— повторил Стива,— обо мне не беспокойтесь... Гостиница — это слишком хлопотно, я поеду в кемпинг.

Пятясь неловко и улыбаясь смущенно, словно извиняясь за что-то — за то ли, что навязался незванно в попутчики, за то ли, что отказался от предложений так или иначе, но все же принявшей его компании, Стива добрался до стеклянных дверей и как-то внезапно исчез за ними, несмотря на их прозрачность, будто растворился в густеющих сумерках..

— Боюсь, вам придется подождать,— дама за стойкой совершенно искренне вздохнула. И, чтобы доказать, что это не формальное пустое сожаление, поинтересовалась бегло, черт возьми, почти застенчиво улыбнувшись:

— Ну и как там Валерий Петрович?

— Верен себе,— успокоил ее обладатель бородки.— Как всегда, на уровне.

Было заметно, что даже простое упоминание известного имени, мгновенная перекидка им, будто мячом, в одно касание, доставила собеседникам удовольствие.

Приятели вернулись к девушкам, изящно и достойно расположившимся в низких креслах, привычка к такому вот — у всех на глазах — комфорту сквозила в непринужденных их позах, хотя беззащитное лицо одной из них казалось омраченным.

— Сервис, как всегда, ненавязчив,— известил девушек артист,— номера освободятся только к одиннадцати. Есть идея посидеть пока в здешнем заведении.— Большим пальцем он показал через плечо в сторону ресторанной двери, откуда, противореча международному интерьеру и лакированным интуристским плакатам, рвались наружу разудалые слова припева: «Теща моя! Ласковая!»

Неспешным, чуть ленивым шагом демонстрирующих себя людей компания, минуя исположившегося было, но вовремя притихшего швейцара, вошла в ресторан. «Дым коромыслом» — эти простодушные, хотя и образные слова очень подходили для обозначения того, что творилось в его залах. Изысканный дизайн внешнего оформления окончательно растворился: музыканты неуловимо дворового вида, несмотря на белые пиджаки и огромные бабочки, настырно терзали свои гитары и надсадными голосами выкрикивали в микрофоны неуловимо неприличные слова каких-то особых, нигде более

ые исполняемых ресторанных песен. Толпа, а скорее даже куча людей, что характерно, не только молодых, но и в самом, что называется, зрелом возрасте, прыгала, скакала, тряслась, радела, бог знает что выкидывала в такт музыке и вразной с нею. Над столами, недоеденными блюдами уставленными, взвивалось тем временем отчаянное кокетство, перебиваемое выяснением отношений. К тому же невыразимое, однако же явное, будто табачный густеющий дым, предчувствие скандала повисло в воздухе.

— Послушайте,— поморщилась та самая девушка, что ехала со Стивой в одной машине,— ну чего мы здесь не видели? В этом вертепе? Мы же путешествуем на машинах, давайте соблюдать стиль — поедем в кемпинг.

Общество переглянулось. Очевидно было, что своеволию и вздорным желанием этой девушки давно уже не удивлялись, и все же на этот раз онахватила через край.

— Маша,— стараясь соблюдать независимый по отношению к женским капризам иронический тон, ласково заговорил симпатичный блондин.— Я понимаю, конечно, единство стиля — прекрасная вещь, как архитектору тебе, разумеется, виднее, но не кажется ли тебе, что и в эклектике есть своя прелесть?

Но Маша умела настоять на своем.

— Ну да,— мнимо согласилась она,— особенно в тот момент, когда здесь начнется побоище. А оно начнется, можете не сомневаться.— Она раздраженно пожала плечами.— Нет, я все-таки не понимаю, стоило уезжать из ужасающей духоты для того, чтобы целый вечер проторчать в такой же самой духоте!

Через гостиничный мраморный холл она независимо направилась к выходу. Компания, с пониманием перемигиваясь и вздыхая, потянулась за ней. В чем она, несмотря на незащищенность своего взгляда, ничуть и не сомневалась.

* * *

Вдруг выяснилось, что Андрей совершенно неспособен вести машину ночью. Сперва он сам этому удивился: как ни говори, больше десяти лет за рулем, потом почувствовал полное свое бессилие, детское, нервное, истеричное, руки дрожат, и глаза слезятся от лучей встречных фар, липкий страх просочился ему под рубашку. Может, усталость была причиной внезапной этой,

похожей на неумение неуверенности, может, отсутствие опыта, сам про себя Андрей сознавал, что, раскатывая лихо по городу, в любое время суток и в любом состоянии, к шоссейной долгой езде он, в сущности, совсем не был приучен. Потому и плутал теперь во тьме, как щенок, не в состоянии разыскать пристанища, потому и проклинал тот час, когда, поддавшись на уговоры одуревшего товарища, отправился в это бессмысленное и бесполовое путешествие.

— Еще пять минут такой езды — и привет родителям,— бормотал он зло и в то же время отрешенно, сбитый с толку и подавленный гибельным сиянием несущихся прямо на него огней.— Загнемся в канаве. И за что, самое главное? Из-за кого? Из-за болвана, от которого жена убежала! Так, может, ее не ругать надо, а жалеть, что она раньше этого не сделала!

— Не дрейфь, Андрюха! — вовсе не сочувствуя водителю и не разделяя внутренней его дрожи, гоготал Вовик.— Прорвемся, гадам мне быть!

— Куда прорвемся? — злился замотанный Андрей.— Как бы на тот свет не прорваться! Понесла меня нелегкая!

— Да ладно ныть-то! — Вовик окончательно раздухарился.— Раскис совсем, мастер. Ну-ка тормозни, я сам за руль сяду, раз ты такой впечатлительный.

Андрей даже не удостоил ответом такое нелепое предложение. Тогда Вовик через его плечо с заднего своего сиденья полез к ручному тормозу, уже никакого сомнения не оставляя другу о природе своего воодушевления.

— Дай-ка мне! Я вас катаю!

— Нажрался! — в отчаянии изумился Андрей, даже о своих водительских муках забыв.— Но где? Каким образом? У нас же ни грамма с собой! Вот уж действительно свинья грязи найдет!

— Ах, свинья! — оскорбился Вовик.— А ну тормози, к чертовой матери! — Он распахнул на ходу дверцу.— Тоже мне, товарищи! В гробу я видал таких товарищей!

Андрей резко остановил машину, выскочил на шоссе, замахал руками, заорал что есть мочи:

— Вова, вернись! Не сходи с ума!

Потом в сердцах грохнул кулаком по капоту ни в чем не повинного «Москвича»:

— С кем связался?..

Уже не злоба владела им, не раздражение, а просто

отчаяние, совершенное и бурное, какого он, сорокалетний мужик, чего только не повидавший в жизни, не переживал с самого детства. Решительно не понимал он теперь, что ему делать, куда ехать, где искать товарищей. Старая дружба расплзлась на глазах, словно ветхая, хоть и любимая рубаха, ткань выносилась, протерлась, провалилась, заплату не на чем укрепить.

Андрей курил, прислонившись к поржавевшей, побитой своей машине и с горечью думал о том, что ничего не надо фетишизировать, ни старых домов, ни былых привязанностей, все это романтизм и слюнтяйство, жить имеет смысл только настоящим, этим часом, этой минутой, не забегая вперед надеждой и уж особенно не поддаваясь ностальгической эйфории, от которой одно расстройство. Из тьмы, из непроглядной августовской ночи, пахнувшей полевой сыростью и безлюдьем, как ни в чем не бывало возник Вовик.

— Ну ты, трезвенник! Поворот-то на кемпинг давно проехали!

* * *

Компания, вслед за Машей вышедшая из гостиницы, в последний раз приостановилась на широких маршах гранитной лестницы под взметенным, подобно крылу доисторической птицы, козырьком фронтона.

— Подумайте,— все еще не теряя надежды, воззвал к общему благоразумию обладатель изящной бородки,— через час, максимум через полтора примем горячую ванну, сядем в кресла, выпьем виски со льдом...

Немалый вкус к налаженной жизни, к несложным, но таким притягательным ее благам выдавали эти слова, а еще больше тон, каким были они произнесены, почти вдохновенный в задушевной своей заботливой убедительности. Однако даже упоминание о ванне не заставило Машу переменить намерение.

— Господи! — заговорила она с каким-то подозрительным энтузиазмом,— я с самого детства не сидела у костра, не ночевала в палатке! С пионерского лагеря в Балабанове, честное слово! Какого черта, я поехала на машине, если это невозможно? Полетела бы лучше самолетом!

Удивленные такую нежданной тягой к радостям походного бытия, мужчины лишь одно поняли в точности — перебороть бабью взбалмошность невозможно. И с досадой отперли машины.

После поворота в соответствии с указателем, изображающим графически палатку, а также скрещенные ложку и вилку, у Андрея отлегло от сердца. Шоссе в этом месте, подобно городскому проспекту, освещалось фонарями, их воспаленно желтый свет действовал на него успокаивающе. К тому же встречные фары не слепили его больше, в эту пору из кемпинга уже никто не выезжал. Включив дальний свет, Андрей еще метров за сто до конца пути разглядел среди кустарника и редких деревьев долгожданную арку приюта для путешественников. Одинокая долговязая фигура маялась возле замкнутых на засов железных ворот. Разумеется, это был Стива.

— Боюсь, парни, пристанища мы здесь не найдем,— произнес он, опережая возможные упреки, чрезвычайно озабоченно, словно полдня назад только за тем и покинул приятелей, чтобы прибыть в кемпинг в качестве квартирмейстера.— Им даже интуристов девать некуда.— В этих словах, а также в суетливых его движениях улавливалась просьба о снисхождении,— не себе, нет,— а местным работникам, обремененным непосильной задачей приютить всех путешествующих по российским дорогам.

— Интуристов...— проворчал Вовик, с кряхтением вылезая из машины.— Ты за них не беспокойся, вон они в каких хоромах разъезжают, с собственным сортиром.— Он мотнул головой в сторону расположившихся за забором караванов, домов на колесах, окна которых, зашторенные цветными занавесками, светились в этот поздний час безмятежным покоем бытия.

— Так ты точно знаешь, что мест нет? — спросил он, глядя мимо Стивы.

Тот виновато развел руками, на этот раз как бы извиняясь перед товарищами за странности своего поведения. И еще как бы оберегая их от бесполезной траты сил и нервов в переговорах со здешней администрацией. Вовик, однако, не внял этому дружескому предостережению, этой чистосердечной заботе и по дощатым, скрипучим ступеням поднялся в контору кемпинга.

Небольшая, дачного вида комната, обклеенная пронзительными плакатами с видами Байкала, Черного моря и волжских просторов, несмотря на позднее время, битком была набита. Можно было подумать, что со всех

окрестных полей и лесов, опустевших к ночи, собрались сюда жаждущие покоя и ночлега. Автотуристы — народ хоть и задерганный, однако же большею частью зрелый, солидный, профессорского либо ответственно чиновного вида, не просили и не спорили, а прямо-таки официальные заявления делали протокольными голосами и, неприязненно толкаясь, совали мужчине, сидящему за деревянным барьером, похожим на те, что бывают в отделении милиции, свои, надо полагать, внушительные документы. В вишневых и бордовых сафьяновых книжечках.

Вовик не мог, да и не хотел с ними соперничать. К тому же престижная суета, особо нелепая в дощатом бараке, вызывала у него, подобно любой другой, презрение и насмешку. Протиснувшись тем не менее поближе к заветному барьеру, он прислонился к стене и принялся спокойно и терпеливо изучать сложившуюся обстановку. И быстро понял, например, что суховатого мужика за барьером с морщинистым жестким лицом бывшего взводного командира, не пугают угрозы и растрогать не в состоянии никакие жалостливые слова.

— Не в моих силах... Ничем не могу помочь... Можете жаловаться... — отвечал он невозмутимо, отбивая самые настойчивые притязания и успевая наверняка с одного взгляда разобраться в мандатах, которыми перед его носом потрясали и которыми он столь демонстративно пренебрегал.

Мало-помалу народ в комнате начал убывать. Сообразив, что отшиты они бесповоротно и всерьез, с тяжелым сердцем покидали контору самые упорные борцы за свои права. Хотя некоторые еще на что-то надеялись, скандалить пытались или же, наоборот, били на жалость, о детях упоминая и о пожилых женщинах. Один лишь Вовик не произносил ни слова, только щурился, как кот, и хладнокровно наблюдал. В конце концов такое лукавое безразличие проняло даже железного администратора.

— Ну а ты чего ухмыляешься? — с вызывающей прямотой спросил он у Вовика.

— Любуюсь, — так же откровенно ответил тот.

— А корочку что же не суешь? Удостоверение то есть. Министерское, профессорское. Или не разжился? Вовик опять улыбнулся:

— Есть у меня одно удостоверение личности. Да ведь вас им не удивишь. — Взглядом он указал на кисть ад-

министратора. Якорь был наколот на ней со знанием дела, основательный, рельефный, перекрещенный трехгранными русскими штыками и орудийными стволами. Мужчина, будто впервые, будто вовсе со стороны, как на нечто вовсе ему не принадлежащее, посмотрел на свою руку, потом по инерции перевел глаза на кисть Вовика, которую тот словно невзначай веско положил на барьер. На тыльной стороне огромной и тяжелой Вовкиной пятерни тоже синел якорь — не такой замысловатый, не так артистично выколотый, однако не дворовый, не хулиганский — неподдельно морской.

— Никак мариман? — недоверчиво поинтересовался администратор.

— Точно. Флотский товарищ, — от души улыбнулся Вовик. — Учебный отряд в Либаве. А потом седая Балтика. Вдоль и поперек. А что касается автономных походов, не будем уточнять.

— Понятно, — уважительно согласился администратор. — А я сам лично с Северного. Ну чего стоишь, давай паспорта. Небось со всем семейством!

— Можно считать, — осклабился Вовик и уточнил: — Значит, даете добро на заселение?

— Загоняй машину!

Среди бывших одноклассников один лишь Андрей причастился однажды к настоящему комфорту; Стива, дитя коммуналок, питомец пионерских лагерей и заводских общежитий, даже смутных тяготений к нему не испытывал, Вовик же «ловил кейф» традиционным способом, на кухне, за самодельным шатким столом, либо в той же «стекляшке», в окружении компаньонов, готовых обсудить все проблемы двора и мира и признать твой авторитет в любой области, если, конечно, поставишь бутылку. Тем не менее, получивши ключ от дощатого, похожего на собачью конуру домика, они расположились на крохотной его терраске в продавленных плетеных креслах не хуже, чем в шезлонгах на палубе белоснежного лайнера. Ноги вытянули вольготно, расслабились, закурили, ощутив себя спокойными, счастливыми людьми.

— Ну что, господа гардемарины, — довольный тем, что доказал друзьям свою житейскую расторопность, Вовик излюбленным жестом символически изобразил стакан, — может, развяжем по случаю привала? Как-никак почти половина пути пройдена...

Стива, до сих пор чувствуя себя виноватым, все же поморщился:

— Мне кажется, ты уже развязал...

— Да что вы меня за алкаша, что ли, держите? — вновь оскорбился Вовик. — Хороши товарищи! Мало ли что вам Мария напела!

— Да мы и без нее кое-что видели. Собственными глазами, — не преминул подковырнуть приятеля Андрей. — Кофе выпьем. Лучший способ расслабиться. Не знаю, как вас, а меня езда во тьме подавляет. Психически.

Он спустился к машине и достал из багажника термос, а заодно и сумку с припасами, приготовленными заботливыми руками Вовиковой жены.

Свет фар, подобный прожекторному, озарил внезапно и бесцеремонно дружескую трапезу, лишив ее тем самым интимности и уюта. На площадку перед домиком, лавируя между палаток и «караванов», одна за одной вползли две «Лады».

— Ой, смотрите! — раздался из темноты голос невидимой девушки, кажется, той самой, у которой Стива обнаружил в лице беззащитность. Затем и она сама, словно на сцене, появилась в лучах света. — Наши спасители уже тут!

Поразительно, с какою неподдельной искренностью она этому удивилась, посторонний человек и заподозрить не смог бы, что она надеялась встретить их именно здесь.

— И уже прекрасно устроились! — не переставала она изумляться.

— Подожди немного, мы сейчас тоже устроимся, — урезонил ее чуть ревниво кто-то из мужчин.

— А это не факт! — с хмельной заносчивостью откликнулся с веранды Вовик. — Тут сейчас с пропиской глухо! Полный аншлаг! И заведующий — железный мужик! Кремень!

— Ничего, — заверил из темноты благодушный голос, судя по тембру, обладателю бородки принадлежащий, — сейчас получит свой червонец и сразу же станет шелковым. Или кримпленовым, как вам угодно.

При свете фонаря возле конторы кемпинга можно было различить, что к крыльцу направились двое — бородач и симпатичный блондин.

— По себе судите! — не очень уверенно и как-то навивно крикнул им вдогонку Вовик.

— Вот именно,— весело ответили ему с крыльца,— по собственному большому опыту.

Андрей, не подымаясь из кресла, вновь без стеснения внимательно оглядел девушек. Будто пришли они к нему наниматься на работу и ему предстояло решить их судьбу.

— Как-то странно видеть вас...— обеда рукой пространство, он подыскал заодно и определение,— среди этой походной простоты. Интуристовский интерьер вам больше к лицу.

Третий парень из этой компании, похожий на солистов всех популярных ансамблей мира, засмеялся Андреевой догадливости.

— Совершенно справедливо изволили заметить! Именно там мы и собирались ночевать. Да вот у дам переменилось настроение. Маша, видите ли, вспомнила свое пионерское детство.

— Да! — девушка с беззащитным лицом вновь проявила свой отнюдь не беззащитный нрав,— нам еще целый месяц жить в гостинице. Можно себе позволить провести ночь на природе?

— Ах, вот в чем дело,— поднял бровь Андрей.— «Взвейтесь кострами, синие ночи...» Действительно, есть резон.

В этот момент, очевидно разозленные, выбитые из привычного для себя благодушия удачников и баловней жизни, воротились хозяева обеих «Лад».

— Ну, козел, ну, идиот,— обаятельно, по-мужски не находил слов симпатичный блондин,— давил бы таких, честное слово! «Сфера обслуживания» называется! Ненавязчивый сервис! Представляете,— он искренне призывал в свидетели компанию бывших одноклассников,— ему отстегивают червонец, он нос воротит, ему четвертной предлагают, он начинает орать! Ясное дело: цену набивает. Не полсотни же ему кидать за ночь в сарае!

— Примитивно мыслите, клиент,— выдавая отчасти внутреннее торжество, заметил Вовик,— по правилам арифметики. Кинули, зарядили, это так... дважды два четыре. Пора на высшие формулы переходить.

— Да бросьте вы! — в сердцах возразил симпатичный блондин,— в том-то и дело, что до этой дыры еще не дошла простейшая арифметика.

— Ну хорошо,— с капризной требовательностью перебила его Маша,— что же нам теперь делать?

— Опомнилась! — не сдержался ее приятель. — Что теперь делать? Как быть? В стогу ночевать, ты, кажется, этого хотела?

Маша ответила невнятным возмущенным воплем; как все женщины, она терпеть не могла, когда ее уличали в непоследовательности. Среди команды «Жигулей» назревало напряжение.

— Зачем же в стогу? — вдруг разрядил его молчавший до того Стива, — девушки могут ночевать в этом домике. В «бунгало», — он усмехнулся, — так это, кажется, называется. Мы с удовольствием его уступим, правда, ребята?

— Ну, разумеется, — с расстановкой подтвердил Андрей, — как же может быть иначе?

* * *

Пикник решили устроить на берегу реки, метрах ста от пределов кемпинга. Симпатичный блондин умело подогнал к откосу машину, его компаньоны споро принялись выволакивать на траву разнообразную снедь в пластиковых пестрых пакетах, объемистые термосы, похожие на снаряды, ящик «тоника» и целую упаковку соков в железных банках. Даже побывавший на разных приемах Андрей при виде такого щедрого достатка не удержался от вздоха:

— Хорошо живете! Прямо «отдел заказов» на колесах.

Симпатичный блондин пожал плечами.

— Люблю, чтобы всего хватало, — признался он без малейшей рисовки. — Чтоб все под рукой было, без проблем.

Так просто он об этом сказал, так естественно и душевно объяснил причину своего житейского размаха, что бывшие одноклассники вроде бы неясную вину ощутили перед самими собой, заурядная лень и нерасторопность представилась им основанием малого собственного процветания.

Девушки расстлали на траве скатерть, расставляли еду, создавая непреднамеренно аппетитный натюрморт; Стива, вставши на колени и припадая щекою к земле, раздувал костер. Худющий и нескладный, напоминал он в это мгновение пионера, обмирающего от волнения перед такою ответственной миссией, доверенной

ему всем отрядом. Что ж, отряда он не подвел, через минуту неистовый огонь взметнулся над привалом, озарил окрестность и поюневшие вдруг, почти по-детски простодушные лица путешественников, затем смирился, опал и, уже умиротворенный, затрещал и загудел, подобно уютному домашнему очагу.

Роль тамады, не дожидаясь общего решения, самозванно присвоил себе Вовик. Не без умысла, надо думать: количество тостов зависело теперь целиком от его воли.

— Тост у нас для начала один,— объявил он, плеснув себе что-то в пластмассовый бритвенный стаканчик,— но безразмерный. На все случаи жизни. За любовь! Не возражаете?

Возражений не последовало. Напротив, общество оживилось, уже смехом своим и улыбками одоббив призыв оратора.

— Хороший тост,— подтвердила Маша,— действительно, для любой ситуации. Хоть для дипломатического приема.

— Оно и видно,— блеснул глазами артист,— типичная дипломатическая школа.

— А вы как думали? — ничуть не смутился Вовик.— Лицей. В Дмитровском переулке. Не слышали про такой? Между бакалеей и банями. Отличное дворовое воспитание.

Выпить ему, однако, не пришлось: едва только, юмористически набравши воздуха, поднес он к губам бритвенный стаканчик, как Андрей крепко, хотя и деликатно перехватил его руку и, ловко отобрав пластмассовый сосуд, убедился, что там плещется апельсиновый сок. Опешивший Вовик даже побагровел от обиды и злости, однако возразить не решился, чтобы не портить застолья.

— Как интересно! — не очень-то тактично выступила вторая девушка.— Вас что же, опекают?

— Приходится,— лицемерно вздохнул Андрей.— У него язва желудка. Совершенно не бережет себя.

Маша поспешила загладить оплошность подруги.

— А как же вы при таком тосте и в одиночестве? — скромно, не глядя ни на кого из приятелей, поинтересовалась она.

Друзья переглянулись, будто уславливаясь, кому на этот раз отвечать.

— Ну, это временное одиночество,— авторитетно заявил все тот же Андрей, глядя при этом на Стиву особым педагогическим, так сказать, упреждающе-поощряющим взором, каким смотрит тренер на главную надежду своей команды или же учитель во время «открытого» урока на лучшего своего, однако своевольного ученика.— На юг прорываемся... Кто же ездит в Тулу со своим самоваром?

Этот рискованный отчасти аргумент произвел, кажется, должное впечатление. На этот раз безмолвно нашли друг друга взглядами владельцы «Жигулей». Маша вздохнула, посмотрев пристально на симпатичного блондина.

— Вот видите, друзья мои, как поступают предусмотрительные мужчины. А вы что же?

— И мы не пропадем,— сверкнул глазами артист, в руках у него откуда ни возьмись появилась гитара, он элегически перебирал теперь ее струны,— между прочим, свой «самовар», как выразился наш новый друг, еще никому не мешал обращать внимание... на кувшины, так скажем, или на амфоры...

— На крынки,— добавил Вовик.

— Именно. В известном смысле,— охотно поддержал его вальяжный обладатель бородки.

Маша взвилась, по условиям игры скорее всего, но не исключено, что и всерьез:

— Ах, вот как! Так, значит, они о нас рассуждают!

— Ну что вы,— тактично вступил Андрей,— это я виноват — позволил себе необдуманное сравнение. Надо было выразиться как-нибудь поэтичнее... Ну, вот, как у Саади, например: новая весна — новая любовь. В данном случае: новая осень.

— Не обращай внимания, что ты,— вторая девушка солидарно коснулась Машиного плеча,— они думают, что они покупатели. Ходят по жизни, как по ГУМу: «Это возьмем, то заверните». Иллюзии все это, детский самообман. Надо же самолюбие потешить. Поерепениться... На самом-то деле их самих оценивают и выбирают. По разным показателям. Кого для разговоров, кого для тенниса.

— Вот тебе и амфоры! — подивился Вовик.

— Между прочим, не переоценивайте Машиную непримиримости,— хитро, по-свойски улыбнулся артист, по-прежнему задушевно касаясь струн, как бы подбирая аккомпанемент к собственным словам.

— Знаете, как Коля,— он кивнул на блондина,— с нею познакомился? Маша, не сердись, пожалуйста, я как беспристрастный свидетель... Подходит на улице и, чтобы не упустить случая, сами видите, какая гражданка, с ходу лепит первое, что в голову придет: «Девушка, ради бога, никогда бы не осмелился, только один вопрос.— Громче и драматичнее зазвенели струны, превращая этот рассказ в подобие эстрадного речитатива.— В прошлое воскресенье, в Копенгагене, в аэропорту, ведь это были вы, я не мог ошибиться?» Маша в прошлое воскресенье отдыхала в Опалихе, на даче. Но не могла же она не оценить комплимента.

Хохот был наградой рассказчику, причем Маша и симпатичный блондин смеялись едва ли не искреннее и заливистее всех. Молчавший все это время Стива поднялся и, не в силах больше терпеть этого ерничества, побрел к воде. Сквозь внезапную, физически ощутимую тоску он сознавал неотчетливо, что нетерпимость его теперь смешна и к тому же невежлива, но ничего не мог поделать с собой — отчаяние, как грудная жаба, не давало ему продохнуть.

— Какой, однако, целомудренный человек ваш приятель,— покачала головой Маша, которая при всем своем веселье засекала тем не менее Стивин уход.

— Есть немного,— признал Вовик,— но дело не в этом. Разговор у нас зашел не совсем подходящий. Разные мысли вызывает, эти, как их...

— Ассоциации? — подсказала Маша.

— Вот-вот, они самые. Всегда путаюсь в иностранных словах.

— Бывает,— откликнулся, туманно улыбаясь воспоминаниям, вальяжный бородач. — Мне, например, шеф устроил как-то разнос за то, что я бравирую своими обязанностями. Представляете формулировочку? Я даже опешил, честное слово,— в это нетрудно было поверить, с такую милой растерянной ответственностью воссоздавал он свое недоумение.— Потом все же выяснилось, что обязанностями своими я, оказывается, маникирую. А? Как вам это нравится?

— Не очень,— съязвила Маша,— по-моему, ты и маникируешь и бравируешь одновременно.

Она сама налила себе в стакан вермута.

— Я тоже хочу сказать тост,— во взгляде ее заискрилось уже не раз обнаружившее себя своенравие.— За людей, всегда готовых помочь!

Вовик доверчиво засмутился, и даже Андрей, удивленный внезапным пафосом этой краткой речи, непривычно потупился. Однако расчувствовавшийся, благодушно захмелевший бородач по-своему понял это предположение.

— Правильно, правильно,— с признательностью поддержал он его.— Мария, как всегда, права. Есть люди, одно имя которых звучит как пароль. Как заветное слово в восточной сказке. Произносишь, например, «Валерий Петрович», и перед тобой распахиваются все двери!

— Что-то здешние двери не распахнулись,— деликатно подрезал его Андрей,— или, быть может, вы не упомянули всемогущего имени?

— Здешние двери,— снисходительно, будто детской самоуверенности, улыбнулся симпатичный блондин,— настолько вне сферы Валерия Петровича... Уже и не знаю, как вам объяснить. Генеральный конструктор не занимается туалетной бумагой.

— А он генеральный конструктор? — попался на удочку простодушный Вовик.— Если не секрет, в какой области?

— В области настоящей жизни, я бы так сказал,— смеясь, ответил симпатичный блондин и окинул своих товарищей взглядом, на особое понимание рассчитанным, не знание каких-то, не то чтобы секретных, но завлекательно недоговоренных обстоятельств. Одна лишь Маша не захотела свойски принять этого взгляда. Она поднялась, что отчасти можно было принять за демонстрацию, и разом пропала во тьме.

* * *

Стива сидел на коряге у самой реки, скрючившись, словно от сердечного приступа, он смотрел прямо перед собой на темную густую воду, и в смехе, всплесками долетавшем от костра, ему по-прежнему слышались те самые мнимо английские возгласы, какие раздаются на теннисном корте, и стук ракеток назойливо преследовал его, и все та же картина матча, являющего собой, в сущности, образ любовной игры, неотвязно представлялась его взору. Неожиданно из темноты совсем рядом с ним возникла Маша. Он не увидел ее, а скорее почувствовал.

— Вы, наверное, обиделись?— осторожно спросила она.

— На что? — Стива не обернулся и даже позы не переменил.

— Не знаю... Может быть, что-то в разговоре показалось вам неприятным... Не надо обращать внимания на такую болтовню.

— Я не обращаю, — сухо ответил Стива.

— Ну и правильно делаете, — радостно одобрила его Маша. — Можно с вами посидеть?

— Посидите, — нехотя подвинулся Стива, — только со мной скучно.

— Кто это вам сказал? — искренне удивилась девушка.

— Да есть у меня некоторые основания так думать.

— А вы им не доверяйте, — совершенно серьезно посоветовала Маша, — мало ли кому что покажется, неужели со всеми считаться?

— Не со всеми, — вздохнул Стива, — вы же знаете, с одним определенным человеком.

Маша посмотрела на него очень внимательно: так врач смотрит на больного, от всей души желая его убедить, что исцеление начинается с пробуждения воли к жизни.

— Значит, это не ваш человек, и вы тут ни при чем. Надо это осознать раз и навсегда и выбросить его из головы. Или из сердца, я уж не знаю, откуда...

— Вы так считаете на основании личного опыта? — по-прежнему не глядя на девушку, спросил Стива.

Маша вновь ободряюще улыбнулась:

— Ну конечно. Разве иначе я осмелилась бы? Женщины обо всем судят только по личному опыту. Кто как рожал, кто как делал аборт.

— Придется вам поверить, — принужденно ухмыльнулся Стива, — поскольку такого богатого опыта у меня действительно нет.

Артист уже не перебирал струны рассеянной рукой, он теперь брал аккорды нарочито резкие и, как бы сказать, brutальные, и напевал что-то голосом приятным и мелодичным, однако ж с такою же напористой, якобы сердитой интонацией, которая сама по себе имитирует мужественность и выражает горечь жизненных разочарований и утрат. Интересно, как это ему удавалось: для всех перипетий здешнего разговора подбирать соответствующий музыкальный фон?

— Ну и как же этот ваш всемогущий знакомый конструирует настоящую жизнь? — поправляя прогоревшие

сучья, подозрительно скромно любопытствовал Андрей.

— По-разному,— его собеседник с некоторым, впрочем, хорошо скрытым волнением огляделся по сторонам,— конструкция надежная, вот что важно.

— Понтируешь — понтируй! — пел артист, воображая себя гусаром, отчаянным рубакой, бретером, дуэлянтом, волокитой, завсегдатаем светских балов, конских ярмарок и придорожных трактиров.

— Мы как-то привыкли связывать размах личности непременно с производством,— отчасти наставительно, словно за тем именно, чтобы не выдать беспокойства,— произнес блондин.— А это гений потребления. Представьте, такие тоже бывают. Не человек, а праздник! Жизнь оказывается потрясающе разнообразна. Если только уметь пользоваться ее возможностями.

— Это я понимаю,— не сдержав досады, замахал рукой Андрей, будто обжегшись,— вы мне признайтесь, чем же все-таки знаменит ваш приятель, что вы им так восхищаетесь. Что он такое открыл, построил, сочинил, изобрел, чем, так сказать, облагодетельствовал человечество? Откуда престиж?

— Да ну вас! — ребята из «Жигулей» вновь на мгновение столкнулись взглядами и разом улыбнулись с известным уже усталым чувством, какое вызывает назойливая непонятливость ребенка.

— У вас, простите меня, какие-то пионерские представления о престиже,— раздражась понемногу и откровенно уже вглядываясь во тьму, заметил блондин.— «Открыл», «сочинил» — сплошная серия «Жизнь замечательных людей». Я же вам толкую: его удел не производство, а потребление. Он открыл способ удовлетворять любые свои потребности. В чем угодно. Разве мало?

— Ясно,— Андрей подвел черту своему любопытству,— знамение времени — магия успеха. Преуспел — значит молодец! Чего, в самом деле, разбираться, каким образом!

— Да он же просто жулик, этот ваш, как его... Валерий Петрович,— брякнул вдруг прямолинейный Вовик,— его же заметут, как пить дать, рано или поздно!

— Ну, во-первых, скорее уж поздно, чем рано,— поморщился юмористически бородач.— А во-вторых, фу... какие это вы слова говорите, даже странно слышать.

— Действительно,— поддержал его артист, разом переставший играть и петь.— Почему-то считается, что че-

ловец непременно должен родиться художником, поэтом, избранником муз... Что за снобизм, ей-богу! А если его другие музы избрали или богини, я уж не знаю, как их назвать; короче, те, которые покровительствуют деловым, практическим людям, авантюристам, нефтяным королям... Чего же тут стесняться?

И тут же подтвердил свой риторический вопрос особо чувствительным, почти что надрывным перебором.

— Значит, и тут нас вы б и р а ю т,— вздохнул подавленный Андрей,— бедные, мы бедные...

Симпатичный блондин неожиданно вздрогнул, как будто именно к нему относились эти слова, как будто некий намек различил он в них, и, не заботясь больше о том, чтобы скрыть смятение, вскочил на ноги.

* * *

Стива и Маша сидели на коряге почти рядом. Издали можно было даже заподозрить, что разговор их принял какой-либо чересчур личный оборот. В сущности, так оно и было. Однако в самом невинном смысле.

— Вы не первая,— так и не желая взглянуть на собеседницу, произнес Стива, будто и не к ней обращался, а просто размышлял вслух,— мне все говорят: выброси из сердца... Правильно, и я бы так советовал, что еще скажешь... Ну вот, соберусь я с силами, выброшу, выжгу... и что дальше? Что останется-то? Пустота? Абсолютный вакуум? Вот чего я боюсь. Как же тогда жить?

— Природа не терпит пустоты,— весело объявила Маша,— она ее неизбежно заполняет.

Стива впервые внимательно посмотрел на девушку:

— Опять судите по собственному опыту? А он, к сожалению, имеет ограниченное значение.

Сверху послышался шорох шагов, потом прозвучал вежливый, чуть насмешливый голос:

— Какая трогательная картина! Я не помешал?

Прыжок на влажный песок отозвался глухим шмякающим звуком. Симпатичный блондин разом вырос перед сидящими, пружинистый, словно гимнаст, совершивший двойное сальто или какой-нибудь, бог его знает, соскок с брусьев, прогнувшись.

Стива смутился ужасно, до неприличия, будто и впрямь ощущал перед хозяином «Жигулей» какую-то вину:

— Нет-нет, что вы? Чему вы можете помешать?

— Я уж не знаю,— голос решительного этого человека звучал все изысканнее и все язвительнее,— понятия не имею, чему в таких случаях мешают, а, Маша?

— Тебе виднее,— отзвук давней непрощенной обиды проскользнул в ее тоне,— это ведь ты из себя выходишь, если кто-нибудь забредет к тебе без звонка.

— Вот и поспорь с женщиной,— симпатичный блондин, взывая к Стивинуму сочувствию, беспомощно развел руками.— У них всегда готов встречный упрек. Встречная претензия, которую, между прочим, давно бы уже пора предать забвению. А приходите без звонка,— он посмотрел Маше прямо в глаза,— и вправду бестактно. Даже убежав из больницы.

— Поверьте,— все еще не преодолев внутренней скованности, оправдывался Стива,— ваши, как бы это сказать... сомнения, что ли... совершенно лишены почвы.

— Да я и не сомневаюсь,— блондин вдруг совершенно откровенно окинул Стиву оценивающим взглядом,— какая, в самом деле, может быть почва?

Властным, покоряющим движением, уже никакого внимания не обращая на Стиву, он обнял Машу за плечи:

— Пойдемте, радость моя. Нам тут покои уступили — королевские, на полторы персоны.

С хозяйским сознанием своего права и с хозяйской же осмотрительностью повел он девушку вверх по откосу. В походке ее, в опустившихся плечах Стиве почудилась покорность, бабья, нерассуждающая, привычная. Странно, он мог поклясться, что чувство, промелькнувшее в его душе при виде такого обидного послушания, могло бы считаться в сто раз уменьшенной копией той смертельной тоски, какую испытал он, получив телеграмму от пропавшей жены.

* * *

Все душное, тяжелое лето мечтали в Москве о таком вот пасмурном, зябком рассвете, но, проехавши более семисот километров на юг, проснулись с ощущением неуютности и разочарования в жизни. На похмелье было похоже это состояние, не по причине выпитого накануне — выпили самые пустяки, а по сути, по ощущению: кончился вчерашний праздник, споры, страсти, нервная веселая взвинченность — все это осталось за плечами, в угаре дотла прогоревших чувств. Предстоял осмотр

машин, копанье в двигателе, заправка, отъезд — опять же работа. Вовик как человек, наиболее к ней привычный, поднялся раньше всех, тем более что ночевал он в спальном мешке прямо на пожухлой, полувывотпанной траве. По флотскому своему обыкновению, а также по свойству тех выпивающих людей, которых с утра тяготит смутная тень вины, он немедленно занялся внутренним своим самочувствием, помахал для зарядки руками, поприседал, покряхтел, поухал и тут же затеял бриться. Вот так вот, с намыленными щеками и с опасной бритвой, источенной до узкой полоски, в руке принялся он подымать товарищей. Спали они в машине, скорчившись кое-как на разложенных сиденьях.

— Подъем, выходи в шинелях строиться! — никого не стесняясь, зычным боцманским голосом орал Вовик и продолжал при этом бриться, пугающе взмахивая время от времени убийственным клинком, то ли для того, чтобы стряхнуть с него пену, то ли затем, чтобы сопроводить свою команду решительным воинским жестом.

— Вот глотка-то луженая, — ругался мятый со сна Андрей, у которого от тесноты и неудобной позы свело руку и ногу, — как с тобой жена живет, понять не могу; от таких, как ты, бегать нужно, а не от этого простогладина, — он мотнул головой в сторону Стивы. Тот сидел на корточках перед дорожной сумкой и рылся в ней судорожно и растерянно, что-то искал и не мог найти. Оказалось, электробритву. Вылетали на свет божий рубашки не самого модного покроя, майки, прочие предметы, не рассчитанные на всеобщее обозрение.

— Вовик, где же она... — бормотал Стива обиженно, — вот, черт возьми, неужели забыл, ты не знаешь, какое здесь напряжение? Хотя ты бреешься по-старому...

— Не по-старому, а по-настоящему, — Вовик картинно поднял вверх опасное лезвие бритвы. — Золлингеновская сталь. Клеймо — два мальчика. Благородный мужской предмет, учтите это, студент. А напряжение — двести двадцать, можешь не сомневаться.

С этими словами, все так же уверенно проводя бритвой по щеке, а потом решительно стряхивая с лезвия пену, он направился к «Ладам», возле которых уже хлопотали хозяева, с тем особым утренним водительским раздражением, какое вызывает у пассажиров почтительность, отчасти похожую на подобострастие. Может, поэтому девушки с какой-то особой молчаливой расторопностью соображали завтрак, что-то такое быстро-быст-

ро резали, мазали, кипятили на скорую руку, вообще проявляли себя умелыми, преданными хозяйками, к которому даже удивлению Вовика, который с первого взгляда определил их про себя как подруг «фраеров», тех, что во время ремонта машины неизвестно на что куксятся, капризничают и страдают от того, что понапрасну якобы теряют время.

— Консультации не требуется? — полюбопытствовал Вовик тем одновременно пренебрежительным и покровительственным тоном, каким привык разговаривать со своими клиентами, а вот с такими, «центровыми» и наверхника денежными, в особенности.

— Не думаю,— принимая игру, ответил ему симпатичный блондин, ему, видно, хорошо знакома была панибратски-хамоватая манера вольного автомобильного сервиса, и он умел не потерять лица перед ее насмешливым напором. Он окинул Вовика не то чтобы вызывающим, но свойским, всепонимающим взглядом и широким жестом пригласил его, а в его лице — и обоих его друзей, к столу.

Стива, заподозрив, что Маша будто бы специально для него наливает кофе в большую кружку, отвел глаза и преувеличенно затряс головой:

— Спасибо, еще не хочется.

Андрей тоже дипломатично отказался, сославшись на совершенное отсутствие аппетита в столь ранний час. Лишь Вовик, далекий от дипломатии и незнакомый с отсутствием аппетита по соображениям времени, принял из Машиных рук ту самую большую кружку. И при этом еще покосился с грустью во взоре на недопитую бутылку коньяка, которую вроде бы вовсе невинно показывал ему артист. По счастью, Андрей, уже сидя в машине, подал вдруг ни с того ни с сего долгий нервный сигнал. Вовик резонно принял его на свой счет и со блази скрепя сердце преодолел.

— Не надоел еще «Москвич»? — запросто, как автомобилист у автомобилиста, поинтересовался у Андрея симпатичный блондин, резким и точным вращением руля разворачивая свою приемистую «Ладу». — А то мне моя «коломбина» уже опостылела,— признался он уж и вовсе по-дружески.

— Что так? — вежливо удивился Андрей. — Вы же на ней и десятки тысяч не прошли.

— И проходить не намерен. Бог с ней, куда ни плюнь, сплошные «Жигули», даже неудобно. Вернемся с юга,

уступлю какому-нибудь сыну Кавказа. Пора серьезный кар водить, как у солидных людей.

— У Валерия Петровича? — невинно осведомился Андрей.

— Совершенно верно, — блондин искренне улыбнулся его догадливости. — Там «Вольво-350». Догоняйте, по дороге расскажу, что это за тачка.

Одна за одной «Лады» выбрались на шоссе и сразу, буквально в одно мгновение превратились в исчезающие из поля зрения точки. Вслед за ними из ворот кемпинга, гремя всеми своими частями, пулей вылетел «Москвич». Пешеходу, шарахнувшемуся в испуге в кювет, трудно было поверить своим глазам.

— Ты это... — предостерегал Вовик, который на сей раз уселся рядом с Андреем, — не поддавайся на провокацию. Тебя же уделать хотят, ты что, не понимаешь? Между прочим, у тебя ведь не это, как его... не «вольво».

— Ну и что? — напряженно и как-то собранно злился Андрей, припадая к баранке, словно всадник к шее скачущей лошади, — значит, я дерьмо последнее, ничтожество, тварь дрожащая? Посмотрели, и сразу все ясно, кто чего стоит.

— Андрей! — ужаснулся на заднем сиденье Стива. — Опомнись! За кем гонишься? Ты что, неужели завидуешь? Кому? — В Стивинном мальчишеском голосе звенело искреннейшее недоумение.

— А почему бы и нет? — Андрей с усилием продолжал давить на газ. — Почему бы и не позавидовать? Весьма достойные молодые люди. Специалисты.

— В чем это? — недопонял Вовик.

— А в чем хочешь. В машинах, в женщинах, в хорошей еде. И в жизни каждый из них достиг большего, чем все мы втроем, вместе взятые.

— Урвал! Так и скажи, — праведным воплем разразился потрясенный Стива.

— А меня это не волнует, я не прокурор! — возбужденный азартом гонки, бросил через плечо Андрей. — И никого не волнует. Кроме таких вот моралистов, от которых жены бегают.

Не столько усилием измотанного двигателя, сколько напряжением воли водителя, «Москвич», дребезжа и дрожа, словно космический корабль в полосе наивысших перегрузок, настиг все же обе «Лады» и даже поравнялся с ними.

— Вы, кажется, собирались рассказать кое-что о повинках мирового автостроения,— улыбнувшись удовлетворенно, прокричал Андрей симпатичному блондину.

Маша при виде встревоженного, растерянного Стивы расцвела, засияла глазами, замахала ему рукой.

— Главное качество «вольво»,— громко, хоть и не поворачивая головы, сообщил владелец «Лады»,— в том, что любые здешние машины по сравнению с нею всего-навсего самокат.

С этими словами он прибавил оборотов, и «Лада» без труда избавилась от назойливого соседства «Москвича». Вслед за нею тот же маневр как по команде повторила вторая машина Волжского завода. Они в большей степени соответствовали мировому уровню автомобилей, нежели изделие АЗЛК выпуска 1971 года.

Андрей, естественно, напрочь забыл об этом. Он слушать никого не хотел и ничего уже не видел вокруг себя, лишь красный багажник удаляющейся «Лады» служил ему раздражающей приманкой. Гремя и сотрясаясь от натуги, вот-вот грозя развалиться на куски от непосильной работы, с надрывным хрипом в моторе, «Москвич» медленно, но неуклонно догонял «Жигули».

— Слушай, ты, адский водитель,— хрипло, под стать мотору увещевал Андрея Вовик, вцепившись до боли в пальцах в скобу над головой, практически упершись кулаком в потолок,— кончай, не гони картину. Ты что, забыл, на чем едешь? У тебя же скаты лысые, черт, и сцепления на соплях...

— Ничего,— приговаривал, припав к баранке, Андрей,— зато у меня нервы крепкие. Тросы, можно сказать, канаты, а не нервы...

Теперь его старая машина пристроилась в хвост «Жигулям», она шла, а точнее — неслась на том небольшом от них расстоянии, какое и полагается соблюдать участникам автомобильного каравана.

— Вот теперь поглядим, сумеют ли они от нас оторваться,— самолюбиво подытожил Андрей и, расслабившись, впервые за все это время, откинулся на спинку кресла. В этот самый момент, откуда-то снизу раздался катастрофический, душераздирающий скрежет, «Москвич» сам по себе, без малейшего участия водителя, вильнул влево, потом, повинувшись неодолимой силе, встал поперек шоссе. Андрей, закусив от натуги губу, с перекошенным от страха и недоумения лицом пытался вывернуть руль, но не тут-то было: автомобиль его боль-

ше не слушался, он вращался вокруг своей оси, как ничтожная щепка, несомая дождевым потоком,— какое счастье, что в эту пору на дороге не оказалось встречного транспорта! Никакие тормоза не в состоянии были прекратить этого безвольного панического движения, оно завершилось лишь в тот момент, когда «Москвич» очутился в кювете, уткнувшись носом в грязь и задрав кверху багажник и крутящиеся бессмысленно и жутко задние колеса.

В большое, во всю кабину, панорамное зеркало, укрепленное над головою водителя, Маша все время старалась разглядеть, что же происходит на шоссе, за ее спиной. Тревога тенью пробежала по ее напряженному лицу, она вытянула шею, всматриваясь в зеркало, потом быстро открутила боковое стекло и высунулась в окно.

— По-моему, с ними что-то стряслось, с нашими... спутниками,— забормотала она растерянно, хватая водителя за руку,— будь добр, остановись, я хочу посмотреть.

— Ты хочешь посмотреть? — переспросил ее друг, прикуривая от зажигалки сигарету.— Или посидеть у реки? В лирическом обществе? Будь уж откровенна.

Скорости он тем не менее не снижал.

— Ты все-таки дурак, честное слово! — вспыхнула Маша.— С людьми, не дай бог, что-то случилось, а он, видите ли, ревет. Нашел время!

— Я вообще не ревную, Маша,— спокойно отразил ее удар симпатичный блондин,— ты могла это заметить. Я никогда не ревную. И тебя, если помнишь, учил тому же. И уж тем более к людям, которые втроем ездят на четырехеста первом «Москвиче».

Он мельком взглянул в панорамное зеркало.

— С ними ничего не стряслось, можешь не волноваться. Они просто отстали, понимаешь? Отстали! Давно и безнадежно. Что ж теперь делать? —

* * *

С растерянными, перевернутыми лицами приятели выбились кое-как из беспомощной машины, еще не веря до конца, что остались живы и невредимы, ощупываясь бессознательно, чтобы в этом убедиться. Морщась и потирая ушибленное плечо, Стива отвлеченным взглядом посмотрел на пустынное, по счастью, шоссе. Лишь вда-

ли, за перекастом дороги, мелькали букашки «Жигулей».

— Вот мы и пешеходы! Нет худа без добра, зато ни с кем теперь и не тягаемся. Кто бы на чем ни ездил.

Потрясенный случившимся, колотившую его дрожь не сумевший унять, Андрей смолчал, безропотно проглотив шпильку. А Вовик, усмирив с трудом праведную жажду выругаться и сорвать тем самым зло, с кряхтением и бормотанием полез под задравшийся неприлично багажник «Москвича».

— Ладно. Могло быть и хуже,— обнадежил он приятелей, подымаясь и отряхиваясь.— Во-первых, все-таки целы, и на том спасибо нашему гонщику. Просто низкий поклон до земли,— не удержался он все же от ехидства.— А во-вторых,— тут его голос зазвучал проще и деловитее,— если нас до города кто-никто доволочет, я, может, разберусь, как жить дальше. Как в воду глядел,— выругался он все же почти добродушно, находя утешение в собственной прозорливости,— что одних вас отпускать нельзя.

Они вышли на шоссе и принялись что было сил и фантазии привлекать к себе внимание проезжающих шоферов. Руки подымали, голосуя; растопыривали руки, демонстрируя свою беспомощность; какие-то маловразумительные, однако же многообещающие жесты делали — машин на дороге заметно прибавилось, однако тормозить никто не тормозил. Напрасно Андрей в отчаянии загоразживал телом проезд, умоляюще складывая ладони — его огибали, нещадно матеря, в ответ он тоже бессильно ругался:

— Сволочи! Тоже небось порядочные люди... Упаковались... И теперь плюют на все человечество.

Свистящий гибельный гул стоял вокруг от пронсящих машин. Андрей едва успевал увертываться.

— Чтоб тебе в бульдозер вмазаться! — кричал он вслед иному бездушному водителю и бессильно опускал руки:

— Ну что ты будешь делать, никакой солидарности!

— Да-а,— покачал головой Вовик,— по этой линии действительно слабовато. Это тебе не морской флот, надо честно признать. Да не торчи, не торчи ты на проезжей части, еще одного приключения не хватало!

После короткого, но упорного, как физическое напряжение, раздумья, глубокими рытвинами пересекшего его чело, Вовик подозвал Стиву:

— Ну-ка, студент, растянись вот тут, на обочине. Не стесняйся, дело семейное, ложись!

Стива, не соображая еще, чего от него хотят, неловко опустил на траву.

— Смелей, смелей,— понукал его Вовик,— расслабься и получай удовольствие, слышал про такую инструкцию? Мы их на куклу сейчас возьмем, равнодушных водителей этих, гадом быть, был такой прием в уголовной практике. Кукла — это, значит, вы, студент. То есть в данном прискорбном случае жертва.

Понимание жизни и многих ее обстоятельств и на этот раз не обмануло Вовика: не успел он в позе удрученного милосердия склониться над распростертым Стивой, как возле них затормозил огромный крытый грузовик неясного, но, несомненно, особого назначения.

— Что это с вами, мастера? — спросил, высунувшись из высокой кабины, шофер — мордатый, в потрескавшейся, истертой добела лётной кожаной куртке. — Дочодит, что ль?

Андрей, не одобрявший этой комедии, в чрезвычайно естественной растерянности пожал плечами. Шофер грузовика тяжело спрыгнул на землю, профессионально, с первого взгляда оценил положение «Москвича», а потом, через Вовиково плечо туповато уставился на Стиву:

— Голова-то в порядке?

— Вообще-то не совсем,— туманно произнес Вовик.

— У него шок, я тебе точно говорю,— захлебываясь от эрудиции, шептал шофер,— ему дыханье надо делать, искусственное...

— Ты думаешь? — всерьез спросил Вовик.

— Рот в рот, как утопленнику.

— Только без этого,— брезгливо скривился Стива и, открыв глаза, предпринял довольно-таки бодрую попытку сесть.

— Вы что же это, фрайера,— тяжело и оскорбленно покраснел водитель грузовика,— шутки шутите на трассе? Концерты устраиваете? Народные театры?

— Какие уж тут театры, друг?! — взмолился Вовик.— Сплошной убыток, ты же видишь, как раскурочились. Будь человеком, дотяни до населенного пункта. Пропадем ведь...

— Да-да, друг,— несколько суетливо поддержал просьбу Андрей,— подбрось, чего тебе стоит?.. За нами, как это... не заржавеет.

— Так бы и говорили,— пробурчал, отходя, шофер, он

и вправду казался отзывчивым человеком,— а то ломают дурочку, как не знаю кто... Вставай, ты, участник художественной самодеятельности,— он насмешливо взглянул на Стиву, сидевшего по-прежнему в нелепой позе, мнимой к тому же, разоблаченной жертвы,— почетную грамоту в ГАИ получишь, если остановят.

* * *

На балконе, а точнее, в лоджии, благородно провинциальной, плющом увитой и еще какими-то ярко цветущими южными растениями — прихотливыми, избыточными, чувственными,— стояла немолодая, однако все еще весьма привлекательная женщина и счастливо улыбалась. В сущности, именно эта искренняя, безоглядная, как в юности, улыбка и делала ее такой милой, позволяла догадываться, как замечательно хороша была эта женщина каких-нибудь двадцать — двадцать пять лет назад.

— Маша,— кричала она вниз опять же молодым, почти девчоночьим радостным голосом и махала рукой,— Машенька, господи, боже мой! Хоть бы телеграмму дала! Артем! — это уже в глубину квартиры было обращено,— иди скорей, смотри, кто приехал! Иди же!

Из двери, ведущей в комнату, выглянул недовольно седовласый мужчина внушительной и властной осанки, о которой он, казалось, ни на секунду не забывал, даже в домашней обстановке не позволяя себе расслабиться, сознательным усилием души преодолевая малость роста, обидно противоречащего величию наружности и натуры. На одной ладони держал он телефонный аппарат, в другой сжимал трубку, напоминая тем самым карточного короля со скипетром и державою в руках.

— Что за крики, слушай? — продолжал он морщиться с раздражительным нетерпением.— По телефону можно поговорить, да? С Константином Александровичем, от которого, между прочим, кое-что зависит в судьбе твоего сына! До которого, между прочим, не так легко дозвониться! Черт знает, что такое!

Из трубки донеслось недоуменное гудение.

— Это не тебе, Костя, дорогой! — произнес мужчина в трубку таким голосом, каким самодержец мог бы разговаривать с лидером, хоть и лояльной, однако влиятельной оппозиции.— Издержки семейного счастья, кля-

нись честью! Минуты нет покоя, слушай, сосредоточиться некогда, подумать о жизни!

В этот момент рассерженный взор этого волевого мужчины как-то сам собою сосредоточился в том направлении, куда жена все это время безуспешно старалась направить его внимание.

— Маша! — громко, однако же словно ни к кому не обращаясь, а просто констатируя факт, вымолвил он. — Маша, клянись честью! — теперь это был уже крик радости и восторга, натурально несовместимый с самоуверенной солидностью этого человека, с его обыкновением ничему в жизни внешне не придавать слишком большого значения. — Почему, слушай, телеграммы не дала? Как снег на голову!

Телефон в руке вновь напомнил ему о себе, и он с досадой, забыв об этикете и возможных последствиях, закричал в трубку:

— Костя, прости, дорогой, я тебе позже позвоню, ей-богу, дело есть, обстоятельства срочно переменялись!

Внизу, возле двух запыленных машин стояла Маша и, довольная эффектом, какой произвело ее появление, лукаво и радостно смеялась.

— Все, все наверх! — провозглашал с балкона хозяин дома, заметив пронизательно, что Маша отчасти играет на публику, сидящую в автомобилях. — Вее! — он делал руками величественные жесты, какими обычно утомленный концертмейстер подымает оркестр.

Хозяйка, не утерпев, решила сама спуститься во двор, немного погодя и хозяин пришел к мысли, что имеет смысл поощрить гостей, приветствуя их на пороге дома. Встретившись, однако, посреди большого двора, неизменного во всяком южном городе, зеленого, заросшего травой и пыльного в одно и то же время, ограниченного с одной стороны утесом жилого дома и сохранившего в непознанной своей затягивающей глубине какие-то замшелые особнячки, покосившиеся пристройки, трухлявые сараи, строения, опоясанные ветхими галереями, оснащенные целой системой лестниц с почерневшими деревянными перилами.

Поцелуев, объятий и сентиментальных восклицаний, доставшихся на Машину долю, хватило бы на целый семейный праздник, на юбилей, например, собирающий родного со всех концов отечества. Вся Машина компания приветливо улыбалась, как и подобало случаю, однако сквозила в этих улыбках и столичная снисходи-

тельность по поводу столь пылкого выражения родственных чувств.

— Познакомьтесь: мой друзья,— скопом представила Маша своих спутников,— движемся к морю своим ходом. А это,— наперекор чуть ироническим взглядам приятелей она еще раз расцеловала женщину,— самая моя любимая тетка Екатерина Михайловна. Правда, красивая женщина? По-моему, Артем Нестерович из-за нее кого-то застрелил.

— Могла бы, между прочим, не компрометировать дядю перед друзьями,— напоказ нахмурился мужчина,— самая любимая племянница еще называется... Застрелить не застрелил, но порассказать есть что в подходящей компании.

— Интересно бы послушать,— с милейшей улыбкой признался симпатичный блондин и вздохнул неподдельно,— к сожалению, лишены такой возможности. Нанесли визит вежливости и стремимся дальше. К морю.

— Как это стремимся? Почему это лишены возможности? — в голосе Артема Нестеровича прорезалось некое праведное недовольство.— Слышать ничего не хочу! Екатерина, как тебе это нравится?! Мой дом, учтите это, молодые люди, совсем не то место, куда заходят из вежливости. Из вежливости мне можно открытку прислать. А тот, кто пришел сюда,— он благословляюще обвел рукой пространство, как бы давая понять, что окрестный двор тоже является его владением, во всяком случае, подчиненной ему территорией,— тот уже друг. Между прочим, начальник ГАИ нашего края тоже мой друг, имейте это в виду.

— Ну, если так,— поспешил подыграть Артему Нестеровичу обладатель холеной бородки,— то это меняет дело. Придется принять приглашение.

— Придется, в обязательном порядке,— сдвинул самодержавные брови Артем Нестерович и тут же обнажил крепкие зубы в лучезарнейшей, плотояднейшей улыбке.— Кутить будем, да! Можем себе позволить?!

* * *

Побитый и покорябанный «Москвич», надорвавшись во время непосильной ему гонки, выглядел теперь и вовсе жалко — болтаясь на прицепе у огромного, добродушного КраЗа. В кабину грузовика, откуда, почти как из самолета, открывался превосходной обзор местности,

чтобы не скучно было благодетелю-шоферу, посадили Стиву. Он, однако, туповато и мучительно молчал, не умея запросто сходитьсь с людьми и стесняясь к тому же своей недавней дурацкой роли. А в «Москвиче», бессильном и холодном, как-то замедленно и неопределенно, что происходило, вероятно, от ритма этого зависимо-го, несамостоятельного движения, переговаривались Андрей с Вовиком.

— Знаешь,— лишь слегка придерживая баранку, признался Андрей,— а я ему завидую.

— Кому? — не понял Вовик. А может, просто не захотел понять.

— Кому-кому, простогландину нашему... Стиве.

Вовик присвистнул:

— Нашел везунчика! Мужик уж совсем гармонь потерял, того и гляди либо свихнется, либо руки на себя наложит... Его отвлекать надо, а не зависть к нему испытывать.

Андрей с досадой помотал головой:

— Ты по-другому взгляни... Человек страдает. Откровенно, ярко, без стеснения, без всяких этих шуточек хреновых, за которые все теперь прячутся. Значит, живет! А не прозябает, не существует, не болтается, как дерьмо в проруби... А я вот забыл, что такое страдание. Так, неприятности... денежные, как видишь, затруднения... с работы ушел. Досадно, конечно. Зло берет. Но не страдаю. И представить себе не могу, чтобы помчался за кем-нибудь, вылупив глаза, через всю Россию.

— Помчался все-таки,— поймал товарища на противоречии Вовик,— ради того же Стивы. За рулем помчался.

— Это другое дело,— вздохнул Андрей,— это не за кем-то. Это ты правильно сказал — ради кого-то. Ради друга, ради дружбы вообще.

— А это что ж тебе — не повод... — Вовик не мог подыскать соответствующего настроению слова.— Едем, вот что главное. Сорвались как по приказу. И пилим.

Друзья помолчали, растроганные и заодно смущенные таким изъяснением чувств.

— Пилить-то пилим,— вдруг тихо, с непривычной для него задушевностью возобновил разговор Андрей.— Через силу, можно сказать. Всеми правдами и неправдами. Только, боюсь, напрасно.

Вовик забеспокоился:

— Почему это? Думаешь, не разыщем?

— Не знаю. Может, разыщем. Не иголка. Только все равно напрасно.— Андрей внимательно посмотрел на Вовика.— Можешь мне поверить. Я в этих делах кое-что понимаю.

А в грузовике шофер, отыгрываясь за свое постыдное недавнее легковое, изо всех сил подначивал Стиву:

— Чего же ты молчишь, артист? Ни хрена себе, попутчик! Я думал, парень — гвоздь, вон как здорово жмурика изображал, еще чего-нибудь такое выкинет, байку загнет. Все пахать веселее. А ты... как этот, честное слово. Как сектант. Слова от тебя не добьешься!

Стива и сам страдал от своей молчаливости, которую уже и за высокомерие можно было принять, оттого, что язык его словно отяжелел и прилип к небу, однако по-прежнему глядел на дорогу, не поворачивая к водителю лица.

А тот уже заводиться начал, уже свирепеть потихоньку, хотя до поры до времени все же держал себя в руках.

— С тобой, знаешь, что хорошо делать? Левый груз возить. Гадом буду. В случае чего, если ГАИ прихватит, ты как воды в рот набрал. Видел — не видел, знаем, но никому не скажем. Могила. Точно?

Стива, которого все это время безжалостно одолевали свои привычные мысли, впервые повернулся к соседу. Будто впервые о нем вспомнил и рассмотрел его.

— Слушай, шеф,— спросил он, не в силах терпеть свою муку,— тебя бросали когда-нибудь?

— Куда? — не сразу разобрался в обстановке шофер.

— Не куда, а оставляли, женщины... жена, например, или, как это говорится, подруга?

— Бабы, значит? — почему-то обрадовался водитель, быть может, тоже вспомнив кое-что из собственной биографии.— Что ты! Я этого не допускал. Ни под каким видом. Я их сам первый, как это ты говоришь, оставлял. Чуть что — и привет горячий. Зад об зад, и кто дальше. Упреждал. Посылал, одним словом.

— Понятно,— как-то сразу утратив к соседу интерес, Стива вновь уставился на дорогу.— А я вот не упредил. Да и не думал никогда о том, чтобы упреждать.

— Выходит дело, тебя, значит, того... намахали. Привет тебе послали и поцелуй.— Водитель по инерции не оставлял потешного своего зубоскальства, однако багровое, сытое его лицо, надо признать, сделалось серьезным, осененное незнакомой задачей.— Так, так... то-то потерпевшего аварию ты так точно исполнил, ты ее

и взаправду, оказывается, потерпел. Скажи, пожалуйста! А я смотрю, чего это мой артист такой смурной...

— Да не артист я,— в сердцах перебил Стива,— заладил одно и то же...

— А кто ж ты?

— Биолог,— поймав себя на каком-то дурацком выскомерии, объявил Стива.

— Биолог! Про все живое, значит,— этот здоровенный, мордастый парень неожиданно обнаруживал себя осведомленным человеком.— Ну вот и думай теперь, почему тебя жизнь наказала.

— Я думаю,— закивал Стива.— Только не об этом. Ни о чем другом не могу.

Шофер посмотрел на него без насмешки и даже с некоторым сочувствием. Снисходительным, впрочем, с таким, какое выражают скорее из приличия, нежели от полноты чувств:

— Может, ты и сам где-то маху дал? Мы ведь не понимаем.

— Может,— покорно согласился Стива.— Вот я и ищу, в чем. Каждый день перебираю по минутам. В памяти восстанавливаю. Понять хочу, где ошибка.

— Понял?

Стива вновь посмотрел на шофера внимательно и заговорил поспешно, сосредоточенно и невольно понизив голос, как говорят обычно люди, одержимые какой-нибудь навязчивой идеей, да и пострадавшие к тому же немало за эту идею.

— Нельзя ими дорожить — вот в чем суть. Не спорь, я это всесторонне обдумал, можно сказать, математически высчитал. Когда дорожишь, сам себя обрекаешь на зависимость, на страх вечный, как она там, что там... На несвободу.

— Это точно,— вздохнул водитель.

— И в итоге на крах! На позор! На гибель! — Стива еще больше раскипятился, но голоса, как ни странно, не повышал, наоборот, бормотал, точно страшным секретом делился, точнее, кричал почти беззвучно, отчего производил впечатление действительно тронувшегося человека.— Вот пишут везде, лекции читают: не пей, не кури, по путям не ходи, с подножки не прыгай! Плакаты рисуют! Меня нужно на плакате нарисовать, мой нынешний портрет! Пейзаж выжженной души! Смотрите, уважаемые граждане, до чего доводит беззаветная любовь. И бред мой записать в качестве не-

опровержимого аргумента. Вот вам душа человека, который любил!

На последние слова ему уж и вовсе не хватило дыхания, он и не произнес даже, а буквально прошептал, будто признавался в непростительном и жутком грехе. Шофер даже отодвинулся от него слегка, подавленный его страстью и невменяемым его видом.

— Здорово ты придумал, ничего не скажешь! Дал под штангу! Всю жизнь по пунктам расписать на манер правил уличного движения. Фотокарточку его развесьте, обратите внимание: пострадавший по линии любви. Интересное кино! Ну а если душу другого изобразить, того, кто не любил никого, думаешь, завлекательнее получится?

* * *

В сопровождении гостей Артем Нестерович ходил по рынку, вновь поразительно напоминая какого-нибудь исторического деятеля, окруженного свитой и личным конвоем. Можно сказать, не ходил, а передвигался, повинаясь своей, посторонним невнятной логике или же прихотям и капризам, обнаружить между которыми связующую нить было решительно невозможно. Он то устремлялся вперед, будто повинаясь зову главного своего предназначения и заставляя базарную мельтешащую толпу почтительно расступаться; то замирал вдруг отрешенно, словно застигнутый врасплох внезапно посетившей его идеей. Снедь выбирал с великолепной свободой, с совершенным сознанием своего права, с сокровенным пониманием ее природы, хищно принимовивался, дерзко запускал пятерню в корзины и бочки, властно, по-хозяйски взвешивал на ладони куски говядины или баранины. Ничего не покупал сразу, как бы не доверяя первому впечатлению, однако все наблюдения держал в голове и порой возвращался внезапно за каким-либо припасом в тот самый ряд, из которого ушел полчаса назад, ничего не удостоивши своим выбором. Торговаться не торговался, но цену назначал непременно свою собственную, заметно меньше той, какую просил продавец. Самое поразительное, что с ним никогда не спорили — ему уступали. Не с досадой, как уступают какому-нибудь неодолимому обстоятельству, но почти охотно, с некоторой даже бесшабашной удалью: эх, мол, была не была, будь по-твоему!

— Вы, Артем Нестерович, умеете жить! — не скрывая восхищения, признал мужчина с холеной бородкой. — Проникаете в суть вещей!

— Я везде проникаю, — с оттенком самодовольства, однако иронически согласился Артем Нестерович, — вот в министерстве: что нужно, сразу меня командируют. Из других главков, слушай, в очереди томятся, секретаршам подарки-модарки суют... А я иду прямо к заместителю министра, клянусь честью! И напоминаю ему про керченский десант.

— А он что, в нем участвовал? — почтительно полюбопытствовал артист.

— Какое, слушай, имеет значение! Я участвовал, достаточно, да!

— Любопытно, — заметил симпатичный блондин, — ну а вот, если бы он, — в голосе его слышалась уважительная профессиональная заинтересованность, таким тоном задают друг другу вопросы равночтимые коллеги на высоких симпозиумах и семинарах, — если бы оказался он, допустим, совсем молодым человеком? Не фронтовиком?

— Какое имеет значение, слушай?! — Артем Нестерович сделал рукой непередаваемый жест своеволия и пренебрежения, — я бы ему тогда тем более напоминал. В качестве патриотического воспитания...

Тут он вывел наконец свое окружение за пределы рынка и принялся распределять покупки по багажникам.

— Теперь в совхоз едем, — одновременно намечал он дальнейшую программу действий, — тут недалеко, километров пятнадцать от города. У меня там директор — свой парень, приятель, между прочим.

— Тоже бывший моряк? — серьезно, будто продолжая свою научную анкету, поинтересовался симпатичный блондин.

— Летчик, слушай!

Именно в этот момент на просторную и пыльную базарную площадь, медленно, будто поливальная машина, выкатился тяжеленный КраЗ, волочащий на длинном тросе обшарпанный «Москвич». Так ребенок, физически развитый не по летам, таскает за собой повсюду на веревочке опостылевшую игрушку.

— Ой! — вскрикнула Маша. — Смотрите! Да смотрите же! Это же наши спасители!

При этих ее словах, ущемлявших их самолюбие, мужчины недовольно поморщились. Маша, однако, простодушно и жестоко не сочла нужным придать этому хоть малейшее значение.

— Я же знала,— причитала она,— что с ними что-то произошло, а мы их бросили! Сердцем чуяла! Представляешь, дядя Артем, эти совершенно незнакомые люди столько раз помогали нам в пути, а мы потом, когда с ними стряслась беда, просто-напросто бросили их на дороге! Ну кто мы такие после этого!

Артем Нестерович был поставлен племянницей в щекотливое положение: не верить ей он не мог, но и осуждать своих новоявленных молодых друзей по соображениям гостеприимства не решался.

— Маша, как всегда, преувеличивает,— поспешил ему на помощь парень с бородкой.

— С самыми лучшими намерениями,— ядовито поддержала его вторая в компании девушка, как видно, не склонная к угрызениям совести. Компания дружно рассмеялась, и это окончательно вывело Машу из себя. Глаза ее сузились, губы задрожали.

— Ну знаете, если нормальная человеческая благодарность — это преувеличение и вообще что-то подозрительное...

Артем Нестерович нежно обнял племянницу, как бы радуясь ее взрывной горячности и в то же самое время стараясь деликатно ее остудить.

— Зачем, слушай, волноваться? Надо позвать их к нам в гости — вот и весь вопрос, честное слово!

Маша просияла, как школьница.

* * *

Из трех друзей лишь один Андрей не был смущен неожиданным приглашением и без стеснения вошел в незнакомую квартиру, где во всем ощущался некоторый перехлест: и мебель была излишне помпезна и модна, ни дать ни взять — прямо из выставочного каталога; и хрусталь чересчур современен, то есть слишком уж стилизован под старину; и книги неправдоподобно новые, будто и не читанные никогда, корешок к корешку, издание к изданию. Надо думать, гостеприимная эта, на широкую ногу поставленная квартира обладала свойством улавливать всякий появившийся в городе дефи-

цит. Он-то отчасти и подавил Вовика, по некоторой душевной неопытности полагавшего, что как раз в такой вот одновременной новизне, выставочности быта и заключено некое главное, почти мифическое, недоступное ему благосостояние. И уж, конечно, праздничный стол довершал это впечатление, составленный и накрытый, как на свадьбу, в двух смежных комнатах, так что разделяющие их стеклянные двери оказались распахнуты до предела. Вот этот сияющий, тесный от яств, перегруженный, тяжелый пиршественный стол совершенно расстроил и без того неуверенного в себе Стиву, свадьбу ему напомнил — не такую, понятно, изобильную, однако для интеллигентной его родни вполне на уровне, а главное, по-настоящему веселую и к тому же какую-то необычайно уютную по атмосфере, задушевную, что ли. Да-да, именно задушевную, хотя это именно свойство мало удается свадьбам.

Помимо москвичей из обеих компаний, в дом Артема Нестеровича, как водится, были приглашены друзья и соседи. Больше всего собралось молодежи, приятелей и приятельниц Рузаны и Павлика, детей хозяев дома. Выглядели они ничуть не провинциально, наоборот, Стиве они почему-то казались иноземцами. Тут не в одних лишь джинсах и майках с фирменными надписями было дело, но во всей их физической стати, а также в той скромности и предупредительности, с какою они, в отличие от своих столичных сверстников, держались со старшими.

Наши приятели, как ни старались затеряться в многолюдной компании, были посажены на видные места, по левую руку от хозяев, причем опять же вопреки безотчетному своему желанию, устроились не купно, а попеременно с прочими старыми и юными гостями.

— Не скрою от вас, — точно выбрав момент, буд-то опытный председатель собрания, открыл Артем Нестерович застолье, — народ здесь собрался большей частью молодой и с былыми обычаями не вполне знакомый.

Замечательно серьезен и торжествен был в этот момент хозяин дома, воспринимая обязанности тамады как важнейшую миссию почти международного политического значения. Потому-то таким весомым и даже монументальным, раз и навсегда утвержденным ощущалось и почти виделось каждое его слово.

— За этим столом присутствуют сегодня друзья нашей московской племянницы. Кто не слеп, тот видит все ее достоинства.— Тонкая, еле заметная улыбка промелькнула на губах тамады.— Меня сейчас интересует только одно из них. То именно, что она привезла в мой дом таких замечательных людей! Клянусь хлебом! С одной стороны,— взглядом опытного председателя Артем Нестерович тотчас же отыскал среди гостей вторую девушку из Машиной компании.— Красивых! Во-вторых, культурных, образованных товарищей, кто не слеп, видит и это.— Тут глаз тамады скользнул по лицам собственных детей, вероятно, данная тирада таила в себе некий воспитательный намек.— И наконец, самостоятельных людей, чему я лично придаю большое значение.

Более всех присутствующих речью тамады был удовлетворен Вовик, не привычный к застольному красноречию, не искушенный в праведном его лицемерии, он совершенно буквально воспринял каждый тезис тоста. Чего никак нельзя было сказать об Андрее, знавшем цену образности, принятой за обеденным столом.

— Всегда полагал, что кавказский тост — это поэма,— невинно заметил он в тот самый момент, когда стулья заскрипели от стремления сидящих как бы друг к другу навстречу, и зашелестело за столом желанное оживление,— он еще к тому же и служебная характеристика.

— Да уж,— с энтузиазмом согласился артист,— только, на мой взгляд, это еще и рецензия. Прямо как на ансамбль «Спейс».

Вздых затаенного восторга сквозняком прошелся по комнате. Это молодежь оказалась не в силах сдержать своих чувств. Наперебой посыпались вопросы. Так на университетской лекции новый, неизвестный тут преподаватель неожиданным поворотом мысли вдруг заинтриговывает дремлящую аудиторию.

— А вы были на концерте?

— Правда, что-то необыкновенное?

— Говорят, за билет по сто рублей платили?

— А зал вместе с ними танцевал? В этом же самый кайф!

Компания из «Жигулей» взирала на мир, как и подобает столичным жителям, добродушно-снисходитель-

ным взглядом. Еще иной ветеран невольно позволяет себе такую ласковую насмешливость, когда доверчивые слушатели спрашивают его о том, как рано начал он готовиться к своему подвигу.

— Минуту внимания, между прочим,— властно перекрыл хор голосов Артем Нестерович,— я хотел бы пояснить свой тост. Что такое самостоятельные люди? Не скрою от вас, у меня конкретное понимание, фронтовое. Это люди, которые сами, без посторонней помощи решают тактические задачи. Занимают плацдарм. Держат оборону. И по собственной инициативе переходят в наступление. У нас, в керченском десанте...

— Да ну тебя, папа,— прервала его Рузана.— Вечно одно и то же! Поговорить ни о чем не дашь! Десант, штурм, эта самая гора... как ее... на гостиницу похожа... не «Метрополь», нет, Митридат! Ну, не обижайся, пожалуйста, приехали москвичи...

— Правда, Артюша,— не так категорично, как дочь, но все же настойчиво попросила его жена,— что нового в столице, все же интересно...

— Кто спорит, слушай? — Трудно было вообразить такое, но самоуверенный этот мужчина как-то внезапно стушевался и сник, хотя, изо всех сил стараясь не уронить лица, делал вид, что добровольно уступает женским капризам и долгу гостеприимства.— Конечно, слово гостям!

Гости слегка поломались, покобенились, как говорится, ради приличия притворно смущаясь и пожимая плечами, наконец симпатичный блондин поставил бокал и обвел застолье задорным, вызывающим взглядом.

— Тут ценами на концерты «Спейс» интересовались? Могу засвидетельствовать: сто пятьдесят за пару билетов предлагали мне лично.

Нельзя не признать, это сообщение произвело за столом внушительное действие, однако совсем не то, которого ожидал Стива, потрясенный этой ни с чем не сообразной ценой, униженный ею и оскорбленный. Вокруг же названная как бы между прочим колоссальная цена скорее уж восхищение вызвала своим цинизмом, неприкрытой своею наглостью.

— Надо же! — всплеснула руками хозяйка, старшие товарищи покачали головами, а молодежь восторженно переглянулась.— Как за джины фирменные!

— Ну «Спейс» — тоже фирма,— тонко улыбнув-

шись, подыграл юному поколению рассказчик,— примите во внимание, все же не «Голубые гитары».

Молодые люди с готовностью и отчасти даже мстительно рассмеялись.

— Ну сам-то ты, положим, такой цены не платил,— невзначай, будто лишь справедливости ради, поддел товарища артист.

Блондин обиженно, как в детстве, захорохорился, и это удивительно ему шло:

— Да что мне, жалко, что ли, было? — Вот уж скупердяем он ни за что не соглашался прослыть.— Ты же знаешь, у меня нашлись другие возможности.

— Знаю-знаю,— понимающе заверил его артист.

— Наверное, где-нибудь в администрации? — краснея, стесняясь собственной смелости, выступил кто-то из молодых.

— Правильно мыслите, юноша,— поощрил его снисходительно симпатичный блондин,— но несколько прямолинейно.

И заметив, что артист прямо-таки сгорает от желания занять площадку, великодушно передоверил ему полномочия:

— Раз знаешь, просвети молодое поколение.

— Как вы думаете, друзья,— с ходу завладел всеобщим вниманием артист,— чем можно заинтересовать администратора концертного зала? — Он обвел глазами собрание с тем выражением интриги и соучастия на лице, какое свойственно бывает прирожденным любимцам публики.— Вы скажете, французским коньяком? Так у него их целая коллекция. Приличными сигаретами? — Жестом фокусника он бросил на стол бог весть откуда возникшую лакированную пачку.— Уверю вас, ему их наверняка приносят на дом. Лекарствами? — Это был уже реверанс в сторону старшего поколения,— увы, он патологически здоров. Давление как у семнадцатилетнего.

За столом, как в кинозале в момент решающего поворота сюжета, настала совершенная тишина. Один лишь Вовик, уже раскусивший по-своему зерно сюжета, втихаря подливал себе. Столкнувшись со Стивиным взглядом, упреждающе, успокоительным жестом раскрывал свою огромную, словно блюдо, ладонь. И выпивал.

— Других предложений нет? — Рассказчик, как бывалый аукционер, набивал цену своей загадке, от души поощряя собравшихся на поиски остроумного ответа.—

Значит, так: берем нашего администратора под наблюдение, изучаем его потребности и запросы — глухо, вообразите, абсолютно упакованный гражданин! Однако сами посудите,— в голосе артиста закипал святой охотничий азарт,— должна же у человека хоть в чем-то обнаружиться слабина. И, представьте себе, находим. Оказывается, у нашего клиента перед самым Новым годом отобрали права. «Поздравили», так сказать. Хоп! Готов! Звоним приятелю в ГАИ, слово за слово — остальное уже — вопрос техники. Все правильно, Миша?

В своих расчетах на успех у публики рассказчик не обмишулился, взрыв восхищения, перемешанного с недоумением, раздался за столом.

— Вот и попади на концерт,— простодушно изумилась хозяйка,— целая детективная история!

Из наших друзей только Андрей с интересом почти профессионального свойства, с вниманием, выдающим борение противоречивых чувств в его душе, и в то же время вроде бы нехотя, вполуха прислушивался к рассказу; Стива, тотчас же уловивший враждебность этой истории всему его существу, томился и нервничал, лишь из уважения к хозяевам не решаясь встать из-за стола, а Вовик, довольный тем, что за ним нет глаза, все подливал и подливал себе.

Впечатление, произведенное поведенным сюжетом, разряжалось градом задорных, задиристых реплик. Молодежь осмысляла со свойственной ей непосредственностью только что разрекламированное умение жить.

— А ты говоришь, сто пятьдесят!

— Ну а если бы у него права оказались в порядке?

— Если бы да кабы, еще бы какая-нибудь нужда обнаружилась!

— Перспективно мыслите, молодые люди,— солидно одобрил их симпатичный блондин.— Человек всегда в чем-нибудь нуждается.

— Попробуй только понять — в чем!

— Я вам скажу,— разом перекрыл разноголосицу Артем Нестерович. Он уже, кажется, ревновал приезжих к их столь ненатуральному, естественному успеху у молодежи и к тому же не оставлял надежды укрепить свой слегка задетый авторитет.— Человек нуждается в друзьях,— провозгласил он торжественно. Даже слишком высокопарно, пожалуй, для такого неофициального пира.

— Честное слово! Все возьмите,— широким прене-

брежительно жестом, в котором, как ни странно, не поза дала о себе знать, а давняя продуманная уверенность, он отшел и стол, ломящийся от яств, и всю обстановку квартиры, богатую и даже помпезную, и музыкальный центр с колонками, вознесенными под потолок,— всему этому грош цена! Всем этим «грундидам»-шмундикам! Это только думаешь, что все это необходимо, что без этого жить нельзя, пока все тихо кругом и спокойно. Клянусь хлебом! А если ты смерть видел, как я, например, вижу всех вас, тебе совсем другое важно...

— Папа,— в один голос занудили дети, уже ничуть не соизмеряя своей досады с правилами приличий.— Опять! Вечер воспоминаний, телевизор смотреть не надо. А все, между прочим, смотрели. И с большим удовольствием.

— С удовольствием? И на том спасибо! — неловко усмехнулся, осекшись, хозяин дома. Восклицания и шутки, милая пустячная полухмельная болтовня обширного застолья, стихшие благопристойно на несколько секунд, вспыхнули веселым пустоцветием фейерверка.

— Молодежь недооценивает дружбы? — Выждав момент, насмешливый обладатель бородки без напряжения и труда овладел всеобщим вниманием.— Напрасно. Слушайте старших, без дружбы — никуда. Вот нас, к примеру, взять, знаете, где мы намылились отдыхать? — Он помолчал мгновенье и точно, будто шар в лузу загнал, подал репризу: — В «Бирюзе». Слышали про такую? Номера люкс, кафе на крыше, сауна, лифт опускается прямо на пляж. Как вы думаете, любой трудящийся может устроиться в этом раю? Боюсь, родные профсоюзы тут вряд ли помогут. И совет по туризму тоже. Помогла дружба. Вопрос только, к кому?

Решительно весь вечер грозил вылиться в одну сплошную игру-загадку «угадай-ка»; ребятам и девушкам за столом она, видимо, не наскучила. Они, можно сказать, только-только вошли во вкус.

— С председателем Интуриста? — предположил кто-то.

— С министром торговли?

«Понимает, понимает в жизни юное поколение», — отмечал про себя Андрей.

— С Аллой Пугачевой?

— С генеральным конструктором? — то ли в шутку, то ли всерьез раздалась и такая отчаянная догадка.

— Раз, два, три — кто больше? — от души радовался активности публики обладатель бородки. — Никто не угадал; дорогие мои. С министрами полезно дружить, кто же спорит. С генеральным конструктором тоже, думаю, небезинтересно. Но в данном случае ценнее всех дружба Валерия Петровича. Запомните это имя.

Тут уж напор любопытства прорвал все заслоны приличного воспитания, фонтаном брызнули вопросы о том, кто же это таков, да кому же всесильное имя принадлежит, бородач загадочно, интригуяще улыбался, перекидывался малопонятными и многозначительными репликами с приятелями, отшучивался, отнекивался, закатывал глаза, чокался с девушками через весь стол, едва не ложась грудью в салаты, в общем, темнил. Внимая отстраненно всему этому трепу, всей этой шумной бессмыслице и хмельному хохоту, Стива, утомленный, издерганный, раздраженный вконец, в который уж раз явственно различил среди застольного гама стук ракеток о мяч, и зрелище, возникшее перед внутренним его взором, заставило его забыть на мгновение о том, где он теперь находится: мужчина и женщина, высокие и красивые, похожие на экзотических антилоп, попеременно отделялись от земли, словно взмыть собирались над пространством, разделенным надвое теннисной сеткой.

— Ну а что же ваши попутчики все молчат? — вопрос заботливой хозяйки вновь подключил его к действительности. — Где вы собираетесь отдыхать? — с искренним участием интересовалась она.

— Видите ли, — очень почтительно и очень серьезно объяснил Андрей, — мы, к сожалению, не отдыхать едем.

Он даже вздохнул несколько лицемерно.

— Значит, в командировку? — догадалась радушная хозяйка. Приятели моментально обнаружили друг друга в разных концах стола и обменялись взглядами.

— Можно считать и так, — за всех тактично кивнул Андрей.

— К морю — в командировку — позавидуешь! — с лукавством взрослой женщины улыбулась юная Рузана. — Где же вы работаете, если, конечно, не секрет?

— В разных сферах, — уклончиво, хотя и совершенно честно ответил вспомнивший о чем-то Андрей. Со

стороны это уже выглядело смешно, он высказывался от имени всех своих приятелей, как будто возглавлял приехавшую за рубеж делегацию.

— Смотрите,— расслабился симпатичный блондин,— если в какой-нибудь из этих сфер возникнут трудности, не стесняйтесь — поможем. А то кое-кто здесь,— он выразительно поглядел на Машу,— упрекает нас в неблагодарности. Вот уж несправедли-и-во. Признательность прежде всего.

— Возьмете под наблюдение? — осведомился Андрей.

— Если пожелаете. Вреда не будет, гарантирую.

— А пользы? — вдруг мрачно и в упор спросил Вовик.

— Пользу оцените. Когда разберетесь, что к чему.

— Интересно,— почти философски рассудил Андрей,— вот уж нам и участие предлагают, неужто в самом деле производим такое жалкое впечатление.

Как и всякий риторический, вопрос этот остался без ответа, тем более что квартира в одно мгновение наполнилась вдруг непереносимо громкой, издевательски грохочущей, мучительной музыкой. Все-таки, при всей чинности манер именно молодежь задавала тон в этом доме. А ей уже не сиделось на месте, несмотря на завлекательные столичные разговоры. Внезапно завязались вокруг, словно фонтаном прорвались в квартиру, танцы, тоже, разумеется, новейшие, вызывающе агрессивные под стать музыке, никакими четкими рамками не ограниченные, избавляющие человека не только от гнета внешних приличий, но и от моральных устоев, от любых обязательств перед близкими и перед самим собой. Может быть, все это лишь казалось Стиве, но, во всяком случае, именно так ему казалось.

Вовик с трудом протиснулся сквозь подпрыгивающую, колеблющуюся толпу молодежи. Вид у него при этом был подавленный и брюзгливый. Слава богу, хоть кухню не успела еще захлестнуть танцевальная стихия. Один лишь хозяин нашел здесь приют, и то потому, что решил проверить, готово ли в духовке мясо. Тыкал в него палочкой, профессионально поводил породистым носом и тем не менее выглядел вовсе не так внушительно и самозабвенно, как на рынке три часа назад. Можно сказать, вовсе даже потерянно выглядел. Вовику как-то жаль его сделалось, но этого своего прилива чувств он тут же застеснялся.

— Я, конечно, прошу прощения,— давно он не испытывал к постороннему человеку такой симпатии и такого чистого интереса,— вы тут про десант намекали, ну, про керченский, так вы какой имели в виду: первый или второй?

— Второй, слушай,— как-то очень спокойно, почти бытово отозвался Артем Нестерович и лишь мгновение, не отрываясь от духовки, снизу вверх окинул Вовика беглым взглядом.

— Значит, в сорок втором? — как бы проверяя самого себя, уточнил Вовик.— В этом, как его, в Эльтигене?— Артем Нестерович выпрямился и на этот раз посмотрел на него очень внимательно.

— Правильно говоришь. В нем самом. Откуда знаешь?

— Читал,— неопределенно улыбаясь, ответил Вовик.

— А про то, какая это жуть была, там написано? Я тебе расскажу. В ледяную воду прыгали, ей-бог! Прямо с баржи, ведь на чем переправлялись — на всех возможных плавсредствах. Вспомнить смешно. Вернее, страшно. А волна накатывает, между прочим — не бархатный сезон. А на берегу у них что? Бары? Бассейны? Сауна-шмауна? У них доты на побережье да артиллерия тяжелого калибра. В упор бьют, слушай! Я в Крыму до сих пор купаться не могу, кости в полосе приболя вспоминаю, клянусь детьми!

А танцы тем временем по всей квартире расползлись, заполонив волнующей толкотней ее закоулки и тупики. И если бы Стива был в эти мгновения откровенен сам с собой, он признал бы, что мало-помалу обнаружилось в этом ритмичном массовом действе и своя непривычная пластика, и подкупающая свобода, перед которой даже при совершенном ее неприятии, даже при злости на нее, трудно устоять. Из самой гущи танцующих, как из пучины на поверхность воды, вынырнула непринужденная Маша и, по-прежнему следуя всевластному ритму, приблизилась к одиноко стоящему Стиве.

— У вас расстроенное лицо. Могу вам чем-нибудь помочь?

— И вы туда же? — Стива не то чтобы криво, но как-то крайне неестественно хохотнул, что было у него признаком смутного раздражения.— Учтите, пожалуйста, протекции мне не нужны.

— А дружба? — весело и таинственно блестя в по-

лутьме глазами, поинтересовалась Маша.— Дружба нужна?

— Какая? — вопросом на вопрос ответил Стива.— Взаимовыгодная? От нас в этом смысле мало проку. От меня тем более.

Маша притворно вздохнула:

— А я-то рассчитывала! Пойдемте-ка танцевать, уж как партнер-то вы мне подойдете.

Она потянула Стиву за собой в податливую, затягивающую танцевальную трясику, не замечая проплывающего в толпе, к ним обращенного лица симпатичного блондина. Никакой веселой хмельной снисходительности нельзя было на нем различить, одну лишь ревнивую, искреннюю и потому даже милую досаду. Зато лицо Андрея, вспомнившего не сознанием, не разумом, а ногами, руками, телом своим, каким неутомимым танцором был он в студенческие годы во времена твиста, закрутившего было метельной свистопляской, выражало совершенное мстительное упоение жизнью.

— Не томи даму,— подмигнул он Стиве,— лови момент! Потом волосы будешь рвать с досады!

— Спасибо за честь,— потоптавшись несколько секунд, Стива поблагодарил Машу.— Я не танцую, оказывается.

— Вот как? — на этот раз принужденно улыбнулась Маша.— Может, в этом и есть ваша ошибка? В том, что вы совершенно не умеете испытывать удовольствия. Просто так, ни от чего.

— Нет,— Стива помотал головой,— ошибка в другом. В том, что я постоянный человек. А постоянство, похоже, никому не нужно, оно даже противоестественно, можно сказать. Не надо быть постоянным, жизнь ведь то и дело обновляется, это какая-то внутренняя несостоятельность, зависимость от прежних обстоятельств, боязнь перемен. Просто неумение осуществить себя по-другому.

Исповедальный, проповеднический зуд, как всегда, охватил его совершенно некстати в круговороте отрешенных лиц, летящих волос, змеящихся в воздухе рук, танцующих как бы свой собственный, отдельный от всех танец. Находя в самобичевании отраду, Стива лишь в тот момент догадался о неуместности излияний, когда вдруг не обнаружил перед собой Маши. Зато с пристальными, совершенно трезвыми глазами симпатичного блондина столкнулся он в то же самое мгновение,

блондин сумрачно глядел поверх плеча своей дамы, которую он, вопреки правилам нынешней бытовой хореографии, а может, и в соответствии с ними, крепко прижимал к себе.

— А зал все-таки танцевал,— ни с того ни с сего, неожиданно для самого себя объявил присутствующим Стива,— танцевал, кто тут недавно интересовался?

Он все так же безотчетно намеревался еще что-то поведать миру, музыку, нагнетаемую под давлением, перекричать и кто знает, может, и вправду, перекричал бы, если бы Андрей, уже привыкший за эти дни к суматошным выходкам своего стеснительного друга, не оттер его, не выпадая из танца, вполне по-хоккейному, на балкон. И, заметив, что от симпатичного блондина не укрылся этот жест дружеского, участливого насилия, полюбопытствовал у него светски, как ни в чем не бывало:

— По-моему, у вас испортилось настроение, я не прав? Может, мое содействие окажется кстати?

Все-таки не зря прошел он школу, хоть и не дипломатии, но все же внешней торговли.

— Не думаю,— мужественно ответил симпатичный блондин, глядя на Андрея ясными злыми глазами.

* * *

Сердечная, взрывная беседа с мгновенными горячими объятиями, дружескими шлепками, тычками и ударами ладони о подставленную ладонь, бушевала на кухне.

— Значит, после высадки,— дотошно, как пионер-следопыт, интересовался Вовик,— с ходу в бой?

— Как думаешь? — отвечал ему Артем Нестерович, который именно в этот момент огромным ножом наладился взрезать объемистый, как школьный глобус, звонкий арбуз.— Немцы, что, дураки? Сразу десант засекли. Баржи нас высадили, и привет родителям! Закрепляйтесь, ребята! — Точным и резким ударом ножа он рассек твердую плоть арбуза.— Ну и закреплялись, слушай! Рукопашная началась. Клянусь семьей, до сих пор иногда снится. Я парень был до войны здоровый, не хуже тебя, подраться было — все равно что папиросу раскурить, честное слово! Но это, Вова, дорогой, совсем другая драка. Тут даже не в силае дело, слушай, а в том, чтобы идти до конца. Понимаешь? — После каж-

дого взмаха ножа от полукружия арбуза отделялся безупречный по форме сегмент.— Кто предела самому себе не ставил, тот и побеждал.

— Выходит, вы не ставили?

— Считай, что так. Не берегли себя. Потому и в живых остались. Кое-кто.

Еще громче, еще настырнее и беспощаднее гремела музыка. Видимо, на то и была она рассчитана, чтобы подавить рассудок, чтобы незримые пути расплести и тайные, лишь туманно подозреваемые страсти разом выплеснуть наружу. Даже Андрей, всю жизнь без натуги успевавший за веком и удовольствие от этого получавший — от того, что все ему в пору и ничто не претит, даже он почувствовал нечто вроде мигрени. И, лавируя среди танцующих с любезной, понимающей улыбкой на губах, пробрался на кухню. Вместе с ним в открытую дверь ворвалась тугая струя мелодии. Хозяин дома и Вовик, сидевшие за шатким столом, как давние приятели, даже вздрогнули от ее направленного напора. Чуть арбуз не опрокинули, едва не кокнули початую бутылку коньяку.

— Ты эту музыку любишь? — придя в себя, спросил Артем Нестерович Вовика в тот момент, когда тот подымал бокал.

— Я ее ненавижу, — честно признался Вовик. И, подумав, добавил: — Но терплю.

— А я, — хозяин страдальчески потер виски, — устаю от нее очень. От артобстрела так не уставал, клянусь честью!

— Знаете, как она называется? — подсаживаясь к столу, спросил Андрей и сам же ответил: — Кровь, пот и слезы.

— Серьезно? — подивился Артем Нестерович столичной информации. — Скажи на милость! У одного поколения все всерьез, все по-настоящему — и кровь, и пот, и слезы, а у другого — так, в виде развлечения. Жизнь!

Все трое закусили арбузом.

— Но ведь у вашего поколения, — осторожно, не то чтобы возразил, но как бы засомневался Вовик, — ...тоже ведь музыка была!

— Что ты! — Взгляд Артема Нестеровича азартно вспыхнул. — Какая музыка!

Он вздохнул:

— Иногда услышишь, комок в горле — честное слово!

— Вот эту, например, — вспомнил Андрей и, накло-

нившись к столу, словно секрет собирался сообщить, негромко пропел:

Когда мы покидали милый край родной
И молча уходили на восток...

— Откуда знаешь? — вздрогнул хозяин, — мороз по коже, слушай! Я же сам ростовский! Но ты откуда помнишь, ты мальчик был?!

— Но был, — засмеялся Андрей. — Был мальчик.
И уже хором, не сговариваясь, они подхватили:

За тихим Доном, за веткой клена
Маячил долго твой платок.

* * *

Симпатичный блондин по-прежнему крепко и как-то даже делово прижимал к себе юную долговязую партнершу, судя по ее нервному смешку, краткому, как вскрик, что-то нашептывал ей на ухо с абсолютно серьезным, подходящим заседанию либо собранию выражением лица, взгляд его в то же самое время беспокойно шарил по комнате. Неожиданно блондин прервал этот полный неги танец и, оставив девушку в растерянном недоумении, вышел в коридор. Тревога, которую он ни за что не хотел выдать, нарастала. Уже ничуть ее не стыдясь, заглянул во вторую комнату, в третью, в четвертую — там мирно журчала беседа старшего поколения, флиртовала и спорила о чем-то молодежь. В состоянии молчаливой паники, ненавидя себя за это, блондин воротился в гостиную и, едва не растолкав танцующих, рванулся к балконной двери. Стивина спина с торчащими лопатками привлекла его обостренное ревностью внимание. Однако на пороге лоджии ревнивец со злостью смирил свой порыв. Стива пребывал в совершенном безрадостном одиночестве. Опершись о перила, он глядел вниз, в темень захолустного двора, скрытого под кронами старых ветвистых деревьев, кустарником заросшего и пыльной травой, застроеного невидимыми теперь флигелями и сараями.

Стараясь поступать логично, симпатичный блондин вновь обошел всю квартиру. Даже в ванную нескромно толкнулся и тотчас отпрянул назад, чертыхаясь, хотя мальчик и девочка, которые целовались там, не обратили на него ни малейшего внимания и от приятного своего занятия ни на мгновение не отвлеклись. В изнемо-

женин, не зная уже, что и подумать, он распахнул дверь кухни.

Артем Нестерович, Вовик и Андрей, сгрудившись за столом и едва головами не касаясь, только что не обнявшись, как самые близкие и дорогие друзья, на удивление стройными, хоть и не вполне трезвыми голосами пели, дирижируя друг другу:

Так здравствуй, поседевшая любовь моя!
Пусть кружится и падает снежок
На берег Дона, на ветку клена,
На твой заплаканный платок.

И Маша была тут же. Прислонившись к стене, стояла она и на первый взгляд насмешливо, с женской независимой иронией, а на самом деле с безотчетной нежностью смотрела на чувствительных, самозабвенных певцов.

* * *

Солнце желтыми квадратами, памятными с детства, со счастливых пробуждений первого января либо Первого мая, предвестием праздника лежало на паркете. А паркет сиял непорочно, он, как и вся здешняя квартира, будто бы обладал чудесным свойством самоочистения, даже представить трудно было, что вечером здесь дым стоял коромыслом, хлопали пробки, лилось вино, танцующие содрогались в беспощадном ритме. Празднество улетучилось и выветрилось, лишь на кухне оставив за собой что-то наподобие последнего прибежища. Сам хозяин и Вовик, небритые, прокуренные, постаревшие за бессонную ночь, вопреки усталости, хорохорились, убеждали друг друга в чем-то осевшими голосами, божились, переругивались, друг друга перебивали. Умытые и чисто выбритые Стива и Андрей, появившись на пороге, тотчас испытали ту похожую на брезгливость досаду, какая неизменно охватывает трезвых людей при виде постороннего, бессмысленно затянувшегося пира.

— Кутеж двух князей,— вздохнул Андрей, едва скрывая злость.

— Хорошо, слушай, сказал! — Обросший за ночь седой щетиной хозяин только теперь, кажется, обратил внимание на долгое отсутствие Вовиковых друзей.— Ай, молодец! Где пропадали? Присоединяйтесь, будет кутеж четырех!

— Большое спасибо, Артем Нестерович,— Стива деликатно поставил на стол протянутые им фужеры.— За все спасибо. Нам пора. Вовик, ты слышишь? Мы едем.

— Куда это? — Невменяемым, вздорным взглядом уставился на друзей Вовик.— Я лично уже приехал. Только-только отдыхать начал.

— Хватит уже! — остановил его Андрей.— Вторые сутки отдыхаешь без перерыва. В зеркало взгляни, на кого похож!

— Чего вы мне дышать не даете?! — взъерился Вовик.— Вечно меня одергивают! Туда не ступи, того не делай! Дал бог одноклассников! Представляешь?! — воззвал он к сочувствию хозяина.— Мальчика себе для услуг нашли, салагу, баклана мокрохвостого!

— Вова! — сгорая от стыда, умоляюще прошептал Стива.— Люди уже собрались.

— А меня спросили? Собрались! Я тоже собрался.— с другом посидеть! Я, может, в кои-то веки родную душу нашел. Я, может, гуляю, наконец, по буфету, от вольного! И вас больше не задерживаю! — Пренебрежительным жестом Вовик указал на двор.

— Друзья! Кончайте ссориться, клянусь хлебом! — объявил хозяин.

— Да мы не ссоримся,— сухо перебил его Андрей,— просто выяснили кое что.

— Чего ты выяснил? — продолжал куражиться Вовик.

— А то, что тебе, оказывается, плевать на товарищей,— неожиданно твердо подытожил Стива и тотчас же вышел из кухни.

— Мне? — опешил Вовик.— Мне плевать? Да пошли вы, знаете, куда? Вот мой товарищ,— обнял он Артема Нестеровича,— спросите его, я его хоть раз обидел? Друзья, называется, шагу ступить нельзя!

Зная по печальному опыту, как неуправляем его кураж, как разгорается он еще больше от попыток его урезонить, Андрей сдержанно откланялся и вслед за Стивой спустился во двор.

Не глядя друг на друга, оба приятеля трясущимися руками закидывали в багажник манатки, чертыхались про себя, неосознанно затягивали сборы, надеясь все же, что в последний момент их товарищ, образумившись, покажется из парадного. Сколько же, однако, обманы-



вая самих себя, можно было делать вид, что ехать еще не пора?

В тот момент, когда они уже уселись в машину, Вовик возник на балконе и долго еще продолжал посылать проклятия вдогонку одноклассникам.

* * *

Старый «Москвич» вновь катился по шоссе. Применительно к человеку можно было бы сказать — плелся, без былого азарта, без подъема и вдохновения, тихо-мирно, трюх-трюх, ни дать ни взять — семейный неспешный рыдван, напиханный вперемежку детьми, кастрюлями и домашними животными. И водитель, и единственный его пассажир угрюмо молчали, отчужденные друг от друга. Стива несколько раз собирался с духом, чтобы высказать Андрею горечь своего разочарования во всем, что понапрасну, оказывается, привык считать дорогим и незыблемым, он совсем было уже и рот открывал, но тут же осекался на первом же звуке, предположив резонно, что раздражение, прорвавшееся у пьяного приятеля, не заставит себя ждать и у трезвого. Оставалось лишь вздохнуть.

— Ну что разохался? — безразличным тоном спросил, наконец, Андрей.

Тут уж Стиву прорвало:

— Не понимаю, как он мог! «Я вас не задерживаю» — ты слышал что-нибудь подобное? От кого? От ближайшего друга! От человека, с которым я десять лет учился в одном классе!

— Не тому учился, — окинув Стиву мгновенным неприязненным взглядом, членораздельно произнес Андрей. — Не тому, надо признать. Ты учился верности, а нужно было научиться забывать. Предавать забвению.

Стива глядел на него со страдальческим недоумением.

— Что смотришь? Ты со своей верностью, прости меня, как с писаной торбой носишься! Всем о ней успел раззвонить! Ты лучше по сторонам оглянись, жизнь чрезвычайно разнообразна!

Стива решил было что-то ответить, однако слова его, еще не прозвучав, были заглушены гортанным продолжительным гудком.

Мощный быстроходный КраЗ догонял наших друзей.

— Привет, артисты! — орал им, чуть не пояс вылезши из кабины, знакомый шофер. — Все в ажуре, починились?

— Да, как будто, — ответил ему Андрей. — Скрипим помаленьку. Спасибо тебе.

— А я тут одного вашего прихватил. — Из кабины притормозившего КраЗа тяжело и виновато выпрыгнул на землю Вовик. — Смотрю, — продолжал шофер грузовика, — кукует один из моих знакомых на дороге. Что ж вы друзей бросаете?

— Да никто его не бросал, что ты, — Андрей как ни в чем не бывало распахнул Вовику заднюю дверцу, — он просто задержался. По неотложному делу.

Некоторое время обе машины — и легковая и грузовая — двигались почти рядом. Однако вскоре шоссе раздвинулось, так называемая «развязка» развела попутчиков. Прежде чем решительно газануть по уходящему вправо пути, шофер грузовика вновь по пояс высунился в окно:

— Биолог! — заголосил он во всю глотку, словно вспомнив нечто чрезвычайно важное. — Как тебя там, слышишь?

— Слышу-слышу, — отозвался Стива, тоже поспешно и неловко высовываясь из окна.

— Не ты ее потерял, а она тебя — понял? Так и считай!

* * *

С расстановкой, будто не торопясь, накатывала и шмякалась о берег полновесная волна. Немного погода отступала, оставляя среди камней шипящие пенные лужицы. «Москвич» со всеми четырьмя распахнутыми настежь дверьми, похожий на пожилую хозяйку, ловящую кур, застрял в осыпи гальки возле самого прибоя, вода толкалась у его колес. Не пляж простирался вокруг, а дикий, пустынный, даже не слишком и живописный берег, от того близость моря, такая естественная и обыденная, буквально проникала в душу.

Вовик, недолго раздумывая, растелешился и в семейных сатиновых, хлопавших его по коленям, трусах

вступил в воду. Плыть не торопился, принимал на себя накат волны и блаженно шурился при этом.

— Доехали все-таки, а, мужики? — Он умывался морской водой, трезвея на глазах и в то же время подаваясь иному счастливому опьянению, вдыхал йодистый, рыбный запах моря, глотку с клетотом прополаскивал, только что не пил воду, — гадам буду, дотащились, дошкандыбали.

Стива печально улыбнулся.

— Странно, парни. Вот приехал, и некому давать телеграмму о том, что добрался благополучно. И звонить домой некому... Впервые в жизни. — Опустив босые ступни в пену прибоя и опершись локтями о костлявые колени, он сидел на валуне и всем своим обличем, городской синеватой бледностью, худобой, застиранной рубашкой, а больше всего тоскливым своим унынием решительно не подходил к окружающей природе. Вопиюще для нее не годился. Андрею это сделалось необычайно очевидным. Бывают люди только для юга, казалось бы, и созданные, для праздной, безответственной здешней мельтешни, записные пляжные короли, заводилы и остроумцы, вокруг них постоянно толчется ревниво жаждущий их внимания, в рот им заглядывающий народец, не узнающий их потом на севере, в суете и морозной суতোлке зимних больших городов. Стива же, наоборот, — в городе его достоинства были явны всякому непредвзятому, мало-мальски внимательному человеку. Но под ярким солнцем, на морском берегу, там, где невольно ценится полнокровие и физическая свобода... Чем-то раздражающе сиротливым, стесненностью и зажатостью веяло от его фигуры.

Вот с такими наблюдениями выбрался Андрей из машины.

Соседство моря, этой бескрайней живой массы, редкие ее тяжкие вздохи не смягчили его настроения. Похоже, что, наоборот, разбредили его скептицизм.

— Не знаю, как вам, — произнес он с таким лицом, с каким однажды решаются высказать всю правду, долго из деликатности скрываемую, — а мне, как бы это выразиться, бессмысленность нашего предприятия теперь окончательно ясна. Люди зачем сюда приезжают? Да, да, простите мне этот идиотский вопрос, — словно щитом загородился он раскрытой ладонью, — отдыхать! Задумайтесь над этим. Отдых — чистое время жизни. А мы?

Друзья — Вовик по пояс в воде, и Стива с берега — глядели на него с недоумением. Даже с неким необидным юмором: куда это, мол, нашего понесло. А он, ощутив вдруг вдохновенный прилив горечи, откровенности и отчаянья, краем сознания понимал, что остановиться уже не сможет.

— Беглую жену возвращать! Ну не кретины? Сказать кому-нибудь смешно!

— Почему? — еще не успев застенчиво доулыбаться, выкрикнул Стива.

— Я вот и сам мучаюсь, почему? Зачем? Голову ломаю. Отчего мы все время оказываемся в дураках? А потому, что живем по инерции. Куда нас понесло однажды, туда и движемся. Один только случай ждет, чтобы напиться до потери дара речи, другой верность хранит, которая никому уже на свете не требуется!

— Мне она нужна,— жестко резанул Стива, как-то сразу сбив Андрея с самой высокой ноты его проповеди.— Странно, что ты этого не понимаешь.

— Да ни хрена он не понимает,— огромный, словно тюлень, в облепивших тело трусах вылез из воды Вовик,— по инерции, видите ли; говорил бы уж сразу; как дерьмо на волне! А сам ты-то по какой инерции за «Жигулями» гонишься? Думаешь, я ничего не замечаю, не секу? Ты нас стесняешься! Друзей своих! Не подходим мы тебе, плебеи! Не тянем! Не волокем! Ни тачек у нас фирменных, ни пива в банках! И никаких этих самых... покровителей! Ворота перед нами не распахивают!

— Ерунду городишь.— Выпустив как-то сразу весь запал обличительной откровенности, подобно проткнутому мячу, и уже досадуя на то, что сразу не сумел себя смирить, Андрей задумчиво смотрел на кубы и кубики городка, по-овечьи сбегавшие с горы по другую сторону бухты,— слушать тошно. Хотя не скрою от вас,— тут он сделал попытку передать отчасти выговор Артема Нестеровича,— покровитель мне действительно не помешал бы,— пародия, как обычно, помогла якобы шутя выразить искренние намерения.— Совсем бы не помешал. Чтобы имя его открывало нужные двери. Не в гостиницах, бог с ними, а в некоторых научных учреждениях.

В отчуждении и молчании, словно вовсе незнакомые люди, случайно сведенные судьбой, пересекли они изумительную, как бы многоярусную долину, которая бы-

валому Андрею напомнила Кампанию в самом центре Италии, Стиве — живопись эпохи Возрождения, а Вовику ничего не напомнила, но помимо сознания веселила взор своим вроде бы и неоглядным, бескрайним, но в то же время давным-давно освоенным и возделанным простором. Все так же молча, сдерживая эмоции, преодолели они перевал, отмеченный водруженным на постамент планером, и вновь из-за холмов, повторяющих роскошные женские формы, увидели море. До города оставалось рукой подать. Через несколько минут они притормозили в наиболее людном его месте, возле культурно-развлекательного комплекса, возведенного в самых дерзких приемах нынешнего зодчества и одновременно с расчетливым умением всем угодить и совместить несовместимое — концертный зал с рестораном, а дискотеку с финской баней.

Недавняя ссора, как будто и сошедшая на нет, надломила что-то в отношениях, предел положила искренности в словах и чувствах, после нее душа не лежала смотреть друг другу в глаза. Каждый почитал себя обиженным и лично задетым. И, растравивши про себя обиду, осознавал острейшую потребность остаться наедине с самим собой. Больше всех стремился к этому Стива. Не успел «Москвич» вполне остановиться, как он уже выскочил на асфальт и, не сказав друзьям ни слова, даже не обернувшись в их сторону, как-то сразу и навсегда исчез в шаркающей площади полуголой, праздной и в то же время замороченной чем-то толпе. Вовик собрался было его окликнуть, но только рукой махнул, а сам направил стопы в противоположную сторону, сохраняя на ходу солидность и независимость шкафа. Андрей остался один, но мгновенная злость на покинувших его друзей тотчас уступила место чувству облегчения — только самому себе принадлежать, только о себе самом заботиться — сейчас это было почти равно счастью.

Медленно, с расстановкой, с удовольствием бывалого и независимого автомобилиста, Андрей протер ветровое стекло, тщательно запер машину, закурил обстоятельно, огляделся по сторонам. С ощущением внезапной и чрезмерной свободы, какое знакомо каждому, кому случалось сразу отрешиться вдруг от бремени и надоедливых и счастливых забот, крест поставить на своем давнем и недавнем прошлом, с настроением вечного странника, привычного командированного устре-

мился он без всякой цели в приморский парк. С центральной аллеи бессознательно сворачивал на боковые, дорожкам предпочитал тропки, а тропкам — еле заметные стежки в пожухлой за лето траве, желанная свобода по мере углубления в заросли тамариска и туи незаметно перерождалась в одиночество, пока еще отрадное для самолюбия, подобно детской сладкой отверженности — ну и пусть, ну и пусть! — но уже грозящее в самом скором времени сделаться невыносимым.

Чаща кустарника, похожего на синтетическую новогоднюю елку, вдруг расступилась, и Андрей не без удовольствия обнаружил, что попал на теннисные корты. Нездешняя их почти европейская щеголеватость служила отрадой глазу, сквозила даже в красном, хорошо утрамбованном, разлинованном аккуратном гравии. Но более всего в здешней публике сказывалась: в игроках, корректно ожидающих своей очереди, в зрителях, болеющих нешумно и сдержанно, со знанием дела, — как неправдоподобно отличались они от простецкой, обожженной, распутившей животы и груди толпы в поселке. Тут всего было в меру: и голизны, и загара, и элегантности, которой вроде бы негде было развернуться, лишь в юбочках, шортах, каких-то там особых носочках и туфлях могла она себя оказать. И оказывала во всем блеске, подкрепляясь иностранными надписями на больших ярких сумках и чехлах для ракеток. Даже странно было, проехав через страну с ее заводскими трубами, башнями элеваторов и колхозными грузовиками, пятиэтажными микрорайонами и рынками, заплеванными подсолнуховой шелухой, взять да и очутиться в таком изящном окружении.

Андрей побродил вдоль высокой проволочной сетки, огораживающей корты, придирчиво оценил класс игры и с тайным злорадством остался им не слишком доволен. «Понтяра» — неожиданно для самого себя, Вовиковым излюбленным термином определил он всю эту мнимоспортивную ажитацию. И еще раз со вкусом повторил это словечко, поскольку с печальной проницательностью сообразил, что главное соревнование совершается здесь именно в сфере костюмов, снаряжения и хороших, якобы джентльменских, манер. Впрочем, один из теннисистов привлек к себе его взгляд. Он играл лицом к Андрею и был уже не молод, однако и не вульгарно молодежав, подвижен, благородно сухощав и строен. Скептически настроенный Андрей помимо во-

ли залюбовался его неутомимыми прыжками, экономными точными ударами, всею пластикой его сухопарого сильного тела. Чудесная эта картина естественно навлекла его на мысль о самом себе, о своей завидной некогда, а ныне ставшей воспоминанием спортивной форме, которую самое время было бы хоть до некоторой степени восстановить. На соперницу высокого мужчины у Андрея, как это ни странно, не хватило внимания. Лишь в тот момент, когда, сыграв гейм, партнеры по обычаю поменялись местами и женщина обернулась к нему лицом, Андрей понял с удивлением, что перед ним жена Стивы — Надя. И, понаблюдав нескромно и внимательно за ней и за ее реакцией — не на мяч, нет, а на реплики партнера, шутливо-ворчливые, свойски насмешливые, скупо одобрительные, — Андрей хладнокровно пришел к выводу, что шансы его друга на восстановление семейного благополучия следует признать совершенно безнадежными.

А друг в это самое время по прихоти обстоятельств находился по противоположную сторону кортов. И, засмотревшись бессознательно на тоненькую, по-девчачьи угловатую теннисистку, не сразу сообразил, что перед ним его собственная жена. Что ж странного, ведь во время игры он никогда в жизни ее не видел, по общему их договору, а точнее, по ее капризному настоянию теннис считался ее отдельной, почти интимной областью, посягать на которую Стиве казалось не деликатным. Вот он и не посягал, а теперь впервые во все глаза смотрел на лиходея и чувствовал, как уязвляет его в самое сердце не свойственная ему самому мужественная победительная спортивность соперника. От внезапной физической боли, от того, что назойливое видение, не дававшее ему покоя, обернулось нестерпимой реальностью, Стива зажмурил глаза. А когда их раскрыл, то начал пятиться, будто был не в силах повернуться к играющим спиной, словно еще надеясь, что зрелище этой невыносимо мучительной игры исчезнет само собою, как злой сон или пьяное наваждение.

* * *

Вовик решил на всю катушку использовать блага курортной жизни, от которой за делами и семейными заботами он порядочно успел отвыкнуть. Судьба как бы сама предлагала ему наверстать упущенное — грех

было ею не воспользоваться. Он и на пляже успел поваляться, и в «кинга» перекинуться с какими-то своими мужиками из Стерлитамака, и на набережной потолкаться среди оголенной публики, и теперь шатался по парку, останавливаясь с мстительным чувством возле каждой пивной будки и винного павильона. Слово назло друзьям — если бы они могли его в этот момент видеть — выпивал кружку пива либо стакан портвейна, однако почему-то не пьянел и удовольствия не получал.

В конце концов у самого выхода из раздевалки кортов Вовик нос к носу столкнулся с женой Стивы и ее чуть утомленным игрой, но оттого особо по-мужски обаятельным кавалером.

— Вова! — искренне удивилась Надежда. — Ты что здесь делаешь?

Вовик медлил с ответом, пристально и без стеснения рассматривая ее спутника с ног до головы. Будто бы сверяя его мысленно с неким известным ему по секрету портретом-роботом.

— Отдыхаю, — со всею возможной иронией объявил он.

— Один или с Марией? — Надя явно хотела овладеть инициативой.

— От нее... от змеищи, от кого же еще, — Вовик вновь, теперь уже с пренебрежительным вызовом, окинул взглядом неизвестного теннисиста рядом с женою товарища.

— Да! — излишне спохватилась она. — Я ведь вас еще не познакомила.

— Евгений, — протянул мужчина загорелую крепкую руку.

— Владимир Степанович, — авторитетно отрекомендовался Вовик.

Надежда засмеялась:

— Фу ты, как серьезно... Володя, — она запнулась на мгновенье, обращаясь к спутнику, — мы с ним тыщу лет знакомы... А Женя — мой партнер, — и, будто для пущего доказательства, повертела ракеткой у Вовика перед носом.

— И тренер, — уточнил Вовик.

— Что-то вроде того, — согласно улыбнулся мужчина.

— Тебе в какую сторону? — поспешила обойти опасную тему Надежда. — Можем подвезти.

— Мне в другую сторону,— со значением отказался Вовик и вызывающе подробно оглядел автомобиль, в который усаживалась эта пара. Надежда ощущала себя в машине уютно и уверенно, как хозяйка, это тоже не ускользнуло от его наметанных глаз. В ту секунду, когда «Жигули» тронулись с места, она высунулась в окно помахать Вовику на прощание:

— Как дети? Растут?

— И не болеют,— подтвердил Вовик. На широком его лице проступило не свойственное ему выражение досады и грусти. Глаза его были сосредоточены на номере отъезжающих «Жигулей».

* * *

Не сговариваясь, Стива и Андрей сошлись почти одновременно, словно торопясь на свидание друг к другу, возле нагретого на солнцепеке «Москвича». Чувствовали себя при этом крайне неловко. Андрей, памятуя о том, к чему привела его недавняя прямота, никак не решался вот так вот, сразу поведать товарищу о том, что видел недавно, а поскольку всякий другой разговор звучал бы теперь исключительно фальшиво, совершенно не знал, что сказать. Мямлил что-то, зыркал по сторонам, эгоистично не замечая при этом Стивино состояние. Точнее, нового в этом и без того неуравновешенном состоянии.

— Во сколько мы договорились встретиться? — протокольно-деловым, безличным голосом осведомился Стива.

— Мы не договаривались,— опешил Андрей.— Ты что, забыл? Слиял, не сказав ни слова, а теперь предъявляешь претензии.

— Не в этом суть,— Стива пожал плечами,— сколько можно шляться? Небось уж керосинит с кем-нибудь.

— Да я ему и денег не дал,— непривычно оправдывался Андрей,— ну заплутал слегка в чужом городе, что за дела?

— В том-то и дело, что дел никаких,— отрезал Стива,— домой пора собираться!

— Ах, вот оно что,— Андрей понемногу начал догадываться, что могло произойти за время их разлуки,— но подожди немного, дай оглядеться, раз уж приехали. Дух перевести.

— Нечего ждать.— В Стивиним голосе прорезалась

вовсе незнакомая безапелляционность, по-прежнему взвинченная, правда.— И оглядывания закончились...

Вдруг он осекся на полуслове и, уставившись в одну точку, попытался в то же самое время загородиться Андреем, как неодушевленным предметом, поставив его впереди себя.

Из подъехавших «Жигулей» вышли двое: Надя и ее спутник — и направились в ресторан.

— Пойдем-пойдем,— совсем иным, молящим голосом быстро-быстро зашептал Стива,— я должен с ней поговорить, ровно одну минуту, пойдем, я тебя прошу, ну что тебе стоит!

Андрей нервно пожал плечами, поминутные Стивины противоречия сбивали его с толку, однако возражать не решился, неохотно уступив другу.

Поднявшись по грязноватой, хотя и мраморной лестнице, они огляделись в довольно-таки шикарном помещении, которое, надо думать, служило чем-то вроде холла, налево из интимной полутьмы бара доносилась музыка, направо сиял белоснежными скатертями еще пустой в этот час зал ресторана.

Надежду и ее друга они обнаружили тотчас же, даже не толкнув стеклянной двери — в дальнем углу за столиком на двоих.

— Я не могу этого видеть,— признался Стива нормальным своим, ничуть не истеричным голосом,— прости, пожалуйста.

— Ясно,— вздохнул Андрей.— И надо было переть через половину России? Зачем я все дела бросил?

— Не могу же я с ней выяснять отношения при этом...— Стива затряс головой.— Это же нелепость, нонсенс! Андрей, милый,— он вновь затараторил шелестящим нервным шепотом в самое ухо приятелю,— подойди к ней, вызови ее на минуточку, так, чтобы она ничего не заподозрила, ты же умеешь, как будто бы невзначай, именно чтобы она ничего не успела подумать, она такой человек, ее надо застать врасплох.

— Хорошо, попробую,— не очень уверенно согласился Андрей,— ну и миссию схлопотал на старости лет! — Посмотревшись мельком в обрамленное чеканкой зеркало, словно бы примерив необходимое для этого случая выражение лица, он с преувеличенной бодростью вошел в зал. Боясь увидеть, что теперь произойдет, Стива отшатнулся к стене. Публика, подымавшаяся в рес-

торан и в бар, смотрела на него недоверчиво и неодобрительно.

Не так-то легко было Андрею словно невзначай, игрою случая заметить эту пару, поскольку расположилась она в противоположном от входа углу, тем не менее этот театральный этюд почти удался. «Почти» — по его собственному ощущению, внешне все получилось безупречно. Он делал вид, что придирчиво выбирает столик для небольшого банкета, даже перемолвился об этом с официантом, изображая из себя скептического клиента, и вдруг, как бы ненароком столкнулся взглядом с Надеждой. Тут уж он без труда изобразил неподдельное удивление, сменившееся неподдельной же радостью, учтиво поклонился даме и кавалеру и непридуманно, словно бы на одну секунду, присел на повернувшийся стул.

— Какая встреча! Давно в этих краях?

— Не очень,— сдержанно ответила Надежда, ее уже, кажется, настораживали нечаянные встречи, со школьными друзьями мужа.— А ты?

— Да только что приехал, вот жду одну приятельницу.— В отличие от Вовика Андрей словно и не дивился ничуть тому, что рядом с Надей вместо законного ее мужа находится вовсе незнакомый ему мужчина.

— А вы уже загорели,— отметил он беспечным тоном,— вообще производите прекрасное впечатление. Как на плакате: «Лучший отдых — круиз!»

Невольные его собеседники молчали.

— Простите, не представился,— не унывал Андрей,— Надюша, ты никак стесняешься старого приятеля? — Он привстал и снова склонил голову в старомодно корректном поклоне:

— Рад представиться. Андрей Ершов.

— Евгений Григорьевич,— отрекомендовался мужчина, памятуя, должно быть, о Вовиковой подчеркнутой официальности.

— Смотрите,— изумился наивно Андрей,— в Москве я пытался пробиться к одному Евгению Григорьевичу. Весьма влиятельный господин, которого невозможно застать. Некто Евгений Григорьевич Орехов.

— Считайте, что вы с ним встретились,— мужчина принужденно усмехнулся.— Ваш покорный слуга.

Андрей почувствовал, что багровеет. Что язык прилипает к небу и что капелька постыдного пота, прожигая кожу, медленно катится между лопаток. Чего

угодно ожидал он от судьбы, но не такого фортеля. Это же надо!.. Стоит только влезть в чужое непростое положение, как и свое собственное до предела осложнится. Так из какого же теперь прикажете выпутываться — из того, в какое поставила его святая дружеская солидарность, или же из этого, в каком он очутился по собственной воле? И так и иначе он выглядел теперь глупо — вот что досаждало больше всего.

— Простите, бога ради,— он старался изо всех сил не потерять лица...— так по-дурачки все получилось... Никак не ожидал! Я к вам заходил в институт и звонил несколько раз. Даже домой. Набрался, как говорится, наглости...

— Да нет, отчего же,— Евгений Григорьевич пожал плечами, отвечая как бы не только сказанному Андреем, но и тому, что служило невысказанным комментарием.— Мне действительно что-то говорили о вас. Только вот не припомню теперь кто.

* * *

На Стиву, томящегося в холле, уже не просто с неприязнью, но с прямым подозрением поглядывали и посетители, и пробегающие мимо официанты, и швейцар, занявший свой пост внизу, у входной двери. Чтобы не мозолить глаза, Стива решил зайти в бар. Искусственная здешняя полутьма неприятно его подавила, он терпеть не мог этих псевдозападных штучек, рассчитанных на невзыскательный вкус, к тому же о нравах таких заведений он знал лишь из кино.

— Чашку кофе, пожалуйста,— с ученой педантичностью, что могла восприниматься как высокомерие, попросил он у бармена, под элегантно белой курткой с витыми погончиками которого угадывались плечи борца либо штангиста. Да и ручища, аккуратно и точно опустившая на лакированную поверхность стойки кофейную чашечку-бирюльку, напоминала в этот момент стрелу башенного крана, зацепившую своим крюком детскую каталку.

Чрезмерно методично, почти манерно размешивая ложечкой сахар, Стива мало-помалу обвыкся в чувственном здешнем полумраке, точнее, против воли к нему притерпелся, а потому даже озлился на себя, когда вдруг ни с того ни с сего вновь испытал неясную внутреннюю тревогу. Причина противного этого озноба обнаружилась тотчас же, не было нужды вертеть туда-

сюда головой. В дальнем углу бара, за низким столом, над которым нависла низко, озаряя лишь пространство для стаканов, этакий полированный лужок, глубокая чаша светильника, разместились известная компания. И Маша, и симпатичный ее друг с четким профилем, подобным окрестной чеканке, и вторая, слегка хамоватая красавица, и оба ее веселых приятеля расположились в креслах привольно и красиво, с таким убеждающим чувством собственной ценности, какого Стива не знал даже в свой звездный час — во время успешной защиты диссертации. Убедившись с досадой, что его заметили, Стива вынужден был раскланяться. Самого себя казня за то, что неуклюжий его поклон не получился небрежным и раскованным, то есть таким, какой без обиняков выражал бы его отношение к этим совершенно ему чужим людям. Да, да, совершенно чужим, он сам поражался искренне теперь тому, что совсем недавно сидел с этими людьми за одним столом да еще и душу выворачивал перед ними наизнанку. Перед кем? Ведь слепому же видно, что ни одно из его достоинств не имеет в их глазах ровно никакой цены. Они даже внимания своего на нем не задержат. Так думал Стива, безотчетно греша против истины. Потому что Маша прямо-таки расцвела в этот миг, любуясь его зажатостью и неловкостью.

— Наш тягостный спутник! — заметив это, торжественно сдохмил полный мужчина, якобы глубокомысленно почесывая бородку. — Что ты будешь делать, везде нас достает. По-моему, вся эта история с убежавшей женой — сплошная липа.

— Похоже на то,¹ еще более уподобляясь лицом мужественным линиям чеканки, процедил симпатичный блондин. — Придется уточнить.

— Можно подумать, что она тебе чем-то мешает! — тут же вспыхнула Маша.

— Можно подумать, что тебя она чем-то радует. Люблю я этих... чудаков за чужой счет.

Дружеским, хотя и не вполне уважительным жестом симпатичный блондин осадил пробежавшего мимо официанта и, подавшись немного вверх, что-то нашептал ему на ухо со свойским негодованием завсегдатая и сообщника. Официант, похожий на пятиборца в отличной форме, делал серьезные глаза и кивал время от времени с выражением уважительного понимания. Выслушав клиента до конца и как бы разделив его чувства, он

мягко приблизился к стойке и, словно по деловым соображениям подсчета, доверительно и ненавязчиво склонился к бармену. Тот как ни в чем не бывало автоматически жонглировал бутылками, стаканами, фужерами, кофейными чашечками, что-то такое протирал, чем-то встряхивал, не прерывая своих манипуляций ни на секунду, лицо его при этом оставалось совершенно непроницаемым, как у японского чемпиона. Время от времени, однако, по мере накопления информации, он окидывал стоящего рядом Стиву цепким изучающим взглядом.

— Юноша,— как бы между делом позвал он Стиву негромко.

Оглядевшись по сторонам, тот удивился:

— Это вы мне?

— Персонально. Допивайте кофе и следуйте на выход. Не оглядываясь. Есть к вам такая настоятельная просьба.

— Ничего не понимаю,— затрепыхался Стива,— в чем дело?

— Не умеете себя вести в общественном месте,— неслышно возникший за его спиной официант сноровисто ухватил его за локоть,— оскорбляете наших постоянных гостей.

— Да вы что? — потрясенный невероятной напраслиной, Стива не находил слов.— Чем? Когда? Какие у вас основания?— Лишь жалкие эти вопросы вместе с пузырьками слюны срывались у него с языка. Официант и вышедший из-за стойки бармен ловко и умело, а главное — почти незаметно для окружающих, продолжая улыбаться,— потащил его к двери.

— Линяй, фрайер, по-хорошему, понял? Схлопочешь, сам будешь виноват.

Никто из посетителей бара не успел запечатлеть зрением или слухом этой мимолетной сцены, даже уразуметь не смог, что сцена имела место. Настолько профессионально в данном случае действовала сфера обслуживания. Одна лишь Маша, да и то с запозданием, догадалась, в чем дело, и от ужаса потеряла дар речи. Молча, однако с такой ненавистью смотрела она на своего всемогущего приятеля, что всем остальным, сидящим за столом, сделалось не по себе. Искренность чувств нередко выглядит бестактной, а уж такая — в особенности.

— Убийц нанимаешь! — только и смогла выговорить

Маша и так стремительно бросилась к выходу, что, задев подолом, опрокинула высокий стакан с коктейлем. Симпатичный блондин с брезгливым недоумением уставился на пятно, расплывающееся на белоснежных его джинсах, потом обвел взглядом друзей, как бы приглашая их насладиться очередным Машиным сумасбродством, однако усилием воли переборол минутную слабость и решительными шагами направился в холл, где, судя по всему, завязывался скандал.

* * *

— Я сознаю всю неуместность своей просьбы,— Андрей обвел рукою уже почти целиком заполненный зал,— чему-чему, но деликатности меня учить не надо.— Догадываясь что слова подбираются не такие уж смешные, он старался хотя бы произносить насмешливым, непочтительным к самому себе тоном.— И все же, если бы вы дали мне шанс... Один-единственный... Больше не надо. Имеет же человек право начать однажды все с начала.

— Безусловно,— устало согласился Евгений Григорьевич,— организм обновляется каждые семь лет, почему бы не обновляться и жизненным целям... Об этом можно лишь мечтать. Но вы ведь, если только я верно припоминаю, работали совсем в иной области?

— Работал и мог бы работать дальше. Но это была, как вам объяснить... сила инерции. Сначала вроде бы престижное распределение льстило самолюбию, потом продвижение по службе, стаж, выслуга лет... Карьера, в сущности, была обеспечена. Со стороны посмотреть — преуспевающий джентльмен,— Андрей ухмыльнулся на этот раз вполне искренне и зло и заговорил с совершенно несвойственной ему горячностью,— а этот джентльмен чувствовал себя утопающим, которого уносит чужая равнодушная стихия... Уносит и поглощает. Поверьте, чтобы противостоять ей, надо было решиться. Так вот, я решил.

— Да, да,— туманно и без энтузиазма произнес Евгений Григорьевич,— тут я вас понимаю. Решаться всегда трудно.— Он ободряюще улыбнулся Надежде и развел руками.

— Я не жалею о том, что оставил,— с отчаяньем сознавая, что скользит по склону, искренне сказал Андрей.— Чего жалеть... Мне жаль, что заново ничего не выходит.

Всплеск скандального шума донесся из-за стеклянных дверей. В одно мгновение и в одно касание столкнулся он Андрея в трясину нынешних его незавидных и обременительных обстоятельств, оглянуться заставил уличенно и стыдливо. Сомнений у него не было; он почему-то сразу сообразил, что в неожиданной этой заварухе замешан Стива.

— Поверьте, мне не хотелось бы вам надоедать,— уже сожалея о своей откровенности, уже неприличной ее считая и как бы извиняясь за нее, признался Андрей.

— Ну что вы,— с вежливым равнодушием научного оппонента Евгений Григорьевич склонил набок свою благородно посеребренную голову,— порыв души, что же его стесняться. Это теперь редкость, не правда ли? — с нежностью, чуть замаскированной улыбкой, посмотрел он на Надю.

— В самом деле,— тоже улыбкой ответила она ему, особой, из тех, что предназначаются лишь близкому человеку, ласковым намеком служат ему на некие, лишь двоим известные обстоятельства. Андрей, однако, даже этот не имеющий к нему отношения интимный знак бессознательно зачислил в свой актив. Понятно, определенного ответа на горячую свою просьбу он не получил, приходилось самому отыскивать себе поощрения. Невольно опустив голову, со стыдом унижения рассматривал он чистую до невинности скатерть, чувствуя со страхом, как все его заветные планы, хитроумные расчеты и отчаянные надежды фокусируются на крахмальном квадрате стола. Да, да, именно так и было, он сознавал это теперь, сейчас, в каждую из протяженных тягостных этих секунд. И когда понапрасну ждал от Евгения Григорьевича хоть незначительной ободряющей уступки, и когда сквозь ватную тишину, заложившую ему уши, различил за дверью зала оскорбительный дебоширский звон разбитого стекла. Помимо воли как по команде Андрей вскочил с места и, переживая грохот бьющейся посуды, словно крах рухнувшей своей судьбы, быстро-быстро поспешил из зала. Приметливый Евгений Григорьевич догадался, что и Надя едва удержалась, чтобы не броситься за ним следом.

Опасаясь выдать взглядом недоумение или ревность, Евгений Григорьевич якобы случайно отвел глаза за окно. Тут уж настала его очередь беспокоиться и нервничать.

Возле бежевых превосходно вымытых «Жигулей»

Евгения Григорьевича с неизвестной целью топтался Вовик. Он опасливо оглядывался по сторонам и, судя по всему, пробовал скаты тяжелым тычком слоновьей своей ноги. Цыгана напоминая при этом, норовящего увести из стойла племенную кобылу.

Евгений Григорьевич привстал и, замороженный преступными этими манерами, прилип разом вспотевшим челом к стеклу. Сверху никак невозможно было уразуметь, чем конкретно занят Вовик, заслоненный в этот момент корпусом машины, тем более подозрительная его возня поселила в сердце владельца «Жигулей» горькие предчувствия. Ошеломленный дерзостью странного Надиного знаконца, он оторвался, наконец, от стекла и, теряя самообладание, натываясь на столики, ринулся к дверям.

Каша в холле заваривалась не на шутку. Стива с неожиданной для интеллигентской своей застенчивости цепкостью хватал за грудки симпатичного блондина.

— Я его вырублю! — хрипло голосил тот. — Я его отключу! Не мешайте мне!

Мешали, между тем, Стиве. Официант и бармен при всем своем немалом навыке в такого рода делах, а может, именно вопреки навыку, лишь с трудом оторвали его от блондина. Почти одновременно с разных сторон затесались в свару Андрей и Маша. Стива же в распахнутой на груди, кажется, даже разодранной рубашке, со ссадиной на щеке и с растрепанными волосами уподобился в это мгновение гонимому пророку.

— Вот они, разрушители! — обличал он, стараясь указать свободной, еще не заломленной рукой на симпатичного блондина. — Вот кто женщин уродует, душу им вытаптывает, все нутро! Они! Они учат предавать!

В дверях ресторана решительно возник Евгений Григорьевич. Суматоха, возня и крики в холле сами по себе мало его занимали, лишь от того досада исказила породистое его лицо, что невозможно оказалось одним махом выскочить на улицу. Зато Надино лицо, возникшее в проеме дверей, было встревожено не на шутку. Стивин пророческий глас, расхристанный его вид поверг ее в оцепенение, этим совершенно небывалым зрелищем она была поражена, а не тем, что оставленный ею в Москве супруг вдруг объявился поблизости от новой ее судьбы. Быть может, нелепый этот конфликт, собравший вокруг себя толпу вероятных свидетелей и зевак, разрешился бы, рассосался как-нибудь сам собой, од-

но время казалось, что дело к этому и идет, если бы в момент относительной его разрядки по лестнице не взлетел запыхавшийся Вовик. Не зря в юности он слыл хулиганом, нюх на скандалы, на «почешихи», как он привык выражаться, был у него несомненный. Мгновенно различив в толкотне своих друзей, а также Надежду и Евгения Григорьевича, он по-своему оценил ситуацию. Что же касается Надеждиного друга, то он был прямо-таки ошарашен наглостью автомобильного грабителя, кем еще казался ему теперь Вовик?

— Эй вы! — через головы сопящих, хрипящих дебоширов, уже не понимавших отчетливо, вполне вероятно, кто для кого есть обидчик и враг, крикнул прекрасно поставленным голосом оратора и лектора Евгений Григорьевич. — Что вы там делали возле моей машины? Какого черта вы там крутились? Отвинтили что-нибудь?

— Я сейчас отвинчу, — раздвинул толпу Вовик, — навсегда отвинчу против резьбы! Стива, спокойно! Этого игрока я беру на себя! Тоже мне, первая ракетка! Я ему устрою турнир на траве!

— Вова, не смей! — завопил Андрей, еще надеясь избежать катастрофы. — Это мой знакомый!

— Ах, это ваш знакомый! — вдруг разом прозрел Евгений Григорьевич. — Так у вас тут целая система! Один голову морочит признаниями, а другой в это время обчищает машины!

С этими словами, резко отодвинув, почти что отшвырнув Андрея, он двинулся на Вовика. Растерянный Андрей, не в силах предотвратить столкновения, забытым уже, дворовым, школьным чувством, затерянным на катках и «плешках» их юности пятидесятых лихих годов, понял, что товарищу грозит нешуточный урон. И, ни о чем уже не думая, с внутренним, почти радостным ощущением полного краха всех своих надежд, занес руку.

Неизвестно, чем обернулось бы дело, если бы Стива с усилием отчаяния не вылез вперед, приняв на себя удар, предназначенный Евгению Григорьевичу. Андрей не успел даже умерить замаха.

Визжали женщины. Пронзительными трелями захлебывался милицейский свисток, почти утонувший в порочных губищах швейцара.

— Вова, это ничего не решает! — Зовом страстотерпца ни за что ни про что побитый Стива перекрывал эту постыдную разноголосицу, по-прежнему загораживая

соперника тощим своим телом.— Я не признаю мести!

А по лестнице, тяжело дыша, подымались потные от жары и спешки милиционеры и дружинники. Стива, на пределе связок провозглашающий не то призывы, не то заклятия, представился им явным зачинщиком буйства, за него первого и взялись. Вовик нерасчетливо кинулся другу на помощь, был перехвачен превосходящими силами порядка и после долгой, надсадной возни, с руганью, пыхтением и применением приемов все же застопорен и укрошен. Что оставалось Андрею? Чем мог он помочь своим униженным, несправедливо обиженным друзьям, и впрямь похожим в это мгновение на взятых с поличным дебоширов. Жалкими словами? Попытками объяснить? Тем только разве, что под мстительные крики окружающих добровольно разделить их участь.

Стива, которому заломили за спину руки, которого волокли и толкали и впрямь, будто злодея, пойманного, наконец, к торжеству напуганных граждан, успел все же встретиться глазами с женой.

— Надя! — голосил он, пока его стаскивали вниз по лестнице.— Я ни в чем тебя не упрекаю! Я просто хотел с тобой поговорить! Ты не думай, что я неудачник, нет! Честное слово! У меня талант, дар, самый главный из всех, вот увидишь, он никогда меня не покинет!

Поразительно, какое красноречие овладело им посреди всеобщего ора и ругани.

Проявление твердой власти неизменно гипнотизирует самую разгулявшуюся публику; зрелище усмиренных, утихомиранных буйнов настораживает неизбежно на какое-то время, достаточное для того, чтобы любой ротозей живо представил себя на их месте, а потом со спокойной душой порадовался безотчетно, что остался на своем. Тут уж резонное почтение к недрогнувшей руке порядка перерастает незаметно, но естественно в преклонение перед нею — так легко и так по-человечески проникнуться мысленно могуществом власти, отождествить себя в воображении с поспевающей в самое время справедливостью. Оттого-то, надо думать, такие злорадные в своей несомненной праведности подначки и крики градом сыпались на головы друзей.

— Хулиганье! Так им и надо! Пятнадцать суток схлопочут!

У самого выхода Стива предпринял вдруг последнюю безнадежную попытку упереться, движение застопори-

лось на миг, правильные звенья задержавших и задержанных едва-едва вновь не превратились в клубящуюся свару, виновник ее, не имея возможности обернуться, невероятным усилием обратил наверх свое несчастное, в кровоподтеках лицо:

— Надя! Я никогда еще никого не разлюбил!

Руководитель оркестра на эстраде ресторана как ни в чем не бывало интимно наклонился к микрофону.

— Для наших гостей из солнечного Ростова исполняется популярная песня «Я так хочу...— тут он сделал паузу,— чтобы лето не кончалось!»

* * *

Опомнились в камере предварительного заключения. В том самом скучном, малоуютном помещении, какие в благословенных южных городах устраиваются по тому же способу, что и в суровых северных. Стива долго еще не мог прийти в себя, все метался по мрачной этой тесной конуре, шарахаясь от одной голой, в сырых потеках, стены к противоположной, на некрашенные скамейки натываясь, кидаясь на обитую железом дверь. Зато Вовик оглядывал интерьер с придирчивостью знатока и вместе с тем почти с ностальгической нежностью.

— КПЗ есть КПЗ,— подытожил он философски, пощупав стены, выкрашенные липкой грязноватой краской.— Что здесь, что у нас в «полтиннике». То есть в пятидесятом отделении. Один к одному.

— Не знаю, я там не бывал! — прокричал Стива, не прекращая своих метаний от двери к забранному решеткой окну.

— Ну, конечно,— согласился Вовик,— ты же у нас первый ученик был, где тебе о «полтиннике» знать.

— Узнает,— откликнулся Андрей,— если выступать не прекратит.— И с раздражением накинулся на Стиву:

— Да перестань ты шастать взад-вперед, голова от тебя болит!

Стива остановился посреди камеры, застигнутый этим окриком, будто новым ударом, в который уж раз хотел он высказаться до конца, до дна души, но, вспомнив тут же, чем кончаются такие попытки объясниться, сник как-то сразу, без малейшего перехода от возбуждения к покою. Андрей даже неловко себя почувствовал, не ожидая, что такое сильное действие окажут его слова.

— Да-а! — ни к кому не обращаясь, произнес он тоном, в котором, однако, слышалось извинение. — Неплохой финиш пробега. Большой приз «Пятнадцать суток». Верный способ помолодеть — двадцать лет как с плеч долой! Ничего не было! Ни планов, ни надежды, ни работы.

— Работа была, — неожиданно рассудительно вздохнул Стива, ощупывая ссадину под глазом, а потом пробуя пальцами боковой зуб: не качается ли? — На работу наверняка сообщат — со стыда сгорить!

— Телега придет как пить дать, — подтвердил Вовик, со вкусом укладываясь на лавке; как бывалый человек, он знал, что в узилище главное — это беречь силы.

— Я не сгорию, — помотал головой Андрей, он тоже производил инспекцию потерь, они состояли лишь в оторванном кармане рубашки, — мне в данный момент сообщать некуда. Состояние перехода в новое качество. Каким путем? — вот в чем вопрос. Наклевывался один шанс — и тот сплыл. — Андрей пронзительно свистнул и показал большим пальцем через плечо в сторону Вовика. — Псу под хвост. Благодаря решимости товарища.

— Да идите вы! — лежа, обиделся Вовик. — У одного трагедия, у другого на этом же самом месте расчеты хитрые... Для меня это слишком сложно.

— Да и для меня тоже, оказывается, — вслух подумал Андрей и подошел к железной двери, словно желая проверить, как она устроена и надежно ли заперта, — расчеты, я заметил, вообще редко оправдываются. Вечно им мешает какое-нибудь... движение души.

Вовик, подложивший под голову левую руку, всерьез посмотрел на свой огромный правый кулак:

— Мешает.

— Подведем итоги, — заключил Андрей. — Жены не воротили, протекцию потеряли. Впрочем, наш оскорбленный супруг все-таки высказался... Засчитаем по графе доходов... Осталось только со здешним начальством объясниться.

Еле успел он отпрянуть от распахнувшейся двери, как в камеру предварительного заключения с гиканьем и прибаутками ввалилась компания молодцов, длинноволосых, одетых в подобие хламид из штемпелеванной мешковины и в джинсы, запатанные скандальным манером на самых интересных местах, выношенные и вытертые до дерюжной основы.

— Смотри! — изумился один из них, вылупившись.

нагло на обитателей камеры.— Здесь уже клиенты отдыхают! За что срок тянем, мужики?

— Да так, хипповали на пляже,— по-свойски разоткровенничался Вовик.— Балдели в дискотеке.

* * *

Начальством оказался дежурный милицейский капитан лет сорока пяти, усталый, с испариной на пылевом лбу и, что вовсе удивительно, совершенно незагорелый, даже бледный по-зимнему, как будто в этих полуденных краях нес исключительно ночную службу, а днем в холодке отсыпался.

Приателям было приказано писать объяснения их хулиганских действий, посажены они были отдельно и снабжены линованной бумагой, чернильницами-непроливайками и перьевыми ручками давнего ученического образца.

Вовик, немедленно испачкавший в чернилах пальцы и лоб, вновь, как и во время дружеской возни, сделался похож на школьника-толстяка, специалиста по сдуванию соседских сочинений. Стива творил торопливо, словно стихи писал или любовное послание, ощупывая по сложившейся уже привычке свои синяки и ссадины, как будто физическая боль служила ему источником вдохновения. Что же касается Андрея, то он никак не мог определить для себя наиболее вероятную версию происшедшего, то так приступал, то этак, перечеркивал написанное, начинал вновь, ненавидя самого себя за допотопные, протокольные, бог весть из каких глубин памяти вылезавшие определения и обороты.

Как в школе по звонку, через пятнадцать минут листки были собраны. Водрузивши на нос очки, отчего вид у него сделался и впрямь учительский, капитан вновь и вновь перечитывал объяснения, хмыкал непонятно-скептически или же сокрушенно, чесал за ухом, сопоставляя факты и версии, перебежал глазами с одного листка на другой и умудренно качал головой.

— Так и знал! Культурные, называется, люди! Научные.. А? К единой точке не могли прийти. Фантазии не хватило. Понаписали черт-те чего! Один философию развел, другой права качает, третий вообще на себя берет — и чего было, и чего не было. Как же все-таки прикажете все это понимать? Темните, граждане.

Друзья уличенно и стыдливо переглянулись.

— Видите ли, товарищ капитан,— отдаленно начал Андрей,— противоречие здесь чисто внешнее... А по существу дела мы показываем одно и то же.— Он безоружно улыбнулся.

— То, что успех не может определять собой ценность личности,— выпалил Стива, словно дождавшись, наконец, слова в ученой дискуссии.— Что из того, что кому-то больше повезло в жизни, больше перепало, больше досталось, значит, им все дозволено? Значит, они человечески значительнее, умнее, тоньше организованы?! Да ерунда это все, чушь собачья!

Капитан внимательно через очки посмотрел на синяк у Стивы под глазом.

— Насчет этого спору нет,— покачал он головой,— с этим я согласен, но штраф-то за это взять не могу.

— А вы за что-нибудь другое возьмите,— тут же нашелся Андрей,— если уж положено. Там, кажется, в суматохе кокнули что-то такое?

— Почему кажется,— капитан заглянул в протокол,— точно вам скажу: четыре фужера и три тарелки.

— Ни хрена себе,— присвистнул Вовик,— они теперь под нашу марку японский сервиз спишут.

Стива нервно его перебил:

— Да бог с ними! Мы сейчас же за все заплатим.

Капитан, усмехаясь своим мыслями, еще раз с любопытством профессионала оглядел Стивин синяк. И, кажется, остался доволен, правда, непонятно чем: то ли его размерами, то ли цветом. А может быть, некоторым его несоответствием интеллигентным чертам Стивиного лица.

— Заплатили уж,— с некоторым канцелярским шиком капитан отбросил в сторону бумаги.— И суть дела изложили. Чин чином, не в пример некоторым. Ясно, четко и последовательно. История-то доброго слова не стоит. Если вдуматься.

Друзья вновь крест-накрест обменялись недоуменными и даже настороженными взглядами.

— Кто? — верно истолковав эту переглядку, капитан многозначительно улыбнулся.— Нашлись люди. Гражданка одна. Не скрою, из себя очень даже ничего. Есть на что посмотреть. А главное — сообразительная, приятно слушать. Ни тебе слез, ни кокетства, ни разных бабьих фиглей-миглей. Всегда бы с такими гражданами дело иметь.

Стива, боясь поверить самому себе, спугнуть опа-

саясь столь явно оправдавшую себя надежду, глядел на друзей ликующими глазами. В сочетании с многоцветным синяком это торжество производило комическое впечатление.

— Надо бы, конечно, наказать вас по всей строгости закона,— капитан, словно опомнившись, придал своему голосу непроницаемую однозвучную сухость,— да наш город-курорт славится своим гостеприимством.— Он солидно помолчал.

— Какая все-таки приятная гражданка. И что главное—принципиальная! Всю правду резанула—не постеснялась. Учитесь, граждане!

* * *

Нежнейшим, целомудренным утром, словно и не известный курорт был вокруг, с его толчеей, соблазнами и грешными расчетами, а некая удаленная от суеты, уединенная, чистая местность, вроде обсерватории или монастыря, друзья вышли на улицу. Даже после непродолжительного заточения вновь обретенная воля ошеломила полнотой бытия, туманным еще, как будто затаенным светом, щебетом очнувшихся птиц в окрестной, неожиданно свежей листве, самим воздухом, настаившимся за ночь в садах и скверах, ощутимым почти на вкус.

— Отбыли наказание! — Вовик раскинул здоровенные свои грабли навстречу восходящему, прямо из моря вынырнувшему солнцу.

— Приступаем к новой жизни!

Андрей ополоснул лицо возле крохотного домового фонтанчика и, не вытирая лица, посмотрел на часы.

— Лето, между прочим, кончилось. Поздравляю вас, коллеги, с началом учебного года.

Спешить им было некуда, никто не ждал их в этом городе, не нашлось у них здесь ни родных, ни приятных знакомых, даже крыши над головой не успели себе подыскать, если не считать, конечно, милицейской камеры, вот и шли они куда глаза глядят по трогательно захолустным улицам, одноэтажным, зеленым, вымощенным булыжником, вовсе не похожим утром на вместилище кипящей, жаждущей развлечений толпы.

Еще издали, выйдя на площадь, заметили верный свой «Москвич», сиротливо приткнувшийся в тени модернового ресторана, к которому не хотелось даже и

приближаться. Как спина пожилого человека, как бы он ни крепился, неизбежно выдает усталость и тяжесть прожитых лет, так и на багажнике «Москвича», на исцарапанных и помятых задних его крыльях, на стекле, покрытом слежавшейся, запекшейся пылью, читались следы непомерных трудов и одинокой неухоженности. Не сговариваясь и не глядя друг на друга, приятели образ своей собственной судьбы готовы были увидеть в этой машине, когда-то завидной, лучшей из возможных, заставлявшей смотреть ей вслед...

Приблизившись к автомобилю, друзья застыли в изумлении: поперек капота, давно не мытого, утратившего натуральный свой колер, лежали цветы — тяжелые астры и мохнатые, подувядшие за ночь гвоздики.

— Сюрприз к освобождению, — Андрей сделал вид, что хочет воткнуть астру в петлицу несуществующего пиджака, — где это я уже видел эти цветы?..

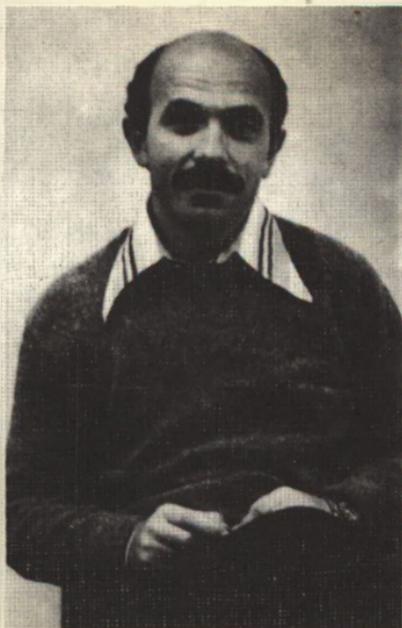
— И я, — всем своим побитым, несчастным лицом улыбнулся Стива, как бы продираясь улыбкой сквозь ссадины и синяки.

Друзья сели в машину и не спеша покатали по площади, будто совершая круг почета, положенный победителям какого-нибудь известного многотрудного соревнования. Впрочем, для победителей выглядели они неважно, небритые, похудевшие, даже на посторонний взгляд, опустошенные и усталые. Все сказалось — и гонка на пределе ресурсов, и нервотрепка, и обиды, и бессонная ночь под замком. И вместе с тем, впервые за последнюю неделю не то чтобы спокойствие, но какое-то мудрое умиротворение отпечаталось на их лицах.

— Осень, друзья мои, — произнес Андрей, словно признаваясь в чем-то, — никуда не денешься, осень.

— Да и пора уж, — согласился Стива, — всякий раз думаешь, что торопишь весну, что лето догоняешь, а на самом деле ждешь осени.

— Точно, — вздохнул Вовик, — осень не обманет.



Анатолий МАКАРОВ — прозаик и публицист, автор книг «Точка отсчета», «Человек с аккордеоном», «Мы и наши возлюбленные», «Футбол в старые времена», переведенных на языки народов СССР и иностранные языки. Некоторые из его повестей легли в основу кинофильмов и спектаклей. В качестве специального корреспондента «Недели» Анатолий МАКАРОВ объехал почти всю страну, неоднократно бывал за рубежом.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ